

В. Кормилицын

ДЕРЖАВА



роман

том первый



Саратов
Приволжское издательство
2014

УДК 82-311.6

ББК 84(2)

К 66

Кормилицын В. А.

К 66 Держава : Роман / В. А. Кормилицын. — Саратов :
Приволжское издательство, 2014. — Т. 1. 420 с.

ISBN 978-5-91369-034-0

Роман «Держава» повествует об историческом периоде развития России со времени восшествия на престол Николая Второго осенью 1894 года и до 1905 года. В книге проходит ряд как реальных деятелей эпохи, так и вымышленных героев. Показана жизнь дворянской семьи Рубановых, и в частности младшей её ветви — двух братьев: Акима и Глеба. Их учёба в гимназии и военном училище. Война и любовь. Рядом со старшим из братьев, Акимом, переплетаются две женские судьбы: Натали и Ольги. Но в жизни почему-то получается, что любим одну, а остаётся с другой. В боях русско-японской войны они — сёстры милосердия, и когда поручика Рубанова ранило, одна из девушек ухаживала за ним и поставила на ноги... И он выбирает её...

УДК 82-311.6

ББК 84(2)

ISBN 978-5-91369-034-0

© Кормилицын В. А., 2014

© Коновалов А. Г., 2014

ОТ АВТОРА

Исторический роман «Держава» посвящён российским событиям, происходившим в конце XIX — начале XX веков.

Восшествие на престол последнего российского императора, внешняя и внутренняя обстановка в стране, война с Японией и на этом фоне — жизнь и судьба дворянской семьи Рубановых, чьи предки спасали Родину от полчищ Наполеона (Роман «Разомкнутый круг»).

В романе описываются как реальные исторические личности — Николай Второй, Сипягин, Куропаткин, так и вымышленные герои — Рубановы, Зерендорф, Дубасов.

Перед читателем проходят образы либералов, которые считали, что «в России должно быть — как на Западе». И их антиподов, убеждённых, что «в России должно быть — как в России». Либералы называли их ретроградами, но они просто любили Родину и не хотели трагедии страны в результате необдуманных преобразований.

Это летопись переходной эпохи.

У каждого поколения свой взгляд на прошедшую эпоху. И каждый человек должен знать — «как было», чтоб понять — «почему так стало».

В книге показано лишь начало борьбы за Россию, в результате которой произошёл её крах. «Образованное общество» очень этому поспособствовало, опомнившись тогда, когда разрушили страну:

С фонарём обойдите
Весь подлунный свет.
Той страны на карте —
И в пространстве — нет! —

написала Цветаева.

И от века в разных ипостасях повторяются: Мир и Война, Судьба и Родина, Жизнь и Любовь...

И всё это называется — ИСТОРИЯ...

Огромный барский дом гордо стоял неподалёку от склона горы, плавно опускавшейся к Волге.

У реки, в небольшой, местами обвалившейся каменной беседке сидели два мальчика. На коленях одного из них, смуглолицего и черноволосого, лежал томик Батюшкова. Другой колотил палкой по воде и с завистью поглядывал на курносого рыжего деревенского паренька в просмоленной лодке, который, то гордо хватался за вёсла, то неумело скрывая испуг, вычерпывал из своего «крейсера» холодную осеннюю воду.

— Акимка, — обратился к черноволосому мальчику его брат, запустив свою палку наподобие копья в сторону терпящего бедствие моряка, — а вон за нами гуверняха идёт.

Насмешливые голубые глаза его окинули чуть полноватую фигуру брата и остановились на смуглом мечтательном лице.

Со вздохом захлопнув книгу, тот глянул в сторону лестницы с кое-где выщербленными ступенями на спускающуюся молодую женщину с зонтом над головой и высунул руку из беседки ладонью вверх.

— Кажется, дождь пошёл, — произнёс он, любуясь жёлтой листвой деревьев, покрывающих склон горы от реки и до самой вершины.

— Господа! Маменька зовёт! — неожиданно сильным для такой худой особы голосом закричала гувернантка по-французски, ленись спускаться до самой беседки.

Черноволосый с готовностью поднялся с каменной скамьи, уронив небольшую подушечку, на которой до этого сидел.

Брат его даже ухом не повёл, заинтересованно наблюдая за гибнущим матросом, с остервенением гребущим к берегу, и прикидывая, успеет ли тот причалить или вода зальёт деревянную посудину.

— Маменька зовё-ё-т! — вновь завопила женщина, поскользнувшись на ступеньках и со страхом ухватившись за мокрые металлические перила. Зонт её весело закувыркался по лестнице.

— Чего-о? — дурачась, приложил к уху ладонь светловолосый, с сожалением отвернувшись от удачно причалившего сопливого капитана.

— Глеб, хватит чудить! — одёрнул его брат, выходя из беседки и намереваясь поднять докатившийся до самой воды зонт.

— Чур, я, — помчался вниз по лестнице, пнув по пути упавшую подушку, но разломать зонт не успел, так как Аким первым подхватил его.

— Давай понесу, — безнадёжно предложил свои услуги Глеб, с уверенностью догадываясь, что зонта ему не видать.

— Дитё! — подражая няне, снисходительно произнёс Аким, придерживая под мышкой книгу и отдуваясь после крутого подъёма.

— Ой, Господя! — тоже копируя няню, взмахнул руками Глеб. — Нашёлся взрослый. Всего-то на два года старше. Зато я в свои десять лет, ростом почти с тебя, — показав язык для усиления аргументации, помчался к дому по выложенной камнем дорожке между желтеющих стриженной травой газонов с кругами вскопанных клумб.

Покачав головой, Аким не спеша побрёл к дому, зачем-то подмигнув стоявшему посреди пустого уже цветника, под огромной корявой акацией, бронзовому конногвардейцу, и, поднявшись по каменным ступеням широкого крыльца, с трудом открыл солидную дубовую дверь с истёртой старинной медной ручкой.

Пожилой швейцар насмешливо взирал на него, перевесившись с перил лестницы, ведущей на второй этаж.

Переодевшись и умывшись, мальчики чинно вошли в большую залу, служившую гостиной, где на мягком просторном диване расположилась их матушка, курившая пахучую папиросу в длинном мундштуке. Её аккуратно и со вкусом уложенная причёска из тёмных роскошных волос была перехвачена ниткой жемчуга. Карие глаза с любовью смотрели на сыновей, а рука с папиросой чуть дрогнула в сторону кресел с отлогими мягкими спинками, предлагая садиться.

— Как погуляли? — нежным, с чуть заметной хрипотцой голосом поинтересовалась у ребят, лаская взглядом то одного, то другого мальчика. — А я всё утро делала прощальные визиты соседям, спасибо до дождя успела, — не слушая ответ, произнесла она, — правда, всего-то двух своих подруг и навестила, — рассеянно улыбнулась, затушив папиросу в пепельнице. — Как себя чувствуете? — легко поднявшись с дивана, поочерёдно потрогала их лбы. — Слава богу, выздоровели. Доктор говорит, что всё нормально. А то ведь занятия пропускаете и в кадетском корпусе, — глянула в сторону светловолосого, — и в гимназии, — погладила по голове темноволосого сына. — Завтра едем в церковь, а послезавтра — в Петербург, — радостно произнесла женщина, чуть не захлопав в ладоши, — а то от скуки умрёшь в этой Рубановке. Идите в столовую и скажите, что скоро буду, — отпустила детей.

Отдохнув после обеда, братья занимались с гувернанткой сначала французским, а затем, на французском же языке, мадемуазель Камилла звучным своим голосом обучала барчуков светским приличиям:

— Вот, господа, свод законов светского человека, — потрясла толстым фолиантом в жёстком переплёте. — Этот труд Клеопатра Светозарская, — торжественно произнесла имя и фамилию своего кумира, — посвятила юношеству и развитию в молодых людях благовоспитанности, светского этикета и вежливости. И не стоит брать пример с личностей, получивших благодаря романисту Тургеневу кличку нигилистов. По их понятиям, быть деликатным и вежливым в отношении ближнего, значит, соблюдать китайские церемонии, — подняла свой голос до верхних пределов, строго глядя на светловолосого отрока, с упоением ковыряющего в носу. — Месье! — патетически воскликнула по-русски. — Нынче мы, к горю нашему, видим между молодыми людьми таких, — указала пальцем на Глеба, — манеры коих до того грубы, что производят отвращение...

— А у мадам Клёпы Светозарской не написано, что показывать пальцем неэтично? — насмешливо глянул на гувернантку Глеб.

Оскорбившись то ли за своего кумира, то ли за себя лично, мадемуазель Камилла громко захлопнула книгу и, к радости младшего из братьев, вышла из комнаты, пушечно бахнув дверью.

— Дитё-ё-ё! — всплеснул руками старший, тоже, однако, не сильно расстроившись из-за ухода гувернантки.

После занятий Глеб помчался в конюшню, помогать конюху чистить лошадей, а Аким пошёл гулять по парку, раскинувшись за домом.

«Отец рассказывал, что когда-то, в старые времена, в саду было полно акаций. Теперь-то осталась только одна, у памятника конногвардейцу, — не спеша шёл по широкой, очищенной от жёлтых листьев тополиной аллее. — Как славно пахнет прелый лист, — свернул с аллеи на узкую, поросшую высохшей травой тропинку. — И слабый запах печного дыма впере мешку с запахом скошенного поля и реки, — залюбовался овалом беседки на шести круглых колоннах, стоявшей на берегу заросшего ряской небольшого пруда. — Точь-в-точь такая же беседка, с двумя дамами в старинных кринолинах изображена на гравюре в матушкиной комнате», — вспомнил он, усаживаясь на холодный камень.

Вечерело. Шумели кроны деревьев. Шарахаясь из стороны в сторону, пролетела летучая мышь, всплеснулась вода в пруду.

«Может, водяной или русалка? — стало жутко и сладко от этой мысли. — Ну конечно, русалка... А может, это карамзиновская Лиза, которая бросилась в пруд от несчастной любви к Эрасту? Как там писали светские остряки: «Здесь в воду бросилась Эрастова невеста, топится девушки, в пруду довольно места...» — внутренне усмехнулся Аким.

Откуда-то издалека, с затихшей реки, донеслись голоса. На лугу, за парком, блеснул огонёк. Кто-то жёг костёр. Озноб пробежал по спине, и Аким зябко передёрнул плечами, поднимаясь с ледяной скамьи.

Медленно, спотыкаясь о невидимые кочки, побрёл к обрыву, чтобы полюбоваться перед сном широким простором реки. Другой берег скрывался во мгле. Почти совсем стемнело, и Аким, стоя на краю обрыва, представил себя птицей, парящей над спящим миром, над землёй, и сердце его замерло от счастья высоты и бездонности вселенной.

Он вздрогнул, услышав голос мадам Камиллы, зовущей его, и опустился из горных высей на бrenную землю.

«Матушка, наверное, беспокоится», — заволновался Аким, выходя на тропинку, ведущую к усадьбе.

Вслушав по пути упрёки гувернантки и извинившись дома перед мамёнкой, он расположился в мягком «вольтеровском» кресле и стал наслаждаться теплом из камина и звуками вальса, что, сидя при двух свечах за роялем, наигрывала матушка, тоскуя о чём-то своём, далёком и непонятном. В Петербург не хотелось. В хаос города. В суету общения. В нудность учёбы. В однообразие будней.

Как мило в Рубановке.

С её рекой, с её парком, с её лугом и лесом, с её уютным домом, с книгами, со сказками няни, с роялем матушки и даже с шалостями братца, что кувыркается на ковре с двумя весёлыми борзыми.

«Как хорошо!» — потянулся он в кресле, мечтательно глядя в огонь камина.

А вечером, отужинав, прощался с домом, бродя со свечой по анфиладам комнат и разглядывая гравюры на стенах, иконы в золотых ризах по углам, тяжёлые дедовские комоды и лёгкие, покрытые китайским чёрным лаком этажерки, старинные, с деревянными выгнутыми спинками, жёсткие кожаные диваны, и вдыхал тягучий и пряный запах старины в одних комнатах, и мнящийся запах духов, пудры, веселья и музыки — в других. Возвращаясь в спальную, до смерти напугал спящего на ларе, у двери в подвал, старичка-лакея.

«Как бы брата не напугать», — тихо вошёл в комнату, задув свечу, Аким. И прежде чем уснуть, долго, с замиранием сердца, вслушивался в громкую тишину сонного дома.

Вот где-то скрипнула дверь, что-то ухнуло на крыше, задрезало стекло от порыва ветра, неожиданно все звуки перебило тиканье напольных часов, и последнее, что врезалось перед сном в память, — это мирное посапывание брата на соседней кровати.

Утром Аким проснулся от солнечных лучей, ласкающих лицо и весело играющих на циферблате старинных часов, стоящих на столе.

«Глебка, наверное, шторы раскрыл, — глянул на пустую постель брата, и громко чихнул, перекрестившись на икону в углу. Круглые часы, на противоположной от кровати стене, пробили десять. — Сегодня же в церковь едем», — подбежал к окну Аким и увидел одетого уже брата и похмельного кучера с соломой в длинных всклокоченных волосах.

Ёжась от утренней свежести и чего-то недовольно бурча, тот выводил из конюшни серую в яблоках лошадь, которая, танцуя и взмахивая головой, нехотя переступала через высокий деревянный, вымазанный грязью порог. Другая лошадь стояла рядом с коляской и нюхала рассыпанное под ногами сено, не обращая внимания на хлопающего ладонью по её боку Глеба.

Услышав стук в дверь и голос горничной:

— Барин, пора вставать, — Аким кинулся отыскивать одежду, разбросанную вчера вечером по комнате. Один сапог никак не мог отыскать.

«Ну, Глебка, попадёт тебе от меня», — не успел подумать Аким, как увидел под кроватью подошву утерянного сапога.

Попив чаю, мать с сыновьями и гувернанткой тряслись в ландо — четырёхместной коляске, по вымощенной камнем дороге, выезжая из усадьбы.

Братья сидели спиной к кучеру и делали вид, что слушают нравоучительную болтовню мадемуазель Камиллы, слава богу, на русском языке, вещающую о том, что на предложение хозяина или хозяйки войти первому в экипаж должно соглашаться, не заставляя себя ждать.

— Садиться в экипаж следует осмотрительно, не торопясь, и в особенности этот совет относится к дамам, которые при излишней торопливости могут легко запутаться в длинном платье и не только поставить тем себя в смешное положение, но, что ещё хуже, повредить ногу.

При этом вещунья глядела не на ребят, а на барыню, чем её и возмутила.

— Меня, милочка, не надо учить, — воскликнула Ирина Аркадьевна, — я ещё в Смольном институте эту науку прошла, — гордо отвернула голову в сторону полей, раскинувшихся по обе стороны от дороги и далёкой темноты леса.

Глеб захихикал, наслаждаясь оправданиями гувернантки перед матушкой, а Аким всматривался в кирпичную арку над воротами с двумя выбитыми цифрами — единицей и семьёркой, и полустёртой буквой Г.

«Чего обозначают эти цифры?» — стал размышлять он.

Коляска весело шелестела резиновыми шинами по неглубокой грязи деревенской дороги. Не прошло и получаса, как экипаж подъехал к церковной ограде.

Покрестившись на три сверкающих позолотой купола, семья пошла к церкви, одаривая по пути нищих и калек.

Последним шёл Глеб. Выданную матушкой мелочь он ссыпал в карман, а нищих и калек одаривал в основном видом своего красного языка. Те тоже не оставались в долгу — метко плевались, стараясь угодить ему на сапоги.

В церкви было прохладно, сумрачно, торжественно и тихо. Чуть слышно потрескивали свечи. Старенький батюшка стоял около аналоя и сосредоточенно и монотонно бормотал молитву, временами осеняя себя крестным знамением. Несколько старушек в платочках мелко крестились, повторяя за батюшкой: «Во имя Отца и Сына...»

Аким молился перед иконой Божьей Матушки, удивительно похожей на его прапрабабушку, чей портрет висел в доме. Крестился и кланялся Николаю-угоднику, с трепетным любопытством любясь росписью стен, где неизвестный художник изобразил Рождество Иоанна Предтечи и Спасово Пречистое Рождество.

Он молился, вслушиваясь в почти незнакомый, но такой родной и прекрасный славянский язык, на котором вёл службу священник, и неожиданно слёзы затуманили ему глаза.

А потом мать повела их в склеп, где покоились его с братом предки.

Поставив свечу, он прочёл надпись на граните:

Капитан Максим Акимович Рубанов.

1793–1832.

Его прадед. Как он жил? О чём мечтал? В семье ходило много легенд и преданий о нём.

А вот его дед:

Генерал-лейтенант Аким Максимович Рубанов.

1817–1881.

Аким не видел его. Он родился на следующий год после смерти деда.

Даже Глеб в кругу далёких пращуров заметно оробел и несмело крестился, кланяясь каждому из своих предков.

После церкви матушка велела кучеру везти их к рубановскому старосте.

На этот раз ехали молча. Мадемуазель Камилла сидела тихо и нравоучительных бесед не вела.

По дурной привычке всех кучеров, ямщиков и других работников гужевого транспорта, перед въездом в Рубановку, дабы произвести положительное впечатление на аборигенов, похмельный кучер стеганул лошадей, что-то дико заорал нечеловеческим голосом и лихо пронёсся мимо торговой лавки, обдав пылью недовольных покупателей и взбаламутив дремавших собак. Затем, выкатив глаза, попытался осадить тройку у кабака, но тоскливо вздохнул, вспомнив, что на работе, и ещё сильнее взревев, горестно промчался мимо питейно-закусочного заведения, остановив взмыленных лошадей перед двухэтажным кирпичным домом старосты, под блестящей жестяной крышей, увенчанной ещё более блестящим, здоровенным медным петухом.

В ту же минуту, словно по волшебству, из не успевшей осесть пыли вынырнул маленький рыжий мужичок в голубой ситцевой рубаше навыпуск и в расстёгнутой жилетке с золотой цепочкой от часов на выпуклом животике. Умильно улыбаясь, он что-то говорил барыне, закрывшей нос платочком.

Когда пыль немного улеглась, Ирина Аркадьевна легко вынесла из коляски своё чуть полноватое тело, одетое во всё тёмное, и протянула старосте руку, к которой тот подобострастно припал.

— Ах, Ирина Аркадьевна, — сюсюкал староста, — а мы вот враз опосля Воздвиженья капустку, значит, рубим, — возникал он то спереди, то сзади, то с боков своей госпожи.

— Я уже головой устала крутить. Иди с одной стороны, — сделала старосте выговор.

— Сию минуту, — пристроился тот по правую руку.

Весь просторный двор был заставлен возами с капустой. В углу двора, вычислив направление ветра, чтоб сносил дым к соседям, двое работников парили пузатые кадки. Один споро наливал в бочку ведро с кипятком, другой бросал раскалённую металлическую пластину, и оба дружно накрывали бочку рогожей.

Глеб с завистью глядел на мужиков.

«Каким интересным делом люди занимаются», — почесал он щёку.

Акким же рассматривал женщин, дружно обрабатывающих острыми сечками сочные кочаны над длинным деревянным корытом.

— Бабы, — шмелём отлетел от барыни староста, — мельчей теши, домой не спеши. Всем в подарок ленты будут, — повёл помещицу в дом, отчитаться в доходах за отданную мужикам в аренду землю.

Ребята с гувернанткой остались на улице.

Мадемуазель Камилла брезгливо морщилась, слушая острые, как сечки, женские шутки и заразительный смех.

Барчуки взрослого юмора пока не понимали и пошли к двум пацанам примерно их возраста, трескающим одну за другой хрустящие кочерыжки.

Одна из женщин, обтерев о фартук руки, протянула по кочерыжке юным господам.

— Как зовут? — хрустя сочным подарком, поинтересовался Глеб у невысокого рыженького паренька. — А-а-а! — узнал он недавно тонувшего моряка. — Это не в твой корабль капусту рубят? Чего молчишь?

— Васятка, — шмыгнув курносый носом, с обидой произнёс паренёк.

— Васятка, станцуй впрысядку, — презрительно отошёл от него Глеб.

Обратно ехали тихим шагом, так как барыня, ткнув предупредительно кучера зонтом в спину, укоризненно сказала:

— Ты, Ефимка, так не гони, не на ипподроме находишься.

«Госпожа, а как матюжится», — изумился кучер, и всю дальнейшую дорогу размышлял, на ком же это он, по разумению барыни, находится.

Вечером Аким снова стоял перед портретами своих пращуров и с грустью убеждался, что ни на одного из них не похож.

«Все они светловолосы, а я волосом чёрен, и глаза у них голубые, а у меня тёмные. Вот Глеб в них, — позавидовал брату, — а я в матушку...»

Но грусть эта была недолгой. Всё равно они его предки. И он тоже Рубанов, к тому же — первенец, и носит имя Аким, а не какое-то там — Глеб.

И опять уютно тикали напольные часы, матушка играла на рояле. Горел камин. Брат возился с собаками. И когда одна из борзых подошла к креслу, где сидел Аким, и дружелюбно потёрлась о ногу, он вдруг понял, что вот оно — счастье, и с трудом удержал слёзы, повернувшись к стене и разглядывая блики огня на ней.

Всю свою жизнь будет он вспоминать тепло и уют домашнего очага...

Утром их разбудили рано.

По крыше барабанил дождь, и Аким так не хотелось выходить в сырость улицы.

Глеб же, напротив, с нетерпением ожидал отъезда, приготовившись к нему ещё со вчерашнего вечера. Он был счастлив, что ехать в ландо придётся до самого уездного города, а оттуда, по железной дороге, до Петербурга.

— Ирина Аркадьевна велели одеваться теплее, — проверяла, застёгнуты ли все пуговицы на их пальто, гувернантка.

Перед парадным подъездом выстроились в ряд четыре экипажа. В один грузились вещи, в другой, весело толкаясь, две горничные. Швейцар и старичок-лакей — в третий. В напоминающем карету ландо с кожаным верхом, провожаемые нянькой и оставшейся прислугой, помолившись перед дорогой, разместились господа с гувернанткой.

Дождь разошёлся не на шутку.

— Это к добру! — кричала вслед старая нянька, прощально взмахивая рукой, а другой, стирая с морщинистого лица слёзы и капли дождя.

Ехали медленно, разбрызгивая колёсами грязь. Хмурые серые тучи висели низко над землёй.

Рубановка встретила их унылыми от дождя домами, почерневшими мокрыми плетнями и выглядывающим из-под плаща старостой, стоявшим возле своего дома, на краю грязной дороги. Двумя руками он вцепился в плащ и, прощаясь, по-лошадиному тряс головой, развеселив этим Глеба до колик в животе.

Аким же наблюдал за одиноким прохожим, пересекающим дорогу. Поскользнувшись и не успев зацепиться рукой за плетень, тот грохнулся в жидкую грязь колеи.

«Спасибо, Глеб не увидел, — подумал Аким, — а то ржал бы до самого Петербурга».

Вскоре проехали Рубановку, протарахтели по расшатанному мостику, отделяющему рубановские наделы от чернавских, и покатали дальше, провожаемые каплями дождя и криками галок на пашне.

Было печально и пусто.

Люди попрятались от непогоды в тёплые дома. Лишь изредка попадались лошади со спутанными передними ногами, да грязные телята, привязанные длинной верёвкой к колышку и щипавшие травку на зеленях.

Подъезжая к уездному городу, на пересечении дорог у полосатого верстового столба, чуть не столкнулись со встречной двухместной коляской, из которой выпорхнула молодая особа, долго обнимавшая и целовавшая Ирину Аркадьевну.

Всю дальнейшую дорогу до самой станции, подняв вуальку, барыня прикладывала батистовый платочек к влажным глазам.

Станция была небольшая и мокрая.

На запасном пути, у насыпи с бревном, выполняющим роль шлаббаума, стоял разбитый товарный вагон. Дождь кончился, и, словно по команде, из вагона вылетели куры во главе с цветастым петухом и стали что-то выискивать рядом с рельсами. Иногда петух, обнаружив, на его взгляд, прекрасное стёклышко или сочного красного червяка, громко кудахтал, созывая клушек, и плотоядно склёвывал находку на их глазах, когда те слишком близко подбегали. Разочарованные клуши тоскливо расходились в разные стороны, ругая на курином языке своего повелителя, но через некоторое время, растопырив для скорости крылья, вновь мчались на его зов, чтобы с тоской понаблюдать, как их господин проглотит очередную вкуснятину.

Глеб с интересом наблюдал за куриной жизнью, восторженно улыбаясь, когда петух, разозлившись на одну из своих жён, набрасывался на неё, хватал за гребень и давал ей взбучку.

— Вот так командира не слушаться! — обращался он к мадемуазель Камилле, на что та краснела, стыдливо отводя глаза в сторону.

Акима пернатые не интересовали. Он наблюдал за жандармом в тугом синем мундире, а тот, в свою очередь, заинтересованно следил за их гувернанткой. И когда мадемуазель Камилла отворачивалась от петуха в сторону жандарма, он молодежато выпячивал грудь, важно хлопал по кобуре и мечтал, чтобы кто-нибудь нарушил порядок.

Но к его сожалению, кроме петуха, все соблюдали приличия и законность.

Ирина Аркадьевна, возглавляя свиту, состоящую из двух горничных и швейцара, направилась к зданию вокзала за билетами, оставив старичка-лакея сторожить вещи.

Удобно подрёмывая на огромном бауле, он встряхивался, когда гремя шпорами и заложив руки за спину, рядом шествовал жандарм.

«Ишь, растопался, сукин кот, — делая вид, что дремлет, следил за ним старичок, — чичас только отвернись, враз чего-нибудь слямзит, сельдь околотошная».

Где-то вдаль раздался приглушённый гудок паровоза, и в ту же минуту ребята увидели, как из здания вокзала показалась их матушка во главе своей свиты.

Жандарм на всякий случай вытянулся и отдал ей честь.

Свита кинулась к вещам, уронив с баула старичка-лакея, но Глеб этого не видел.

«Не везёт сегодня парню», — пожалел его брат, наблюдая, как старичок-лакей, подпрыгивая от азарта, чего-то объясняет улыбающемуся толстозадому швейцару.

Ещё раз прогудев, из-за поворота появился паровоз, таща за собой хвост разноцветных вагонов.

Свита, распределив кому что тащить, толпилась вдоль платформы. Ехать им предстояло во втором классе.

Барыня с детьми и гувернанткой разместились в вагоне первого класса.

Швейцар, принёсший в купе корзинки и пакеты с пирожками, жареными курами и прочей снедью, объяснял гувернантке, что надо есть в первую очередь, а что может и полежать.

Братья, сидя у окна по обеим сторонам столика, наблюдали, как поддерживая друг друга, на платформе появились за трапезно одетый сторож в выдавшей виды кепке, и начальник вокзала в фуражке и железнодорожной форме.

Расцепившись и лязгнув зубами, они разошлись в разные стороны.

Сторож, вытянув руки вперёд и пошатываясь, пошёл ловить колокол, а его начальник начал шарить по карманам нащупывая свисток.

Жандарм неодобрительно хмурился на друзей, а потом отвернулся в сторону города.

Больше из этого богом забытого городишки никто не уезжал. Платформа была пуста.

Наконец сторож добрался до колокола и, чуть не сорвав его, дёрнул за верёвочку с грузом.

Раздавшийся звук его явно не удовлетворил. Почертыхавшись, он снял кепку и снова дёрнул за верёвку. На этот раз колокол блямкнул громче.

Начальник, наконец, нашёл свой свисток, и они вместе с ним стали искать рот, попадая всё больше в нос или щёки.

Сторож, в сердцах бросив кепчонку на брусчатку платформы, яростно топтал её, справедливо полагая, что во всём виноват головной убор. После проделанных физических упражнений он взбодрился, крепкой уже рукой взялся за верёвку, и платформе потряс громкий удар колокола. Блаженная улыбка осветила его помятое лицо.

В это время свисток нашёл рот, и начальник вокзала задрбезжал губами, разбрызгивая слюну. Сосредоточившись, он произвёл вторую попытку, издав такой разбойный свист, что жандарм вздрогнул и схватился за кобуру.

Чуть потише свистка загудел паровоз, и состав тронулся.

Аким открыл дверь купе и подбежал к другому окну, успев заметить, как из товарняка выглядывает петух, намереваясь выпрыгнуть и показать своей своре баб, какой у него прекрасный аппетит.

Россия пила и работала, смеялась и плакала, веселилась и горевала, а в Ливадии умирал русский царь...

Лучший из русских царей.

Поверженный гигант сидел в кресле на террасе Малого дворца и тяжело вдыхал тёплый воздух, пахнувший то морем, то виноградом.

Утешая душу, в синей дали моря бороздил воду тяжёлый броненосец «Двенадцать апостолов».

«Славно! — морщась от боли, думал император. — Мы восстановили Черноморский флот и поставили Россию в один ряд с мировыми флотами. Верфи Петербурга и Николаева спустили на воду сто четырнадцать новых военных судов и среди них семнадцать таких вот ладных игрушечек», — гордо окинул взглядом «Двенадцать апостолов», который, нещадно дымя, проплыл перед царскими очами.

Император жадно втянул воздух носом, с удовольствием ощущая запах плохо перегоревших углей.

«Эх! Мать его в якорь ети! Сейчас бы туда!» — с завистью глянул вслед броненосцу.

Ему льстило, что весь боцманмат флота российского учился витиевату морскому мату у своего государя.

«Поначалу-то боцманки краснели, — улыбнулся он, — но затем пообвыкли. На флоте даже ходило выражение: “Обложить по-александровски”. Славно! Всё было славно... Но жаль, что БЫЛО!!! — заворочался на показавшемся неудобном, мягком кресле. — Сейчас бы на корабль!»

— Сашка, врача позвать? — отвлекла мужа от раздумий Мария Фёдоровна.

— Нет, не надо, — отрицательно покачал головой, с любовью окидывая взглядом невысокую фигурку жены, заботливоправлявшую плед в его ногах.

По характеру император был мирным, семейным, простым человеком, очень религиозным и справедливым.

Лучшим другом его и собутыльником являлся начальник охраны Пётр Черевин.

— Лучше Петьку позови, — улыбнулся жене.

— Не нужен тебе никакой Петька, — поцеловала в лоб мужа, окатив его волной духов, персиков и женщины.

«Не хуже углей запах», — мысленно улыбнулся он, а в слух сказал:

— Я люблю тебя, — и с трудом выпростав из-под пледа похудевшую свою руку, когда-то запросто сгибавшую серебряный рубль, а теперь беспомощную и слабую, нежно взял маленькую, но крепкую ладошку жены.

Императрица всхлипнула, но быстро поборолась, проглотив спазм в горле и нагнувшись, коснулась губами такой родной, некогда мощной и в то же время нежной и ласковой ладони мужа, вспомнив, как однажды за обедом австрийский посол отговаривал русского императора помогать Болгарии.

— А то Австрия может мобилизовать три армейских корпуса, — произнёс посол и глаза его в страхе замерли на руках Александра, без напряжения намотавшего на палец серебряную вилку.

— Вот что я сделаю с вашими корпусами.

Разумеется, ничего мобилизовывать австрийцы не стали.

Велев принести второе кресло, Мария Фёдоровна расположилась рядом, положив на колени вязание, дабы успокоиться и хоть на время забыть о болезни.

— Сашка, а помнишь последний Императорский бал в Зимнем? Ах, как я танцевала, — зажмурила глаза от удовольствия и напомнила Александру маленькую уютную пушистую кошечку.

Он радовался радости жены и хотя ненавидел балы, но чтоб подыгрывать ей, с одышкой прохрипел:

— Я весь бал любовался тобой.

— А-а-а! Медведь ты этакий, а сам просидел в уголочке на стуле и даже не станцевал со мной. Ой, Сашка, — всплеснула она руками, и сердце его счастливо замерло от этого её непосредственного жеста. — Зато ты не заметил из своей берлоги, как графиня Быстрицкая потеряла нижнюю юбку, и всю кадрили она путалась под ногами, пока Петька Черевин не убрал её.

— Ха! А мне этот пьяный хрыч хвастался, что взял на память у любовницы.

— И вы ей водку занюхивали, свои дурацкие «гвардейские тычки», — радуясь веселью мужа, поддержала она шутку. — Только жалко, что свет во дворце погас, я так и не натанцевалась.

— Так это я пробки выкрутил, — развеселился император, — а то бы бал трое суток продолжался.

— Ах ты, разбойник коронованный, — сделала вид, что лупит его кулачками. — Сашка, а как замечательно ты пыхтел на своём фаготе, — вновь зажмурила глаза.

— Ох, Дагмара!.. — совсем взбодрился Александр.

— Я больше не Дагмара, а Мария Фёдоровна.

— Дагмарка ты Датская, — подтрунил над женой император.

— А ты медведь российский, — с любовью произнесла она, подумав, что счастливо прожила с этим гигантом жизнь, родив ему шестерых детей: Николая, Александра, Георгия, Михаила, Ксению и Олечку.

Это она внушала русскому самодержцу ненависть к Германии, отнявшей в 1864 году от владений датской короны герцогства

Шлезвиг и Гольштейн. Всю жизнь не могла она простить этого «гансам». И под влиянием супруги впервые в России не давали ходу людям с немецкими фамилиями, ставя на высокие посты коренных русаков.

Кроме жены, приложил к этому руку и голову воспитатель царя — Константин Петрович Победоносцев. Это он привил, тогда ещё цесаревичу, глубокую православную веру, любовь ко всему русскому и симпатию к славянофилам.

Дело дошло до того, что в конце шестидесятых годов по поводу возникших отношений с Аксаковым Победоносцев с наследником попали в число неблагонадёжных лиц, находящихся под подозрением у шефа жандармов Шувалова.

Этот момент потом всегда веселил Александра.

Став императором, в первую очередь он переобмундировал армию на русский лад, одев солдат в удобную гимнастёрку, а офицеров — в шаровары, сапоги бутылками и шинели с двумя рядами пуговиц.

— Ох, Сашка, но вот что хочешь делай, не нравится мне наша невестка, эта Алиса Гессенская. Наш бедный Ники всю жизнь будет мучиться под её немецким каблуком. Лучше бы это была графиня Елена Парижская, ведь отец её, в прошлом герцог Орлеанский, ещё претендует на французский престол, или дочь герцога Коннаутского, да мало ли прекрасных принцесс, но наш сын выбрал эту фрау...

— В тебе, Дагмарочка, говорит ум обиженной матери, у которой уводят сына. Любая невестка не пришлась бы тебе по нраву, даже греческая королева... Нет у меня времени... Алиска только тем мне нравится, что высокая, — с любовью посмотрел на маленькую жену, — хоть внуки мои, в отличие от сына, будут рослые¹.

«К огромному сожалению, я их не увижу», — вздохнул император.

— Да, мой господин, — шутливо склонила перед мужем голову императрица, — теперь они помолвлены.

— Ну, коли помолвлены, — властным голосом произнёс Александр, — то пусть едет к нам за благословлением, — повелел он.

На какое-то время русскому императору стало легче. Появился аппетит, и выглядел он намного бодрее. Сидя в своём любимом кресле, Александр предавался раздумьям или изредка общался с приятелями, коих у него было очень немного.

Да и откуда у самодержца приятели?!

¹ Рост Николая был 1 м 68 см.

Одним из таких являлся генерал Пётр Черевин. Старинный и проверенный собутыльник царя.

Друзья или молчали, или предавались воспоминаниям, так как настоящего у императора почти не было. Всё лучшее осталось в прошлом.

— Эх, Петька, сейчас бы хоть один «гвардейский тычок», — мечтал Александр. — Ты-то, поди, уже с десятков сегодня принял? — завидовал своему начальнику охраны.

— Тружусь на износ! — посетовал тот. — Оберегаю особу государя.

— Слушай, Петька, а может, у тебя и сейчас чего-нибудь в голенище припряталось? — с опаской покрутил головой российский самодержец — нет ли поблизости супруги.

— Ваше Величество, вы же немного прибалываете, — отказывался Черевин.

— Давай, давай, пока Машка не видит, — сглатывал счастливую слюну, — всё равно помирать, — с вождением глядел, как из сапога телохранителя появляется плоская фляга с коньяком.

Через некоторое время друзья блаженно вглядывались в необъятную даль такого синего Чёрного моря.

— Как, по-твоему, Петька, хитра голь на выдумки? — катал во рту виноградинку царь.

— Очень хитра, Ваше Величество, — напустив морщины раздумья, отвечал Черевин.

Потом глубокомысленно помолчали.

— Всё-таки, Ваше Величество, мы с вами не дураки! — пришёл к выводу начальник охраны.

— Нет, Петька, не дураки, — через некоторое время, сжевав виноградину, соглашался император.

С кем и расслабиться, как не с другом.

Правда, бдительная Мария Фёдоровна тут же прогоняла красноносого генерала.

С большим уважением она относилась к другому приятелю монарха, его боевому товарищу Максиму Рубанову. Ей нравился этот высокий и стройный светловолосый мужчина с голубыми глазами. Она любила танцевать с ним на балах, ей нравились его шутки и остроумная беседа, нравилось, что он вовремя мог сказать комплимент.

Прощаясь, императрица всегда благосклонно протягивала руку для поцелуя Свиты Его Величества генерал-майору Рубанову.

Вот и сейчас, сменив Черевина, он увлечённо беседовал с императором о последней русско-турецкой кампании.

— А как славно, Ваше Величество, мы провели форсирование Дуная в июне 1877 года. Так славно и тихо, что неприятель ничего не слышал. Ровно в полночь плоты и паромы отвалили от берега...

— Издалека всё выглядит славно, — перебил его государь, — а на середине Дуная течением и ветром плоты стало сносить, потому и высадка произошла не одновременно всеми силами. Турки успели занять крутые берега Дуная, и нам не сладко пришлось, — в волнении замолчал он, вспоминая дни далёкой молодости, когда ещё не был императором.

— Но каковы волынцы? — напомнил государю фронтовой эпизод Рубанов. — Сорок человек третьей стрелковой роты с помощью шанцевого инструмента и ружей взобрались на крутую вершину и штыками выбили неприятеля.

Глаза императора загорелись задорным блеском.

— А какие трудности, Максим, мы перенесли с тобой на Шипкинском перевале.

— Конечно, помню, Ваше Величество, а каким молодцом вы себя там показали... Ведь мороз, метель, да что там метель, снежный ураган, — расстегнул пуговицу кителя от жары Рубанов, но тут же вновь её застегнул, дабы не нарушать форму одежды, — снега три четверти аршина выпало, а в некоторых местах — по полутора сажень, и в таких условиях мы держали оборону.

— Ваш батюшка, генерал-лейтенант Аким Максимович Рубанов, помнится, получил там ранение.

— Никак нет, Ваше величество, ранение он получил при взятии Плевны. А особенно его подкосила гибель вашего родителя от бомбы полячишки Гриневицкого. Батюшка пережил своего любимого императора на десять дней и 11 марта 1881 года ушёл из жизни...

— Да-а, Рубанов, скоро я увижу наших родителей, — загрустил император.

— Да что вы, Ваше Величество... — не закончив фразы, Максим умолк.

Они были военные люди и не раз встречались со смертью. Он видел, что император очень и очень плох.

— Всё в руках Божьих! — задумчиво произнёс Александр. — О России мысли мои... Ведь скажи по совести, — взглянул он на друга, — рано сыну садиться на престол... Рано! Я рассчитывал ещё лет пятнадцать-двадцать править Россией. Мне ведь только пятидесятый год... Не подготовил наследника... не подготовил. Рубанов, будь другом, принеси мороженого, лоб что-то взмок, — сменил тему монарх.

— Ваше Величество, — стушевался Максим, — врачи же запретили.

— Я что тебе, уже не государь? — перебил его Александр, и через несколько минут с удовольствием обедался мороженым. — Всю жизнь люблю то, что вредно, — подвёл он итог.



Поезд, стуча колёсами на стыках рельсов, вёз Алису Викторию Елену Луизу Беатрису, принцессу Гессен-Дармштадтскую в Россию.

Временами сердце замирало от того неизвестного, что ожидало её в этой необъятной снежной стране, царицей которой ей предстояло стать.

«И я, внучка английской королевы Виктории, достойна этого».

Необъяснимое беспокойство заполняло душу и не давало молодой двадцатидвухлетней принцессе спать.

«Ну чего я волнуюсь? — успокаивала себя, подбивая кулачком мягкую подушку и вслушиваясь в однообразный стук колёс. — Ведь я еду к любимому человеку, к своему Ники. В первый визит Россия и общество не приняли меня... но это было очень и очень давно, целых пять лет назад... И что тогда я из себя представляла? Гадкого утёнка. Плохо одета в сравнении с русскими аристократами, но за это должно быть стыдно моему отцу, герцогу Людвигу, и лишь от этого я была стеснительная, нервная и надменная. К тому же тогда я просто гостила у своей сестры Эллы, супруги Великого князя Сергея, царского брата, а теперь... — поднялась она с мягкого дивана, включила свет и достала из шкатулки кольцо с розовой жемчужиной, браслет с крупным зелёным изумрудом и бриллиантовую брошь с сапфиром. — Подарки моего Ники к помолвке», — поцеловала каждую из драгоценных вещей.

«С ума сойти, — открыв глаза, подумала спавшая на соседнем диване репетиторша по русскому языку мадам Шнейдер, — будет что рассказать Марие Фёдоровне... украшений никогда не видела... целуется с ними», — сделала вид, что крепко спит.

«А вот и подарки императора Александра, — достала из небольшого ларца изумительное жемчужное ожерелье, но целовать его не стала. — Шнейдрисса говорила, что сделал его знаменитый дворцовый ювелир Фаберже, — глянула на свою соседку по купе, которая в это время начала громко храпеть, чтоб сойти за спящую. — Как это по-русски? Храпит по-коровьи, — примерила ожерелье. — Как императорская чета не противилась, а вышло по-моему, — радостно подумала она, — Ники стал женихом, а скоро будет и мужем».

Здоровье императора вновь начало ухудшаться, и на этот раз всем стало ясно, что конец близок.

Надежд не оставалось.

В Ливадию приехали братья царя, Великие князья Сергей и Павел.

По просьбе митрополита Палладия в специальном поезде королевы эллинов Ольги Константиновны и матери её, Великой княгини Александры Иосифовны прибыл в Севастополь священник Иоанн Кронштадтский, чей портрет висел в каждом доме православного русского человека. Из Севастополя в Ялту они отправились на военном корабле «Память Меркурия».

При Дворе царя неразбериха. Министр Двора Воронцов-Дашков устраивал прибывавших и прибывавших гостей и абсолютно забыл о существовании принцессы Алисы, которой пришлось добираться до Крыма как обычной пассажирке, хотя, по протоколу Двора, невесте цесаревича полагался специальный поезд.

Чтобы напомнить о себе, она телеграфировала, что желает как можно скорее принять православие.

Духовник императора пресвитер Янышев загордился, услышав о таком желании, ведь это он весной вместе с цесаревичем ездил в Кобург, где в то время проживала Алиса, дабы «направить её на путь истинный и обратить в православие».

Всполошившийся жених срочно отправился в Симферополь встречать наречённую.

— Боже, что за радость встретить тебя у себя на родине и быть рядом, — нежно целовал свою невесту.

Русский император был прост в еде и одежде, чем заслужил реплику королевы Виктории: «Что это монарх, которого она не считает джентльменом».

Но королева ошибалась. Русский царь был настоящим джентльменом!

Для встречи невестки и сына он с трудом поднялся с постели, облачился в специально пошитую для этого парадную генеральскую форму.

А ведь только вчера, 9 октября, он принял своего духовника и приобщился перед смертью Святых Тайн.

Он знал, что обречён.

— Сашка, ты же болен, лежи в постели, — умоляла его жена.

— Дагмара, ты не понимаешь, я должен приветствовать будущую императрицу стоя, а не лёжа.

От слов «будущую императрицу» Мария Фёдоровна чуть не потеряла сознание.

«Господи! Неужели когда-нибудь это случится...», — стоя рядом с мужем, думала она, глядя на коленопреклонённых сына и невестку, получающих благословение царя.

В этот же день император узнал о приезде Иоанна Кронштадтского.

Александр очень ценил отца Иоанна, мысли коего о России созвучны были с мыслями самого императора, и ему вспомнился рассказ Победоносцева о встрече со священником: «Когда секретарь доложил, что отец Иоанн прибыл, я несколько времени продержал его в приёмной и затем пригласил в кабинет. Пастырь не выглядел раздражённым. “Говорят, святой отец, что вы творите чудеса?” — обратился к нему. “Я, Ваше Величество, как вы знаете, религиозный человек, и верю в догматы Православной церкви и в то, что раньше умели творить чудеса, но чтобы сейчас. Ведь ходит легенда, что как-то его позвали причастить умирающую девочку. Он глянул в лицо умирающего ребёнка, и душа зашлась от жалости. Тогда вместо отходной он прочёл молитву о здравии... И больная перестала задыхаться”. “Будет жить”, — положил ладонь на лоб девочки, и поражённая мать увидела слабый румянец на щеках дочери. Упала она на колени перед отцом Иоанном. Девочка выздоровела. Или случай на Соборной площади, свидетели которого множество людей. Увидел пастырь мальчика с повязкой на глазах. “Что с ним?” — спросил у отца. Тот объяснил, что ребёнок высунулся из окна вагона и искры от паровоза сожгли глаза. После этого сын ослеп. — “Доктора говорят, что зрение не вернётся”. — “Вернётся!” — произнёс священник и, перекрестив, осторожно снял повязку, под протестующие речи отца. Каково же было потрясение родителя, когда мальчик бросился к нему со словами: “Папа, я вижу!” Отец ребёнка был лютеранин, но он попросил Иоанна крестить его с сыном в православную веру.

Об этом писали многие газеты. Так вот, Ваше Величество, на мой вопрос о чудесах он ответил: “Творю не я, а Бог по моей молитве!” Так он сказал это, что понял я — предо мной стоит святой!.. И я, тайный советник и обер-прокурор Святейшего синода пал пред ним на колени и попросил: “Благослови, отче!” И после с благодарностью поцеловал его руку. Простому батюшке. Вот оно — чудо! Ведь предо мной епископы потеют от страха...»

«Мне обязательно следует увидеть преподобного и помолиться с ним, — решил император. — Не за себя... За Россию!» — велел пригласить к себе отца Иоанна.

В отличие от Победоносцева, он сразу приказал провести в кабинет священника и встретил его стоя, как особу, равную по значению себе. Государь поклонился святому отцу и произнёс:

— Я не смел сам пригласить вас в такой далёкий край России, — мучился он от одышки, но продолжал, — однако, когда Великая княгиня Александра Иосифовна предложила мне при-

гласить вас в Ливадию, я с радостью согласился на то и благодарю, что вы прибыли.

При виде государя отец Иоанн понял, что тот обречён.

Братья царя, его жена и племянники были убиты горем. Они собирались в гостиной первого этажа и вели бесконечные разговоры об умирающем императоре.

Лишь Николай с невестой, стараясь не попадаться на глаза родственникам, предавались своему счастью. Они уходили на берег моря и там украдкой целовались, загораживаясь зонтиком от случайных свидетелей.

Николай любовался высокой голубоглазой девушкой в белом платье, а она восторгалась его открытым лицом и мягкой, немного робкой, но такой обаятельной улыбкой.

«Как мой Ники нежен и прост, готов любить каждого...»

— Ники, как ты жил без меня? — бросив пиджак на плоский, нагретый солнцем камень, сидели на нём, любуясь морем.

— И грустно, и весело... Ездил верхом, танцевал на балах, слушал оперу, посещал балет и театр, и ждал... ждал... ждал!

— И что же ты ждал? — жмурилась она от солнца и счастья, почти угадывая ответ.

— Ждал тебя... Я всё это время ждал Тебя!!! — кричал он морю, солнцу, ветру и чайкам.

Она шутливо закрывала ему рот рукой в душистой перчатке.

— Ждал Тебя, — поцеловав её пальцы, и чуть отстранив её руку, вновь кричал он.

— Тише! Тише! — задыхалась она от счастья, от его рук и губ. — Ну расскажи! Расскажи! Расскажи о себе?! — просила она.

— Да особо нечего рассказывать. Жизнь без тебя была глупа, безумна, бездарна и пуста. Но я не знал этого и жил... Зимой катался на коньках, наслаждаясь морозом. В сумерках ужинали в полутёмной гостиной, и я летел на балет или в оперу, или в театр. Мне нравились «Евгений Онегин» и «Борис Годунов». Я наслаждался «Спящей красавицей» Чайковского...

— И до меня дошли уже слухи, — несколько сухо произнесла Алиса, — что наслаждались вы и балеринами, — увидела краску на щеках жениха. — Вот, сударь, вы и покраснели...

— Всё это было до вас.

— И что же было? — совсем сухо спросила она.

— Матильда Кшесинская. Но я не любил её. Она мне просто нравилась. Помнишь, я давал тебе читать свой дневник. Там всего-навсего и было написано: «Положительно Кшесинская меня очень занимает».

— Конечно, помню, — перестала она чертить зонтом на песке, — а дальше следует надпись: «Кшесинская мне положи-

тельно очень нравится». Я ещё тогда хотела спросить об этой Кшесинской.

— Ну прости, прости меня. Люблю я только тебя, свою Аликс, — вновь целовал, сломив слабое сопротивление, её губы, волосы и глаза.

— Ну что ж, — вырвавшись из его объятий, произнесла невеста, — что было, то было... Я прощаю тебя! Потому как всю жизнь тоже ждала... ждала... ждала. Тебя!

На следующее утро она вручила ему письмо на английском, которое он тут же, при ней, прочёл: «Что прошло, то прошло и никогда не возвратится. Мы все терпим искушения в этом мире и, будучи ещё молоды, не всегда можем бороться и удержаться от искушений, но, когда мы раскаиваемся, Бог прощает нас... Прости меня за это письмо, но я хочу, чтобы ты был совершенно уверен в моей любви к тебе, в том, что я люблю тебя ещё более, чем до того, как ты рассказал мне этот маленький эпизод, твоё доверие тронуло меня так глубоко... может быть, я буду достойна такого доверия... Боже, благослови тебя, возлюбленный Ники».

Растроганный Николай нежно-нежно поцеловал свою невесту.

— Ники, мы ничего не должны скрывать друг от друга... Не письма, не дневники.

— Но я же веду дневник на русском языке.

— Эт-т-то ничего... Я разберусь, — поцеловала жениха в губы. — Мадам Шнейдер на совесть учит меня грамоте. И что ты дарил этой балеринке? — вопросительно глядела в любящие глаза цесаревича. — Ники! Мы же договорились...

— Золотой браслет в бриллиантах и с большим сапфиром, — терялся перед женским напором Николай.

— Ники-и-и! Ты чудовище!.. Но я вновь прощаю тебя. А сейчас пойдём, почитаем дневник. Ты помнишь день нашей помолвки? — сидя рядом с женихом на диване, спросила Алиса.

— Будто это было вчера. Тогда брачная церемония твоего брата Эрнста собрала в Кобурге весь цвет царствующих Дворов Европы, но свадьба Великого герцога никого не интересовала, — хохотнул Николай, — все увлечённо занимались нашим сватовством.

«День стоял холодный и серый, — читала строки дневника Алиса, — но на душе было светло и радостно», — Ники, ты душка, — чмокнула в щёку жениха и с интересом, по слогам, продолжила чтение: «В 10 часов моя несравненная Аликс зашла за мной, и мы отправились вместе пить кофе у королевы».

— А ранним утром меня разбудили звуки команды и топот копыт по булыжной мостовой, — оживлённо произнёс Николай, — это королева Виктория послала к моему дому роту драгун, чтобы поздравить с помолвкой.

— Как ты мог спать, Ники! Я в ту ночь совсем не спала.

— И зря! Потому-то на фотографии в тот день ты получилась сонная... но хорошенькая, — быстро исправился он.

«...Спроси у Аликс, какой камень она любит больше всего — сапфир или изумруд? Я хочу знать это на будущее», — читала Алиса.

— Скажи своей маме, что больше всего мне нравится бриллиант...

«Но в тот раз она сделала тоже приятный подарок, — подумала Алиса, — послала мне браслет с изумрудом и прекрасное, в драгоценных камнях, пасхальное яичко».

Устав читать, отложила в сторону дневник.

— А сколько пришло поздравительных телеграмм из России, — с гордостью произнесла Алиса.

— Если бы ты знала, как мне надоело отвечать на них, ведь расцветала весна, все ездили кататься в колясках...

— Но зато мы оставались одни, гуляли по саду, вдыхали аромат цветов и целовались у голубого пруда с золотыми рыбками. Это были десять дней блаженства... А потом ты уехал...

— Прочти, Аликс, что я написал по этому поводу, — нашёл он нужную страницу.

«Какая печаль быть обязанным покинуть её надолго, как хорошо нам было вместе, просто рай».

— Мой Ники! Как я люблю тебя!

Десять дней продолжалось счастье Алисы.

«Вторая прекрасная декада после Кобурга, — думала она. — Но впереди вся жизнь... Роскошная, в цветах и бриллиантах жизнь... А Гёте говорил, что за свою долгую жизнь пережил всего одиннадцать счастливых дней... Бедный Гёте!»

— Ни на кого не глядит, словно мы недостойны её внимания, — сетовала за вечерним чаем сорокалетняя Великая княгиня Мария Павловна, жена Великого князя Владимира, брата Александра Третьего. — Подумаешь, принцесса Дармшматская, — специально исковеркала название княжества. — А я из дома Мекленбург-Шверинского, — с гордостью оглядела своих сыновей — Кирилла, Бориса и Андрея: «Какая жалость, — подумала она, — что мой супруг на два года младше императора... Как прекрасно выглядело бы, случись всё наоборот!»

Неожиданно её поддержала Мария Фёдоровна:

— Её нищий папа, герцог Людвиг, абсолютно не воспитывал свою дочь, не привил ей самых элементарных навыков этикета... Недавно взяла суп с подноса лакея прежде меня.

— Да, да, а моего сына, Кирилла, просила подать ей кусочек жареной птицы... Господи! Какое невежество. Должно опре-

делить, чего именно желаешь: утку, кашлуна, курицу, рябчика... а не вводить молодого человека в замешательство.

«Тоже мне, вежливые, воспитанные барышни, — краснела лицом жена другого царского брата — Сергея, Великая княгиня Елизавета, или Элла, как чаще её называли, родная сестра обсуждаемой особы. — Меня не стесняются, ведь знают, что обидно их слушать... А сама-то Мария Павловна, — вспомнив приятное, подавила набежавший смехок, — протянула лакею, чтоб налил рейнвейна, рюмку зелёного стекла, хотя, согласно этикету, этот напиток наливают в плосковатые рюмки тёмного стекла, а зелёные нужны для токайского... И тоже мне, нашла, чем хвалиться... из Мекленбург-Шверинского дома она... не дом, а убожество...»



Двадцатого октября император пригласил к себе жену, детей, родных и некоторых придворных.

Неизвестно почему, но он знал, что день этот будет его последним днём на земле.

Ум его был ясен. С тоскливой нежностью глядел он на любимую женщину и детей.

— Дай свою руку, — попросил жену и последний раз в жизни ощутил тепло её ладони. — Я любил тебя, — ласково глядя на неё, прошептал Александр. — Люблю... И буду любить тебя там...

Императрица беззвучно рыдала, чувствуя, что всё кончено... С болью ощущая каждую секунду уходящей жизни: «Как мне их задержать, как мне их задержать...», — сжимала руку мужа, с детской надеждой думая, что пока она держит её, муж не уйдёт... не может уйти... ведь она не отпустит его...

Будто во сне она видела, как сын подписал какой-то манифест, и даже в голове её отразилось несколько строк: «От Господа Бога вручена нам власть царская над народом нашим... перед престолом Его мы и дадим ответ за судьбы державы Российской».

Затем в том же сне наяву она увидела отца Иоанна, возложившего руки на голову мужа.

«Зачем? — подумала она. — Зачем он делает это?... Я хочу проснуться...», — вдруг почувствовала, что рука мужа стала тяжёлой и холодной, и поняла, поняла, проваливаясь куда-то в туман и небытие, что она не смогла удержать его... что его больше нет... что последняя секунда его жизни ушла с последним его выдохом...

В этот момент раздался гром пушек на военных кораблях, стоявших в Ялтинском заливе. Флот прощался со своим императором.

В конце дня перед дворцом установили алтарь, и священник в золотом облачении приготовился принимать присягу...

Рубанов заменил Петру Черевину его царственного друга, и весь вечер они вспоминали императора, разбавляя слёзы крымским вином.

Утром следующего дня, пошатываясь после помин, грешники пошли в церковь, замыкая небольшой хвост из родственников нового царя, и присутствовали на обряде обращения в православие немецкой принцессы.

— Когда прийдём во дворец, будет повод опохмелиться, — поддерживали генералы друг друга.

Церковная церемония не произвела на друзей никакого впечатления, в отличие от нового самодержца, который издал свой первый указ, провозгласив новую веру, новый титул и новое имя Алисы Гессенской, ставшей теперь православной великой княгиней Александрой Фёдоровной.

Уже другой, уверенной походкой шагала она по задрапированному в чёрное дворцу.

— Аликс, ты поразительно хорошо и почти без акцента прочла молитвы, — целуя её перед сном, произнёс Николай.

В конце недели гроб на броненосце «Память Меркурия» перевезли в Севастополь, а оттуда, на траурном поезде — в Москву.

Мария Фёдоровна осунулась и постарела от тоски и горя. Ночами, в бредовом полусне, из которого всё не могла выйти, она нежно обнимала гроб и в забытии шептала:

— Ну зачем, зачем ты покинул меня... ведь я так тебя люблю...

А вокруг свечи и молитвы священника...

— Саша... — шептала она, — ты помнишь, в этот день была наша свадьба... Много света, цветов и улыбок, — ласково гладила гроб. — Да уберите вы свечи, — подняв голову, закричала она, — и несите свадебные цветы, — обнимала драпированный пурпуром гроб.

Вошедший брат почившего царя, вытирая слёзы со своих щёк, бережно уводил её в купе.

В Москве катафалк с гробом повезли в Кремль. Несмотря на дождь, тротуары были запружены народом. Москва прощалась с императором.

— Это Бог плачет над нашим царём, — рыдала одетая в чёрное вдова чиновника. — Как мы теперь будем без него?..

Прежде чем въехать в Кремль, десять раз останавливалась траурная процессия, и на ступенях десяти церквей служили литургии.

Николай не понял ещё до конца, что стал императором огромной державы. А в Георгиевском зале Кремля предстояло держать речь... А он никогда этого не делал, не привык и терялся перед скоплением народа. Ведь, в сущности, он был ещё очень молод и неопытен.

Саму-то речь сочинил Победоносцев, но от волнения она абсолютно не шла в голову.

«Что делать? Что делать?» — переживал он.

Своего императора выручил похмельный Рубанов, потому как трезвому человеку такая мысль вряд ли придёт в голову.

— Вы, Ваше Величество, положите листок с речью в шапку, а как снимете её перед народом, так и читайте...

Первое выступление царя прошло превосходно, и он был благодарен генералу.



Поезд с телом императора приближался к вокзалу столицы Российской империи.

Максим Акимович Рубанов жадно глядел в окно, мечтая увидеть в толпе встречающих свою жену.

«Может, заболела? — беспокоился он. — Или дети?» — с надеждой взгляд его переходил с одного лица на другое.

Да ещё мешали выстроившиеся на платформе в ряд красные с золотом придворные кареты, обитые чёрным крепом.

И тут он увидел жену, стоявшую у кареты и вглядывающуюся в каждое вагонное окно.

Максим заколотил ладонью по стеклу, но её отвлёк кучер, решивший подогнать экипаж поближе к вагону.

Приказав денщику заниматься вещами, он бросился к выходу. На его счастье, состав резко дёрнулся и остановился.

Максим первым вышел из вагона и, оглябая кареты и толкая людей, побежал к тому месту, где недавно заметил супругу.

Растерянная, она глядела по сторонам, не надеясь в такой толкотне встретить мужа, и вдруг почувствовала на глазах тёплые ладони и прикосновение таких родных губ к щеке.

Она обернулась и, всхлипнув, обхватила за шею Максима, сбив с его головы фуражку.

— Я ждала... я ждала... — бессвязно лепетала она, наслаждаясь слабым запахом дорогого мужского одеколона и чуть не теряя сознание от мягких и требовательных его губ.

Она не замечала, что их толкают, что они стоят на проходе и мешают другим.

В чувство их привёл наглый дворцовый кучер, похлопавший по плечу Рубанова.

— Господин генерал...

«Про себя он, наверное, ещё кое-что добавил», — прыснула смехом Ирина Аркадьевна, проведя рукой по начинающей сесть, небольшой бородке мужа.

— Да пошёл-ка ты, братец... — миролюбиво произнёс Рубанов и, оборвав фразу, прикрыл рот ладонью. — Пардон, мадам, — шутливо извинился перед женой.

Та хотела сказать: «Чему только не научишься от нашего императора», — но вспомнила, что того больше нет, и радость от встречи померкла.

Ей нравился этот простой, великодушный и справедливый монарх, тринадцать лет нёсший на могучих плечах груз правления огромной державой.

Быстрым шагом прошёл жандармский офицер, вяло козырнув Рубанову, тот так же вяло ответил, взял жену под руку и повёл к выходу, вспомнив, что на голове нет фуражки.

Ветер трепал его белокурые, подёрнутые сединой на висках волосы.

Начал накрапывать дождь, и жена попыталась раскрыть зонтик, но передумала в такой толпе.

— Максим, ты простудишься, — ускорила шаг.

На привокзальной площади шпалерами стояли войска. Приглушённая дробь барабанов и приспущенные флаги с чёрной траурной лентой навевали грустное настроение.

Какая-то пожилая дама в немодной шляпе с сиреневыми цветами прижала к губам платок и, не отрываясь, глядела на широкий вход с круглыми часами над ним.

В ту же минуту появились траурные кареты. Толпа замерла. Офицеры вытянулись, отдавая честь отправившемуся в последний путь императору.

Женщины плакали, вытирая глаза мятыми мокрыми платочками.

Всё стихло. Только цокот копыт. Дробь барабанов и стук колёс по мостовой. Неожиданно и резко зазвонили колокола... На всех церквях российской столицы.

Самая последняя, в открытом экипаже, одна, ехала новая императрица.

Александра Фёдоровна не смотрела по сторонам, лицо её закрывала густая вуаль.

«Она пришла к нам за гробом!» — выкрикнула пожилая дама в старой немодной шляпе.

Ещё издали, из открытого экипажа Максим увидел свой огромный пятиэтажный особняк, два первых этажа которого принадлежали ему. Генеральский оклад и рубановские доходы позволяли содержать двенадцать комнат второго этажа: гостиную, кабинет, столовую, библиотеку, бильярдную, спальную, будуар жены, детские и комнаты для гостей. На первом этаже располагался просторный банкетный зал, кухня, комнаты для гостей попроще и прислуги. Во внутреннем дворе Рубанову принадлежали экипажный сарай и конюшня с прекрасными рысаками.

Дома Максима Акимовича встречала вся семья. Даже две. Его и младшего брата, Георгия, профессора Императорского Санкт-Петербургского университета.

Аким и Глеб бросились к отцу. Он по очереди поднимал их и целовал.

«Этот совсем мой», — прижимал к себе светловолосого голубоглазого Глеба, одетого в новенький кадетский мундир.

Глаза мальчишки светились счастьем от встречи с отцом.

«А этот мамин, — подняв к лицу, целовал старшего сына, чувствуя слабое сопротивление последнего. — Недоволен, что как маленького подбрасываю, — погладил по чёрным волосам и со вздохом глянул на синий гимназический мундир с девятью светлыми пуговицами и узким серебряным кантом по воротнику. — А всё жена и мой либеральный братец... Ведь я-то мечтал отдать сына в Пажеский или Кадетский корпус», — обнял своего брата, а затем его супругу, стройную невысокую женщину с пышными каштановыми волосами.

Следом за родителями к Максиму подошли племянник и племянница.

Не столько подошли, сколько их подтолкнула гувернантка.

— Здравствуйте, мадемуазель Лиза, — помня недовольство старшего своего отпрыска, нагнулся к серьёзной девятилетней девчужке Максим и чмокнул в щёку.

Четырёхлетний брат её, Арсений, испугался поднявшейся суеты и поднял рёв.

Все кинулись успокаивать мальчишку.

— А вот глянь, что тебе дядя привёз, — вовремя заметил денщика Максим Акимович.

Тот, сопя от усердия, подтащил к своему богу и начальнику объёмистый баул, из которого Рубанов-старший по очереди выуживал: коричневого плюшевого медвежонка — плаксе, красивую нарядную куклу — девочке, толстую книгу с красочными рисунками зверей — Акиму и маленький паровоз с рельсами и вагонами — Глебу. И всем вместе огромный пакет с белыми и красными кирпичиками, над которыми можно часами пых-

теть, строя дома, мосты, крепости, замки и долго не приставать ко взрослым.

Пузатый денщик вместе с мадемуазель Камиллой и ещё одной гувернанткой увели ребят в детскую, а взрослые, после общения со своими чадами, облегчённо улыбались и переглядывались.

— Чего моргаете-то друг другу? — почувствовал подвох Рубанов-старший.

— Сюрпри-и-и-з! — несколько стеснительно произнёс Рубанов-младший, и по его сигналу полногрудая молодая кормилица внесла в гостиную ещё одно чадо, завернутое в белянский пакетик с голубеньким бантиком.

— Это чего там такое находится? — счастливо засмеялся Максим.

— Ещё один твой племянник, — скромно потупился брат. — Сам не знаю, как он получился.

Женщины при этих словах всплеснули руками, а Максим Акимович бережно взяв у кормилицы свёрток, произнёс:

— Могу вам напомнить, господин профессор.

— Хватит, хватит! — остановил его Георгий. Знаю твой армейский юмор.

— Родился в день смерти нашего императора, — с лёгкой грустью в голосе и огромным счастьем в глазах произнесла Любовь Владимировна, забирая у Максима ребёнка.

— Любаша, — обратился к жене Георгий, отдай его кормилице, да и за стол пора, — потёр он одна о другую белые ухоженные руки с тонкими пальцами пианиста.

В ту же минуту Максим Акимович почувствовал необычайный аппетит.

— Действительно, дамы и господа, пора кормить путешественника, — первым направился в столовую.

— За почившего императора, — поднял он тост. — Выпьем, не чокаясь. Мощный был человек, и мощная стала при нём держава.

— С этим ещё можно поспорить, — вскинулся младший брат — профессор, философ и историк, то есть русский интеллигент, в среде которого хвалить императора и власть считалось дурным тоном.

— Мужчины, мужчины, успеете ещё поспорить, смотрите, стол-то какой, — направили братьев от пищи умственной к пище насущной их жёны.

— Как там Рубановка? — немного насытившись, поинтересовался Максим Акимович.

— На месте! — лаконично ответила жена.

— Понял! — кивнул он головой, рассмешив общество. — Чего я смешного сказал? — налил всем шампанского — обеда-

ли одни, без лакеев. — А теперь за нового императора Николая Второго.

Брат опять встрепенулся и вновь все рассмеялись.

Они были счастливы оттого, что вместе... Что дети здоровы... Что в семьях достаток... Что удачна карьера...

— Ну а как Ромашовка? Вотчина моего брата.

— Чугунные ворота на месте, длинная липовая аллея всё такая же ровная, а из каменной белой беседки по-прежнему видна Волга, а не Иртыш, — поставив пустой бокал на стол, ответила Ирина Аркадьевна и смешливо фыркнула, глянув на мужа.

Настроение её было прекрасным, она разыгралась как маленькая девочка и постоянно задирала своего супруга.

Игривый её настрой передался всем.

— Кстати, — вспомнил Максим Акимович, — а как называли ребёнка?

Брат с женой сделали вид, что не услышали вопроса, а Ирина Аркадьевна прыснула в кулачок.

— Не понял! — повертел свой бокал старший Рубанов.

— Назвали в честь тебя — Максимом, — смело ответила его жена.

— Ка-а-ак Максимом? — возмутился он. — Да вы что?! — даже встал со своего места. — Георгий! Ты разве не знаешь наших семейных традиций? Ты разве не знаешь, что только старший в семье должен носить это имя? — разволновавшись, стал ходить он по комнате.

Любовь Владимировна барабанила пальцами по столу, а её супруг впервые не находил слов.

Выручила всех Ирина Аркадьевна.

Подойдя к мужу и нежно обняв его, она попыталась объяснить, чем они руководствовались.

— Ведь в этот день не стало императора... И чтоб сделать тебе приятное.

— Вы должны были назвать его Александром или посоветоваться со мной, — перебил её. — Эти либералы, — немного успокоившись, глянул на брата, — всё хотят перевернуть с ног на голову: «В принципе будет не так уж и плохо, коли на свете появится ещё один Максим». — Но знайте! — делая грозный вид, произнёс он. — Парень станет военным.

На что брат утвердительно кивнул головой, но сложил под столом из трёх своих музыкальных пальцев некую искусную, но не слишком интеллигентную комбинацию.

Для разнообразия пошли посмотреть, чем занимаются дети.

Под руководством денщика, которого они ласково звали Антипушкой, ребята с восторгом следили за паровозом, тащившим за собой маленькие вагончики. Паровозик не только усердно пыхтел, но и пускал самый настоящий пар.

— Как он это делает? — вновь рассмешила всех Ирина Аркадьевна, опустившись на колени и разглядывая рельсы и игрушечный состав.

— Мадам! — издалека начал объяснять денщик. — Если налить в него воды и зажечь внизу спирт... который непременно норовит кончиться...

— ...И почему-то пахнет из денщика, — продолжила она за него, чем ввела компанию прямо-таки в гомерический хохот.

Антип сделал вид, что не расслышал, а мадемуазель Камилла подумала, что барыня поступает неразумно, так панибратски разговаривая с денщиком, у которого не только конопатая прохиндейская рожа, так как сам он из приказчиков, но и наглые длинные руки, совершенно незнакомые с этикетом.

Когда через некоторое время родители во второй раз зашли наведать своих отпрысков, то денщика с мадемуазель Камиллой и вовсе не было в комнате, а вторая гувернантка наизусть читала детям Пушкина, немного перевирая слова:

— Через моря, через леса колдун несёт богатыря...

— Так не бывает, — стала спорить и опровергать гувернантку Лиза. — Летать могут только птицы. Так папа говорит.

— И колдуны могут! — заступился за кудесников Аким. — Да ещё как!

— А ты видел? — смутила его маленькая кузина.

— Не видел, но знаю, — уже не так уверенно спорил он.

«Какая у меня умная дочь!» — восхитился Георгий.

А Максим Акимович почему-то грустно глянул на девочку.

— Господа! Господа! Мужчины, где шампанское? Наполняйте бокалы, — чуть заплетающимся языком, нараспев произнесла Ирина Аркадьевна.

За мужчинами, разумеется, дело не заржавело. В принципиальных вопросах профессора не уступали генералам.

— За что пьём? — поинтересовался Максим Акимович, ибо его фантазия начала давать сбой, хотя за последние годы службы в Свите императора пить приучился за что угодно и когда угодно.

— За тебя, милый! — подошла к нему жена с полным бокалом. — Пьём за ещё одного новорождённого, которому в сентябре исполнилось пятьдесят и ещё один год, — медленно выпила полный бокал и сладко-сладко поцеловала «новорождённого» в губы. Целовала так долго, что у Максима даже закружилась голова.

— Смотри, Ирка! От таких поцелуев потом дети появляются, — со смехом предупредила её младшая сноха и подруга.

Женщины были очень дружны, у них было много общего: одинаковое воспитание, одинаковое образование — обе окончили Смольный институт и по возрасту почти ровесницы. Ири-

не Аркадьевне весной исполнилось тридцать лет, а её подруге — двадцать девять.

Мужья были намного старше.

Хотя квартира брата находилась всего в двух кварталах, домой их не отпустили и оставили ночевать. Благо, места хватало.

Наконец Максим остался наедине с женой. Голова чуть кружилась от выпитого.

У Ирины Аркадьевны голова кружилась много сильнее — она-то не служила в свите императора. Снимая платье, захватила и оборвала нитку бус, рассыпав жемчуг по полу. Рассмеявшись, погасила свет, оставив лишь настольную лампу.

Максим сбросил китель и подошёл к жене.

— Я люблю тебя.

В спешке приезда забыли занавесить окно, и круглая жёлтая луна, словно прожектор лучом, освещала женское тело, придавая ему какой-то колдовской оттенок.

Женская фигура казалась нереальной, полной тайны, мистики и любви.

Хмель выходил, и Ирина Аркадьевна застеснялась глядеть на высокого, полураздетого, стройного мужчину и, сидя на постели, стыдливо опустила голову, положив руки на колени и прижав локти к бокам, стремясь прикрыть крепкую свою, высокую грудь... но этим только выставила её напоказ и напомнила Максиму древнюю статуэтку из слоновой кости, которую видел в музее.

От женской фигуры веяла тонкая аура страсти и стыда, порока и скромности.

Он любовался своей женой как великим произведением искусства, как опытный ценитель и знаток любителю Мадонной Рафаэля.

Ночь была волшебна. Несмотря на позднее время, где-то играл рояль, и казалось, что он играет высоко над ними, даже над землёй. Звуки изнывали от тоски, от любви, от страсти...

— Это ангелы нам играют, — шёпотом, едва касаясь губами её уха, произнёс Максим.

Лёгкий стон слился с волной тихой музыки, и долго... долго-долго звучала эта библейская песнь любви...

Поздним утром, в коляске с поднятым кожаным верхом, вдвоём с женой, поехали в собор Петропавловской крепости, отдать последнюю дань уважения умершему императору, тело которого было выставлено в гробу для прощания.

В соборе горели свечи, слышался приглушённый женский плач, тоскливый распев молитв.

По очереди подходили к монарху и целовали икону, вложенную в руки, многочисленные короли и принцы, прибывшие со всех концов Европы в русскую столицу.

Последней, как и тогда, на вокзале, держась за руку Николая, плавно крестясь, медленно шествовала Александра Фёдоровна, и Рубанов увидел, что среди горя и слёз, чёрных священников и траурных лент она старательно прячет в глазах женское своё счастье.

Он глянул на свою жену и в отблеске свечей, в затуманенной от слёз глубине зрачков, увидел ту же любовь, которую немислимо сейчас показать, но которая существует и только ждёт, чтобы её вызвали из бездонной пропасти глаз, из глубин хрупкой женской души...

Смерть не страшна, коли существует любовь.

Жизнь всегда победит Смерть!

В ноябре, в церкви Спаса Нерукотворного Образа в Зимнем дворце, состоялась брачная церемония.

«Я устала от этих контрастов», — нервно вздыхала Алиса, стоя перед зеркалом в Зимнем дворце.

Она поднимала то одну руку, то другую, помогая сестре Николаю, Ксении, своей сестре Элле и Великой княгине Марии Павловне одевать её в свадебный наряд.

Непрерывно делая друг другу нарекания и язвя по-французски, они одели невесту в белое свадебное платье, накинув затем мантию.

Мария Фёдоровна помогала им советами, в свадебных хлопотах забыв на время об утрате. К тому же сегодня был день её рождения.

«Я устала от русских традиций», — приняла от свекрови сверкающую бриллиантами брачную корону и осторожно водрузила на голову.

Женщины бросились ей помогать и чуть не сбили корону на пол. «Ну почему, почему не опытные камеристки или горничные должны одевать меня, а именно дамы царской фамилии?», — раздражённо думала она.

Наконец одевание с горем пополам закончилось, и усталую невесту повели длинными галереями дворца в церковь, где с радостью и облегчением увидела одетого в гусарскую форму своего суженого.

— Ники! У меня ужасно болит голова, — прошептала она, держа в руке зажженную свечу. Я не думала, что выходить замуж так трудно.

На улице, когда ехали в Аничков дворец, ей стало легче, и настроение заметно улучшилось.

«Наконец-то я еду первая!» — с удовольствием разглядывала толпящуюся на тротуаре и чего-то орущую толпу.

— Любовь моя, твои подданные рукоплещут и приветствуют тебя, — чмокнул её в щёку, приподняв вуаль, довольный Николай.

Вечером, оставшись наедине с мужем, она растерялась.

— Подожди, подожди, милый Ники, — в шутку отбивалась она кулачками, — я сама расстегну эти пуговицы, а ты, чтобы меня не смущать, лучше принеси свой дневник.

— Дневник?! — опешил Николай. — А может, заменим его шампанским.

— Да, да, любимый, неси дневник и шампанское, одно другому не помешает.

«Наконец-то вместе, на всю жизнь, и, когда кончится эта жизнь, мы встретимся снова в другом мире и останемся вместе навечно. Твоя, Твоя!» — написала она.

Радость душила их. Они целовались и пили шампанское, пили шампанское и целовались...

И ангелы пели им гимн любви...

На следующее утро она записала в лежащем на столике и раскрытом всю ночь дневнике, придавленном пустой бутылкой из-под шампанского:

«Я люблю тебя! В этих трёх словах вся моя жизнь!»

И трагедия! В том, что кроме дневника и мужа, она никому не могла доверить свои чувства и мысли.



В конце ноября, в просторной десятикомнатной квартире Георгия Акимовича, две семьи отмечали сорокачетырёхлетие хозяина дома.

Рубанов-старший не любил друзей своего брата, поэтому профессорский состав Георгий пригласил на следующий день.

— Как там мой племянник? — после поцелуев и поздравлений, с уже возникшей любовью к маленькому тёзке поинтересовался у брата, и всей толпой пошли в детскую, где кормилица пышной грудью кормила дитя.

Тот не отвлёкся на посторонних дядей и тётей, а сосредоточенно посапывая, занимался своим делом.

Пока взрослые сюсюкали, восхищаясь малышом, Аким, с пробудившимся интересом разглядывал полную молока, белую, в голубых прожилках, грудь молодой женщины.

Она, как и её подопечный, не обращала внимания на вошедших, а наклонив голову и держа крупный коричневый сосок между средним и указательным пальцем, кормила ребёнка.

Акиму вдруг стало стыдно, и он опустил глаза к полу, а потом глянул на Глеба — вдруг наблюдает за ним, а после станет дразнить и смеяться.

Но тот, довольный, что родители забрали его в неурочное время на всю ночь из корпуса, смотрел в окно, ожидая, когда поведут за стол. Ему глубоко безразличны были и сопящий розовый карапуз, и кормилица, интересовал лишь предстоящий пир, так как поужинать в своей альма-матер он не успел.

Наконец взрослые, вдоволь налюбовавшиеся ребёнком и ведомые Глебом, направились в столовую.

— Господин кадет, — одёрнул его отец, — соблюдайте приличия и не бегите, всех расталкивая, к столу. Вы не в кадетском корпусе.

Но столько любви было в интонациях голоса, что Аким позавидовал брату.

— Надо было и младшего в гимназию отдавать, — поддержал Максима младший брат, — а то вырастет солдафоном.

Максим Акимович еле сдержался, чтобы не наругать имениннику.

— Вы читали в газете фельетон Амфитеатрова? — когда выпили и несколько насытились, спросил «новорождённый», саркастически кривя небольшие усики на гладко бритом лице.

— А что там? — заинтересовались женщины.

Максим Акимович с безразличным видом занимался куриной ножкой.

«Бурбон! Солдафон! — рассердился его брат. — Делает вид, что неинтересно».

— Описан недавно произошедший случай, — ответил женщинам Георгий Акимович, подставляя лакею рюмку для бургундского. — Слишком холодное! — сделал замечание, отведав вина.

«Сейчас бы мадемуазель Камилла занудливо попеняла, что неэтично воспитывать слугу перед гостями», — спрятала улыбку Ирина Аркадьевна, с любовью наблюдая за своими мужчинами.

Сегодня детей посадили вместе со взрослыми, и они, забыв нравоучения гувернантки, отдавали должное обеду, не забывая время от времени пинать друг друга под столом ногами.

— Мам, а что он... — жаловалась Лиза на Глеба.

— Глеб! Как тебе не стыдно, — делала замечание сыну Ирина Аркадьевна и гладила по голове девочку.

— Георгий! Ну ты скажешь, в самом деле, что написано в газетах? — возмутилась, наконец, его жена.

Ехидно глянув на брата, допив до дна рюмку и вытерев губы салфеткой, менторским профессорским тоном произнёс:

— Фельетон озаглавлен «Не всегда тащи из воды то, что там плавает» и повествует нам, как известный гипнотизёр Осип Фельдман, наслаждаясь природой на берегу моря, около Сестрорецка, вдруг увидел, что с мостков упал в воду старик в длинном пальто, и кинулся спасать его... и знаете, кого вытащил из воды?..

— Какого-нибудь пьяного профессора Санкт-Петербургского университета, — облокотился на спинку стула Максим Акимович.

— Нет! Вашего сподвижника и царского наставника, обер-прокурора Святейшего синода Константина Петровича Победоносцева, — многозначительно оглядел общество.

— Должна быть и от жидов какая-то польза, — подвёл итог сказанному Рубанов-старший.

— Что значит «от жидов»? — вскипел праведным гневом Георгий Акимович, холодными серыми глазами разглядывая брата. — И пользы России они принесли немало... Развивают промышленность и экономику, а сколько их в науке и искусстве...

— А сколько их в террористах и врагах государства?! — невозмутимо глянул на брата добрыми голубыми глазами Максим Акимович.

Ему не хотелось сегодня споров. Как всё прекрасно прошло в их первую встречу после Ливадии.

Но брат был другого мнения.

— Кого ты имеешь в виду? Договаривай, коли уж начал.

— Да хотя бы Веру Засулич, — вздохнул Максим Акимович: «Не дают сегодня спокойно пообедать».

— Так суд присяжных под председательством Анатолия Фёдоровича Кони вынес вердикт «Невиновна», и полицейская карета уехала пустой, — радостно потёр холёные белые руки профессор и сам налил в рюмку водки.

— Потому так произошло, что общество наше ещё не готово к введению института присяжных заседателей, — начал заводиться Максим Акимович, чем весьма ошастливил именинника. — Достоевский недаром в «Дневнике писателя» оспаривает многие вердикты присяжных, как незрелые! Им дали право судить, а не оправдывать явных убийц, так как доброта к преступнику есть жестокость к его жертве...

— Да какая же Засулич убийца? Она борец за справедливость... Наказала зарвавшегося от власти петербургского градоначальника Трепова, по приказу которого в тюрьме высекли студента.

— Да этот студент, перебив пива, плясал и матерился на паперти Казанского собора... На что нарывался, то и получил, — злился Максим Акимович. — Что же будет, ежели все начнут в церквях плясать и материться? Должно же быть что-то святое у людей? И печально, когда общество начинает восторгаться террором. Даже не общество в целом, а узкая группа, но в руках этой группы печать — газеты и журналы, и она делает настроение... Я уверен, будь присяжными крестьяне, приговор был бы иной. Ведь писали не о том, что она выстрелила в спину старому человеку, к тому же исполнявшему свои служебные обязанности, а делали акцент на толщине розог, как стонал бедный несчастный студент, забывая, за что его наказали. Видя такое потворство, всего через два года, в феврале восьмидесятого, устроили покушение на самого императора Александра Второго, который и проводил реформы. К счастью, государь в этот раз не пострадал, а адская машина, заложенная под полом в столовой, унесла жизни двенадцати солдат охраны. Это было шестое покушение, а через год эти мерзавцы добились своего... Наш государь погиб! И погиб перед тем... как хотел дать стране Конституцию. Вот после этого покушения Победоносцев и произнёс в Государственном совете знаменитую свою речь, в коей подверг уничтожающей критике конституционный проект и положил конец либеральным реформам Александра.

Наученные горьким опытом жёны вместе со своими чадами ушли в гостиную.

— Люба, как мне надоели эти политические разговоры, — жаловалась подруге Ирина Аркадьевна, — ну почему бы им не поговорить о любви, о цветах, о детях, наконец...

— ...Как только подобные тебе либералы и нигилисты не называют Победоносцева: и Мефистофелем, и вампиром, выпившим всю кровь из либеральных реформ...

— Это самое правильное название, — с довольным видом подтвердил Георгий Акимович, — а ещё «кощею православия», — хохотнул он, плеснув в бокал вина. Разговор очень занимал его. — К тому же он ярый антисемит и автор позорной «черты осёдлости».

— Да какая же это черта, коли, сам говоришь, и в науке, и в искусстве полно евреев... Согласно закону, повсеместно имеют право проживать купцы первой гильдии, лица с высшим образованием и ремесленники... Так что у них богатый выбор, чтоб обойти черту. Ремесленником каждый может стать. Вот и лезут всюду правдами и неправдами, как блохи.

— Потому что умная нация! Среди моих друзей профессоров, сколько евреев.

— Вот эти-то жидомассоны и портят студенческую молодёжь... Неужто они станут внушать ей патриотизм и любовь

к Родине? Отнюдь! По их понятиям, каждый индивид является гражданином мира... У самих-то Родины нет! И мы не люди для них, а индивиды...



Славно пахло морозом.

После уроков в гимназии, закинув ранец за спину, Аким неспешно брёл домой.

«Через несколько дней Рождество, — радовался он, останавливаясь у замёрзшего окна часового магазина и с интересом разглядывая сквозь морозные узоры выставленные на обозрение часы. Обнаружив рядом с дверью магазина рыхловатый снежный сугроб, набросанный утром дворником, залез на него и с удовольствием потоптался.

Мимо пронесли сани, швырнув в Акима комья снега.

«Хорошо!» — отряхивался он, спрыгнув со своего снежного пьедестала.

Всё радовало его в этот ясный морозный день. Люди шли румяные, улыбающиеся.

Заметив на дороге лихо выбрасывающего ноги рысака с выпучившим глаза кучером за его серым крупом, он благоразумно отошёл к стене дома и с удовольствием поглазел, как обсыпанный грязным снегом чиновник, пылая паром изо рта и ноздрей, поболее, чем давешний рысак, потрясал кулаком и грозился подать жалобу полицмейстеру.

«Чего злитесь? Вот делов-то, отряхнулся и всё, — перебежал дорогу и зашёл обогреться в лавку с вывеской «Певчие птицы». — Надо Глеба сюда привести», — разглядывал многочисленные клетки со скворцами, синичками, канарейками и соловьями.

— Кто жалат послушать взаправдашнего соловья с осьмнадцатью коленцами, вали в эфту комнату, — приглашал молодой, весь в угрях приказчик с маслеными на пробор волосами.

«Вчера из деревни, наверное», — сунув ему копейку, пошёл «послушать» соловья.

— Силён, бродяга! — обсуждали птаху двое фабричных. — У нас в трактире не хуже разливается, паразит.

— Особливо в день получки, — со смехом поддержал его другой.

После птичьего магазина Аким на минутку заглянул в «колониальный» магазин братьев Сапожниковых и не ушёл оттуда, пока не обследовал прилавки с жёлтыми апельсинами и лимонами, зелёными яблоками и грушами, не прочёл красочные этикетки на банках с вареньем, не съел купленный кусок пастилы и не выпил фруктового лимонаду.

Затем надолго остановился у витрины охотничьего магазина и вдоволь налюбовался ружьями. Подставил подножку запоздавшей гимназистке из Мариинки, за что был обруган горничной, тащившей за девчонкой связку книг. Показал её спине язык, за что выслушал замечание от дамы с влажной у губ вуалью. Показал язык и её спине, за что получил замечание от толстого чиновника и подумал, показывая язык его спине, что так наслаждаться можно до самой темноты, но уже давно пора домой.

«Как маленький стал, хуже Глеба себя веду», — горестно разоблачал неблагоприятное своё поведение, неожиданно врезавшись головой в живот мужика, правившего громадным ломовым жеребцом.

Этот не обругал, а ласково чмокнув губами то ли жеребцу, то ли ему, произнёс:

— Задумались, барчук? Ничаво-о! Быва-а-т! — осторожно обошёл его и щёлкнул по крупу могучего тяжеловоза вожжами.

Тот, напрягшись и позванивая медным набором на чёрной сбруе, тащил огромные сани, доверху наполненные сосновыми и берёзовыми дровами.

Стрелой влетев в дом не с парадного, а чёрного входа, Аким забежал в комнату прислуги, с размаху швырнул ранец на лавку в углу и что есть мочи заорал:

— Ма-а-а-р-фа-а!

Услышав в ответ тонкое дребезжанье:

— Ка-р-ра-у-ул! Люди добры-ы-е-е! Убивают на старости годо-о-о-в...

В мутном, обмёрзшем стекле окошка отразился трясущийся силуэт старичка-лакея, сидевшего на лавке с ранцем в руках.

Скрипнув дверью за спиной Акима, вбежала и зажгла свет дородная пожилая женщина в цветастом фартуке.

— Ох-ты, Господи! Что за шум-то, батюшки. А ты, старый, никак учиться собрался? — глянула на трясущегося деда. — Опять спал на лавке, поди, — забрала у него ранец и положила на стол, предварительно обтерев фартуком. — Сапоги-то все мокрые, барин, и шинелька в снегу. Снимай, сейчас отряхнём. Старый, опорки² мои барчуку достань из-под лавки. Да чего ты всё губой трясешь и головой дёргаешь? Приснилось что ль чего? Пошли со мной на кухню, — взяла Акима за руку.

На кухне уютно пел самовар, тикали ходики и рядом с печкой спал толстый, под стать женщине, котяра.

— Садись, сейчас чаем с вареньем напою, — обтёрла фартуком лавку.

² Изношенные валенки с отрезанными по щиколотку голенищами.

Вечером, выслушав правоучения сначала гувернантки, а затем матушки, Аким учил уроки, размышляя попутно, что в будущем неплохо бы стать ямщиком... Катай себе людей в пролётке и латынь зубрить не надо. Покрикивай на коней: «Э-эх, мать-перема-а-а-ть, залётны-я-я! Тудыть вашу в оглоблю, в копыто ма-а-ть... Здорово!» — аккуратно записал услышанное днём выражение — может, сгодится когда.



Император в этот вечер тоже засиделся за бумагами.

«Вот же бюрократы, натащили сколько, ничего без батюшки-царя не могут», — зевая, читал документ и, по-детски почесав ручкой затылок или нос, писал на полях резолюцию, чтоб видели, сатрапы, царскую работу. На рапорте полицмейстера о злоупотреблениях чиновников пометил: «В семье не без урода». На сообщении министерства финансов о сумме с продаж водки: «Однако». О забастовке на фабриках: «Милые времена».

Почёсывая ухо, Николай думал, чтобы такое-этакое написать, дабы переплюнуть кузена Вилли, который при встрече хвалился ему своими, как он считал, ужасно остроумными резюме: «Тухлая рыба» встречалась наиболее часто, не уступали ей по интеллекту замечания — «Чепуха», «Чепуха собачья», «Мошенники», «Грязные мошенники», — о французах. «Типичный восточный ленивый лжец», — как бы не обо мне. «Вероломен, как француз».

Любимая сидела в это время в соседней комнате Аничкова дворца, где они жили после свадьбы, и упорно учила русский язык.

Услышав, как его жена чего-то уронила на пол, он отодвинул «собачью чепуху» на край стола и направился в её комнату.

— Аликс! — обратился к ней, доставая из портсигара папиросу и поправляя ремень на простой холщовой рубаше народного покроя. — А не одеть ли нам придворных в костюмы прапрадеда моего Алексея Михайловича... Только не говори сразу — чепуха собачья.

— Ники! — задумалась она над предложением, с удовольствием разглядывая заправленные в сапоги мешковатые штаны супруга. — Прекрасно выглядишь, Ники. Как русский мужик.

— И ты тоже, любовь моя. Тебе так идёт этот русский сарафан, — сделал комплемент, выпустив душистый клуб дыма.

— Константин Петрович посоветовал переделать столовую, вернее, трапезную, под старину, — выдвинула царица встречное предложение. В такой обстановке и русский язык будет легче даваться.

— А что? — загасил в пепельнице папиросу Николай. Это же превосходно! — в волнении заходил по комнате, растирая ладонями виски. — А давай начнём с опочивальни? Представляешь, родная, расписанные русскими узорами стены, стулья из кремля выпишем и кровать под балдахином. В такой обстановке точно сын родится...

— Тогда, конечно, давай. А что такое опочивальня, Ники?

— Спа-а-льна-а-я, — растягивая слово, подошёл к жене, прижал к себе и поцеловал в губы.

Снежным вечером, перед самым сочельником, Максим Акимович повёз семью кататься на санях и, уже намереваясь ехать домой, чуть не столкнулся с летевшими навстречу небольшими санями.

Только собрался обругать нерадивого кучера, как слова застряли в горле... Кучером был сам государь, в шубе на бобрах и высокой боярской шапке. Позади него, прикрыв ноги медвежьей полостью, барыней развалилась Александра Фёдоровна в собольей шубке и белой меховой шапке.

От самодержцев за версту веяло семнадцатым веком.

«Сочельник. Завтра Рождество. Вот славно-то! — Аким проснулся пораньше. — Вакации³. В гимназию идти не надо. А в соседней комнате спит брат. Целую неделю будем вместе». — Вытащив из-под кровати заранее припасённый барабан, прокрался на цыпочках в спальную Глеба и, набрав как можно больше воздуха в лёгкие, простуженным быком заревел: «Р-р-рота-а! По-о-дъё-ё-м!» — и что есть дури стал колошматить в барабан.

Проснувшийся, но не раскрывший глаза Глеб шарил рукой по полу.

«Сапог ищет», — выбежал из комнаты Аким и увидел у стены трясущегося, как заячий хвост, старичка-лакея с новым гимназическим мундиром в руках, а неподалёку от него державшуюся за сердце мадемуазель Камиллу.

Выскочивший с сапогом в руке Глеб сразу простил брату утреннюю побудку, с удовольствием разглядывая потерпевших.

— В гимназию собрались, дедушка? — ласково поинтересовался он, пожимая руку Акиму.

³ Каникулы.

— Мсье Руба-а-анов! — наконец пришла в себя гувернантка. — Вы становитесь таким же несносным, как и ваш кадетский братец. Казалось бы, что вы должны влиять на него в положительную сторону. Мадам Светозарская...

Аким вежливо расшаркался с нравоучительницей, поклонился старичку-лакею, приняв из его дрожащих рук форму, и забросив барабан за спину, гордо удалился к себе, услышав вслед:

те с ним на рынок...

одевшись Умывшись,

стному к побежали

тину запряжки в сани трёх вороных рысаков.

Молодой, под потолок, но с жидкой бородёнкой конюх, в красной рубаше и жилетке, с озорством притопывая ногами в валенках, открывал створу крашенных в коричневый цвет ворот. Другую створу, кряхтя и добродушно матюжась, открывал закутанный в тулуп и шапку до глаз, сторож.

— Пахомыч, ходчей отворяй! — хрипато советовал сторожу похмельный дворник в когда-то белом фартуке на измызганном коротком пальто.

— Да иди ты, Власыч, — вежливо посылал приятеля такой же похмельный сторож. — А то как пальну из берданы.

— Испужа-а-а-л! Метлой-то шваркну, куды пердана полетит, куды ты.

— Дядя Влас, отойдь, зашибу, — выкатил из сарая сани конюх.

— Ай да здоров! — с опаской попятился Влас Власыч. — Ваянтка могё-ёт. Враз зашибёт, чертяка.

Ребята, отойдя немного в сторону, наслаждались церемонией, разглядывая висевшие в полумраке сарая на железных крюках хомуты и сбрую из тонких ремешков с серебряным набором, которую, встряхнув, взял Иван и понёс в конюшню.

Мальчишки побежали за ним и расположились по сторонам раскрытых ворот, из которых исходил тёплый лошадиный запах.

Вот заржал жеребец и затопал по деревянному настилу.

— Посторонись! — вывел его на улицу Иван и, любовно оглаживая и похлопывая по крупу, привязал ремнём к кольцу, привёрнутому к кирпичной стене сарая. — Ближко не подходи, — предупредил ребят, направляясь за вторым рысаком.

Последним вывел постоянно фыркавшего и танцующего коренника.

— Тпр-у-у! Дьявол! — любовно оправлял гриву конюх. — Не балу-уй! — железной рукой стал запрыгать коней.

В эту минуту из людской вышел кучер в треухе с тёмно-зелёным бархатным верхом, в чёрных, под стать коням, валенках и бархатных зелёных шароварах.

— Хоро-о-о-ш! Хорош, собака! — хвалили его собутыльники, опираясь один на метлу, другой на бердану.

— На коней не дышите, чуды! — ухмыльнулся кучер, выставляя грудь в шелковой зелёной рубахе.

— Пяту-у-х! Ну чистый пятах, — с завистью плевались мужики, пока тот хозяйским глазом окидывал расчёсанные лошадиные хвосты и гривы.

— Поспешай! — подстегнул конюха, который опрометью выбежал из людской, таща в руках целый тюк одежды, и начал облачать своего начальника в широченный и толстый зелёный ватный кафтан, постепенно превращая художавого кучера в огромного, под стать себе, тяжеловеса.

Застегнув сбоку круглые чёрные пуговицы, принялся обматывать его длиннющим белым кушаком.

— Как ребятёнок в зыбке, — сделали однозначный вывод друзья-собутыльники.

— Пошли отселева, пока конями не стоптал, — миролюбиво посоветовал им кучер, усаживаясь в узкий передок и с помощью Ванятки вставляя ноги в ременные стремяна и оправляя полы кафтана.

— Тп-р-р-у-у! Черти! — ласково увещевал коней.

Ребята, забыв обо всём на свете, любовались кучером и упряжкой.

Рысаки плясали, привязанные длинным ремнём к кольцу.

Минуто стояла торжественная тишина, пока кучер, сняв шапку, истово крестился. Затем, надев белые рукавицы и поелозив задом, ища удобства, он спросил:

— Ну что, Ванятка, всё готово?

— Усё! Архип Ляксандрыч.

— Ну тады пушай! — велел кучер, натягивая вожжи.

Иван отстегнул ремень от удил, и жеребцы резко рванули вперёд, храпя, дико кося глазами и пуская клубы пара из ноздрей.

— Чисто звери! — разбегались в стороны работники метлы и берданы, а ребята со страхом прижались к стене.

Но сдерживаемые опытной рукой жеребцы перешли на лёгкий танцующий шаг и, проехав под аркой, вынесли сани к парадному подъезду.

Догоняя их, запрыгнул на полозья Иван. Следом бежали мальчишки.

Одетый в новенький, пахнущий овчиной тулуп, братьев уже ожидал отец.

Ребята просто рты открыли от такого его вида.

Тот, не обращая на них внимания, поочерёдно оглядел коней, белую сетку, прикрывавшую крупы и хвосты, гладко расчёсанные гривы, медвежью полость на санях, кучера, Ивана и, наконец, своих детей.

— Что-то больно чисто оделись, — сделал им замечание.

Мальчишки, ничего не поняв, переглянулись и уставились на появившуюся из дверей мать. Следом за ней плёлся удивлённый денщик.

— Слушайте папу, — не совсем уверенно произнесла она, — хотя он сегодня со странностями, — крестила отправляющийся экипаж, слыша издали голос мужа: «Прощевайте, матушка-боярыня...»

Как знаток и бывший приказчик, по рынку их водил денщик, прибывший вместе с Иваном на других санях, предназначенных для поездок на базар кухарки, а иногда и самого повара.

— Куды, куды со своими салазками прёшь, дура, — орал он на укутанную почище кучера в ватник и шаль бабу с мешком за плечами. — Нос платком закрывай, а глаза-то зачем?! — учил тётку уму-разуму Антип, расправляя короткие свои усики и раздумывая, чего это вдруг генерал на базар поёрс и чего ему тут надо.

А барин с удовольствием прислушивался к людскому говору, стараясь запомнить понравившиеся слова.

— Чистое светопреставление ноне! — ответила денщику баба, с трудом сдвинув санки.

— Морозит-то как нынче! — обстукивал себя руками и приплясывал продавец рябчиков. — Господа-а! Покупай птицу-у. Тонкий вкус, упитаны как молочные поросята, а во рту таю-ю-т.

— Разбира-а-ай рябцов и тетёрок, из самой Сибири-и, — горланил рядом с ним другой продавец. — Ах ты, чёрт, упырь окаянный, — схватил за плечо воришку, но тот ловко вывернулся, попутно куснув продавца за палец. — Пуцай разговееется, аспид, добродушно ворчал мужик, — но руку-то грызть зачем.

Навелись в просторную лавку. Здесь продавали свиней. — Покупай на заливное молошничко-о-в, — предлагали покупателям двое бедовых приказчиков в линялых полушубках.

После пошли по рядам, слыша со всех сторон:

— Покупай индеек, уток, кур, гусей...

Снег под ногами был затоптан и грязен. Чистым ковром блеснул лишь на крышах лавок, сверкая под лучами яркого зимнего солнца.

— Заходи в лабаз, покупай морошку и квас, — тонким фальцетом вопил хозяин овощной лавки, изо всех сил стремясь переорать горластых продавцов птицы.

Миновали лавку с белыми сахарными головками и навелись к продавцу шуб — аристократу рыночной торговли.

Торговался с ним Антип, стремясь подешевле купить поправившуюся Рубанову шубу на хорях. Максим Акимович стоял рядом и шевелил губами, запоминая народные выражения.

Днём поспали и поздним вечером пошли ко всенощной. Добирались пешком.

— Максим Акимович, как ты себя чувствуешь? Голова не беспокоит, — задавала мужу наводящие вопросы Ирина Аркадьевна, держа за руку детей.

За ними толпой плелись денщик, повар, швейцар, и замыкал шествие старичок-лакей.

Народу в церкви — не протолкнуться.

Празднично одетый городской люд крестился на иконы и ставил свечи.

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума», — затянул хор, и в душу стоявших рядом аристократов и простонародья одинаково хлынули любовь и радость.

На следующий день у Аничкова дворца было тесно от карет на полозьях и саней. Высший свет пришёл поздравить своего императора.

Приёмная дворца сверкала от орденов, эполет и бриллиантов.

Вот сюда-то в своей боярской шубе на хорях и запёрся Максим Рубанов. Под расстегнутой шубой поражённое общество не увидело генеральского мундира, а скрывая усмешки и многозначительно глядя друг на друга: «Совсем, мол, сбрендил, сердешный», — заметило шёлковую розовую рубаху, подпоясанную пояском с кистями и заправленные в хромовые сапоги лиловые бархатные штаны.

Каково же было их удивление, а точнее, изумление, когда император с супругой, раздвинув министров, подошли к какому-то там несчастному генералишке и поклонились ему в ответ на старинный русский поклон, с помахиванием у колена рукой.

«Как он ловко поклонился государю с государыней, сбросив на пол свою шубу. Вот молодец! Догадался. Праздник-то народный», — тут же изменилось общественное мнение.

Товарищ⁴ министра внутренних дел Сипягин, вызвав в кабинет своего агента, купленного с потрохами камер-юнкера, всё у него расспросил, выговорив при этом, почему не доложил, что император переделывает столовую и спальную под семнадцатый век.

⁴ Заместитель.

«Ну Рубанов! — думал он. — Всех перехитрил. Вот бы мне такого информатора... Но генерал богат, к тому же числился в приятелях у покойного государя», — велел вызвать к себе чиновника для поручений и приказал тому хоть из-под земли достать мастеров и отделать свой кабинет и столовую под боярские хоромы, а ему купить настоящую боярскую шубу с длинными рукавами и высокую боярскую шапку.

Год подходил к своему завершению.

Балов в Зимнем не давали — траур.

В последний день года, к зависти даже Великих князей, не говоря уж об остальных сановниках, царь удостоил Рубанова ужином в тесной семейной обстановке.

Перед пылающим камином сидели втроем за небольшим столом.

Царица была одета в сарафан, а государь с Рубановым — в шелковые рубахи и бархатные штаны.

Пили старинный дедовский мёд из деревянных жбанчиков и беседовали.

— Не тот нонче мёд делают... Не тот! — отхлёбывал напиток Максим Акимович, радуясь в душе, что случайно прочёл в календаре статейку о старинном русском напитке. — В древности у наших пращуров был ставленный мёд... Смешивали две части мёда с соком ягод. Обычно брусники, малины или вишни, и ставили бродить, — увлёкся рассказом, видя, как внимательно слушают его государь с государыней. — Затем несколько раз переливали и в засмоленных бочках зарывали в землю на пятнадцать, двадцать лет. Это самое меньшее. Когда ваш батюшка венчался на царство, — перекрестился Рубанов, — гостей угощали трёхсотлетним мёдом. Больше такого не осталось... Я пробовал, — похвалился он.

Обсудили вкус мёда, и слово взял чуть захмелевший император:

— Слава богу, самое страшное, чего я боялся смолоду, — позади, — рассуждал Николай. — Я перенёс смерть папа и восхождение на престол... Зато в этом году судьба подарила мне жену, — нежно улыбнулся Александре Фёдоровне. — О таком счастье я не смел даже мечтать.

Рубанов стал нарасхват.

После государя его с женой пригласил Дмитрий Сергеевич Сипягин, которого близко свёл с Максимом Акимовичем генерал-лейтенант Черевин.

Государственные мужи в алых шелковых рубахах пили рейнтейн и шампанское. Между делом товарищ министра хитро выуживал информацию.

Умаялся нонче, страсть! — жаловался он Максиму Акимовичу. — Всё в делах копаюсь.

— Знамо дело! Должность такая. Государь просто бредит семнадцатым веком. Отвлечься от смерти папа хочет, видимо.

— Занятно-с! — задумался Сипягин, закуривая папиросу «Континенталь», и вдруг помчался к телефону и стал кому-то названивать. — Ну как апартаменты? Зачали работать? Эдак, эдак... С лесов навернулся? Так ему и надо, понеже, бог шельму метит, — довольный, бросил трубку.

— Не апартаменты, ваше превосходительство, а хоромы, следует говорить, — поправил его Рубанов.

Жёны с удивлением слушали мужские разговоры.

Через несколько дней Сипягин удумал созвать «посиделки боярышень». Дам высшего света пригласила его жена. Общество уже поняло, откуда ветер дует.

Посиделки дамам понравились. Ежели на балах нельзя посплетничать, так хоть здесь.

— Одна как-то попала в царские палаты и зело удивилась, когда узрела хоромы ихние... Всё в стиле Алексея Михайловича, прозванного «Тишайшим», — произнесла хозяйка дома, Александра Павловна, урождённая Вяземская, внучка знаменитого поэта, поправляя плечики сарафана и сверкая многочисленными камнями в ушах и на пальцах.

— Фу-у, взапел-ля-я! — обмахиваясь веером, произнесла графиня Борецкая, тряся серьгами с алмазами.

— Ольга Дмитриевна, душечка, следует говорить не на французский манер — взапел-ля-я-я, — поучала её внучка поэта, — а по-нашенски, фу-у, взопрела. С ударением не на последний, а на предпоследний слог.

Дамы шумно хлебали чай с блюдечек.

— Почём нонче свекла? — поинтересовалась княгиня Извольская.

— Вы, матушка, всех сразили вопросом, — польстила ей хозяйка.



Николай учился править огромной своей вотчиной — Российской империей.

Семнадцатого января ему предстояло держать речь перед депутацией от земств и городов. За день до этого, волнуясь, он читал текст, подготовленный Победоносцевым, перед небольшой группой приближённых.

— Так точно, Ваше Величество, — воскликнул присутствующий здесь Сипягин. — Речь великолепно! Либералы, особенно из Твери, поймут, что никакой Конституции не будет...

— Рубанов! — обратился к Максиму Акимовичу государь. — У вас хороший почерк. Перепишите покрупнее, и я снова положу текст в шапку, — попросил император.

После того как он выполнил просьбу, и приближённые покинули царские хоромы, Сипягин панибратски толкнул Рубанова в бок.

— Господин генерал, изреките что-нибудь такое-этакое из старины, — просительно глядел на Максима Акимовича.

«Я уже стал экспертом», — вырос в своих глазах Рубанов.

— Извольте-с! Однова как-то читал старинную книгу, оказывается, в древности январь писали — «еноуар», и для пояснения прибавляли «рекомаго просинца». Просинец, ваше превосходительство, означает «светлеющий», то есть время, связанное с первоначальным возрождением солнца. Звали его также «лютовой, сечень».

— Рубанов, вы умнее академика! — записал карандашом сказанную дребедень Сипягин.

— Знамо дело! — попрощался с ним Максим Акимович.

Речь императора сошла благополучно.

Особенно сановникам понравилось, как государь твёрдо произнёс:

— Мне стало известно, что в последнее время в некоторых земствах, — глянул на делегацию из Твери, рядом с которой Сипягин поставил двух своих филёров, — слышны голоса людей, увлёкшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земств в делах внутреннего управления. Бес-с-мыс-с-лен-н-ыми! — подчеркнул, подняв палец, государь.

Максиму Рубанову в следующем месяце пожаловали чин генерал-лейтенанта и назначили командиром гвардейской кавалерийской дивизии.

В начале февраля Рубанов устроил званый ужин. Банкетный зал первого этажа был полон гостей. На этот раз Максим Акимович сидел за столом в сшитой на заказ новой форме с генерал-лейтенантскими эполетами и при всех орденах. Кроме военных, одним из почётных гостей являлся Сипягин.

Большинство присутствующих нарядилось в народные одежды, но руки и шеи дам сверкали драгоценностями. Вечер прошёл прекрасно и благолепно. Максим Акимович поразил высший свет ткацким станком, выставленным в гостиной.

— Жена учится, — скромно произнёс он, наблюдая за Сипягиным.

«Обзавидуется теперь», — ликовала его душа.

«Какой догадливый этот Рубанов, — плотоядно разглядывал станок Дмитрий Сергеевич, — как было прекрасно, ежели бы он служил по нашему ведомству».

Размышляя о станке, Сипягин крупно проиграл в карты и уехал пораньше.

Дамы, сидя в гостиной, сплетничали напропалую:

— Вчерась видала императрицу-мать. Марья Фёдоровна мчалась в санях, запряжённых тройкой, с бородатым казаком на облучке, — косилась на ткацкий станок графиня Борецкая.

— Бедная женщина. Поди, тяжело ей с невесткой, — пожалела вдовую императрицу баронесса Корф.

— Весьма высокомерная особа! — поддержала подругу княгиня Извольская. — Ходят слухи, — понизила она голос, — что Марья Фёдоровна совершенно не ладит с «дорогой Аликс», как называет она невестку, — частила скороговоркой княгиня, округлив глаза, — а та ревнует мать к сыну и пытается их посорить... Представляете, не успела ещё короноваться, а уже требует у "дорогой мама" фамильные драгоценности. Ужас!

Проводив гостей, братья остались одни.
— Какая теперь у вас должность, господин генерал-лейтенант?

— Я царский сокольничий! — устало курил Рубанов.

— А может, псарь? Это большое продвижение по службе.

— Георгий, — обиделся Максим, — ты очень грубо шутишь.

Весь февраль и март Рубанов знакомился с дивизией, состоящей из четырёх лейб-гвардейских полков: конно-гренадёрского, уланского, гусарского и драгунского. Он быстро разобрался, вспомнив свой боевой опыт, что кавалеристы весьма сильны в манеже, но абсолютно теряются в полевых условиях на пересечённой местности.

Собрав командиров полков и старших офицеров, держал перед ними речь без шпаргалки в шапке:

— Господа! Вы совсем запустили работу в полевых условиях. Ваши полки должны работать в любую погоду. Кавалерист обязан не только скакать на коне, но также рубить и стрелять... Ваши офицеры, господа, недооценивают важность стрелковой подготовки. Обращаюсь к вам с настойчивой просьбой и приказываю побольше заниматься с вверенными подразделениями рубкой чучел и стрелковой подготовкой... Вы должны одинаково прекрасно владеть огнестрельным оружием, саблей и конём. Только после этого мы сумеем бороться с любым противником. Свободны, господа!

— С кем он собрался воевать? — вытирал платком потный лоб командир гусарского полка.

— С ветряными мельницами, наверное, — захохотал драгунский полковник.

— Недаром Александр Третий выбрал его в приятели, — одёрнул друзей уланский полковник, — Рубанов боевой офицер и прошёл русско-турецкую кампанию. Советую вам отнестись внимательно к его просьбе.

В мае раздражённая своей невесткой Мария Фёдоровна покинула Россию, уехав отдыхать к себе на родину, в Копенгаген.

Довольная этим Александра, с царственным своим супругом отправились на лето в Петергоф.

Ещё более довольный Рубанов-старший, поселив семью на даче под Петергофом, с рвением занимался служебными обязанностями.

— Господа офицеры, вы должны подготовить из кавалериста достойного бойца, способного в любой обстановке решать поставленные задачи, — казённым языком вразумлял подчинённых и показывал им, как надо рубить не только стоящих чучел, одетых в германскую военную форму, но и сидящих и даже лежащих.

«Я ещё ничего, в форме, — стирал белоснежным платком пыль с влажного лица, — троих сумею одолеть».

Иногда брал своих детей, чтобы те наблюдали работу русской конницы.

Глеб просил у отца «рубануть чучелку», а Аким любовался зеленеющим вдали лесом.

Георгий Рубанов на лето увёз семью в Ромашовку и там, на природе, занимался историей и философией.

Дмитрий Сергеевич Сипягин остался в Петербурге и с упоением изучал древние славянизмы: поелику, иже, лепота, целую неделю ломал голову над словом «б्याше». «Что за “бьяша” такая? И спросить стыдно. Товарищ министра, скажут, а русского языка не знает. Эх — тужил он, — был бы рядом Рубанов, тот бы объяснил, — оглядываясь по сторонам, доставал из сейфа “Путешествие из Петербурга в Москву” Радищева и с удовольствием читал: “Чудище обло, озорно, стозевно и лайя...” — Господи! Как раньше люди писали хорошо...»

Осенью Рубанова пригласили в Царское Село, где молодой государь с государыней обживали первый настоящий свой дом — Александровский дворец.

Здесь только он узнал, что императрица ждёт ребёнка.

В начале ноября, когда начались роды, пушкари в Кронштадте и Петербурге спали возле орудий, ожидая приказа о салюте в честь появления наследника.

Тремястами залпами должны были они приветствовать мальчика.

Но родилась девочка, Великая княжна Ольга, которую приветствовали сто одним выстрелом, согласно этикету Двора и давней традиции.

Прошёл год с момента воцарения Николая Второго, закончился и двенадцатимесячный срок траура.

Декабрь 1895 года гудел от балов и увеселений. Император с императрицей давали свой первый рождественский бал.

К восьми вечера Рубанов с женой подкатили к сверкающему огнями Зимнему дворцу.

Максим выглянул из кареты.

— Архип, поближе нельзя, что ли, подъехать? — недовольно обратился к кучеру, оглядываясь по сторонам. — Понаехало всяких капитанишек, — бурчал он, подавая руку жене.

— У этих капитанишек, как ты изволил выразиться, милый, родители князя, — благосклонно кивнула молоденькому офицеру, вытянувшемуся перед Рубановым.

— Лейб-гвардии уланский полк?! — козырнул на приветствие поручика Максим.

— Так точно, ваше превосходительство! — бодро отрапортовал офицер, с грустью думая, что за нелёгкая столкнула его с командиром дивизии.

— Чучел-то рубите? — поинтересовался Рубанов под фыркание жены. — Ну ладно, свободны пока, — милостиво отпустил кавалериста.

— Максим, то-то теперь разговоров о тебе будет в юной офицерской среде... Чу-у-че-е-л-то р-руби-те-е? — басом произнесла она, давась от смеха. — Бурбонище ты мой, — нежно поцеловала мужа в щёку.

— Ещё одно слово и пошла бы домой рубаху за станком ткать, — повёл жену к парадному входу Максим, по пути раскланиваясь со знакомыми.

Отдав шинель и шубу лакею, Рубанов огляделся в зеркало и полюбовался отражением жены, поправлявшей причёску и складки на платье.

Занятие это затянулось надолго. Потом она целовалась с княгиней Извольской и баронессой Корф, пока Рубанов обменивался рукопожатиями с их мужьями.

— Пошли, — шепнул на ушко жены, снова повернувшейся к зеркалу, — уже церемониймейстер со своим посохом тащится, — вновь рассмешил супругу.

Быстро поднялись по устланной ковром беломраморной лестнице и остановились у огромного зеркала.

«Из огня да в полымя», — вздохнул Максим, трогая ствол пальмы, стоявшей в кадке. — А вон на дереве обезьяна, — отвлёк жену от огромного и такого притягательного зеркала.

Ровно в 8 часов 30 минут вечера вальяжный церемониймейстер брякнул три раза об пол чёрным посохом с двуглавым орлом и громогласно объявил в наступившей тишине:

— Их Императорские Величества!

«Всё, как при Александре», — склонил голову в поклоне Максим Акимович, а его жена вместе с остальными дамами сделала реверанс.

В этот момент тяжёлая дверь Гербового зала открылась и вышли Николай с Александрой Фёдоровной. За ними парами выстроились остальные члены царской семьи.

«Наконец-то я первая!» — с трепетом подумала императрица, с замиранием сердца открывая бал.

Оркестр заиграл полонез.

«Как там моя дочка», — думала царица, со скукой ожидая, когда закончатся танцы.

— Как вызывающе одеты некоторые дамы, — стоя в окружении фрейлин, оглядывала танцующие пары.

Сама танцевать не хотела.

— При Дворе моего отца так не одевались, — указала вее-ром на смелое декольте графини Борецкой и послала фрейлину сделать ей замечание.

— Мадам, — краснея за императрицу, произнесла фрейлина, — Её Величество послали меня сказать вам, что в Гессен-Дармштадте не одеваются подобным образом.

Сгорая от любопытства, к беседующим дамам подошла Мария Фёдоровна.

Увидев рядом с собой вдовствующую императрицу, Ольга Дмитриевна одёрнула платье, выставив свою пышную грудь до самых сосков.

— Пожалуйста, передайте Её Величеству, — победно оглянулась вокруг, — что у себя, в России, мы одеваемся именно таким образом, и я не в том возрасте, чтоб меня учить одеваться...

— Bravo! — захлопала в ладоши Мария Фёдоровна, с иронией посмотрев на «милую Аликс».

«Общество явно ценит меня больше», — подумала она.

Целую неделю графиня упивалась славой.

Так прошёл 1895 год.

Никто, кроме нескольких жандармов, не обратил внимания на то, что в декабре был арестован двадцатипятилетний юрист Владимир Ульянов, брат казнённого Александра Ульянова.

Новый год Рубановы встречали вчетвером, если не считать прислуги и детей. Праздновали в квартире старшего брата.

— Ну расскажи, расскажи Иринушка, как прошёл первый приём дам высшего света, — с завистью выпрашивала подробности Любовь Владимировна. — Георгий Акимович, ну почему ты не генерал, а какой-то там учёный, — злила своего мужа.

— Зато я умный! — гордо отвечал супруг. — И нечего так саркастически улыбаться, — набрасывался на брата, — думаешь, я не вижу?

Однако с меньшим, чем жена, интересом слушал рассказ Ирины Аркадьевны.

«Пригодится в разоблачении режима», — запоминал малейшие детали профессор.

— Наша царица, по моему глубокому убеждению, Максим, закрой уши...

— И глаза, — вставил из вредности Рубанов-младший.

— Хотя и целомудренна, но не получила в своём нищем герцогстве достойного воспитания...

— Скорее, слишком высоко и быстро вознеслась, — поддержал рассказчицу Рубанов-младший.

— Я уже иду звонить Сипягину, — выпив залпом рюмку водки, предупредил всех Максим.

— Ну хватит вам, давайте Ирину послушаем, — разняла братьев Любовь Владимировна.

Переждав шум и перепалку, рассказчица продолжила:

— Рот от волнения сжат. Улыбнуться не может или не хочет, сказать комплимент не находит нужным... Буркнет какое-то формальное приветствие, протянет руку для поцелуя и оглядывает шеренгу дам — много ли ещё осталось. Всё это, несомненно, показывает, что приём ей в тягость и она ждёт не дожждётся окончания церемонии.

— Ири-и-ина-а Аркадьвна-а, вы не правы-ы-ы, — нараспев произнёс Максим Акимович, — просто царица шокирована поведением некоторых светских львиц. Слышал однажды, как она произнесла: «Головы молодых дам Петербурга не заняты ничем, кроме молодых офицеров».

— И генералов! — докончила Ирина Аркадьевна.

— Генералы защищают Русь-матушку от Запада, — высказал своё мнение Максим Акимович и глянул на брата.

— Мы видим, как живёт Запад, а что Россия? Россия — отсталая страна, — перебил старшего младший брат.

— Россия — великая держава. Просто она идёт своим путём. Вспомни, Георгий, этого баламута, Герцена. Не успел помотаться по заграницам, как пережил глубокое разочарование и восстал против западного мещанства. Оказалось, что средневекового рыцаря заменил лавочник... В русском мужике он видел спасение от торжествующего мещанства.

— А ты вспомни Чаадаева: «Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть ещё более прекрасное — это любовь к истине... Не через родину, а через истину ведёт путь к небу». Я тоже по-своему люблю Россию, но вижу, что народ наш ленив и необразован.

— А в то же время, поди, глянь на дворцы, которые он возвёл, и вспомни наших художников и писателей...

— Народ наш жесток и буен...

— Вот община и сдерживает эти черты, призывая к доброте.

— Народу нашему присущ национализм и самохвальство...

— И всечеловечность... Хотя и в национализме не вижу ничего плохого. Просто народ уважает себя. Мы — народ откровенный и вдохновенный! Мы обращены к бесконечности и будущему. Душа наша необъятна и безгранична, как широка и безгранична наша Земля.

— Максим, да ты поэт! — даже привстал с кресла Георгий.

— Просто я люблю РОССИЮ!

«Оттосковав» двенадцатимесячный траур, высший свет с Рождества и до Великого поста кружился в танцах на балах, посещал концерты, балеты, оперы, с частных приёмов шли на банкеты, с банкетов — на ночные ужины.

Лишь царская чета почти никуда не выезжала из Александровского дворца в Царском Селе. Им было хорошо втроем с дочкой.

Молодая мать сама купала ребёнка, пела перед сном колыбельные песни, словом, наслаждалась своим материнством.

Полная счастья, она нарушала этикет Двора, не приглашая к чаю Великих князей и царских тётушек.

Особенно недовольна была царская сестра Ксения.

— Представьте только, — жаловалась своим дядькам, — меня какая-то там провинциальная немка не пускает к брату...

Дядьям такой расклад вещей не понравился.

С наступлением Великого поста, они без приглашения приехали в Александровский дворец.

Племянник только закончил чтение официальных бумаг и, не имея секретаря, сам заклеивал конверты. Услышав топот

ног, глянул в календарь ежедневных встреч — на сегодняшний день аудиенций никому не назначено.

«Кто же это может быть?» — не успел подумать, как в кабинет влетели двое стоявших на посту часовых и грохнулись на пол. Следом ввалились любимые дядюшки.

Старший из них, Владимир, командир гвардейского корпуса и президент Академии художеств, без всякой гнилой дипломатии долбанул кулачищем по столу и генеральским голосом рывкнул:

— Ники! Разрази тебя гром. Что ты как старый дед сидишь во дворце?

— А что я должен делать, дядюшка? — удивился государь.

— Да хотя бы принять парад.

— И посетить со мной банкет, — встрял в разговор Алексей, необъятных размеров мужчина, обжора и бабник, а по-совместительству — генерал-адмирал российского флота.

— Либо приехал бы ко мне в гости, поглядеть, что делается к твоей коронации, — наседали на царя третий из дядюшек, Сергей, генерал-губернатор Москвы и муж Великой княгини Елизаветы, или Эллы, старшей сестры государыни.

И лишь четвёртый дядя, Павел, всего восемью годами старше Николая, стоял молча и ласково улыбался.

Этот вечер, к недовольству своей супруги, провёл на банкете вместе с дядьями, а через три дня, сидя верхом на белой лошади, не замечая от удовольствия мороза, отдавал честь на параде идущим мимо него войскам.



Весной, в мае, он собрался в Москву венчаться на царство.

Согласно нерушимой традиции, царь мог въехать в Первопрестольную лишь за день до коронации.

Николая лихорадило от волнения, а Москву — от приезда государя.

Великий князь Сергей Александрович вызвал полицмейстера. Перед ним лежали на столе три брошюры, изданные Коронационной канцелярией: «Церемония коронации», «Положение об отпуске довольствия воинским чинам при командировании в Москву по случаю священного коронования И. И. В» и «Расписание с 6 по 26 мая 1896 г.».

«Надо себя распалить, — размышлял генерал-губернатор, — а то когда с этим народом спокойно говоришь, ни черта не понимают... Ну вот — И. И. В. Не могли полностью напечатать», — схватил расписание и стал им колотить по крышке стола:

— Чтобы дворники всё вычистили, москвичи флаги повесили и лично проследи за строительством буфетных ларьков

на Ходынском поле. Исполняй! — что есть мочи рывкнул напоследок для острастки, отпуская полицмейстера.

Господин полицмейстер, получив, кроме взбучки, копию расписания, вызвал к себе участковых приставов и, подражая Великому князю, тоже нагнал на них страху, разъяснив популярно с помощью доходчивых русских слов, что сейчас они приставы в Москве, а могут стать урядниками в тьмутаракани.

Участковым приставам ехать в тьмутаракань задрипанными урядниками ужас как не хотелось, поэтому они всё очень доходчиво объяснили надзирателям: «Сейчас, мол, щукины дети, вы надзиратели, а если что не так, за вами, поганцами, в Сибири надзирать станут...»

Надзиратели в точности довели начальственную мысль до городских: «Смотрите, сукины сыны, ежели шо!.. Сделаю с вами то... даже хуже, што бог сотворил с черепахой... Усё поняли, черти продажные? Так и знайте, ото всего вашего гнилого организма останется задница... и при ней — уши, шоб тоже по ним лупить...»

Городовые провели серьёзную разъяснительную работу, даже языки устали, с дворниками, объяснив им, что своими руками разломают метлу и по пруту воткнут им в одно место... отчего над ними будут ржать все московские дворняги.

Дворники поняли, что их даже в ад не примут, коли на участке мусор найдут.

Словом, к приезду государя город блистал чистотой.

Столяры и плотники строили сотни буфетов, как водится, помогая себе в работе добродушным матом.

— Слышь, Ерофей, — обращался к напарнику бородатый, в потной рубаше плотник, — хотишь, поди, зараза, дармовую сайку с кусярой колбасы получить в подарок, да пряники с орехами... Чаво молчишь? Сомлел, чи толь, от щастья, чёрт глухой... А главное — кружку дадут коро... ца... коро... цаонную с гербом и цифирью на боку «1896». Год означат. Тока вот бают, на всех не хватит гостинцев. Ну мы-то получим, не сумлевайсь. Возле буфета сваво дежурить будем.

Царская чета поселилась в пригородном Петровском дворце, за семь вёрст от Москвы.

В день официального въезда в город войска выстроились по обеим сторонам дороги, дабы сдерживать ликующую толпу.

Народ любил своего государя, ибо тот подарил ему три выходных дня, дал амнистию заключённым и прощение недоимок и долгов.

А у кого, спрашивается, их не было. И самое главное — коронационные торжества обещали великолепное зрелище, а москвичи, как известно, не дураки развлечься.

Ровно в 2 часа пополудни эскадрон Конной гвардии въехал в Москву. Здоровяки-кирасиры, подбоченясь, гордо глядели на балконы и окна с рукоплещущим народом. Солнце блестело на их латах, отражаясь в глазах восторженных дам.

За кирасирами следовала одетая в красные чекмени лейб-казачья сотня. Усатые черноглазые красавцы, хищно улыбаясь, любовались размахивающими трёхцветными флажками дамами.

Грозные сабли их миролюбиво постукивали по коже сапог.

— Где, где, где царь-то? — свесившись с балкона, без конца спрашивала полненькая купеческая жена, млея от казачьих взглядов. Грудь её почти вывалилась наружу и вносили сумбур и путаницу в ровный строй гвардейцев.

— Р-р-равняйся, стервецы! — выкатывал глаза покруглее грудей казачий сотник. — Да не туды, мать вашу, равняйся, — скрипел он зубами.

За казаками, надувая щёки, бодро топал придворный оркестр. Разумеется, музыканты, проходя мимо балкона, перепутали ноты.

«Чего это они сыграли?» — размышлял Рубанов, едущий при парадной форме в толпе придворных. Грудь его сверкала от орденов.

Следом за увешанными орденами генералами и министрами, в простом полковничьем мундире, покачивался на коне Николай.

— А-а-а! — ревела улица, и лишь купчиха разочаровалась от вида государя.

Весь вечер Николай и Александра постились и молились, стоя на коленях перед тёмными ликами старинных образов.

— Ники, я снова в Москве, — отвлеклась от молитвы императрица. — Но в первый раз было горе и похороны, а теперь коронация и радость. Ведь меня повенчают с Россией... Я стану не просто императрицей, а государыней-матушкой... Ведь правда, Ники?

Николай волновался и нервно бил поклоны.

— Господи! Благослови, чтобы всё хорошо прошло. Ведь как пройдёт коронация, таково и всё царствование будет, — с надеждой глядел на древний и строгий лик Христа.

Ночь они не спали, а утром, вновь помолившись, начали готовиться к главной в жизни церемонии.

Служанки одевали Александру.

Облачившись в сине-зелёный мундир Преображенского полка, вошёл к государыне Николай.

— Я начинаю тяготиться этими традициями! Представляешь. Я! Император Белая, Малая... и прочая, и прочая вся

Руси... не волен по своему усмотрению выбрать корону, коей меня же будут короновать... О-о-о! Произвол!

— Ники, успокойся, о чём ты говоришь?..

— Как о чём? Повторяю. Я! Император, государь, монарх, царь... полагал воспользоваться лёгкой шапкой Мономаха... Но этот бюрократ и чинуша министр Двора Воронцов-Дашков, потрясая Указом Екатерины Второй и ссылаясь на этикет двора, вынуждает, ты слышишь, Аликс, вы-ну-жда-ет, — по словам повторил он, — меня, напялить на голову тяжёлую корону, которая весит девять фунтов, а шапка Мономаха лишь два⁵. Что хотят, то и творят эти министры! А ведь у меня на лбу шрам! И я не терплю, когда что-то на него давит.

— Ники, но это благородный шрам! Ты хвалился, что получил его в юности на дуэли...

— Ах, оставь эти глупости, Аликс. Ну на какой дуэли? — раздражённо ходил по комнате Николай. — В бытность мою в Японии одна макака стукнула меня по башке мечом...

— Ники, что за выражения...

— Прости, милая! — успокоился император, целуя жену в щёку. — Ну конечно, это шрам от дуэли, когда один из князей непочтительно выразился о твоей фотографии, моя радость.

— И я знаю, кто это был, — вспыхнула Александра, — твой несносный брат, Мишка. У меня ещё больше поводов злиться, но я же не делаю этого.

— Ну и какие же это поводы? — заинтересовался Николай.

— Да хотя бы вчера... как ты помнишь, первой в великолепной золочёной карете Екатерины Великой, запряжённой восьмёркой белоснежных коней, ехала твоя мать.

— В каком смысле «твоя мать?» — опешил Николай.

— Твоя мать! — значит, твоя матушка Мария Фёдоровна... А следом, на колымаге, гремевшей распатанными колёсами по брусчатке, следовала бедная твоя жёнушка.

— Ну успокойся, любовь моя, ты тоже ехала в карете...

— И лошади были хромые! — выкрикнула в лицо мужу Александра, чем неожиданно развеселила и успокоила его.

— С тем я к тебе и пришёл! Во всём виноваты эти старинные традиции.

Николай и Александра медленно поднимались по ступеням Красного крыльца. Почти на самом верху Николай споткнулся на правую ногу.

— Аликс, не спеши! — одними губами прошептал он.

⁵ Фунт — 400 г.

Поднявшись, царская чета поклонилась народу, прочитала короткую молитву перед иконой, которую держал в трясущихся руках старичок-митрополит с редкой седой бородкой, и вошла под своды Успенского собора.

После длительных молитв началось традиционное облачение царя и царицы. Александре стало жарко и она потела в се-ребристом своём парчовом платье.

Николай же, наоборот, был бледен и дрожал, словно от холода, когда принял из рук митрополита Московского драгоценную корону и возложил себе на голову.

Холод! Холод шёл от короны и морозил голову.

Сняв её, он осторожно коснулся ею лба Александры, заметив, как она вздрогнула от прикосновения золота и бриллиантов, и вновь водрузил на себя.

Царицу в это время митрополит увенчал другой, меньших размеров короной.

Потрясённая императрица встала на колени, и митрополит прочёл над ней молитву о царе.

Затем Николай, один среди стоявшего народа, опустился на колени.

Какая это была незабываемая картина для присутствующих здесь либерально мыслящих дворян...

Глядя на коленопреклоненного императора, Рубанов-младший просто упивался восторгом.

«Так должно быть всегда! — думал он. — Давно следовало поставить императора на колени».

После помазания святым миром Николай дал присягу уже как самодержец всея Руси и, поднявшись с колен, стал восходить по ступеням алтаря, чтобы принять причастие, и в этот момент, от волнения, слишком сильно потянул усыпанную бриллиантами цепь, на которой висел орден Андрея Первозванного.

Шесть камергеров, поддерживающих соболиную мантию императора, в испуге вытаращили глаза, наблюдая, как выскользнувший из толпы придворных генерал цепко схватил цепь с орденем и сунул за пазуху.

Окружающие подумали, что так положено по этикету, и савонник вышел поклониться царю.

— Не волнуйтесь, Ваше Величество! — шепнул царю Рубанов. — О произошедшем никто не узнает, — при этом так взглянул на камергеров, что они сразу уяснили, хотя климат в Петербурге и прохладный, но много теплее, чем в Сибири.

После алтаря Николай взял за руку жену и усадил на стоявший в соборе трон из слоновой кости, привезённый из Византии невестой Ивана Третьего Софьей Палеолог.

Сам бочком уселся на усыпанный алмазами трон царя Алексея, своего кумира.

Александра Фёдоровна впервые по приезде в Россию чувствовала себя спокойно и уютно. Сердце её зашлось радостью, когда императрица Мария Фёдоровна подошла к трону, поклонилась и поздравила с воцарением свою сноху.

Вслед за вдовствующей императрицей поочерёдно подходили и кланялись члены императорской фамилии.

— Аликс, — тихо произнёс Николай. — Как давит корона!

Но она не расслышала этих слов, так как, заглушая все звуки, рывкнули в салюте сотни орудий, и одновременно зазвонили все московские колокола.

Восемнадцатого мая, согласно утверждённому регламенту, планировалось народное гулянье на Ходынском поле. Так именовался изрытый ямами и окопами учебный плац для войск московского гарнизона.

Гулянье по расписанию начиналось с утра, а в 2 часа пополудни в императорском павильоне, на поле должны были собраться Великие князья, министры и прочие сливки высшего света.

Составляя расписание, Воронцов-Дашков с Фредериксом особо не ломали головы. Всё славное в этом мире, по их разумению, должно происходить в 2 часа дня.

Следом за высокими особами прибывала царская чета, веселить которую музыкой будет симфонический оркестр под управлением Сафонова, сочинившего по такому случаю торжественную кантату.

«Вроде бы всё в порядке, — радовался Великий князь Сергей. — Коронация прошла на высшем уровне... Племянник со своей... сестрой моей жены, довольны. Москва просто светилась от иллюминации... А народ пусть сам себя веселит... Разговееется колбаской с пряниками и запьёт икоту дармовым пивком из юбилейной кружки. Полицмейстера надо наградить... и кого-либо из его архаровцев. Улицы блистали чистотой и порядком, пьяных не валялось», — заложив руки за спину, топтал новый ковёр генерал-губернатор.

Как и положено, народ помолился, нарядился и потопал на Ходынку с вечера, занять место получше, долгожданный подарок получить пораньше, а халявного пивка выдуть побольше, насколько живота хватит.

Как водится у порядочного православного семьянина, мужики прихватили жён с детишками, а коли торчат в поле до утра, следоват чего-нито поснедать, а ежели в придачу и праздник, знамо дело — и выпить не грех. За царя-батюшку чекушо-

ночку махонькую уговорить... Кто осудит? А на жану — тьфу. Мотри у меня! Глядишь, время-то до утра приятственно и пролетит — не заметишь.

Ночь опустилась тёмная и безлунная. А что темнота выпившему человеку? Так... Тьфу, и ничего боле.

К тому же стали завозить возами подарки с колбасой и кружками.

Народ, ковыряясь в зубах и калякая, что в башку придёт, с интересом наблюдал, как разгружают будущие подарки.

Плотник Ерофей со своим напарником в чистых ситцевых рубахах и новых портах, дабы не позорить перед царём и честным народом артель, помогали разгружать бочки с пивом.

— Эй, славяне! — скатывая с телеги бочку, гудел причастившийся водочкой Ерофей. — Гуляй ноне!

Его напарник добродушно ухмылялся в бороду, раздумывая, как бы окромя законного кулька с кружкой, стибрить для супружницы ещё один кулёк.

Наступил рассвет.

«Мамоньки! — оторопел бородатый плотник, глядя на поднимающийся над людьми пар. Из толпы раздавались стоны. — Это што же деется?» — подумал он.

— Ваше благородие! — обратился Ерофей к молоденькому поручику в белом летнем двубортном мундире с шашкой через плечо и револьвером на поясе. — Ваше благородие, што-то делать надоть!.. — глядел на чистенького, ухоженного офицери-ка, как на выходца из другого мира.

Тот в волнении крутил новенький серебряный шнур с чёрными и оранжевыми нитями, поднимавшийся от рукояти револьвера к воротнику.

— Сам вижу, что делать надо... Но что? Эй, ребята, — обернулся к своим солдатам, — рви мешки, доставай подарки и кидай в толпу, — приказал он.

Ерофей с напарником помогали солдатам, с размаху швыряя кульки в гущу народа.

Очумелый, полузадохнувшийся люд, поймав подарок, стремился выбраться из толпы. Не тут-то было.

— Да-ю-ю-ю-т! — взвыли где-то в середине, и жаждающая кружек с вензелями толпа надавила и с хрустом свалила небольшой хлипкий заборчик, отделявший буфеты и телеги с товаром от народа.

Отовсюду раздавались крики и стоны. Телегу с плотниками опрокинули, и они вывалились из неё.

Отбросив кульки с подарками, бородатый, в рваной уже рубахе, стал помогать упавшему старику, но его отбросило в сторону и понесло в круговерти человеческих тел.

Он потряс головой, словно от наваждения — рядом бежала голая, без платья женщина, но она не обращала внимания на свою наготу, ей владело одно лишь желание — не упасть. Это была бы смерть!

Вместе с женщиной плотник свалился в какой-то неглубокий овраг.

Рядом с ними, утробно охнув, упал мужчина. Дальше, за овражом, начиналось свободное пространство, и народ, спасаясь от давки, бежал туда.

— Дочка, возьми, прикройся, — снял с себя рубаху плотник.

Молодую женщину колотил озноб. Она ничего не понимала. Глаза её были белые от ужаса.

— Мой сынок! — заикаясь, твердила она. — Там мой сынок, — вздрагивала плечами.

— Эй, дядька, чего разлѣгся? — обратился бородач к мужчине и перевернул его на спину, вздрогнув от мѣртового взгляда и уже засыхающей крови на губах и подбородке. — Господи! — перекрестился он, поднимаясь, и увидел давешнего поручика в рваном, испачканном кровью мундире.

Офицер нёс на руках бездыханное тело ребёнка, и слѣзы катились по мальчишескому его лицу, капая на белоснежный когда-то мундир.

Услышав о трагедии, Рубанов с братом прикатили на извозчике к Ходынскому полю.

Оно было усеяно погибшими.

— Господи! Прости нас! — перекрестились они.

Рядом ходил голый по пояс бородатый мужик и всматривался в лица лежавших. Иногда он убирал с лица шляпу или оброненный сапог.

— Ерощку не видали? — обратился к господам, забыв поувеличать их превосходительствами и не услышав ответа, побрѣл дальше, подняв по пути золотые часы на цепочке и, безразлично глянув, тут же бросил их под ноги.

Москва оцепенела от ужаса!..

В тот же день газеты разнесли вѣсть о несчастьѣ по России.

Узнав о случившемся, Николай и Александра ездили по больницам и просили прощенья у покалеченных людей.

— Господи, Ники! — рыдала в карете царица. — Россия не хочет меня! Снова горе и похороны!

— Как давит корона, Аликс! Я уйду в монастырь! — пообещал ей государь.

Он был ещё молод и неопытен.

Вечером к нему приехали дядья.

— Я велю вам прекратить торжества! — перехваченным от волнения голосом обратился к ним государь.

— И тем оттолкнуть от себя нашего союзника — Францию!

— При чём здесь Франция, — снизив тон, удивился Николай.

— Как при чём? — ещё сильнее удивились дядя. — Вечером, согласно протоколу, назначается бал у французского посла Монтебелло. Им уже выписаны из Прованса и привезены сто тысяч роз... Сто тысяч, Твоё Величество, — иронично глядели на племянника. — А ты раскиселся! Народ — дурак! Сам себя пересидел. А коли ему, так «н-д-д-равится», то ты-то при чём? Бал посетить обязан. Ибо государственный муж уже, а не мальчишка, — в приказном тоне уговаривали они племянника.

У Николая ещё не было своего мнения, и он покорно уступил гвардейскому натиску дядюшек.

Это была первая его трагическая ошибка!

Вечером он появился с заплаканной Аликс и, играя желваками, открыл бал, пригласив на танец графиню Монтебелло.

Нельзя танцевать на трупах!

На следующий день Рубанов-младший послал в газету статью, подчёркивающую бессердечие самодержавной власти, презрение её к народу и цинизм молодого царя и его жены-немки.

«Откупился от убитых тысячью рублей», — вопила газета.

«На его месте любой бы царь отказался от власти и как честный человек ушёл в монастырь», — именно так понял обыватель из подстрочного текста.

Русские во все времена были сильны в аллегориях, и цензура ничего не могла с этим поделать.

Великий князь Сергей, чувствуя вину, вызвал полицмейстера, чтоб собственноручно намылить ему голову и перевести в уездный «Задрипанск» помощником младшего надзирателя.

Но полковник Власовский был тёртый калач — не одну собаку слопал на царской службе и тут же, подхалимски звякнув шпорами, протянул гневному генерал-губернатору отпечатанную без ошибок и со всеми ятями служебную записку.

— Чего ты мне свои бумаженции тычешь?! — разбуженным зимой медведем зарычал Сергей Александрович, но краем глаза уловил строку: «...Посему мы не виноваты!»

В нём заиграло любопытство и, рухнув в кресло, прочёл всю оправдательную челобитную. Во время чтения чело государственного мужа постепенно разглаживалось, и на губах проступала довольная улыбка.

«На поле всем руководило Министерство двора, — читал он, — им всё устраивалось: и балаганчики, и буфеты, и кульки с пряниками, полиция же ко всем этим приготовлениям отношения не имела, — читая, довольно щурился Великий князь. — Ка-

салось полиции лишь то, что было около поля и до поля, а там никаких историй не произошло, там обстояло всё в порядке...»

«А ведь и правда! — ухмыльнулся царский дядька. — Какие к нам претензии? Москву вылизали, как собака тарелку из-под щей, коронацию провели... какого же ещё рожна надо? Отнесу-ка я эту умно составленную бумагу моему племяннику», — решил он.

И правильно сделал, потому как высочайшим рескриптом получил благодарность «За образцовую подготовку и проведение торжеств».

Москвичи никогда не отличались благодарностью и поздравляли своего губернатора криками: «Князь Ходынский!»

«Вот пустомели», — составил о них своё княжеское мнение Сергей Александрович, но полицмейстера всё-таки уволил.

Общественное мнение в России благодаря газетам стало одно: «Ходынкой началось — Ходынкой и кончится!»

Рубанов-старший за проявленные внимание и усердие получил орден и к тому же был поощрён путешествием с царской четой по городам и весям России и Европы.

Делать нечего. Отправив семью в Рубановку, в июле он вместе с царской четой торжественно открыл ярмарку в Нижнем Новгороде и всласть попиrowал с купечеством. Потом погостил в Вене у императора Франца-Иосифа. Из Вены поехали в Киев, а после Киева удостоился чести общаться с самим кайзером Вильгельмом Вторым.



Подъезжая к Берлину, Николай разнервничался, а когда из окна вагона увидел расхаживающего по перрону кузена Вилли в военном мундире и в сверкающих сапогах, то и вовсе сник.

«И почему я теряюсь, разговаривая с Вилли? — думал царь. — То ли оттого, что он на восемь лет старше меня или потому что монархом стал на шесть лет раньше, а главное — коробит его несносная спесь и величайший гонор. Недавно мне донесли, что Вилли начал подписывать документы «Всех Превысший!» Это ж надо? — разминал пальцы Николай, готовясь к рукопожатию. — Помню я, как мой папенька, когда Вилли шишкой торчал на своём ржавом крейсере в Кронштадте, надеясь, что русский император первым нанесёт визит, послал даже не генерала Свиты, а флигель-адъютанта, и кузен мигом примчался в Зимний. Да и беседовал-то мой папá с ним через плечо. Попробывал бы он пикнуть на родителя... и тренированная правая рука не помогла бы». — Выходя из вагона, под звуки марша пошёл на-

встречу кайзеру, с тоской всматриваясь в его грозно закрученные вверх усы.

Спрятав высохшую левую руку в карман, Вилли вытянул вперёд свою железную правую длань и сжал пальцы своего кузена, намереваясь показать мощь германского кулака.

Не удалось!

Николай исправно занимался греблей и для удовольствия колол перед дворцом толстенные пни.

Посопев, они расцепили рукопожатие, лицемерно обнялись, похлопав затем друг друга по плечам.

— Ники! Ты стал молодцом. А как славно щёлкнул по носу российских либералов в своей речи, — потрогал — не загнулся ли острый кончик уса. — Сейчас вспомню, — закатил на лоб глаза. Ага! — «От несбыточных мечтаний в управлении делами государства...» — Размечтались, краснобаи. Даже бы я лучше не сказал. Ты прав, сынок, принципы монархии должны быть неизблемы, — печатал шаг, с удовольствием брякая каблуком. — Ты правильно начал... Побольше строгости и парадов, мой брат, — шмякнул в плечо здоровой рукой.

Прусский мужлан! Папá правильно говорил, что будь Вилли моим сыном, порол бы его как сидорову козу... Хоть бы на денёк усыновил», — повёл занемевшим плечом.

— Теперь ты император, Ники, и должен понимать, что союз России с французскими лягушатниками направлен против монархических устоев. Ну что у тебя общего с этими республиканцами? Ведь вместе с тобой мы затопчем всех их лягушек и заставим питаться чёрным хлебом с квасом, — ошарашено остановился и вдруг, задрав голову и открыв рот, громогласно заржал, самозабвенно закрыв глаза и притопывая от удовольствия ногой. — Чёрным хлебом и квасом, — потрясённо помотал головой и вновь зашёлся смехом, дёргая за рукав кузена и приглашая повеселиться.

Николай вежливо хохотнул. Воспитание.

Отсмеявшись и вытерев глаза, Вильгельм подкрутил вверх усы и произнёс:

— Ну и остроумный я бываю... Кстати, Ники, на завтра в твою честь запланирован грандиозный военный парад. К присутствующим просьба не опаздывать... Да что это со мной? — захлопал правой рукой по ляжке и вновь закатился гомерическим смехом.

На параде Николай был в скромной полковничьей форме, зато его кузен разрядился щёголем в высоченные ботфорты с блестящими голенищами, серебряную кирасу, белый плащ и сверху всё это великолепии накрыл сверкающим на солнце остроконечным шлемом.

«Кирасиром, что ли, вырядился? Напоролся бы он на вахмистра Конногвардейского полка... то-то конюшню бы почистил за нарушение формы одежды. А здесь кто его накажет?» — размышлял Николай, глядя как его кузен, высокомерно топорща вверх усы, принимал доклад генерала и в качестве поощрения с размаху треснул по мясистой заднице, когда тот повернулся уходить.

Сделав смотр германским войскам, царственная чета, вздохнув с облегчением, уплыла в Данию, где правил дед Николая со стороны матери, король Христиан Девятый.

Погуляв по Копенгагену и встретившись со своей матушкой, гостившей на родине, направились в Англию, в гости к королеве Виктории.

— Ники! Как это замечательно, — радовалась жена, — ведь у нас получилось свадебное путешествие.

— Аликс, я так люблю старую добрую Англию... Столько воспоминаний нахлынуло здесь на меня. Кажется, совсем недавно мой незабвенный папá послал меня представлять царскую фамилию на свадебной церемонии моего кузена Георга, герцога Йоркского, с принцессой Марией Текской. Я жил во дворце Мальборо. А как тебе известно, мы похожи с кузеном, как две капли воды. Гляди, не перепутай нас, ежели вдруг встретишься с ним вечером. В течение бракосочетания нас несколько раз путали.

— Ники! — покраснела Алиса. — Надеюсь, не в первую брачную ночь?

— Бу-а-а-а! — заржал Николай, топая ногой и копируя кузена Вилли.

— Ники, ты иногда ведёшь себя как простолюдин, — развеселилась царица.

— Нет, милая, к сожалению, за один день до неё... Меня тепло поздравляли со свадьбой и желали счастья... а Георга один из приехавших принцев спросил: «Николай, как вам понравился Лондон?» — «По-моему, неплохой городишко», — ответил Георг.

— Ох, Ники! Я так счастлива с тобой здесь, — отсмеявшись, поцеловала она мужа.

Как и в том июне, они вдвоём поехали в коттедж в Уолтон-он-Темз, принадлежавший старшей сестре Аликс, принцессе Виктории Баттенбергской, и провели там три счастливых дня, вспоминая тот далёкий июнь, зелень лугов и цветы на полях. Бесконечно целуясь, вновь сидели в саду, и так им было тепло и уютно, и так далека была Россия с её заботами и Ходынским полем...

Если бы Бог предложил им поменять власть, дворцы и трон, и скипетр на простой коттедж в зелёном поле с цветами, они без раздумья бы согласились.

Ну какое может быть сравнение английского поля с Ходынским?!

Последнюю неделю они прожили в Виндзорском замке вместе с королевой.

Рубанов же нашёл друга в лице одного английского вельможи, и вместе они сражались до упаду с «зелёным змием», от которого нос вельможи стал красным, под стать мундиру.

Тренированному предыдущим императором Максиму Акимовичу было по плечу сразиться и с более крупным драконом, коих, по словам вельможи, в старой Англии водилось видимо-невидимо.

Поэтому, в отличие от своего нового друга, до рыцарей короля Артура не допивался.

Правда, вместе с царём он посетил несколько воинских парадов.

После парада шести рот Колдстримских гвардейцев офицеры пригласили императора со свитой на обед. Николай надолго не задержался, зато Рубанов с приятелем пообедали на совесть, после чего англичанин доказывал, что рот двенадцать, чуть позже их стало восемнадцать, и это не считая рыцарей. Пока батальон не превратился в дивизию, Максим отвёз английского друга отдыхать, он точно пересчитал роты — их было девять.

На следующий день вместе с царём присутствовали на параде пехоты, кавалерии и конной артиллерии. Николаю понравились шотландские стрелки в плиссированных юбках, английскому другу — длинный строй рыцарей, а Рубанову — дама в белом плаще. Приглядевшись внимательнее, он признал в ней Жанну д'Арк. Но времени на неё уже не оставалось.

В Англии в сопровождении нянек и кормилиц к царской чете присоединилась их десятимесячная дочь. И вместе с ней направились во Францию.

На середине Ла-Манша, безбожно пыхтя дымом, усердно гремя гимнами и шелестя флагами, их, дабы оказать уважение, встретили французские корабли.

Тут броненосцем ворвались воспоминания в похмельную рубановскую голову и утюжили мозги до самого берега.

Максим вспомнил, как в 1891 году французский флот посетил Кронштадт и произвёл немалый конфуз при Царском дворе. Он даже бился об заклад с генералом Черевиным, доказывающим, что император не сможет снять шляпу под звуки французского гимна.

«Каково будет мнение высшего света и общества, коли император обнажит голову, слушая Марсельезу, зовущую к свержению деспотов в коронах». — «А я ему доказывал, — вспоминал

Рубанов, — что это его отец, Александр Второй дорожил общественным мнением... спрашивая: «А как думает образованное общество?» Сын повёл политику так, что общество интересовалось тем, как думает император. И я выиграл у Петра Черевина сто рублей. Александр со словами: «Я им не композитор, чтобы под фагот и балалайку гимны придумывать», — спокойно снял шляпу и благожелательно выслушал «К оружию, граждане», стоя под наведёнными на французскую делегацию жерлами путиловских пушек».

Тогда авторитет России был столь высок, что император ничего не боялся. Александр Третий знал себе цену и напыщенная Европа тоже знала цену русскому царю. Европейские правители лишь утёрлись, когда съехались в Петербург на ассамблею, а русский император задержался на рыбалке.

Флигель-адъютант, посланный к царю, привёз ответ: «Пока русский царь ловит рыбу, Европа может и подождать!!!»

Импульсивные французы активно готовились к встрече российского самодержца. Хотя в конце сентября в Париже каштаны не цветут, но было бы желание... Наклеив из бумаги цветов, их проволокой прикрутили к ветвям, дабы Николаю с супругой было приятно проехаться под сенью цветущих каштанов.

По всей Франции гудела, пела и пила шумная «русская неделя». В драку нарасхват шли тряпичные петрушки, ваньки-встаньки, тульские самовары, матрёшки и игрушки-дёргалки, когда два русских медведя, выпив, видно сминовской, что есть силы долбили молотками по наковальне или русский мужик колот топором пенёк.

Французский президент, узнав, как одевался кайзер Вильгельм, решил его переплюнуть, заказав себе парадный костюм, состоящий из белого кашемирового жилета с золотым галуном и голубого атласного кафтана, расшитого анютиными глазками, желудями, нарциссами и для солидности — дубовыми листьями.

Перед самой встречей насилу его уговорили облачиться в банальный фрак и тривиальную белую манишку, потому как у окружения не было президентского эстетического воображения.

Когда императорская чета с дочерью на коленях, в открытом ландо появилась на парижском бульваре, французы устроили бурную овацию.

Оркестры на всём протяжении дороги гремели «Боже, Царя храни», а не Марсельезу, призывающую к свержению монархов. Народ размахивал трёхцветными российскими флажками и надрывно скандировал: «Да здравствует Николай!» «Да здравствует Александра!»

Не зная, как выразить своё трепетное отношение к самодержцам, восторженно, с подвывом кричали: «Да здравствует ребёнок!» — Ну чем, чем, чем ещё порадовать русских деспотов... Покумекав, заорали: «Да здравствует няня!»

«На этот раз перечислили всех, а если бы, к примеру, рядом с императором ехал царский парикмахер, парижане бы вопили: «Да здравствует брадобрей!» — улыбался Рубанов. — Лучшее бы про Жанну д'Арк чего-нибудь хорошее покричали!»

Николай был счастлив.

Визит завершился, как принято в приличных государствах, военным парадом.

Одетый в казачий мундир император наблюдал за прохождением войсковых колонн, в которые входили альпийские стрелки, полки пехоты, кавалерия и самые грозные защитники республики — африканские зуавы.

В конце смотра, дабы поразить высоких гостей, чего-то горланя и размахивая саблями, пронеслась лавина всадников-спагов, одетых в халаты.

«Наверное, сидели кофий пили, а тут неожиданно парад», — размышлял Максим над формой одежды конников.

Чихая, тихонько чертыхаясь и отряхиваясь от пыли, высокие гости покинули поле.

Свадебное путешествие царской четы закончилось в Петербурге.

И тут же своё путешествие из Петербурга в Москву совершил Константин Петрович Победоносцев.

«Господи! Хорошо-то как, — вытянулся он на мягком диване, вслушиваясь в перестук колёс и позвякивание чайной ложечки в стакане. — И зачем мне этот холодный Петербург... и эта тяжёлая глыба власти... А ведь как к ней рвутся, понимая под властью предмет тщеславных вожделений, награду наглым и хитрым, но не умным, бездонную кормушку для чиновников. На самом деле власть не для себя существует, но ради бога, и есть служение Отечеству. Власть — это “Божие Тягло”, как писал Великий князь Владимир Мономах: “Гордости не имейте в сердце и в уме, — поучал он княжичей, — смертны все, сегодня живы, а завтра в гробу. Всё, что имеем, Ты, Господи, дал. Не наше, но Твоё поручил нам еси на мало дней”. — Как хорошо сказано. Вот и Москва», — глядел из окна на вокзальную суету и радовался, что никому торопиться не надо. В кармане лежал билет в обратную сторону.

Когда он устал от нескончаемых дел, то отдыхал одним известным ему способом — садился в московский поезд и на нём же, даже не выходя из вагона, возвращался в Петербург.

И был в эту осень ещё один путешественник, в отличие от предыдущих, совсем незаметный — Владимир Ульянов, следовавший по этапу из петербургской тюрьмы в ссылку — сибирское село Шушенское.

Жизнь между тем шла своим чередом. Соскучившийся по военной службе Рубанов-старший всей душой отдался воспитанию личного состава вверенной ему дивизии.

Случайно он прочёл запись старшего сына, в которой тот мечтал о карьере извозчика, лишь бы не учить латынь.

«Молодец, сынок. Но не в извозчики, а в кавалеристы может выйти. Главное — начать. Особенно отцу понравилось, так и веявшее Россией — про мать-перемать, в оглоблю, в копыто ети... Этот гимназистик, глядишь, человеком станет», — активно применял полученные знания в полевых условиях, подготавливая кавалеристов к военному делу.

Служба, разумеется, совмещалась с балами, банкетами, раутами, зваными обедами и ужинами, концертами, балетами и театрами.



«Завтра сочельник», — разбежался Аким и прокатился по накатанной гимназистами ледяной дорожке, в конце которой, выкатив живот в шинели, башней стоял городской.

Расставив руки, он хотел поймать мальчишку, но тот ловко проскочил мимо него.

— Что делают, шалопаи! — погрозил пальцем Акиму. — А порядочные люди из-за них... не договорил блюститель порядка, заржав жеребцом и радостно разглядывая взметнувшего ноги вверх и скользившего на заднице приказчика. — На извозчика что ль денег нема, на своём заде раскатывает, — на секунду замолчал, потрясённый своим чувством юмора, и огласил воздух громоподобным хохотом, временами вытирая ладонью выступившие на глазах слёзы.

Проходившая мимо молодая дама иронично покачала головой, оглянувшись на городского.

Аким, поправив за спиной ранец и подышав на ладони, прикидывал, как бы ему прокатиться в другую сторону, чтоб покрасоваться перед двумя гимназистками из Мариинки, идущими навстречу.

В это время городской, напустив суровость на круглое добродушное лицо, сделал стойку, молодецкато бросил руку к виску и помчался к остановившимся у края тротуара саням, преданно глядя в глаза высаживающегося начальства. Огибая отряхивающегося приказчика, ступил на скользкую дорожку

и заплясал гопак, взбрыкивая на одном месте ногами и балансируя для равновесия руками.

Как и давеча Акима, равновесие он тоже не поймал и с утробным рыком со всего маху саданулся широким мужицким задом на то место, с которого поднялся приказчик.

Вылезший из саней начальник, надув щёки и выкатив глаза, с интересом наблюдал за пляской подчинённого и махнул головой, прищулив левый глаз, в такт с соприкоснувшейся со льдом задницы.

Прежде он хотел отматюкать переломившегося пополам от смеха приказчика, но глянув на барахтавшегося городского, тоже зашёлся от хохота.

«Ну вот, не проскользнёшь», — со вздохом глянул Аким на прошедших мимо гимназисток и медленно побрёл за ними.

Девчонки, что-то весело обсуждая, зашли в булочную Филиппова, обдав Акима хлебным запахом из открывшейся двери.

Глянув сквозь морозное стекло на громадный крендель в два аршина величиной в окружении связок с баранками, он тоже залетел в магазин, постучав у порога ногами и выглядывая двух подружек.

Для чего они были ему нужны, и сам не знал. Заговорить с ним всё равно не посмел бы.

«Раз зашёл, надо чего-нибудь купить», — разглядывал булки с маком, баранки, мелкие сушки, плюшки, сайки, крендельки с изюмом.

Когда вышел от Филиппова, начинало темнеть.

По мостовой, временами высекая искры из подков, чиркающих о торчащие из-под снега булыги, мчались лихачи.

«Поймать, что ли, Ваньку и прокатиться?» — раздумывал он.

Дома его уже ждал отпущенный из корпуса на праздники брат.

Вечером родители уехали в театр, а братья, переговорив обо всём и сплавив гувернантку в длинные руки денщика, направились в людскую, послушать умных людей — швейцара Прокопыча, сторожа Пахомыча, дворника дядю Власа и кухарку Марфу.

Осторожно, чтоб не испугать старичка-лакея, спавшего в обнимку с пушистым котом, сели на лавку в углу под образами и пили чай, налитый в чашки из огромного кипящего самовара. А из печки шло тепло, водил глазами кот на железных ходиках, изукрашенных зелёными еловыми ветками, пыхтел самовар, и Марфа монотонным голосом что-то рассказывала из бедовой жизни леших и водяных.

Глаза закрывались. На душе было уютно, спокойно и тихо, как бывает только в детстве.

В сочельник братья отпросились у мамы съездить на ёлочный базар.

На облучке сидел богатырь Ванюша в овчинном полушубке, а в санях, кроме барчуков, — Антип и недавно принятая молоденькая горничная.

Денщик любовался то своими новенькими ефрейторскими погонами с одной поперечной лычкой, то румяными щёчками девушки.

— Дашенька, как вам Пим-м-тимбурх? — стряхнув наглую снежинку с погона, обратился к горничной, но тут же съёжился от яростного взгляда управляющего упряжкой верзилы. — Дарья Михайловна, — поправился он, — а вы с какой деревни?

Конюх ревниво прислушивался к разговору, временами строго покрывая на лошадей.

Скрипели по снегу полозья. Мороз щипал за щёки. Перед базаром выпрыгнули из саней и долго топали, согревая озябшие ноги. Глеб подпрыгивал, попутно любясь выставленными ёлками. Ждали, когда Ванюшка привяжет лошадей.

— Аким, мы как будто в лесу, — воскликнул брат, восторженно оглядываясь по сторонам.

Ели и сосны стояли рядами, большие и маленькие, в снегу и инее.

А запах!

«Так, наверное, Россия пахнет», — подумал Аким, вдыхая аромат сосны и вспоминая запах хлеба в магазине Филиппова.

Иван не думал, что как пахнет, а оттирал литым плечом нахального денщика от Дашеньки.

Около небольшого, но дымного костерка торговали сбитнем. Аким важно достал из кошелька деньги и угостил компанию. Горячий сбитень в пузатых стеклянных стаканах грел пальцы, а затем и весь озябший организм.

Кругом ходил озабоченный люд, выбирая ёлки.

«Как хорошо!» — пускал пар изо рта после каждого глотка, Аким.

Брат во всём брал с него пример.

Вечером наряжали поставленную в банкетном зале ёлку. Ирина Аркадьевна радовалась не меньше детей, показывая молоденькой горничной, куда вешать игрушки. Даша стояла на лесенке, которую держал Иван. Внизу игрушки развешивали ребята.

Потом спали и набирались сил, чтоб как можно дольше бодрствовать на Рождество.

На этот раз в церковь ехали в лаковых санях. Вороны правил сам Архип, наряженный во все свои прибабасы с белым кушаком.

Как здорово нестись по ночному Петербургу.

Свет фонарей. Светящиеся окна. Светлое от звёзд небо. Светлая от радости душа. И церковь. И огоньки свечей. И лики святых. И церковное пение.

И радость! Радость! Радость!

Оттого, что с нами Бог!

А дома ждал уже накрытый стол. И тут же раздался звонок в парадной: то прибыл Рубанов-младший с семьёй.

И поздравления, и бесконечные поцелуи... А после — пир.

Детей опять посадили вместе со взрослыми. Праздник!

— А мы неделю постились! — с гордостью сообщил Рубанов-старший, подставляя лакею бокал для шампанского. — Спасибо, Аполлон, — поблагодарил сухого, поджарого слугу, одетого в чёрный смокинг и белую манишку.

Тот подобострастно кивнул головой, изогнув спину, и шагнул к брату.

— Мы тоже постились, но для здоровья, а не религии, — в свою очередь подставил лакею бокал Георгий.

— Господа! Если бы знали, как надоели рыбки блюда с икрой. Все эти стерляжки расстегаи, заливное из осетрины, котлеты из белужины с гарниром из белых грибов, эти ужасные постные пирожки с груздями и сиги на пару... — рассмешила всех Ирина Аркадьевна. — Не знаю, с чего и начать полнеть, расстался Герасим Васильевич, — в ту же секунду лёгкий на помине в дверях появился повар в крахмальном колпаке и внёс поднос с целиком зажаренным поросёнком, а следом — жареный гусь под яблоками, индейка запеченная и так надоевшая икра в вазах, и куриные котлеты, и лосиное филе на тонком вертеле, и соусы-подливки, и всякое желе... А напоследок распаренный повар таинственно внёс фаршированного рябчиком фазана, с настоящим хвостом из перьев.

— Bravo! — захлопали в ладоши взрослые и дети, довольно поклонившемуся повару, но есть уже не хотелось.

На столе нетронутыми остались окорока, сыры и колбасы, мочёные яблочки, солёные груздошки, огурчики, капуста... Бутылки с бургундским, мадерой, токайским, хересом. Дети запивали еду грушевым, апельсиновым, яблочным лимонадом и сельтерской водой. А после — ореховый торт и пирожное и, наконец, мороженое...

Всё! Дети уползли в детскую, взрослые — в гостиную.

Так-то вот после поста!..

— Светский человек всё должен запить «Смирновской», — рухнул в кресло Максим, аккуратно поставив на столик водку и две рюмки.

— И этим ты вогнал бы в шок мадам Светозарскую, — рас-
смеялась жена. — А мы лучше чайку с лимончиком, — глянула
на свою подругу.

— А вот было бы ужасно, ежели бы пришлось танцевать, —
налил в рюмку огненной жидкости Георгий и стал внимательно
разглядывать её на свет. — Максим, меня много месяцев мучает
тайна, — крутил в руках рюмку, — чего вы там раскланивались
с государем на коронации... — ждал он ответа.

— Сейчас фазанчика с лосятилкой отведаем, свининкой с кот-
летками закусим и спляшем, — отдувался Максим, делая вид,
что не расслышал вопроса и с усмешкой поглядывал, как жен-
щины машут в его сторону руками.

Согласно разработанной генеральским денщиком диспозиции,
пока господа отдыхали, следовало их развлечь в духе народных
традиций. Поэтому, по его знаку, шлёпая по паркету валенка-
ми, громко стуча в выпрошенный у Акима барабан и завывая
дикими голосами, в гостиную ворвались ряженные: дворник
Власыч, укрытый поверх своего пальто конской попоной и едва
стоявший на ногах от трудов праведных Пахомыч в вывернутом
мехом наружу тулупе. Он-то самозабвенно и колошматил в ба-
рабан.

Дворника украшала маска чёрта с рогами, а сторож, по
своей задумке, вырядился под лешего, но таковой маски не
нашлось, и он напялил картонное свиное рыло с дырой под пя-
точком.

— У-а-а! — завывал он и кружился.

Следом на негнувшихся ногах появился в стельку пьяный
старичок-лакей. На трясущейся его голове был надет высочен-
ный синий заострённый вверху колпак со звёздами, а на пле-
чах, застёгнутый булавкой, до пола свисал фартук кухарки
Марфы. В руках он держал свёрнутый трубкой кусок картона.

Согласно диспозиции Антипа, старикашка олицетворял сво-
им заморенным видом учёного-звездочёта с подозрной трубой.

— Спасибо, что никому не рожать, — подвёл итог увиденно-
му, взяв со стола бутылку, Максим.

В ту же секунду из свиного рыла вынырнул красный язык,
и генерал, от неожиданности, плеснул на мундир из рюмки.

— Ч-ч-ё-ё-р-р-т! — сругнулся он.

Подумав, что хотят угостить, Власыч мигом сдёрнул чертячью
маску и дамы взвизгнули, увидев всклокоченную бороду, красные
от перепоя, налитые кровью глаза, стоявшие дыбом седые патлы
и три гнилых зуба на весь плотоядно раскрытый рот.

— Надень, надень маску, — протянул ему бутылку Максим, —
теперь все святки мерещиться дамам будешь. В тёмную комна-
ту побоятся зайти, — обернулся на грохот — то, зацепившись

за ковёр негнушимися ногами, со всего маху припечатался об пол учёный-звездочёт и тут же умиротворённо захрапел.

— К детям не ходите, — предупредил оставшихся на ногах ряженных Максим, одаривая их трёшницей.

Довольные жизнью, ловко подхватив тело павшего на ниве искусства приятеля, артисты убрались в людскую.

— Натерпелись мы страху! — сделала вывод Любовь Владимовна.

Утром под ёлкой дети достали коробки с подарками.

— А ты, Лизка, говорила вчера, что Деда Мороза не бывает, — распаковывал Глеб коробку.

— Конечно, не бывает! И леших с чертями тоже... — капризно надула она губки.

— Ты не права, дочка! — погладил её по головке Максим Акимович. — Ночью они были здесь!

У Глеба на дне коробки лежала книга Фенимора Купера в яркой обложке, а сверху — конные казаки и орудия с запряжкой.

У Акима — «Айвенго» Вальтера Скотта и целый гвардейский взвод из семёновцев, преображенцев и измайловцев, коих тут же сменял у него на книгу брат.

Днём, когда гости уехали, родители легли спать, а брат играл в солдатики, Аким пошёл в людскую поздравить с Рождеством слуг.

На лавке, укрытый фартуком, похрапывал старичок-лакей. На другой лавке, обнявшись, нудили какую-то песню пьяные в лешего друзья. На столе среди закусок и пустых бутылок лежали две маски.

— А это что такое? — поднял с пола затоптанный плоский конус с проступающими сквозь грязь звёздами.

— М-м-м-у, — указал пальцем на спящего старичка-лакея дворник и брякнулся головой в тарелку с остатками каши.

— Настали святки — то-то радость! — грустно сам себе прочёл стихи Аким и хотел уже идти к брату, как в людскую влетела толпа подростков с ковыляющей сзади Марфой.

Встав под образа, они запели святочную колядную песню, поглядывая не столько на образа, сколько на кухарку.

«Пришла коляда накануне Рождества. Дайте коровку, маслянину головку. А дай бог тому, кто в этом доме, ему рожь густа, рожь ужиниста...»

— Ему с колоса осьмина, — начала подтягивать Марфа, крепясь и притопывая ногой в валенке, — из зерна ему коврига, из полужерна — пирог.

«...Наделил бы вас Господь и житьём, и бытьём, и богатством. И воздай вам, Господи, ещё лучше того!»

— Ах, умницы... Это наша, тверская колядка, — одаривала юных портняжек, сапожников и бараночников, всё приговаривая, — ай, молодцы!

Мальчишки довольно шмыгали носами, распахивая по карманам конфеты и пряники.

— Чего орёте, чады? — вытащил голову из каши дворник.

— А-а-а! — в ужасе закричала ребятня, толкаясь в дверях.

— Тьфу, прости, Господи, чисто ирод! — плюнула Марфа. — На, рожу-то хоть прикрой, — сунула ему в руки свинячью маску, — распух от водки, как водяной, народ пугаешь...

Но Власыч её не слышал, опять шмякнув на старое место то, что люди называют лицом.

Перед Новым годом Рубанов-старший вывез покататься на санях своё потомство. Вместо занедужившего от праздников кучера на облучке сидел Ванятка, красуясь статью и гордо поглядывая сверху на прохожих и городских, берущих под козырёк перед проезжающим генералом.

— Что это там народ толпится? — подозвал к себе городского Максим Акимович.

— Так это, ваше прев-в-о-сход-д-ительст-т-во, — то ли от страха пред столь важным лицом, то ли от холода, заикался городской, — на к-к-у-л-л-а-ч-ках дер-р-рут-ся, д-д-дур-р-р-аки-и-с, начальство-м-м р-р-а-зрешено, — благополучно dokonчил фразу, держа руку у виска.

— Следует поглядеть, — подъехали к замёрзшей Неве, где на льду, ухая и матерясь, веселился русский народ, с упоением тузя друг друга кулаками и выбивая буйством на целый год душевную дурь.

На берегу их ругали боевые подруги и жёны.

— А-а-а! У-у-х! — слышалось из толпы.

Здоровенный, расхристаный мужичина в рваной рубаше с крестом на шее опрокидывал пудовыми кулачищами нападавших на него противников.

От мужика валил пар. Шевельнув плечами, он стряхнул с себя двух повисших на нём нехилых парней.

— Силён, силён, скотина, — похвалил удальца Максим Акимович. — Ванятка, сумеешь завалить бахвала? — обратился к кучеру Рубанов.

— Раз плюнуть! — чуть подумав, ответил тот.

— Ну так чего же сидишь?!

Сбросив тулуп и жилетку, пригладив на обе стороны густые русые волосы, Иван тараном пошёл в толпу, нехотя, как бы лениво отбрасывая с дороги нападавших, и остановился перед осатанелым от крови быком в образе человека.

— Ы-ы-ы! — заревел тот, глядя мутными глазами на нового противника, но не напал, а стоя на крепких ногах, прикидывал, куда ловчее ударить.

Наконец, кхекнув, размахнулся и что есть мочи долбанул Ивана кулачищем в грудь.

От такого удара свалился бы и жеребец, но Иван лишь немного качнулся и улыбнулся сопернику. В глазах парня начала светиться русская удаля, грудь часто вздымалась, и мощные плечи напряглись под рубахой.

— А-а-а! — зарычал он, полосую на груди сорочку и примериваясь, сжал кулаки.

Стало как будто тише...

Вытирая разбитые носы рукавами рваных рубах, фабричные сбивались вокруг двух бойцов.

Сверху, из саней, было хорошо видно, как они сошлись, награждая один другого ударами, то сходясь, то расходясь, зверски ухая и рыча, как два медведя, не поделившие самку, ярились друг на друга, шумно выдыхая пар и внимательно наблюдая за движениями и перемещениями.

Силы были равны. Всё зависело от внимания, расчёта и терпения.

Иван был моложе, к тому же не пил водки. Он уже раскроил губы сопернику и подбил глаз. Однако и тот не оставался в долгу. Но здоровяк давно уже бился и начал уставать, встряхивая временами головой от полученного удара и запалено, хрипло дыша.

— У-у-х! — выбросил руку Иван, ударив противника в челюсть.

Тот, кляцнув зубами, на секунду замер и молча, кулём рухнул на затоптанный, запачканный кровью снег, тонким слоем покрывавший замёрзшую Неву.

Толпа восторженно завопила.

Иван неожиданно застеснялся и, чуть покачиваясь на усталых ногах, пошёл к саням, попутно черпнув горсть чистого снега у бордюра набережной и вытерев им разбитое лицо.

Обрывки красной его рубахи свисали по обеим сторонам торса.

Две молоденькие бабы с немим восторгом разглядывали гиганта.

— Молодец! В дышло тебя... — вышел из саней Максим Акимович и собственноручно вытер кровь белоснежным платком с лица кучера. — Постоял за честь Рубановых, — протянул ему мятую ассигнацию.

Ребята с удивлением разглядывали человеческую громадину, будто впервые увидели его.

Аким уважительно пощупал напряжённый бицепс Ванятки.
— Гранит, — определил его крепость.

На Крещение уже всей семьёй направились на Неву к заранее приготовленной широкой проруби под изукрашенным навесом на столбах, у которой толпился празднично одетый люд, пришедший поглазеть на закалённых смельчаков.

Первая партия самых отважных приняла водную купель ещё ночью, после крестного хода.

Морозило! Невысокое тусклое солнце освещало покрытые инеем деревья и зашторенные узорчатой наледью окна домов.

С одной стороны лунки, посмеиваясь, выстроились господа, с другой, гомоня и толкаясь, толпился простой люд.

Семью Рубановых уважительно пропустили вперёд.

— Максим Акимович, делать тебе, что ли, нечего, как тащить меня в такую рань ноги морозить, — недовольно ворчала жена, пряча озябшие ладони в муфту.

В пяти саженях от лунки дымила трубой небольшая избушка, загодя привезённая для обогрева отважных. Вдруг её дверь открылась и по вычищенной от снега и покрытой рогожными мешками тропинке побежали к проруби мужики в накиннутых на плечи зипунах и тулупах.

Подбежав к лунке, набожно крестились, сбрасывали одежду и в одном исподнем прыгали в ледяную купель. Несколько раз окунувшись с головой, а кто и поплавав, вылезали по приставленной ко льду лесенке и, накинув у кого что было, мчались греться в избу. Навстречу искупавшимся, из избы выбежала ещё одна партия желающих принять во имя Господа студёное крещение. Возглавлял их давешний противник Ванятки.

Перед прорубью поворотом широких плеч сбросил тулуп и медленно перекрестился под восторженный шёпот дам.

— Вот это русский богатырь, — по слогам произнесла пожилая дама с лорнетом.

По разбойничьему ухнув, тот бросился в воду, обдав брызгами стоявших рядом людей.

— Вот и мы окрестились, — с улыбкой вытерла платком лицо Ирина Аркадьевна. — Интересное представление, — весело кивнула мужу, взяв за руки детей и выбираясь из толпы.

— Пап, а ты чего же? — дёргал за руку отца Глеб.

— Да, папа, порадуй барышень, — рассмеялась жена.

«Веры не стало! Народ русский отходит от веры...» — перекрестившись, в задумчивости стоял пред ликом Спасителя отец Иоанн.

Несколько прихожан, видя, что батюшка молится, не подходили за благословением, а выжидательно стояли в стороне.

«Новые идеи... Они разрушают народную мораль и нравственность. Интеллигенция не ходит в церковь. Все эти нигилисты и эмансипированные стриженные девицы восторженно приветствуют убийц... Убийц верных слуг царских. Дьявол торжествует! Но нет! — поклонился лику Христа, осенив себя крест-ным знамением. — Господи! Помогите нам... Спаси и сохрани Россию!» — оглянувшись на прихожан, и сердце его преисполнилось радостью.

Огромная толпа стояла перед ним и ждала слова своего пастыря.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! — начал службу отец Иоанн. — Возлюбленные братия и сёстры! — растроганно глядел на красивые, одухотворённые верой лица простых русских людей. — Нам — русским православным людям, необходимо с особым благословением и тщанием блюсти чистоту и не повреждённость Святого Православия и России. Россия! Святая Русь! Дом Пресвятой Богородицы! Что стоит за этими, казалось бы, простыми словами?! За ними стоим МЫ!!! Русские люди! Россия есть государство народа русского, которому Господь вверил жертвенное, исповедническое служение. Народа-богоносца, народа-хранителя и защитника святынь веры,— с любовью глядел в добрые лица жадно слушавших его людей. — Народ!.. Это — не простое слово... Это — МЫ! Мы — живы! Мы — есть! Мы — будем!..

**ПОКА ВЕРИМ!!!
ВЕРИМ В БОГА!
ВЕРИМ В РОССИЮ!**



Прошла зима, а за ней и весна.

Ранним июньским утром заспанный Ефим с вечной соломой в торчавших во все стороны волосах, но в новом пиджаке и чистой рубаше, вёз в ландо семью Рубановых, встретив их на станции в уездном городке, домой в родную Рубановку.

Что может быть приятнее поездки на лошадях ранним летним утром...

Когда чисто и тихо на душе. Когда чисто и тихо в воздухе, а из-за далёкого леса, освещая верхушки деревьев и серебра росу на зелёной траве, поднимается ещё более далёкое красное солнце.

— А давай-ка, братец, провези нас обходной дорогой, — велел ямщику Максим Акимович жестом руки отмёл все возражения жены. — Давно я не был на родине, — встав и сняв

фуражку, перекрестился на мутно видневшиеся в утренней дымке синеватого тумана, казалось, висевшие в воздухе, купала Покровской церкви. — Родина! — испытывая на языке вкус этого слова, ещё раз произнёс Максим Акимович, усаживаясь в раскачивающийся возок, и стыдливо отвернулся к старым кривобоким раkitам по краям бесконечной русской дороги и пальцами незаметно смахнул набежавшую слезу.

То была такая редкая слеза счастья от спящих по сторонам зелёных лугов, от прозрачного воздуха, от бескрайнего простора вокруг, от испарений земли после тёплой ночи, от бесконечной русской дороги, то поднимающейся вверх, на пригорки и косогоры, то уходящей вниз, в лощины и овражки с прохладным ручьём. И пыльный лопух, и белая берёзка, и ромашки с васильками, и облака белого тумана над сонной ещё Волгой с покачивающимся отражением раkit, и русская деревушка, и встреченное стадо, и запах молока, и мычанье коров, и звон бубенцов, и топот лошадиных копыт, и ветерок, нежно глядящий щёки... И всё это — РОДИНА!..

Максим велел остановить коляску у бревенчатой старинной часовни с почерневшим от солнца и дождей крестом и вновь перекрестился, сняв фуражку. Выйдя из экипажа, встал на колени и подставил ладонь под прозрачную, студёную ключевую струю, стекавшую из позеленевшего и покрытого мхом деревянного желоба в небольшой пруд.

Попробуйте, как вкусно, — предложил жене и сыновьям, шумно, по-детски схлёбывая с ладони ледяную влагу.

Ирина Аркадьевна отказалась, а мальчишки с шумом выпрыгнули на мелкую, густую, мягкую травку, с удовольствием ощущая её под ногами, и тоже подставили ладони под тонкую прозрачную струю, отведав студёной родниковой воды.

И снова простор бесконечной дороги, и полосатый дорожный столб, и близкий уже лес, к которому вела узкая, заросшая низкорослой травкой колея.

Солнце постепенно стало ярко-жёлтым и начало ласково пригревать. А в лесу всё ещё было прохладно, и стояла вековая, как при сотворении мира, тишина.

Лошади шумно встряхивали гривами и фыркали. Усталые тени ложились поперёк дороги, безболезненно прокатываясь по лошадиным спинам, по путникам в коляске, и терялись в ветвях деревьев и кустарников. И снова яркое солнце, и зелень полей, и утренняя песня жаворонка, и село с церковью, и деревенские собаки, и трактир с вывеской, и шаткий мостик, и вот она — Рубановка.

В третий раз, сняв фуражку, перекрестился Рубанов и заиграл желваками, с трудом удержав слезу, когда проехали арку с единицей и семёркой, объехали корявую акацию с бронзовым

конногвардейцем и остановились у широких ступеней парадного подъезда.

Пока прислуга распаковывала чемоданы и таскала в дом вещи, Максим Акимович ходил по комнатам, дотрагиваясь до дедовских диванов, вдыхая запах давно ушедших лет и чувствуя себя маленьким мальчиком. Представив, что за той вон дверью, в старом «вольтеровском» кресле сидит его матушка и вышивает, а рядом отец в синем халате с малиновыми кистями рассеянно глядит в книгу, думая о своём, и курит длинную черешневую трубку, раскрыл дверь и увидел старую свою няню, благоговею и чистящую суконкой и мелом икону Божьей Матушки в серебряной ризе.

Бережно положив на покрытый скатертью стол икону, неспеша подошла к Максиму и обняла его, прижавшись щекой к груди.

— Что долго не приезжал? — вздрагивали от рыдания её плечи.

— Служба, бабушка, — наклонившись, поцеловал её в голову, уловив чуть заметный запах мяты от волос, и вновь вспомнив своё детство.

— Орут-то как, окаянные, — отстранилась от «дитятки» нянька, вслушиваясь в топот и громкий говор за стеной.

— Пойду, прослежу, — поцеловал её в мокрую щёку Максим.

«А вот и внушеньки!» — услышал, выходя, нянин голос и поосторонился в дверях, пропуская своих сыновей.

Как и положено во время приезда, дом напоминал штурм русскими войсками Плевны⁶.

— Тудыть твою мать, ну куды, куды ты, ирод, корзины-то прёшь, — страдальчески морщась, руководил вселенским погромом на правах старожилы конюх Ефим.

Солома так и сыпалась с возмущённой его головы.

«Деревня! Пёс сиволапый!» — мысленно чертыхался приехавший с господами лакей, с удовольствием глянув в зеркало на свои аккуратно стриженные чёрные волосы с полосочками бакенбардов вдоль ушей.

Кроме него, на двух вместительных колясках прикатили швейцар с гувернанткой и повар с горничной. Старичка-лакея на этот раз оставили в Петербурге.

— Ваше превосходительство, Максим Акимович, — бесконечно отбивал поклоны прилетевший в тарантасе староста, — как мы рады, как мы рады, — чистил он, стремясь облобызать барскую ручку.

⁶ Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 28 ноября (10 декабря) 1877 г. после третьего штурма турецкая крепость Плевна капитулировала.

«Кланяться-то не умеет, рыжий пёс, а туда же», — надменно разглядывал деревенское начальство лакей.

«Мы-ы! Государь всея Рубановки!» — иронично глядел на старосту Максим Акимович.

«Понаехало вас, чертей, таперя покоя не будет», — добился своего, прижав губы к господской руке Ермолай Матвеевич, попутно ткнув себе большим пальцем в глаз для выбивания «радостной» слезы.

Довольный, вытащил из кармана то ли платок, то ли знамя Рубановки и громко в него высморкался.

«Б-е-е-е! — отвернулся лакей. — Никакого, этого, как его, а-атикету у сиволапого», — выражая чуть согнутой спиной с выступающими сквозь пиджак острыми лопатками два фунта презрения к деревенщине, потопал в лаковых хрустящих штиблетах вниз, за вещами.

— Максим, ну где же ты? — взывала Ирина Аркадьевна, вихрем проносясь по комнатам и сыпля пепел из папиросы: «Не могли паркет натереть как следует к приезду и окна помыть, — искала она недостатки, чтобы выложить их на блюдечке мужу и старосте. — И куда это мой ненаглядный распорядился баулы поставить?! Ну мужики!.. Все бестолочи... Хоть в лаптях, хоть в эполетах».

Вечером, только сели пить чай, прикатил полицмейстер доложить царскому генерал-лейтенанту о порядке в уезде.

Его супруга, часто дыша, запоминала каждую рюшечку на платье Ирины Аркадьевны, чтоб сшить себе точно такое.

Следом прибыл предводитель дворянства с женой и взрослым сыном.

А там и чернавский барин со своей половиной пожаловал, за ним — ильинский... Принесли второй стол и просидели до глубокой ночи.

Уже за полночь гости вспомнили, что хозяева с дороги, и стали прощаться.

Глеб очень полезно провёл время в конюшне, осматривая лошадей, а потом один, не найдя брата, зыпрыгал по лестнице вниз, к Волге, намереваясь искупаться.

Аким, разложив вещи в комнате, отдохнув и попив чаю, направился в парк. Вдыхая аромат травы и зелени, прогулялся по широкой тополиной аллее, а затем свернул на узенькую, сплошь заросшую травой тропинку и прошёл к каменной беседке, приткнувшись к небольшому пруду и, затаив дыхание, слушал соловьёв, мечтая о том, что вдруг встретит здесь прекрасную белокурую даму, скачущую на белогривом жеребце. Конь, чего-то испугавшись, встанет на дыбы, она вылетит из

седла... а он... он остановит коня мощной рукой... наклонится и коснётся губами мраморного лба... Нет, лучше щеки... нет, это не поэтично... конечно, лба... и в этот момент красавица раскроет чудесные свои, синие как небо глаза и улыбнётся ему... Нет, как же она улыбнётся, коли подвернула ногу... она вскрикнет от боли... а я... я... возьму её на руки и понесу... К нам в имение...

— Ак-и-и-м! — спутал его мечты голос брата.

«Конечно... Вот так всегда! Глеб увидит нас и скажет: “Кого это ты притащил? Девчонку хромую, что ли?” — И испортит всю сказку, — пошёл на голос брата, раздумывая, как хорошо было бы очутиться на необитаемом острове. — Но лучше бы там очутился Глеб... хотя бы на время».

А ночью бушевала гроза. Всполохи молний освещали комнату, вырывая из тьмы то портрет на стене, то циферблат часов, придавая им какой-то нереальный цвет и излом. Знакомая вещь казалась чужой и странной.

Аким подошёл к окну и даже присел от разорвавшегося над домом грома. В темноте раскачивались деревья, и дождь сначала неслышной дробью, а после сплошным гулом стучал по крыше, шумно стекая с желобов в подставленные бочки, и, наполнив их, вольно растекался ручьями по сторонам.

Он с трудом распахнул окно, чуть не расколов стекло, и выдохнул тугой влажный воздух, игравший где-то под потолком с тюлью и носивший по комнате какой-то лист или страничку календаря.

Было жутко. И приятно. И грезилось о чём-то возвышенном... Чего никогда не будет.

Чистое, вымытое утро сверкало солнцем, росой, зеленью трав и деревьев. В небольших, оставшихся от дождя лужицах, плескались воробы. В саду пел соловей и пахло цветами, травой и вишней... Пахло Рубановкой... Пахло Россией.

Быстро одевшись и не понимая, куда спешит, Аким сбегал по лестнице вниз и столкнулся в дверях с нянькой, державшей в руках влажный букет ярких пионов.

— С праздником, внучек, — улыбнулась она, разбросав по лицу складки морщин. — Троицын день ныне. В церкву народ собирается.

«Троица! Как же я забыл», — чмокнув няньку в щёку, крутнулся от радости и, перепрыгивая через две ступеньки, помчался будить этого засоню-брата.

Ефим в праздничной косоворотке чинно правил коляской с запряжённой в неё парой лошадей.

Встречные крестьяне отходили с дороги и низко кланялись господам.

Несмотря на припекающее уже солнце, Максим Акимович не расстёгивал пуговицы мундира. Глядя на отца, мужественно потел в кадетской своей форме Глеб.

Аким надел шёлковую голубую косоворотку, а Ирина Аркадьевна, держа над головой зонтик, белела в коляске модным платьем.

Согласно давней уже традиции, идя последним по ведущей к храму дорожке, Глеб радовал нищих видом красного своего языка, с довольным видом побрякивая медью в кармане.

Калеки стойко терпели гнусное надругательство, не решаясь плевать в присутствии важного генерала, а то ведь становой пристав не поглядит, что ног нет, и прикажет всыпать по оставшейся над обрубками части тела.

В церкви приятно, словно в лесу, пахло травой, раскиданной по каменным плитам пола и берёзовыми листьями.

Крестясь, Максим Акимович поклонился Божьей Матушке, так похожей на прабабушку, и прошёл сквозь расступившуюся стену мужиков в праздничных рубахах и женщин в белых платках, разноцветных юбках и кофтах.

Вдоль клироса и везде по храму были расставлены молодые берёзки.

Золото иконостасов с горящими свечами украсилось гирляндами из зелёных пахучих берёзовых веток.

Почти у всех женщин в руках были цветы. Даже старушки держали маленькие букетики из ромашек, чтобы после обедни, придя домой, заложить троичные цветочки за образа для достатка и особенно долголетия. Кому неохота ещё лет сто прожить, чтоб за снохами приглядеть.

После службы Рубановы поклонились своим предкам и умиротворённые вышли из церкви, ещё раз подав нищим, сидящим на паперти.

У Глеба от такой щедрости даже разболелся язык.

Немного в стороне от церкви, на лугу, гудела ярмарка, и братья потащили туда родителей. На свободной от телег площадке кривлялись скоморохи. Пьяный мужик в лаптях, держа на цепи медведя, лихо отплясывал с ним барыню. По канату, натянутому на двух столбах, балансировала тоненькая девушка в красной короткой юбочке и чёрных трико.

Затаив дыхание, Аким глядел на канатоходку, на стройные её ноги, перебирающие канат.

Глеб, подняв несколько камешков, обстреливал медведя. Его абсолютно не волновали ещё женские ноги. Разозлив косолапого и его нетрезвого хозяина, отошёл от греха подальше и, подумав о чём-то своём, очень важном, уговорил отца купить

ему глиняную копилку в образе рыжей кошечки с синим бантиком. Отвернувшись, высыпал всю мелочь из кармана в прорезь между кошачьих ушей.

Тут же, будто случайно, с господами столкнулся староста и, беспрестанно кланяясь и поздравляя со святым праздником, приглашал к себе, отведать, что бог послал.

«Хоть и не по чину, конечно, но его рыжие предки верно служили моим... Следует поощрить беднягу!»

Ирина Аркадьевна наотрез отказалась, сославшись на мигрень, и Ефим повёз её домой. А Максим Акимович с сыновьями решил навестить верного своего слугу, заодно и проверить приходно-расходные книги, а то что-то мало, зараза, денег стал высылать.

В доме, по всему видно, готовились к приёму гостей. Стол был заставлен закусками.

«А неплохо крестьяне живут, — оглядел Максим Акимович жареные тушки курицы, утки и гуся, бутылки «Смирновской» водки, приправленную лучком селёдку, колбасу и сыр. — Так, так, — потёр он руки, — будет что рассказать Сипягину».

— А где «сама-то?» — услышал женский шёпот через открытую дверь.

— Не смогла. Какой-то мигрень её ждёт.

— С ума сошла. Мужа не стыдится... — вошла в залу супруга старосты, раскладывая на столе маленькие полотенца для рук.

Акима с Глебом совершенно не интересовали взрослые разговоры, и через полчаса ребята убежали на улицу, столкнувшись там с двумя рыжими сыновьями старосты.

— О-о-о! Васятка, станцуй вприсядку, — узнал моряка с потонувшей шхуны Глеб.

— Кадет! На палочку одет! — не остался в долгу «морской волк».

Глеб на секунду опешил от наглости и тут же бросился на обидчика.

Рыжий нахал не растерялся и, обхватив барчука, вместе с ним покатился по земле.

Аким насилу разнял драчунов.

— Ну, ну... ты ещё от меня получишь, — сжимал кулаки Глеб.

Рыжий молча сверкал на него глазами.

Аким отряхивал брата и с уважением поглядывал на Васятку.

Ещё через полчаса на крыльце появился отец:

— Мост через овраг почините, — чуть заплетающимся языком выговаривал он старосте. — И с этой стороны крестьянская земля и с другой.

— Да-а, Ваше превосходительство. Мы со всей превеликой радостью... Да чернавских мужиков не уговоришь никак, чертей косматых, — усаживал барина в возок староста, сам устраиваясь на облучке.

— В Рубановке почти три сотни домов, сами не осилите, что ли?

Сыновья уже сидели в коляске, и Глеб исподтишка, чтоб не видел отец, грозил кулаком рыжему пацану.

Вечером на двух колясках прикатил губернаторский кортеж.

— Максим Акимович, поздравляю вас с двумя праздниками! — обнял и трижды поцеловал Рубанова губернатор. — Позвольте облобызать вашу ручку, мадам, — пошёл к Ирине Аркадьевне.

Максим Акимович в это время с удовольствием касался губами душистой руки губернаторши.

— Борис Сергеевич, отчего не назовёте второй праздник? — глядя в чуть выпуклые бесцветные глаза гостя, поинтересовался Рубанов.

— Как! Разве вы не читаете газет? — одышливо произнёс тот, поглаживая свой необъятных размеров живот. — А вот вам и телеграмма, — щёлкнул пальцами в сторону приехавшего с ним худого чиновника в парадном вицмундире, — из Канцелярии министерства двора, — сморщил полное лицо, глядя, как тот роется в кожаной папке. — Пожалуйста! — протянул наконец бланк с царскими вензелями. — Вторая дочь родилась у царской четы... Вот. Дата. 29.05.1897 г.

— Какая радость! А мы в этот день из Питера выехали, — воскликнул Максим Акимович, думая про себя, как переживает сейчас император. Ведь он так надеялся на рождение сына.

«Вот это общество! — взяла под руку губернаторшу Ирина Аркадьевна. — А то стану я с мужиком Троицу отмечать».

Словно пчёлы на мёд, прилетели другие гости.

Первым прибыл предводитель уездного дворянства с супругой. Почти следом за ним чернавский барин с женой. Последним, когда все уже сидели за столом и выпили по первой за рождение Великой княжны, появился ильинский помещик.

Детей за стол не сажали, и они занимались, кто во что горазд.

Глеб то раскачивался, то вертелся вокруг оси на верёвочных качелях, приделанных вчера мужиками к толстой берёзовой ветке. Аким, прежде тоже покачавшись, отправился в людскую, потолковать за жизнь с няней.

Народу туда набилось — страсть. Здесь также пили за Троицу, и один из работников ловко бренчал на балаалайке.

Кто-то его услышал из вышедших освежиться господ, и музыканта на некоторое время забрали наверх, в гостиную.

За этот час тишины, угощаясь чаем с пастилой, Аким узнал от няни, что на Троицу, после обедни, начинается веселье сельской молодёжи. Также услышал о многих сельских традициях.

— Вот ведь какие дела, — вытерла нянька глаза, вспомнив преданья старины глубокой.

Когда вернулся от господ пьяненький балалаечник, Аким ушёл в яблоневый сад, протянувшийся по склону горы вдоль берега Волги и, раскачиваясь в гамаке, провалился до самого темна, мечтая о голубоглазой красавице, глядя в небо, слушая соловьёв и звуки рояля из дома.

В конце месяца ездили встречать на станцию в уездный городок Рубанова-младшего с семьёй.

— Какой ты бледненький, брат, — обнимал Георгия Максим.

— Зато ты, словно эфиоп, загорел, — чмокнул руку Ирины Аркадьевны, с раздражением замечая, как Максим в обе щёки целует его смеющуюся жену.

«Слишком беспардонным стал в деревне. Весь этикет забыл. Нет на него мадам Светозарской или как там её...

— С уверенностью нахожу, что Ромашовка краше Рубановки, применил одну из профессорских штук, дабы отвлечь брата.

— Чего-о? Да Рубановка лучше Петербурга, — возмутился Максим, но по задумке брата, отвлёкся от щёчек его жены.

Двенадцатилетняя Лиза чопорно протянула старшему кузену руку для поцелуя.

«Вот ещё!» — подумал тот, по примеру отца расцеловав её в щёки.

Следом налетел младший кузен, сбив с сестры соломенную шляпку.

«Деревня, что про него скажешь», — сделала она вывод.

Ирина Аркадьевна в это время тискала одетого в матроску семилетнего Арсения и маленького Максима.

— Во, как подрос, — погладил по голове малыша Максим Акимович.

— Ну как столица? — сидя за столом на балконе, задал банальный вопрос старший брат.

— Страсть как пушки палили, когда девчонка родилась, — по-деревенски зачастил Георгий, мелко при этом крестясь.

Отсмеявшись, обсудили царскую невезуху.

— Вот у меня — двое сыновей, — похвалился Рубанов-старший.

— Тихо, тихо, — остановил его профессор, — понял, что ты хочешь сказать, но Его Величество сам пусть трудится, — оглянулся, нет ли поблизости детей.

— Как вам не стыдно, господа, — покраснела Любовь Владимировна, — один — генерал, другой — профессор... и к тому же взрослые люди.

— Вот именно, что генерал, — развеселился чуть опьяневший Георгий Акимович, — кость, она и есть — кость! — постукал себя по лбу.

— А ежели на дуэль вызову? — обиделся старший брат. — Я, между прочим, академию окончил... Вот ответь, господин профессор, какова глубина устья Волги?

— ???

— Молчишь? А Сены? Скажи, сколько пристаней от Рубановки до Астрахани?

— Может, ещё сказать, сколько колец в носу папуаса из племени ханги-манги? — перебил Максима брат. — Зачем мне всё это нужно знать? Это вам, душечкам военным, особенно академикам, свойственно кичиться своей эрудицией... Как же. Зная, сколько колец в ноздрях, вы путём математических подсчётов определите, сколько в стране добывают металла, а ещё, маленько покумекав, определите и число копей в армии ханги-манги и на какое расстояние их можно запулить.

— Зато вы, господа профессора, точно знаете, с какой ноги встал с постели Гоголь на третий день после написания «Мёртвых душ» и в каком кармане носил носовой платок Белинский.

— Мы служим народу, а вы — престолу! — отодвинул от себя тарелку Георгий.

— Ага! Как Петрашевский⁷, который ляпнул: «Не находя ничего достойного своей привязанности — ни из женщин, ни из мужчин, я обрёк себя на служение человечеству!»

— Да разве плохо служить человечеству?

— Господа, господа, перестаньте! Вы же не на студенческом диспуте, — попыталась разнять их Ирина Аркадьевна, но мужчины не слушали её.

— Оглянись, какая вокруг тебя красота, — обвёл рукой луга, далёкий лес и небо Максим. — Есть прекрасная проза. Великая поэзия... Вот и следует думать не о страждущем человечестве, а об умном, гармоничном, духовно развитом человеке, который поднимается ввысь, к Богу, а не опускается вниз, к земле, как Толстой. Благодаря таким вот опростившимся эстетам, мир катится в пропасть хамства и невежества вместо того, чтобы взлететь к высотам культуры и красоты... А цветущая культура возможна лишь в сильном, могущественном государстве... Вот с того и идёт трагедия России, что русские дворяне с одинаковой гордостью носят ордена и кандалы...

⁷ Петрашевский М. В. (1819–1867) основал в 1848 г. либеральный кружок, в котором состоял и Достоевский. В 1849 г. сослан в Сибирь.

— В этом не трагедия её, а благо! — перебил брата Георгий.
— Благо в служении престолу и России, а не в раскачивании государства, — оставил за собой последнее слово Максим Акимович.

Поздней ночью, когда все спали, Аким схватил одежду, на цыпочках спустился на первый этаж, вылез в окно и по ночной прохладе устремился в сад, полюбоваться ночной Волгой.

Высоко-высоко в тёмном небе блестели звёзды, а далеко-далеко внизу по чёрной воде бесшумно скользили плоты с горевшими на них огоньками.

И где-то там, в непроглядном сумраке горизонта, небо сливалось с рекой, а огоньки на плотях — со звёздами.

«Вот бы попасть туда и точно узнать — река течёт к небу или небо опускается к реке...»

Поздно утром, позавтракав, большой компанией спускались по старинной лестнице вниз, к Волге.

Первыми шли взрослые господа, следом дети, а замыкали шестые работники с баулами и чемоданами.

— Спасибо, нет старичка-лакея, — запугивал детвору Аким, — он бы точно выронил саквояж, и нас всех смело бы в Волгу.

— Вас бы смело, а мы бы остались, правда, Максимка? — вела за руку младшего брата Лиза.

— Друзья мои, как замечательно было бы искупаться, — нараспев произнесла Любовь Владимировна, поплескав рукой в тёплой воде.

— А зачем же дело стало? Вон за беседкой купальня...

— Нет, нет, нет. Мы не одеты к купанию, — сходу отверг предложение брата Георгий Акимович.

— Георгий, ты шутишь, купаться следует раздетыми...

Но младший брат оставался неумолим и бодро топал к небольшой пристани с двумя катерами и полудюжиной лодок, находившейся в сотне саженей⁸ от купальни.

— Один катер ваш, ромашовский, вон тот, дерьмовенький, а вот этот белоснежный красавец, наш, рубановский, — подначивал брата Максим Акимович. — Сегодня располагайтесь и привыкайте к деревенскому быту, а завтра нанесём вам в Ромашовку визит, — помог затащить баул в катер Рубанов-старший.

Настал июль.

Няня варила за домом на двух примусах смородиновое варенье. Ей помогала крепкая девка в широком сарафане и с русой косой по спине. А снимал и ставил тяжёлые тазы молодой работник в закатанных до колен штанах и когда-то светлой,

⁸ Сажень — 2,13 м.

а теперь потемневшей от пота и копоти, идущей от примусов, рубахе.

Но в основном он сидел на корточках и пялился на статную молодую работницу.

С другой стороны на небольшой скамейке под деревом сидел Аким, тоже наблюдая за молодой, хлопотавшей у одного из тазов.

Рядом с Акимом сидел брат с блюдцем в руках и ждал появления пенек.

— Манька, ну накладывай, накладывай детям пенки, — ру-ководила нянька. — А ты, Федька, чё тут расселся как статуи фараона? Тащи сюды энти вёдра со смородиной.

Потом всей семьёй обедали на выходящей в сад веранде за накрытым белоснежной скатертью столом.

Казалось, весь мир плавился от зноя. Есть не хотелось — хотелось пить.

В невероятных количествах поглощались холодные компоты и квасы из ледника.

После обеда взрослые шли отдыхать в спальную, а ребята мчались на речку. Для присмотра с ними отправляли недовольную, изнывающую от жары гувернантку.

— Господа! — язвительно морщилась от этого слова. — Далеко не заплывайте, — направилась она ополоснуться в купальню.

— Мадемуазель Камилла, а Клеопатра Светозарская плавать умела? — крикнул ей вслед из воды Глеб.

И это была глубокая его ошибка. Даже глубже Волги.

Гувернантка в задумчивости пару раз открыла и закрыла зонтик и вернулась к ребятам, остановившись у кромки воды.

Собрав в лёгкие весь кислород, находящийся в ближайших десяти саженях, Глеб нырнул, бойко работая под водой руками, но течение было на стороне мадемуазель Камиллы. Вынырнул он на том же самом месте, успев выслушать, пока проморгался, отдышался и вновь запасся для нырка кислородом, лекцию о благовоспитанных мальчиках, которые не станут задавать собеседнику бестактные вопросы.

— Светский разговор, мон шер, — вновь поморщилась она, — должен быть приятен и оставлять за собою хорошее впечатление о собеседнике... он должен быть преисполнен заботливости к присутствующим лицам...

«Вот и позаботьтесь обо мне молчанием», — хотел произнести Глеб, но лёгкие ещё не наполнились достаточно кислородом для разговора, и он стоял перед мадемуазель Камиллой в облепивших ноги штанишках, тёр глаза и как вытащенная из воды рыба открывал и закрывал рот.

Гувернантке это очень понравилось. На этот раз она вдохнула в себя весь близлежащий кислород, чтоб барчуку поменьше досталось, и на одном дыхании произнесла:

— К сожалению, месье, пагубное вторжение нигилизма так грубо поколебало все хорошие свойства общества, что всякая вежливость сделалась оригинальностью, и то, что ещё недавно считалось изящными манерами и вежливыми разговорными оборотами, нынче вызывает на многих лицах насмешливую улыбку, — строго глянула на своего малолетнего оппонента, но улыбки на лице не обнаружила. Подкрепившись хорошей порцией воздуха, продолжила: — Но нас пока поддерживает надежда, — дирижировала себе зонтиком, — что благомыслящая молодёжь... — глянула вслед с крейсерской скоростью улетающему от неё Акиму.

Руки его методично выскальзывали из воды, а ногами он поднимал огромные буруны волн, не уступающие тем, которые производил идущий в полумиле колёсный пароход.

На этот раз Глеб первым успел вобрать в себя близлежащий кислород и, погружаясь в воду, с наслаждением чувствовал, как постепенно затихает голос наставницы, оставаясь там, наверху.

К тому же, увидев высокую волну, идущую то ли от парохода, то ли от Акима, мадемуазель Камилла почла за лучшее удалиться подальше от берега и, наконец, направилась к купальне.

— Аким, давай её как следует напугаем, может, заикаться начнёт и от нас отстанет, а ежели подфартит, то и вовсе онемееет, — предложил брату Глеб, когда тот, увидев, что опасность миновала, приплыл к берегу.

— Сударь! Где вы набрались подобных неприличных выражений? — подражая мадемуазель Камилле, заунывным голосом, нравоучительно подняв кверху палец, гундел Аким, стоя по пояс в воде. — Что значит «подфартит»? Многие молодые люди, не особо обременённые воспитанием, — палец обличающе уткнулся в брата, — да и образованием, кстати сказать, потому как читают по слогам, имеют жалкую привычку применять в разговоре фразы, вынесенные ими из Кадетских корпусов...

— И гимназий, — сумел вставить поражённый Глеб.

— ...выражения «подфартить», «козырять», «намылить голову», «конка», «чугунка», «на боковую» принадлежат к выдумкам людей дурного тона, один из представителей коих находится рядом со мной, не стану ещё раз указывать пальцем, кто это... Эти невоспитанные мальчики часто применяют так же простонародные восклицания: «неужто», «авось», «небось», «вот те на», и, что ещё хуже, вводят в свою речь слова, значение коих по малолетству и глупости не понимают. Так

«аппарат» у них соответствует слову «транспарант», а «бу-дуар» путают с «бульваром...»

Глеб, не дослушав брата, исхитрился заткнуть пальцами одновременно глаза, нос, уши и, якобы теряя сознание, упал спиной в воду.

Придя в себя, стал обрисовывать перед Акимом план военных действий против гувернантки.

— Вырос я из этого возраста, стратег ты мой ненаглядный, — перебил брата и вылез из воды погреться на солнышке.

— Ну ежели трусишь, один пойду её пугать, — обиделся Глеб и зашлёпал по воде к купальне.

Когда до неё осталось несколько саженей, то тихонько поплыл по-собачьи, мотая перед собой руками и вытянув из воды шею.

Акиму стало любопытно и он побрёл по берегу поглядеть, чем закончится дело.

Глеб по простоте душевной без всяких выкрутасов и вредных загибов, кои осуждает мадам Светозарская, подплыл к кабинке, где остужалась мадемуазель Камилла и, дико заорав, что есть мочи стал колошматить в дощатую стену подобранным булыжом.

От такого вопля даже Акиму стало не по себе. В Рубановке завывли собаки, а в кабинке завизжала мадемуазель Камилла, через секунду выбежав из неё и представ перед Акимом, в чём мать родила.

У него даже челюсть отвисла, когда увидел стройную фигуру француженки. Замерев, он не мог отвести глаз от этого чуда, так неожиданно представшего перед ним. Ноги его, казалось, приросли к песку, дыхание стало прерывистым и частым, сердце громко стучало в груди, и ток крови больно пульсировал в висках.

Он понимал, что стыдно вот так стоять перед раздетой женщиной и глядеть на неё. Клеопатра Светозарская сурово бы обличила его поведение, обвинив в отсутствии такта и добродетели, указав на неприличную развязность, бросающую неблагоприятную тень на репутацию молодого человека, но он ничего не мог с собой поделать. Глаза помимо его воли жадно вбирали в себя все линии, изгибы и выпуклости стоявшей перед ним женщины.

Мадемуазель Камилла опомнилась первая и, пренебрегши наставлениями своего кумира, сделала шаг вперёд и со всего размаха ударила по щеке Акима, сказав по-французски «свинья» и спокойным, уверенным шагом — чего теперь бежать-то, направились обратно в купальню.

Аким не обратил внимания на пощёчину, и даже когда обнажённая гувернантка скрылась за дверцей купальни, всё не мог сдвинуться с места, вспоминая представшее перед ним видение.

— Ну что, Аким, — тормозил его вылезший из воды брат, — расскажи, как дело было, а то я визг слышал и сам испугался, не решился сразу выйти...

Вечером мадемуазель Камилла делала вид, что ничего не произошло. По-видимому, ей тоже было неловко.

Аким всю ночь не мог уснуть, представляя дамский силуэт.

Утром, попив чаю за накрытым клетчатой клеёнкой столом, стоявшим под яблоней в саду, отец с сыновьями, пока Ирина Аркадьевна спала, решили прогуляться верхом на лошадях.

Рубанов-старший сам набросил седло и взнуздal белого в яблоках жеребца по кличке Огурчик.

Видимо, пятна на шерсти ассоциировались у него с пупырышками на огурце, когда несколько лет назад придумал имя жеребёнку.

Гнедой конь под Акимом, которого запряг Ефим, прозывался Помидорчиком, а каурая смирная кобылица под Глебом и вовсе звалась Сливой.

Вероятно, родились они в урожайные годы или, давая кличку животным, Максим Акимович жевал данный плод.

— Не горбись. Уверенней сиди, — учил детей отец, гарцуя перед ними на жеребце и, рисуясь, поднял его на дыбы, а затем пустил коня в галоп.

Следом за ним понеслись сыновья — ведь не первый раз в седле.

Миновали луг со скирдами душистого сена и перешли на рысь, углубившись в необъятное море ржи с двух сторон от дороги.

Солнце начинало припекать, но жары пока не чувствовалось, к тому же свежий ветерок приятно остужал лицо и грудь, принося запах скошенного сена с лугов.

Перейдя на шаг, проехали неширокие полосы овса и гречихи, наблюдая за комочками пчёл, берущих с цветов мёд. Повернули в сторону леса и выехали на луг, вдыхая запах лошадиного пота, клевера, васильков и ромашки. Вскоре добрались до опушки леса с берёзовым молодняком и протоптанной широкой тропинкой, ведущей в прохладный сумрак высоких зелёных деревьев. Долго ехали лесом, отводя руками тонкие ветки, и вдруг остановились, наткнувшись на небольшое лесное озеро. Сразу не слезли с коней, наслаждаясь церковной торжественностью природы.

— Ежевика! — вскрикнул Глеб и, кубарем скатившись с лошади, присел над ягодами, жадно толкая их в рот.

— Волчья ягода, — сорвав несколько ягод, Аким подошёл к озеру, спугнув здоровенную лягушку, и с наслаждением плеснул водой в разгорячённое лицо, освежив следом грудь и голову.

Кони фыркали, почуяв воду, но Максим Акимович сразу не пустил их пить, хлопывая, подождал, пока они успокоились и отдохнули от скачки.

Обратно выбирались по другой тропе, гадая, куда она приведёт. Деревья неожиданно расступились, и они увидели в полуверсте⁹, за рожью, Рубановку. Только выехали к ней с обратной от широкой дороги стороны.

Миновав пыльную улицу, с двух сторон огороженную плетнями, остановились перед воротами двухэтажного кирпичного дома с медным петухом на крыше.

— Все дороги ведут к старосте! — спрыгнул с коня Максим Акимович, бухнув сапогом в калитку, сбоку от ворот.

Со стороны двора захрипел от ярости, гремя цепью, облезлый волкодав. Подождав минуту, уже все трое стали барабанить по двери, доведя этим бедного пса до немом психоза. От подобной сверхнаглости он уже не гавкал, а сипел на одной ноте, вертясь на цепи, как давеча на качелях Глеб.

Наконец калитка открылась, и высунулась голова взбешённого, как его пёс, Ермолая Матвеевича.

Увидев приезжих, лицо его, словно у актёра, прошло все мыслимые метаморфозы, начиная от удивления, которое он выразил выпученными глазами, и заканчивая наигранной радостью, выразившейся в широкой улыбке, избороздившей щёки тремя овальными складочками.

— Вот хто приеха-а-л... А мы думаем, хто это стучит... Вот радость-то, — засюсюкал он, повернувшись и пнув в сердцах кобеля, мигом залетевшего в будку. — Заходитя-я, заходитя-я скоренько-о... Уж как я вас жда-а-а-л, — подумав, добавил ещё и "с". — Чуюло сердце, чуюло-о-о, — загородил будку корытом, наставив на гостей зад с лопнувшими по шву штанами.

Прокашлявшись и немного придя в себя, волкодав решил показать, кто в доме хозяин, и, напыжившись, мощно рывкнул в корыто и затих, до глубины собачьей души поражённый грозным своим рыком.

Ермолай Матвеевич провёл гостей грязным двором в сад, раскинувшийся за домом, велел по пути работнику привязать лошадей и дать им овса.

⁹ Верста — 500 сажений (1,07 км).

Сидя под деревом почти за таким же, как и у них, столом, с такой же, в клеточку, клеёной, они увидели жену старосты и идущую следом за ней ещё одну женщину.

Старостиха вынула из плетёной корзины три запотелых коричневых глиняных горшка с молоком, а её помощница поставила на стол поднос с караваем.

— Молочко только что из погребицы, — певуче произнесла хозяйка, — а хлебушко утром испекли.

Никогда ещё Аким не пил с таким аппетитом молоко вприкуску с тёплым душистым белым хлебом.

Умыв на троих целый каравай, любовались садом, вдруг приметив, как по одному ему ведомой тропинке идёт старший сын старосты.

Приблизившись к гостям, он поклонился, пряча за спиной руку.

— Чего у тебя там, наган, что ли? — усмехнулся Максим Акимович.

— Никак нет! — покраснел мальчишка, протягивая барину потрёпанную книжицу.

— А. С. Пушкин, — прочитал тот. — Молодец! Вот с кого пример бери, — попенял младшему сыну.

Глеб глядел на рыжего, как на них облезлый волкодав.

Аким взял у отца книгу, полистал и удивлённо оглядел Ваську. Так несопоставим был Пушкин и этот курносый невысокий мальчишка с синими мечтательными глазами.

— Нравится? — спросил у него.

— Очень! — закивал тот головой.

— А что ещё читаешь?

— Книг больше нет. Тятка не хочет на баловство деньги выбрасывать, — совсем застенялся парнишка.

— Ну так я тебе завтра Некрасова привезу, — пообещал, поднимаясь с лавки Аким.

— Нужен он тебе, — когда ехали домой, ревниво выговаривал брату Глеб, — просветитель нашёлся, — совсем обидевшись, стегнул в сердцах лошадь.

Отец мчался далеко впереди.

— Но-о! — заорал Аким и тоже понёсся, вдыхая упругий ветер.

Белая рубаха пузырилась у него на спине.

На следующий день всей семьёй, качаясь на волнах, пересекали Волгу на пытящем от усердия катере. Нещадно дымя трубой и что есть силы сигнала, катерок сбавил скорость, пропуская огромный белый пароход с нарядным народом на палубе.

Балуясь, Аким стянул с себя рубаху и принялся махать ею над головой.

Тут же с парохода, веселясь, ответили ему белыми платками, шляпами и даже зонтиками.

Корабельный оркестр на верхней палубе посвятил дымящему трубой катерочку туш.

— Какая честь, — смеялся Максим Акимович, тоже помахав вслед пароходу.

«Как хорошо всё в этом мире», — думал Аким, раскачиваясь на волнах.

На ромашовском берегу их уже ждала пролётка с кучером.

— А мы вас ещё вчера надеялись встретить, — обнимала подругу Любовь Владимировна.

— Вчера была конная прогулка, — пожимая руку брату, сообщил Максим Акимович.

Лиза на правах хозяйки повела подрастающее поколение в белую каменную беседку, откуда все полюбовались на Волгу. Потом показала заповедные места, где росла малина и краснели редкие ягоды отошедшей уже клубники.

— Ну что, Аким, Ромашовка лучше Рубановки? — идя по липовой алле к дому, поинтересовалась она у кузена.

— Чем это, интересно? — возмущился тот.

— Чем лучше? — подхватил тему Глеб. — У вас Венус в клумбе, а у нас — конногвардеец. И цветов у нас больше, и сад лучше.

— Дураки! — показала им язык двоюродная сестра и убежала в дом.

— Нечего и обижаться, — рассуждали братья, сидя в тени на веранде, — подумаешь, площадка для крокета у них есть... Зато у нас — гамак и качели.

— Мальчишки, где вы, — позвала братьев Любовь Владимировна, — мы едем на пикник.

У чугунных ворот уже ждали вместительные коляски с распаренными кучерами. Ещё одну коляску с провизией отправили в путь пораньше.

— Чего здесь встали, надо было к дому подъехать, — обругал работников гужевого транспорта Георгий Акимович. — Сюда корзины ставьте, — указал прислуге. Как всегда, в последний момент выяснилось, что чего-то забыли. — Эх, и бестолковый народ! — пожаловался брату.

— Я тебе и говорю, что солдаты лучше, — одним махом ока-зался в коляске Максим Акимович. — Давно я не видел Ромашовку, — наблюдал за босоногими, белоголовыми детьми в дототканых рубахах, игравших в пыли на дороге. — Постоялый двор какой отгрохали, поболе нашего.

— Зато у нас трактир обширнее, — развеселил всех Глеб, разглядывая каменную церковь и стрижей, летающих над колокольной.

— А у нас кузня лучше, — вступился за честь Ромашовки сидевший у отца на коленях Арсений.

Он ещё не понимал, что такое трактир или постоялый двор, но точно знал, что у них всё самое лучшее.

Выехали на простор полей и бойко запылили по дороге с колосащейся по сторонам рожью. Через полтора часа углубились в небольшой лесок и ещё полчаса потряслись по колдобинам лесной дороги, больше похожей на тропу, выехали на мелкоколесье и остановились у тихой неширокой речки с поросшими травой берегами и ветлами, наклонившимися к воде.

Неподалёку в купе берёз стояла старая, при царе горохе строенная мельница с привязанной у плотины утлой лодчонкой. Вода монотонно журчала у огромного, покрытого зеленью колеса.

— Вот это да-а! — восхитился Аким и вместе с братом помчался исследовать мельницу.

У колеса их догнали Арсений и Лиза. Несколько минут молча глядели на пенящуюся и урчавшую воду.

— Вот тут водяной живёт, — указал на омут с воронкой водоворота Глеб.

Арсений прижался к сестре.

— Сом большущий, может, и живёт, а водяных не бывает, — погладила по голове брата Лиза.

— Так скажи ещё, что и леших не бывает? — оскорбился Глеб.

— Конечно, скажу, — направились она к мельничному сараю, ведя за руку брата.

Огромная воркующая стая голубей покрывала балки под дырявой крышей и щелястый пол забелённого мучной пылью сарая.

Вдруг голуби беспокойно загалдели, громко захлопали крыльями, но тут же успокоились, уступив дорожку белобородому, в белой рубахе и белых от мучной пыли портках, старому мельнику.

— Леший! — заорал Глеб.

Заверецлав и бросив брата, Лиза помчалась к родителям.

— Не бойся, — успокоил дрожавшего Арсения Аким, — это добрый дедушка-мельник, — не совсем уверенно произнёс он, отступая на шаг, а потом тоже решил побыстрее вернуться к взрослым.

Глеб, разумеется, последовал его примеру, даже обогнав брата.

У родителей царил полная идиллия.

На расстеленный кучерами ковёр, под раскинувшейся шатром ракушкой женщины наставили тарелок с нарезанными кол-

басой, сыром, ветчиной, тонкими ломтиками балыка в капельках проступившего жира. Стояли в ряд раскрытые судки с кусками жареной курятины, индюшатины и осетрины. Зеленели посыпанные солью, продольно разрезанные огурцы. На салфетках лежали горки душистого белого хлеба. И это изобилие украшалось разнокалиберными бутылками сельтерской, лимонада и различных вин.

Все расселись вокруг ковра — кто на коленях, кто, сложив ноги по-турецки. Лёгкий ветерок отгонял назойливую мошкару и мух, принося свежесть от воды и деревьев. Монотонно шумел водный поток у мельничного колеса, пели птицы над головой, в траве стрекотали кузнечики...

Нет ничего приятнее еды на природе!

Даже маленький Максим, которого кормили с помощью различных хитростей и уловок — ложку за папу, ложку за маму, мял за обе щёки и просил дать то кусочек курятины, то колбаски.

Первые минуты насыщались молча, без разговоров, запивая еду кто вином, кто сельтерской. Чуть насытившись и отдохнав, Рубанов-старший прервал молчание:

— А хорошо бы сейчас цыган послушать!.. — но сказал это зря...

Жёнам цыгане были и даром не нужны, что они горячо высказали Максиму. Родной брат тоже оказался предателем, приняв сторону женской половины.

— И ты — Брут! — трагически воскликнул Максим. — Ясное дело, сейчас бы сюда курсисток группу, да лекцию им прочесть...

Задетый за живое, Георгий, приводя исторические примеры, долго ему доказывал, что только военные, особенно стареющие генералы, над курсистками мечтают командовать, а молодые профессора — молодцевато выпячивал грудь, совсем не такие. Они сеют в молодых умах разумное, доброе, вечное...

К вечеру, когда жара начала спадать, тени удлиняться, а вода в реке манила освежиться, Максим Акимович взял управление компанией в свои генеральские руки.

— Дамы и господа, — захлопал он в ладони, привлекая к себе внимание, потому как все давно уже разбрелись и занимались каждый своим делом: Георгий дремал, женщины болтали, Аким читал, младшие дети играли у воды... — А не искупаться ли нам? — вопросительно оглядел окружающих.

Детвора, которая находилась далеко, и, казалось бы, не должна была услышать предложение, восторженно завизжала, высказывая полное одобрение. Те, кто находились рядом, и кому,

собственно, предназначался вопрос, промолчали, то ли не услышав, то ли раздумывая.

— Да нам и купаться-то не в чем, — первым высказал своё мнение Георгий Акимович.

— Да и не надо ничего... Женщины и дети расположатся вон за теми кустами, — развивал стратегический замысел Максим Акимович, — мы прикроем свои тылы растущей у воды раки-той, — в глазах его отражалась четырёхвёрстная карта местности со всеми кустами, овражками и деревьями годными к маскировке. — Полотенца обтереться у нас есть, — поставил точку в военном плане и тут же приступил к акции, снимая рубаху. — Дно прекрасное, песочек, — зайдя по пояс в воду, сообщил он и нырнул.

Георгий стал уже волноваться за брата, когда услышал женский визг и догадался, что зря согласился купаться сам и особенно разрешил жене.

Она-то и вопила, отбиваясь от наглых рук бравого вояки, который, дурачась, во всю глотку орал:

— Куда это меня занесло, братцы?!

«Куда плыл, туда и занесло, — вздохнув, погрузился в воду Георгий Акимович. Плавать Рубанов-младший не умел. — Да профессорам это и ни к чему. Пусть студенты на экзаменах плавают, — грустно размышлял он, плеща на лицо пригоршни тёплой воды. — Чего они там делают?.. И куда Ирина Аркадьевна смотрит?.. Да, наверное, туда же, куда и моя супруга. Никакой серьёзности в людях, — пессимистически заключил он. — Ну не дай бог, через девять месяцев ребяточек появится... Утонуть, что ли, дабы отвлечь их?» — вслушивался в шлепки ладоней, визг и женский смех.

Самому ему было не до веселья.

«Редко, но случается, что и профессура Санкт-Петербургского Императорского университета ошибается», — сделал он умозаключение и погрузился с головой в воду.

Как умный человек и к тому же либерал, топиться не решился, зато горой стал на защиту устоев семьи и произнёс пламенную речь, из которой следовало, что забытое женщинами полотенце должен отнести он, но никак не старший братец. У профессоров это лучше получается...

После долгих споров отнести вещь доверили вылезшему из воды Акиму.

Умиротворённые, тихо ехали обратно меж двух стен колосящейся ржи, любуясь церковными куполами, сверкающими вдалеке ярким предвечерним золотом. Над головой кружили ласточки, и где-то высоко, у самого заходящего солнца, звонко

пел жаворонок. И песнь его перекликалась с далёким колокольным звоном.

Настало то время, когда марево знойного дня растворилось в воздухе, и над просторами полей, рекой и лесом разлился нежный прозрачный свет наступающего летнего вечера.

Акиму было уютно и спокойно ехать в кругу многочисленной семьи, и жизнь казалась бесконечно длинной, как растялающаяся впереди дорога...

Вечером следующего дня, оседлав Помидорчика и сунув за пазуху книжку Некрасова, под язвительные замечания брата Аким миновал знаменитую арку и вскачь понёсся к Рубановке. Вскоре он уже пылил длинной прямой улицей и остановил разгорячённого коня у ворот кирпичного дома старосты. Калитку ему открыл ожидавший его Васятка.

— А я думал ты не приедешь, — загнал в конуру хрипевшего шелудивым своим бешенством пса.

Аким не обиделся на «ты», а принял это как само собой разумеющееся между приятелями.

Ермолай Матвеевич, увлечённо распекавший во дворе работника, поклонился барчуку и уважительно поздоровался, вновь принявшись воспитывать непутёвого парня:

— Вот скажи, Митрий, зачем ты туды-сюды по двору шляешься? — рванув ворот свой рубахи, требовательно глядел на работника.

— Чаво? — улыбнулся вихрастый конопатый малый в грязных портах и почесал пониже спины, чтоб показать своё отношение к хозяину.

— Чаво, чаво, — по-лошадиному помотал головой, вытянув шею, староста. — Ведомо чаво... и лыбиться не надо... Смешливый какой выискался, — грозно оглядел мускулистого высокого парня с потным обнажённым торсом.

— Ничо и не лыблюсь вовсе, а топор ищущу.

— Весь день его ищешь, што ль? Надорвали от поисков. Тебе, пню конопатому, што было приказано порядошным человеком?

— А чо-о? — удивился работник, с трудом сдерживая улыбку.

— Чо, чо... дверь навесить на сарай, вот чо-о. А ты чо?

— А я ничо. Там эта-а, петля соржавела напрочь. В кузню, эта-а, надоть.

— Ну так, эта, и шёл бы в кузню, чем раздражение на меня наводить и по двору без дела шастать.

— Ну щас и пойду. Делов-то, — чему-то обрадовался и засмеялся работник, введя в глубокую задумчивость старосту.

Аким с Васяткой сидели в саду, за тем самым столом, где их угощали таким вкусным молоком со свежим мягким хлебом, и разглядывали книгу.

Причём Аким так внимательно листал страницы, словно первый раз в жизни видел этот не новый уже томик в мягкой обложке.

— Стихи и поэмы Некрасова, — произнёс он, любовно погладив страницы, и протянул книгу новому другу. — Сколько тебе лет? — поинтересовался он, подпустив басистые нотки в голос.

— Пятнадцать, — ответил Василий, с интересом читая складные такие строки.

— Мне тоже, — оглянулся Аким на шорох травы.

К ним шёл пухлый тёмно-рыжий перенёк, с аппетитом и не морщась уминавший зелёные и мелкие ещё яблоки.

— Мой младший брательник, Сёмка, — представил подошедшего Василий.

— Пожевать чего у вас нема? — даже не глянув на книгу, произнёс тот и тяжело отдуваясь, потопал к дому, по пути завернув на плантацию клубники.

— На два года младше, а весит больше, чем я, — то ли похвалил, то ли осудил обжору старший брат.

— Меня младший тоже ростом догоняет, такая молодёжь пошла, — по-взрослому солидно повздыхали друзья.

— За книжку спасибо, — пожал руку новому другу Василий, — айда на сход сгоняем, сейчас тятка туда пойдёт. Послушаем, что да как в Рубановке, а Помидорчик у нас побудет пока, авось братец его не слопаёт, — засмеялся новый товарищ.

Наступило то время, когда со скошенных полей гнали коров и на улице раздавалось мычание и щёлканье кнута.

Умаявшиеся за день мужики мирно сидели на брёвнах под ракетами на гнилой завалинке крайней избы, возле выгона. Вспыхивали огоньки самокруток, текла неторопливая речь. По дороге, скрипя колёсами, ехали запоздавшие возы со скошенной рожью.

В тёплом воздухе стоял душистый запах цветущей зелени и парного молока.

Старосте ради уважения Гришка-косой, хозяин покосившейся крайней избы с прелой соломенной крышей, вынес распатанный табурет с плохо пригнанными досками сиденья, и Ермолай Матвеевич старался не раскачиваться, дабы не защемить в щелях драгоценное своё мягкое место.

— Второй раз уже вас, аспидов ленивых, собираю, бурчал староста начальскую речь, а воз, в колесо его... и ныне там...

Серьёзную обличительную речь он пока не начинал, поджидая задержавшихся на дальнем выгоне мужиков.

— Ды-ы-к, жатва началась, какой мосток чичас, — на правах хозяина табурета и по-совместительству самого умного, как он считал, мужика, вякнул Гришка-косой, повернув бельмоватый глаз в сторону своей завалинки.

Но его никто не поддержал.

«Заработался, чалдон, — хмыкнул Ермолай Матвеевич, — табурета починить не моёт, того и гляди чего-нито отщемишь», — старался сидеть ровно и зря не расшатывать мебель, наблюдая, как его работник суёт в нос кузнецу, обросшему чёрной бородищей здоровенному мужичине, ржавую петлю.

— Ну чего ты эту ржавую страмотень мне в морду тычешь, — повернулся боком на бревне кузнец, запахивая пиджак на голлом животе, — щас так тыкну, до утра не просморкаисси, — зло разглядывал ржавую железяку. — Ты сначала стаканом с первачом мне в харю ткни, — прикидывал объём непосильной работы, — а после требуй, — с некоторой опаской покосился на малорослого старосту.

«Кажись, отнекивается, чёрт горелый», — повернулся в его сторону и взвыл, прищемив ягодицу Ермолай Матвеевич.

— Да сделаю, сделаю, — взял петлю кузнец и сунул за голенище короткого, прожженного сапога, обтерев потом руку о мятые дырявые штаны, — чего орать-то... Во привычка у народа, чуть что — сразу в крик, — беззлобно ворчал он, поглядывая на старосту.

— А погоды ноне ласковые, — затронул важную тему сидевший с краю бревна Семён Михайлович, по прозвищу Хован — аккуратный, хозяйственный мужик, одетый в чистую рубаху и новые сапоги, чем вызывал зависть односельчан.

— Да-а, — единодушно поддержали его, дружно выдохнув едкий дым самосада.

— Самая ядрёная страдная пора! — развил общую мысль косяглазый умник, переступая с ноги на ногу, потому что замёрзли босые ноги, и радуясь, что все согласно кивают головами. Хотел улыбнуться, но передумал, узрев единственным своим, но зорким оком, обиженное лицо выглядывающей из калитки супружницы.

«Вечно всем недовольна, халда стоеросовая, и чего высунула штемпель свой почтовый», — независимо отвернулся в сторону леса, чтоб не испортить настроение от вида жёлтого, долгоносого лица и тощей фигуры любимой.

В этот самый момент вся честная компания отвлеклась на двух баб, пожилую и молодую, целеустремлённо гонящихся за коровой.

«Во беспокойная скотина, — привстав, повернулся в сторону намечающегося развлечения и снова благополучно усевшись на зловерный табурет, стал размышлять староста, —

вместо того, чтоб послушно идти в хлев, как подобает сытому, благоразумному, воспитанному животному, выкобенивается почище кузнеца, стерва брыкливая», — с удовольствием, как и весь сход, наблюдал за улепётывающей в другую сторону от дома рогатой бузотёркой.

Наглая бурёнка на бегу исхитрилась сорвать сочную траву у плетня и, радостно замычав, понеслась вдоль улицы, веселя детей и собак.

— Ух! Мать её в копыто, — вскочил с табурета забывшийся староста, потирая защемленную ягодицу и в сердцах пиная шкодливую развалюху.

Гришка-косой и Митька, удачно и на халяву сбагривший кузнецу хренову железяку, подумав, что это и есть команда к действию, наперегонки понеслись ловить захотевшее любви животное.

— Да это никак тётка Клавдия с дочкой, — задумчиво произнёс бывший солдат Егорка, стоявший неподалёку от старосты и опиравшийся на толстую сучковатую палку двумя ладонями и подбородком.

«О-о, пехтура списанная, всё от ружья отвыкнуть не может, дрынюгу вместо него таскает, — покосился на Егора староста. — Хотя, конешна, и палка в год раз стрельнуть могёт».

— Ну точно оне! — чему-то обрадовался солдат, наведя на корову палку и прицеливаясь. — Степан, лапти смазывай, да бабе своей беги помогать, — посоветовал невысокому мужику с красивым лицом и аккуратной стриженной бородкой.

Тот, ничего не ответив, спокойным шагом направился в сторону потерявшей от страсти к быку Борьке разум бурёнке.

Все с интересом глядели за актом пленения буйной влюблённой скотиняки.

Из соседнего, тоже невзрачного дома, услышав шум, опираясь на костыль, вылезла бабка Матрёна. Прежде искала взглядом своего деда, чтоб удостовериться, блюдёт ли верность.

Старый Софрон, сгорбившись, сидел на бревне, зажав в кулак длинную седую бороду, и глядел в землю.

Уразумев, что в этом деле всё обстоит целомудренно, сделала ладонь лодочкой и стала наблюдать за пленением рогатой животины.

— Быка дюже хочет! — заулыбался бывший солдат, зная, что богомольная старуха плюётся и стучит клюкой даже на воробьёв, ежели видит, что стервецы гоняются за самками.

Уважал он её только за костыль, напоминавший ему ствол ружья.

— У-у-у! Шалава блудливая-я. Право слово — шалава-а, — развеселила мужиков старуха, хлопнув в сердцах калиткой.

Дед Софрон не отвлёкся на происходящее, думая о чём-то своём, близком к бесконечности, теребя бороду и по-прежнему наклонившись к земле.

Запахавшаяся тётка Клавдия подошла поздороваться и поблагодарить за помощь общество.

— Завсегда рады стараться! — с трудом, через губу, произнёс махонький мужичонка в зимней драной шапке, даже не глянувший в сторону влюблённой коровы.

Первый на селе лентяй. Во всей Рубановке, во всём уезде или даже губернии не было такого лежебоки. Народ удивлялся, как вообще он на сход припёрся. Кормили его жена и сын. Оживлялся он в единственном случае, ежели имелся шанс выпить. Потому-то иногда, нога за ногу, брёл помогать кузнецу.

Вся деревня до сих пор спорила, как ему прозываться. То ли Коротеньким, согласно размеру от босых ног до лысой макушки, то ли Ленивцем, согласно складу характера. Применяли оба прозвища соответственно своему вкусу.

— Ныне день Стефана Саввита, а как известно, Саввит ржице к земле кланяться велит, — произнесла тётка Клавдия.

В Рубановке она считалась специалистом по святым. Знала, каким угодникам следует молиться от засухи, а каким — от дождя, какому святому поставить свечку, чтоб мужик не пил.

Услыхав женский голос, из калитки шустро выкатилась бабка Матрёна, являвшаяся яркой завистницей Клавдии, потому как сама не могла запомнить, какой божий угодник от чего помогает. Какой святой отводит мышей, а какой избавляет от грыжи.

— В страду одна забота — не стояла бы работа, — добавила Клавдия.

Шевеля губами, чтоб запомнить премудрость, бабка, прищурившись, выясняла, пялится ли дед Софрон на молодуху: «У-у, кобель, — на всякий случай осудила старика. — Ишь, блудница египетская, здоровше коровы своей титьки отрастила и зад такой же».

Умастив беспокойное сердце мёдом и миром — дед, к её радости, паялся только на землю, приставила к уху ладонь, дабы чего путного не пропустить в речах этой балаболки толстомясой.

— Первый сжатый сноп называют именованным... В старину его берегли, думая, что он в силах творить чудеса и увеличить достаток.

«Откеда такая умная взялась! — завидовала бабка. — Кофту бы лучше свою застегнула, кобылица. О-о, мамоньки! А я и перепутала снопы-то, кажись, — закрестилась она и, заметив, как жадно глядит Егорка на рассказчицу, сердито сплюнула, — ишь,

зенки-то, варначина, вытаращил, так бы и дала ему костылём промеж глаз», — вновь исчезла за забором.

Солнце уже село.

— Ну ладно, Васёк, мне пора, пошли Помидорчика выдашь, — хлопнул по плечу друга Аким.

Ему понравилось слушать то неторопливые, то весёлые разговоры и наблюдать за крестьянами.

«Ничем не хуже нас», — уходя, думал он.

Деревенские бабы уже поболтали у колодца, подоили коров и, приготовив немудрёный ужин, стали звать своих благоверных.

— Ну ладноть, в следующий раз договоримся, — начали разбредаться мужики.

«Во черти, а?! — ругался по пути домой староста. — Ежели б землю делить, все бы собрались, а как для общества что наладить, ни одного обалдуя не сыщешь... Поболтают и разбегутся, словно тараканы...»

Скучавший без брата Глеб тоже пошёл в народ и весь вечер учился в людской играть на балалайке.

Родители, покатавшись в коляске, умылись и приготовились к ужину на балконе.

В это время и влетел на верном Помидорчике Аким.

— Молодец! Неплохо на коне держится, — похвалил сына отец.

И гордясь кавалерийской его посадкой, решил не делать внушений за поздний приезд.

— Взрослый уже юноша! — вкратце обрисовал положение вещей жене.

Ирина Аркадьевна допоздна играла на рояле. Аким с отцом, развалясь в креслах, слушали музыку, а Глеб лежал в своей комнате, накрыв голову подушкой, хотя звуки к нему почти не доходили, и думал о том, что балалайка много благороднее рояля.

Каждое утро, позавтракав, ребята сами седлали коней и как оглашенные носились по лугам и полям. Иногда к ним присоединялся Максим Акимович.

Взрослые ещё раз ездили на пикник в Ромашовку, но сыновей на этот раз не взяли, да те и не испытывали особого желания.

С этой задавакой и зазнайкой Лизеттой общаться не хотелось, а её братья и вовсе были пузатой клоповой мелочью, не стоящей мужского внимания.

Аким пару раз возил Ваську книги, но на сходе больше не присутствовал, да скорее всего, его и не созывали, так как наступила самая жаркая страдная пора, когда день — год кормит. Мужики жали рожь, девки и женщины вязали снопы.

По вечерам на возах, с песнями, возили собранное добро домой. Урожай был богатый, и сердце рубановских крестьян пело вместе с ними.

В августе утра стали росистыми и прохладными, и барчуки допоздна валялись в постелях, выезжая на лошадях днём. Спалось хорошо, жара больше не донимала.

В полдень, за день до Яблочного Спаса, мечтая о Ней, белокурой, с голубыми глазами, Аким свернул в сторону леса и, наслаждаясь тёплой погодой, неспешно ехал на коне, отводя от лица тонкие ветви деревьев с начинающей желтеть листвой. В лесу было тихо до звона в ушах и уютно от одиночества, от того, что никто не мешал мечтать и думать.

Помидорчик зафыркал, остановившись у кромки воды лесного озера, и шумно затряс головой, гремя удилами. Похлопав коня по шее, Аким спрыгнул на землю. С удовольствием ополоснув лицо, промокнул его белоснежным платком и, заметив толстую корягу, один конец которой уходил в воду, снял сапоги и уселся на неё, с удовольствием болтал в воде ногами.

Помидорчик, вволю напившись, деловито щипал траву.

«Куда он тут денется», — подумал барчук, наслаждаясь солнцем, пробивающимся сквозь кроны деревьев, озёрной водой, тишиной и покоем.

Где-то вдаль он слышал голоса и смех.

«Ну вот, в одиночестве не дадут посидеть», — недовольно слез с коряги, обтёр ноги не совсем уже белоснежным платком, сунув его потом под вылезшее из земли корневище, и заспешил в густой кустарник, росший на берегу озера.

«Помидорчика они не заметят, потому как, чёрт знает, куда он упёрся, я тоже замаскируюсь - неохота ни с кем общаться», — затаился среди желтеющей, но густой ещё листвы.

Голоса раздавались всё ближе, и неподалёку от него на поросший травкой бережок, смеясь и переговариваясь, вышли три девушки с корзинами в руках.

«Похоже, обед кому-нибудь из родни носили, но чего сюда-то зашли? — замер в своём укрытии. — Может, умоются, да уйдут», — с любопытством разглядывал трёх молоденьких крестьянок, одетых в цветастые сарафаны.

Одна из них была высока и черноброва, с толстой косой, перекинутой на высокую грудь. Чуть приподняв сарафан, она смело шагнула в воду, наклонилась и пригоршнями стала поливать на разгорячённое лицо с румянцем во всю щёку.

«А может, и сами работали, снопы вязали», — с интересом наблюдал за чернобровой, растиравшей мокрой ладонью шею.

— Настька, подол намочила! — словно их режут, завизжали подруги.

Бросив корзинки и хохоча, отворачивались от брызг, которыми их награждала чернобровая.

На этот раз действительно низ её сарафана плескался в воде. Выйдя на берег, чего-то тихо произнесла, что именно - Аким не услышал, и стала отжимать подол, высоко задрав сарафан. Подруги её просто давились от смеха.

Аким любовался белыми стройными ногами.

Невысокая русоволосая девушка что-то ответила чернобровой, и та, обхватив её за плечи, смеясь, воскликнула:

— Сейчас узнаешь!

Сломив слабое сопротивление, затолкала "несчастную" в воду, опять замочив отжатый уже подол сарафана.

— Настька, ну что ты наделала? — выбралась та на берег и горестно разглядывала липнущую к ногам материю.

Третья, крепкая и широкобёдрая, просто задыхалась от смеха.

Переглянувшись, подруги подхватили её под руки и чуть опешившую и не ожидавшую такого подвоха макнули в воду.

Вырвавшись, она стала ругаться, размахивая руками и, оступившись, вся уже погрузилась в озеро.

Теперь переломились от смеха чернобровая с русоволосой.

Насмеявшись и уразумев, что терять больше нечего, составили компанию "утопленнице", с визгом бросившись в тёплую воду.

Вдосталь навозившись и набарахтавшись, они выбрались на берег и дружно стянули через головы прилипшие к телу сарафаны, под которыми больше ничего не было. Не переставая смеяться, отжали их, развесив сушиться на ветках дерева.

Аким аж зажмурился поначалу, ослеплённый белизной женского тела, но потом во все глаза принялся разглядывать представших перед ним нимф.

Девушки, замёрзнув от купания, чтобы согреться, стали бегать друг за дружкой и, догнав, громко шлёпать ладонью куда придётся.

От их визга у Акима аж заложило уши.

«Теперь Помидорчика точно не найдёшь. Утопал куда-нибудь в чащу от греха подальше. Ну что за лето такое?.. Кругом девки голые пастают», — замер в восхищении, увидев подрагивающие на бегу крепкие груди чернобровой Насти.

Она ловко увернулась от шлепка русоволосой, груди её при этом запрыгали из стороны в сторону и, смеясь, хлопнула по вздрагивающим ягодицам широкобёдрую. Та, споткнувшись о корень, брякнулась на колени, явив взору Акима белые ягодицы с красным отпечатком ладони.

«Мамочки! А вдруг они обнаружат меня? Вот стыдно-то будет...», — на минуту закрыл глаза, а когда открыл, то увидел

стоящих по сторонам дерева крутобёдрую и рядом с ней чернобровую Настю, явивших его взору крепкие девичьи чуть выпуклые животы и тёмный бархат волос под ними.

«Вот она, женская тайна! — впился взглядом в чёрные лоскутки. — Сейчас они услышат, как колотится моё сердце», — схватился рукой за грудь, будто пытаясь заглушить его стук.

Воздуха не хватало, дыхание стало неглубоким и частым.

«Будто две версты пробежал, — любовался светлым треугольником русоволосой, подошедшей и вставшей рядом с подругами. — “Три грации” Рафаэля Санти, — вспомнил Аким фотографию в журнале, — ещё отец прятал его от нас. Правда, средняя из фигур там стояла задом... Однако хватит искусствоведением заниматься, следует выбираться отсюда, пока не засекли, — начал осторожно, на корточках, пятиться из кустов, — только бы не зашуметь», — подумал он, тут же наступая на сухую корягу.

Треснула она погромче выстрела из ружья.

«Ну всё, попался!» — сник Аким, поднимаясь и закрывая от стыда лицо сломанной веткой.

Услышав треск, девушки стали беспокойно озираться, вдруг увидев что-то большое и зелёное, поднимающееся из соседних кустов.

— Ой, батюшки! — всплеснула руками русоволосая. — Леший, никак, объявился? — схватила влажный ещё сарафан и, забыв про лукошко, бросилась наутёк.

Её две подруги, правильно думавшие вначале, что какой-то парень подглядывает за ними, услышав про лешего, вдруг осознали весь ужас положения и, так завизжав, что любой уважающий себя пожилой леший враз попал бы на больничную койку с расстройством желудка, мигом обогнали русоволосую, похватав по пути сарафаны.

С такой же скоростью ринулся искать Помидорчика Аким. Спасибо, верный скакун откликнулся дробным ржанием на девчачий визг, чем подтвердил предположение русоволосой, и довёл девок до лёгкого обморока.

«Коня испугали», — влетел в седло Аким и погнал иноходца в противоположную сторону, больно оцарапав щёку нависшей веткой.



Прошёл Яблочный Спас, а за ним и вакации.

Рубановы вернулись в Петербург. 16 августа начались занятия в Кадетском корпусе и гимназии.

Начало занятий — это якобы праздник. Поэтому Аким просил червонец и под предлогом, что ему следует прибыть

в альма-матер пораньше, сбежал по ступеням лестницы, хлопнул внизу дверь, и, почуяв свободу, помчался на конку.

«Вот была бы стыдуха прикатить на карете с папá и мамá, словно сопливый богатенький первоклашка», — на ходу выпрыгнул из вагона конки и бодро потопал в сторону длинного двухэтажного здания, крашеного в тёмно-коричневый цвет.

— Эй, мелюзга, не путайся под ногами, — строго одёрнул двух белобрых второклашек в новеньких синих фуражках с белым околышем.

Оглянувшись на грозного дядю в сером, с синими петлицами пальто, они ухватили покрепче лямки ранцев и помчались к воротам гимназии, а за ними повернули налево, юркнув в открытую дверь.

Аким поначалу тоже хотел свернуть к запасной двери, но вспомнив, что придётся тащиться в раздевалку по тёмному коридору, где обязательно кто-нибудь из мелюзги наступит на ногу и испачкает начищенные ботинки, пошёл к парадному входу, влившись в толпу старшеклассников и их родителей.

«Ничего не изменилось», — глянул на сонного пожилого швейцара в синей ливрее и на медный колокол, лежавший рядом с ним на столике. Затем перевёл взгляд на две белые колонны перед широкой лестницей, ведущей к площадке с круглыми часами и окнами вверх. От площадки двумя маршами лестница вела на второй этаж.

«А собственно, что должно измениться?» — усмехнулся, направляясь в раздевалку, где уже висело несколько пальто и фуражек.

— Здорово, Аким! — кинулся к нему обниматься второгодник и лоботряс Витька Дубасов по кличке Дуб, или Дубина.

Ему больше нравилось, когда подхалимы уважительно называли Головорезом.

— Отдубасить кого не треба?

— Подожди хоть денёк, — огладил тужурку Аким.

— Ну и зря! — оглядываясь по сторонам, произнёс Дубасов.

— Не «зря», а «здря!» — поправил его вернувшийся из деревни Рубанов.

— Гы-гы-гы — оптимистично отреагировал Дуб. — Опа! Уже новичков отлавливают, — добродушно, словно любящий отец на деток, глядел на второклассников, щипавших, дёргавших за уши и щедро раздававших щелбаны приготовишкам, недостойным ещё даже формы.

Те пугливо жались к стеклянной будке, возле которой стоял швейцар и свёрнутой газетой, в свою очередь, самозабвенно шлёпал по стриженным головам второклассников.

— Сидорова Коза как развоевался, — осудил швейцара Дубасов, — поперёк традиций прёт, козлиная морда, — следом за

Рубановым поднялся на второй этаж и пошёл по коридору с высокими белыми дверями классов.

В длинном зале с паркетными полами и большими окнами, выходящими на Ивановскую и малый церковный двор, он изменил своё мнение о швейцаре Сидорове, так как двое малолетних вредителей, взявшись за руки и скользя по паркету на боку подошв, словно на коньках, имели наглость врезаться пустыми своими головами в грозу и ужас Санкт-Петербургской 1-й гимназии, самого Витьку Дубасова по прозвищу Головорез.

Насекомые ловко увернулись от подзатыльников и скрылись, показав на прощание «грозе и ужасу» отвисшие до пупка красные языки, подкрепив для обиды сие мерзкое деяние монотонным звуком: «А-а-а-а!»

— Растёт смена, — потёр ногу Дубасов, — а швейцару в газету следует скалку завернуть...

В зале между тем гимназисты средних классов расставили стулья, которые начали потихоньку заполняться задами прибывших на торжество родителей.

— Господа гимназисты, ступайте к своему классу, — откуда-то из толпы вынырнул их классный наставник, учитель истории Трифон Пантелеевич и подёргал сизым носом, — а то торжественная часть скоро начнётся, — сникшим уже голосом добавил он, разглядывая учеников бесцветными глазами.

— Идём уже, — буркнул Дубасов. — За версту от Тришки алкоголем тянет, — с некоторой завистью сообщил Акиму. — О-о-о! — расставив руки, тянул он, заметив своих однокашников. — Подраться, случайно, никто не желает? — с огромной безысходностью в синих глазах поинтересовался Дуб. — Здравсьте, жида! — шутовски поклонился пятерым евреям.

Те отвернулись, сделав вид, что не расслышали широкоплечего балбеса.

— Умники! — обиделся на курчавых своих одноклассников. — Да я ещё в пятом на второй год остался, а таперича, — глянул на Рубанова, — всё на твёрдую двойку с плюсом знаю, — затесался в ряды детей Сиона, ибо от Тришки поступила команда строиться.

Те недовольно водили отвислыми носами, но помня уроки премудрого Соломона, стойко молчали. Кому охота, чтоб румпель ещё больше стал и в придачу красного цвета.

Между тем к покрытому скатертью столу на трясущихся ногах приковывал бледный сухонький старикашка-попечитель, от всей причёски у которого остались только седые бакенбарды.

Следом вкатились директор гимназии Круглов, состоящий из двух глобусов — малого, что наверху, и большого, что ниже.

За ним чинно проследовали классные наставники. Погремев стульями, все разместились за столом.

Кхекнув и подняв трясущейся рукой отнятый у швейцара медный колокольчик, который тут же недовольно задребезжал, попечитель стал всматриваться слезящимися глазами в зал.

Пока он всматривался, немножко при этом задремав, директор сумел отобрать у него гремевший уже набатом колокол.

Вдруг проснувшийся старикашка замер и вытянулся, поправляя свой синий вицмундир с большой звездой в петлице. Он был статским советником, что соответствовало пятому классу не какой-то там гимназии, а табели о рангах. Враз просохшие слезящиеся глаза его узрели Рубанова-старшего в мундире генерал-лейтенанта, чин коего относился к третьему классу. Помешанный на рангах старикашка после небольшого перерыва от лицемерия высокого классного чина, затрясся с удвоенной силой, навёрстывая упущенные колебания, и стал что-то шептать директору.

Посоветовавшись, он взял со стола две книги и, словно царский церемониймейстер, придворный чин коего тоже относился к пятому классу, выкрикнул фамилию: «Р-р-рубано-о-ов»

Максим Акимович легко поднялся и подошёл к трепещущему старцу.

— Ваше превосходительство-о! — торжественно, насколько позволял козлиный тенор, обратился тот к генералу. — Угодно ли вам получить награду вашего достойного сына?! — с трудом поднял повыше две толстые книги.

Дубасов, выставив из строя голову, критически оглядел покрасневшего Акима.

Евреи дружно хихикнули, ибо особым прилежанием сей «достойный отрок» не отличался.

— Угодно, Ваше высокородие, — согласился генерал и, изловчившись, принял из рук попечителя награду.

«Да-а! Я только “высокородие”, а оне — “превосходительство!” — завистливо глядел вслед прямой спине статский советник. — Зато полковник стоит ниже меня и относится к шестому классу, — как мог, утешал себя, забыв о трудах праведных, — ...и обращаются к нему всего лишь “Ваше высокоблагородие”».

— Господин попечитель, — прошептал директор, дёргая за фалду вицмундирного фрака задумавшегося отставника.

— Да-с! — удивлённо огляделся по сторонам — где это я? — Ах, да! — поднял маленькую коробочку с наградой. — Вы называйте фамилию, а я стану награждать, — обратился к Круглову.

— Шамизон! — штабс-капитанским басом рявкнул директор.

«Ну-у штабс-капитаны и вовсе стоят на девятом месте», — протянул коробочку худому пожилому еврею с красной лысиной.

«Этот, хотя ни к какому классу не относится, с четырнадцатого по пятый разряд любого купит... Нет, по шестой... Меня ему купить не удастся».

— Шпеер! — выкрикнул следующего «лауреата» директор.

— А русских нет? — зашептал ему статский советник и тут же, заметив подошедшего курчавого господина, с улыбкой протянул коробочку.

У того не было шамизоновской ловкости и он долго не мог принять награду. Наконец догадался, задрожал в такт с попечительскими руками и через минуту обрёл заветную коробочку.

После затянувшегося торжественного акта начались классы.

Родители, переговариваясь между собой, направились к выходу, а их «наидостойнейшие» и не очень чада — в высокие, пахнувшие масляной краской и побелкой комнаты.

Не успел ещё Сидорова Коза отзвонить во вновь обрётённый колокол, громко бахнув дверью, в класс влетел преподаватель английского языка Иванов. Его предмет не входил в обязательную программу, а являлся дополнительным, но весь класс на него записался.

Как и положено, «англичанин» Иванов был длинный, с вытянутым лошадиным лицом и крупными белыми зубами.

— Даже меня он пугает, — негромко, наклонившись к Акиму, произнёс Дубасов, — так и думаешь, что следом ворвётся собака с оскаленными клыками...

— Или душегуб с топором, — поддержал приятеля Рубанов. — Не может солидно ходить, как директор, например, а носится, словно кто за ним гонится.

— Этот английский Иванов, — хохотнул Головорез, — да он... — что «он», сказать не сумел, так как успевший отдышаться «англичанин» произнёс:

— Чилдраны, заткнитесь!

— Никакой культуры обхождения, — бурчал Дубасов.

— Джентльмены, русского языка не понимаете? Просил же заткнуться, — заорал Иванов.

Он легко впадал в неистовство и этим заметно отличался от хладнокровных англосаксов.

— Я молчу, — стал спорить Дубасов.

— Скажи по-английски: «Господин учитель, я молчу», — аж подпрыгнул со стула «англичанин».

Загремев крышкой, Дубасов поднялся из-за маленькой ему парты.

— Мистер тичер... — на этом познания его кончились. Ещё он знал слово «гуд-бай», но это и вовсе чёрт те что получится...

— Не знаешь? — со всего маху плюхнулся на жалобно заскрипевший стул Иванов.

— Знаю! — уныло произнёс Дубасов.

— Что-о? — подскочил, словно под ним была кнопка, «мистер тичер».

Сидящий за первой партой Шпеер подхалимски посмеивался, преданно глядя на взбешённого преподавателя, и зажмурил от удовольствия глаза, когда тот хряпнул стулом об пол, отломив одну ножку.

Заметив поломку, «англичанин» сразу успокоился и продолжил урок стоя.

Почин был сделан. Витька Дубасов получил жирную, как директор, двойку в журнал.

— Наконец-то наступила любимая пора занятий! — подвёл итог первому уроку Аким Рубанов.

Вторым уроком была история.

Хлюпая сизым носом, с журналом подмышкой расслабленно появился Трифон Пантелеевич. Он осторожно подошёл к столу, задумался, вспоминая что-то своё, педагогическое, оглядел замерший класс, доску, вздохнул и неуверенно сел на стул, явив через секунду стоптанные подошвы ботинок, взлетевшие выше стола.

— Вот и похмеляться не надо! — порадовался за историка Аким.

В классе висела напряжённая тишина, прерываемая бормотанием, икотой и каким-то скрежетом со стороны кафедры.

Вдруг стоптанные башмаки исчезли, и постепенно над столом стали возникать растрёпанные волосы, морщинистый лоб, расширенные глаза цвета Куликовской битвы — красные. Уже не сизый, а фиолетовый, с небольшой зеленью нос, жидкие усики, тонкие губы и плохо выбритый подбородок.

Потом всё это начало материться, топтать ногами и окончательно доламывать стул.

— Сашка Македонский великий был полководец, но стулья-то зачем ломать, — вспомнил то ли Гоголя, то ли Пушкина Дубасов и ошалел от своей эрудиции.

— Кто-о-о?! — вопил Тришка под хохот класса.

— Мистер тичер Иванов, — с прекрасным английским акцентом заложил любимого преподавателя Дуб.

На большой перемене с десятков гимназистов скучковались у покрытой кафелем холодной печки в углу класса.

— Чего это у них рожи какие красные? — направился к одноклассникам Аким.

— В уборную ходят, — затопал следом Дубасов. — Ух ты! Шамизон, тудыт твою еврейскую мать, дай-ка глянуть, — выхватил фотокарточку, на которой голый господин с длинными стрелками усов обнимал пышную женщину в белых чулках на

толстых ногах. — Ну прям как наша горничная, — протянул карточку Акиму.

«А усатый не твой папа?» — хотел сказать Яша Шамизон, но вовремя обратил внимание на дубасовские кувалдометры.

«Корова какая-то! — критически разглядывал снимки Аким. — Все, кого летом в Рубановке видел, в сто раз лучше», — взял следующую фотографию.

— Так вот, господа! — продолжил прерванный рассказ Шпеер. — Заходим вечегком вместе с Яшкой к Вальке. Высокая такая деваха... Г-г-удици во-о! Как пупон у Глобуса, — согнув руки, выставил перед собой локти.

— Полно врать-то! — не поверил Дубасов.

— Тихо, тихо, Дуб, пусть говорит, — зашикали на него.

— Ща-а-а как дам! — обиделся Витька. — Тогда поймёте, что не Дуб, а Головорез.

— Её гог-гничная кгичит: «Багышняя, багышняя, каваг-гегы пгишли...

— Чего-о кричит? — вновь перебил рассказчика Дубасов.

— Кавалеры пришли! — объяснили ему. — Давай, Шпеерочек, ври дальше.

— Я не вгу-у! Пгавду говою! — обиделся на этот раз Шпеер. — Ещё газ пегебьёте, вообще ничего говогить не буду.

Стиснув зубы, Дуб молчал, хотя так и подмывало спросить про «газ».

Мы пиво пгинесли, вино, конфеты шоколадные... Они закуску выставили... Поели... Затем гитагу Валька взяла...

— И пела полночи! — разозлился Дубасов. — Когда до самого главного дойдёшь?.. Перемена скоро уже кончится.

— Наверное, песни хором попели и по домам разошлись, — поддержал его Аким, отдавая Шамизону карточки.

— Ну вот, всё, допгыгались... Сейчас мы действительно домой пойдём, — стал собирать книги Шпеер, — а вы угок божий слушайте...

Расстроившиеся гимназисты укоризненно глядели на Акима с Дубасовым.

Многие завидовали не посещавшим урок закона божьего евреям.

— Пгивет попу! — помахал в дверях гимназистам Шпеер.

— Валандайтесь со своим «батькой» без нас, — попрощался Шамизон.

Другие евреи, презрительно глядя на оставшихся, покинули класс.

Несмотря на сарказм и явную насмешку, никто из ребят не ответил уходившим. Лишь Дубасов, ухватив за угол фалду куртки, сделал подобие свиного уха и помахал им евреям, на что те досадливо плюнули.

— Валите, морды жидовские, — нежным голосом попрощался с ними, но на уроке отыгрался на невысоком попики с серебряным крестом на груди, донимая его вопросами: «Как продолжался род человеческий, после того как Каин убил Авеля? В какую землю ушёл Каин? На ком он там мог жениться, если кроме Адама и Евы Бог никого больше не сотворил?..»

— Праздные вопросы, сын мой! — ответил отец Алексей, ставя «достойному сыну» двойку, жирнее прежней, в классный журнал.

Всю ночь Акиму снились жирные, как дубасовские двойки, тётки с толстыми ногами в белых чулках. Утром проснулся потный и разбитый.

«Ну зачем, зачем они мне нужны? — Ведь я мечтаю встретить и полюбить грациозную, остроумную, белокурую девушку с голубыми глазами, — пригладил расчёской всклокоченные волосы. — И чего со мной творится? — критически разглядывал себя в зеркале, вдруг заметив, что вытянулся за лето и повзрослел. — Что вырос, это хорошо, но зато и руки какие-то длинные стали... движения неуверенные... и голос на петушиный иногда срывается... Кто такого полюбит?» — расстроенный, отвернулся от зеркала.



Зато Рубанов-старший чувствовал себя, как никогда, хорошо.

Недавно он стал генерал-адъютантом императора и ехал благодарить его. В прекрасно сидящей на нём форме — да и кого не красит генеральский мундир, появился в Царском Селе. В ожидающей на железнодорожной станции карете отправился в Александровский дворец, разглядывая из окошка широкий бульвар с желтеющей листвой деревьев и элегантные особняки придворной аристократии.

Он терпеть не мог всех этих гофмаршалов, шталмейстеров, егермейстеров, церемониймейстеров, обер-камергеров, обер-шенков и, несмотря на свои флигель-адъютантские дежурства при дворце в бытность ещё полковником, не всегда понимал, чем они занимаются и каковы их обязанности, но не хуже старичка-попечителя Первой Санкт-Петербургской гимназии знал, что по табели о рангах придворные с приставкой «обер» относятся ко второму классу, что соответствует генералу от кавалерии, а без оной — к третьему, к коему относится и он сам. Поэтому ссорится с ними — себе дороже.

«А сплетники-то! — ухмыльнулся Максим Акимович. — Месяц будут обсуждать и завидовать, ежели монаршая чета

пригласит кого-нибудь на чай или император дружелюбно хлопает по плечу... А награда или чин... — развеселился он. — Сейчас на все лады обсуждают ответы царя в анкетном листе Всероссийской переписи населения, где на вопрос о звании Николай написал «Первый дворянин», а в графе «род занятий» — «Хозяин земли русской», — подъехал к высокой кованой ограде императорского парка, где у ворот с саблями наголо гарцевало четверо казаков в алых мундирах.

Часовой в форме Семёновского гвардейского полка отдал честь, когда карета проехала внутрь и остановилась у двухэтажного здания классического стиля.

В одной из парадных комнат Рубанов столкнулся с недавно назначенным на должность министра Императорского двора бароном Фредериксом.

— Ваше высокопревосходительство, позвольте поздравить вас с шестидесятилетним юбилеем, — щёлкнул каблуками, чуть склонив голову Максим Акимович, разглядывая стройную фигуру и красивые седые усы генерал-адъютанта, генерала от кавалерии, члена Государственного совета и теперь ещё министра Двора и Уделов.

— Ну полно вам, Максим Акимович, какие ещё между генерал-адъютантами церемонии, — дружелюбно улыбался молочавому в прекрасно пошитой форме генералу, вспоминая народный полушубок, в котором тот несколько лет тому назад щеголял.

«Всему нужны мера и время, — глядел вслед удаляющейся прямой фигуре. — А то прошлой зимой Лев Толстой припёрся, прости Господи, на аудиенцию, за кого-то там просить, в заплятанном дублёном тулупе, подпоясанном серым кушаком, в вязаной круглой шапке, да ещё и с палкой в руках», — иронично хмыкнул барон, приказав слуге в пышной ливрее сопроводить генерал-адъютанта до царского кабинета согласно протоколу Двора.

Николаю уже сообщили о приходе гостя, и он встретил Рубанова стоя перед письменным столом.

— Очень рад видеть вас, Максим Акимович, — негромко произнёс император, протягивая руку своему генерал-адъютанту.

— Ваше Величество... — сделал паузу Рубанов, в волнении подбирая приличествующие случаю слова, дабы звучали они любезно, но без слишком выраженного угодничества, как и положено суровому солдату, бывшему турок вместе с отцом ныне здравствующего монарха. — Ваше Величество! — вновь повторил он. — Безмерно счастлив вновь встретиться с вами и хочу поблагодарить за оказанную честь, за то, что назначили меня генерал-адъютантом, — уважительно пожал протянутую руку.

— Прошу садиться, — улыбнувшись, предложил государь, кивнув в сторону удобного кожаного кресла, а сам, не спеша обойдя стол, уселся на стул, по привычке скрестив под ним ноги.

Максим Акимович несколько отвык от общества императора и, чтобы успокоиться, обвёл взглядом небольшую комнату с одним окном. Затем покрытую персидским ковром софу, полки, уставленные бюстами великих людей и семейными сувенирами. Потом поразился идеальному порядку письменного стола со стопкой белой бумаги с одной стороны, чернильницей с ручкой с другой и раскрытым номером «Вестника Европы» посредине.

— Курите! — предложил император, достав откуда-то из-за пазухи небольшой изогнутый пеньковый мундштук и вставив в него папиросу из портсигара, который положил на стол, предлагая гостю угощаться.

Максим Акимович достал из кармана мундира пачку папирос «Сальве».

— О-о! Мы курим один и тот же сорт, — изумился Николай, — помнится, вы с Сипягиным курили «Континенталь».

— «Сальве» оказался много приятнее, Ваше Величество, — поднялся Рубанов из кресла, — позвольте от всей души поздравить вас с рождением дочери.

— Благодарю! — отчего-то покраснел император. — Да вы садитесь, садитесь. Надеюсь, сегодня останетесь на чай и потом я покажу вам дочь... а теперь... — пошелестел страницами журнала и, словно фокусник, выудил оттуда фотографию.

Покрутив её перед глазами и улыбнувшись, протянул снимок Рубанову.

Тот, упруго поднявшись из кресла, принял из рук царя фото.

— Ваше Величество! — внимательно разглядывал изображение императора в полной боевой выкладке рядового солдата. — Непременно следует отпечатать её в виде открытки... либо в каком-нибудь журнале... Превосходная фотография... Каждый военный мечтал бы иметь такую.

Николай довольно рассмеялся, прикрыв рот ладонью, затем придвинул чернильницу, внимательно оглядел перо, поморщил лоб, огладил бородку и на обратной стороне снимка написал: «Максиму Рубанову от Николая». И ещё чуть поразмыслив, дописал внизу: «Романов».

«Трубецкие-Голицыны-Нарышкины и прочие Пахомовы — умрут!» — подумал Максим о царедворцах.

Но император вновь сунул фотку меж страниц журнала и тяжело вздохнул.

— Да вы садитесь, садитесь, Максим Акимович... Тут вот какое дело, — выдвинул ящик стола и достал телеграмму. —

Это мой потсдамский кузен Вильгельм, — с некоторой долей иронии произнёс он. — У нас с ним возник нешуточный спор, — глянул на своего генерал-адъютанта.

Рубанов был само внимание.

— Как должно застёгивать кители и гимнастёрки?.. Посредством пуговиц или крючков?.. Вот в чём вопрос, — поднялся из-за стола и в волнении заходил по комнате.

В ту же минуту Максим вскочил на ноги.

— Ещё в августе Вилли телеграфировал: «Ники, неужели ты действительно собираешься перейти на пуговицы? Хорошенько подумай. Как следует взвесь», — наизусть прочёл текст Николай и, остановившись, в упор глядел на Рубанова. — Я много над этим думал и взвешивал... Вопрос решён в пользу пуговиц! — высказался он и уселся в соседнее кресло. — Вы поддерживаете мой выбор? — устремил взгляд серых глаз на Максима.

— Со всей душой! — поклонился императору Рубанов.

— Но какие должны быть пуговицы? — вновь забегал по комнате царь. — Тёмными или светлыми? — требовательно уставился на Максима. — Каково ваше мнение? — через короткую паузу добавил он, в задумчивости теребя короткую бородку.

«О-о, мамочки! Какие же ему нужны пуговицы? Тёмные или светлые? — мучительно размышлял Рубанов. — Была-небыла!»

— Светлые, Ваше Величество! — сказал и замер, наблюдая реакцию царя.

Тот тоже замер в раздумье.

«Не видать мне фотографии, как своих генерал-адъютантских ушей! — загрустил Максим. — Не угадал!»

— Точно! — восторженно хлопнул тыльной стороной правой руки по ладони Николай. — Точно! — с облегчением сел за стол и стал шуршать страницами журнала, отыскивая снимок.

«Слава тебе Господи! — с ещё большим облегчением вытер платком лоб Максим Акимович. — “Страсти египетские”, — сказала бы няня».

Но фотографию и на этот раз не получил.

Император аккуратно положил снимок на край стола и довольный, подошёл к окну.

— А не поохотиться ли нам на ворон? — благосклонно предложил Рубанову.

— Так точно, Ваше Величество! — с таким счастливым видом, словно всю жизнь только и мечтал об этом, произнёс Максим Акимович.

В стрельбе, разумеется, он уступил императору и подстрелил на трёх ворон меньше.

После охоты довольный Николай пропустил Рубанова первым в двери столовой, а сам вошёл после него.

Наблюдавшие этот протокольный кошмар обер-шталмейстер, обер-церемониймейстер, министр Двора Фредерикс и приглашённые на чай несколько придворных просто онемели от удивления. Особенно, услышав слова императора:

— Вы всё-таки генерал-лейтенант, а я всего лишь полковник...

Окончательно сразила их показанная Рубановым фотография с царской подписью. Даже барон Фредерикс позавидовал ему. Что же говорить об остальных...

Целый месяц высший свет на все лады обсуждал эту новость, и Максим Акимович являлся самым популярным человеком в столице. Знать почитала за честь пригласить его на обед или ужин.

Рубанов просто купался во внимании и упивался сливками общества.

Дамы млели от счастья, когда на балах он приглашал их на танец.



Зато не всё так гладко шло у его старшего сына. В один из последних дней перед рождественскими каникулами, казалось бы, ничего не предвещало неприятностей. Как всегда, «англичанин» Иванов бегом влетел в класс. Отдышавшись, стёр с доски традиционную надпись «Чеа» и рисунок стула с тремя ножками, взял какую-то книгу на английском языке и решил устроить диктант, дабы повысить количество двоек на душу населения и как можно большему числу гимназистов испорить настроение, исключая, конечно, этих симпатяг-евреев.

Не ожидая беды, он медленно, что было несвойственно его характеру, ходил по классу от кафедры до последней парты и гундосил какую-то дичь по-английски.

Дубасов, хотя и сумел выучить за эти месяцы слово «стул» на английском языке, что являлось предметом необычайной его гордости, диктант явно осилить не мог и поэтому, когда «мистер тичер» поворачивался к нему спиной, старательно надувал резиновый красный шарик. Затем, высунув от усердия язык, начертал мелком на спрятанном под партой шарике «чеа», и, когда «англичанин» по-военному повернулся кругом у задней парты, за которой сидели они с Акимом, перегнувшись через Рубанова, исхитрился прицепить его за фалду учительского вицмундира.

Это у эсквайра¹⁰ Иванова оказался последний рейс, и он направился к стулу.

Критически осмотрев «чеа» и не найдя изъянов, с блаженной улыбкой славно поработавшего «мена»¹¹ стал усаживаться, размышляя попутно, чего это там такое мягкое под ним поскрипывает.

Додумать до конца не успел. От взрыва страшной силы подпрыгнул, как показалось ученикам, почти к самому потолку, оттуда приземлился мягким местом на стул, вдребезги расколомшматив его, и грохнулся на пол. Но долго там не прохладжался. Вскочив, с бешеной энергией стал крутиться вокруг своей оси, отлавливая болтавшееся сзади инородное тело, не относящееся к предмету гардероба. Остановившись наконец, трясущимися как у старичка-попечителя руками и в придачу дёргая нижней челюстью, горестно поднял сморщенную резиновую тряпочку, составлявшую основу конструкции из нитки и булавки, прикреплённой к нижней части вицмундира.

Обмозговав увиденное, быком заревел по-английски очень неприличное «Ху-у-у?»¹² и метеором вылетел из класса, мелькнув на прощание надписью мелом «чеа» на тощей пыльной заднице. Эхо долго ещё доносило из коридора английское «кто-о» с русским акцентом.

Вдоволь насмеявшись вместе со всеми, евреи с первых парт укоризненно качали курчавыми головами.

Под дребезжанье звонка на перемену вместе с «англичанином» в класс вкатились два директорских глобуса.

Верхний глобус сходу начал обличать хулиганов и ругаться, требуя назвать зачинщика.

Шпеер ломал свою кучерявую голову, размышляя, как бы так выдать, чтоб кроме господина директора никто не узнал.

Оглянувшись, наткнувшись взглядом на пудовый дубасовский кулак, и тут же стал думать, что выгоднее: «По-моему, промолчать!» — ещё раз покосился на грозную кувалду.

Всю перемену и часть следующего урока директор, словно заправский сыщик, вёл следствие, выясняя, где стоял Иванов, кто сидел рядом, когда на нём появился шарик, и все улики указывали на Акима.

— Да ничего не будет, — успокаивал его Дубасов.

¹⁰ Эсквайр — почётный титул в Великобритании. Термин употребляется как равнозначный слову «джентльмен».

¹¹ Man (англ.) — мужчина, человек.

¹² Who (англ.) — кто.

Было!

Как не хотелось директору, но он вынужден был проинформировать несчастных родителей о проделках недостойного их отпрыска.

Ирина Аркадьевна пришла в ужас, а Рубанов-старший, напротив, преисполнился величайшей гордостью за своего «чилдрена». Настоящим воином растёт.

И хотя на следующий день Дубасов покаялся, чтоб оправдать друга, Максим Акимович присланным от директора извинениям не поверил.

«Тичер» Иванов возненавидел их класс всеми фибрами своей «английской» души и щедро одаривал жирными красными двойками. Кроме евреев, конечно. В результате Дубасов на всю жизнь возненавидел красный цвет.

Аким срочно созвал в отхожем месте, где всё олицетворяло учителя, совещание, и лучшему в классе рисовальщику велено было не спать до утра и красивым крупным почерком написать сотню объявлений: «Учитель английского языка Иванов продаёт изумительную квашеную капусту!» И внизу — адрес педагога.

Следующий день после уроков весь класс расклеивал объявления.

Ещё один день ждали результатов. На третий день после уроков, стоя на противоположной стороне улицы, большая часть класса наслаждалась неоднократным актом «покупки» изумительной квашеной капусты.

Первой сделала попытку разжиться расхваленным продуктом пожилая, бедно одетая чиновница. Позвонив, она сунула в раскрытую женой педагога дверь пустую банку. Та, высунув на улицу такое же, как у мужа, лошадиное лицо, с натуральными лошадиными ушами и крупными гнилыми зубами, убеждала вдовую чиновницу, что она не торгует «изумительной капустой», а вовсе даже наоборот является законной женой преподавателя английского языка.

Бабка явно не верила и продолжала тыкать в гнилозубую физиономию банкой.

«Лошадиной морде» подобная фамильярность надоела, и бабкина посудина со свистом перелетела дорогу и разорвалась у ног блаженствующих гимназистов.

В придачу чиновница слышала, что она старая кикимора с пустой банкой вместо башки, а пока дверь захлопывалась, «английская леди» узнала, что она рыжая кляча, на которой даже муж скакать не хочет.

Дело пошло...

На следующий день перед дверью несчастных «английских» Ивановых выстроилась целая очередь и громко, на весь проулок, требовала замечательной капусты.

На этот раз с толпой изъяснялся сам «производитель» квашеного деликатеса. Переходя временами на английскую ругань, он объяснял, что капусты нет.

Горланящая орава смекнула, что опоздала, и на следующее утро скрежет звонка поднял «английскую» чету задолго до восхода солнца.

Когда у его дверей раскумекавший выгоду мужик стал на самом деле торговать бочковой капустой, отравляя её запахом семейную жизнь, «англичанин» запаниковал и перешёл на тройки. А когда жена начала получать любовные послания от гимназистов, в которых воспевались неземная её красота и звучал лейтмотив, как при её божественном облике и молодости она живёт со старым «английским мерином», пятидесятилетняя мисс перестала спать с супругом и прогнала его в другую комнату.

С этого дня класс стал получать четвёрки и пятёрки. Даже Витька Дубасов по прозвищу Дуб.

На этом глумления закончились, и на радостях гимназёры положили на стол мающего с похмелья Тришки кусок колбасы и рядом поставили бутылку водки.

— Что за безобразие?! — вскипел классный наставник. Впрочем, беззлобно. — Сейчас пойду разберусь, откуда это взялось...

Разбирался где-то пол-урока и появился весьма довольный, дожёвывая на ходу мясной продукт.

— Вам повезло, что я её расколел, — блесевшими уже глазами оглядел класс. — А то бы вам досталось на орехи, — довольно шмыгнул носом и бодро стал рассказывать об Александре Македонском, хотя тема была совершенно другая.

После Рождества для исправления гибнущего морально и духовно сына Ирина Аркадьевна наняла преподавателя музыки, студента старшего курса Петербургской консерватории.

Младший её сын досконально освоил балалайку и брал уроки игры на гитаре у отцова денщика Антипа. Тот, в свою очередь, хвалился, что его учит сам господин полковой писарь.

Столь активно проявлять музыкальные таланты Антип начал в связи с охлаждением отношений со стороны мадемуазель Камиллы, которая стала принимать гнусные ухаживания лакея Аполлона.

«Подумаешь, чёрный смокинг на ём и белая манишка, — кручинился вояка, — а я вот уже ефрейтора получил... и скоро мядадь заработаю. Его превосходительство обещал за усердную

и беспорочную службу. С этикетом я, видите ли, не знаком, говорит Камилка. А Аполлон, ежели в белых перчатках, так знаком? А с ружья он палить могёт? Да хрен ему с прикладом».

Флюиды любви поглотили и 1-ю Санкт-Петербургскую гимназию.

Поголовно все гимназисты старших классов влюбились в наездницу из цирка Чинизелли Жанну Бальони. Особенно евреи. Они темпераментно, приводя примеры из Нового и Ветхого Завета, доказывали, что смуглая, черноглазая брюнетка Бальони вовсе не итальянка, а натуральная, что ни на есть еврейка. Правда, убедить в этом никого не сумели, даже Витьку Дубасова, хотя подарили ему фотографии с голыми женщинами.

Остальные учащиеся в магазине Попова, что у Аничкова моста, накупили фоток Жанны Бальони и целеустремлённо посещали все представления, где она кувыркалась на лошади. Успеваемость обратно пропорционально любви катастрофически падала.

Первым это заметил преподаватель математики Николай Сергеевич, загадивший классный журнал колами и в результате получивший прозвище Колёк, но не от имени, а от оценок.

Последним уловил ситуацию верхний глобус директора гимназии.

Старичок-попечитель в это время страдал обострением геморроя и за успеваемостью не следил, ибо его больше интересовала своя нижняя часть туловища, чем чужая верхняя.

После представления в цирке гимназисты оголтелой ордой кидались в гримёрную, чтобы получить автограф, но громадина-гиревик с огромными мышцами, мощной челюстью и маленьким лбом, на котором не держалась кепка, всё время сползая на глаза, топал ногами как слон, сопел бегемотом, матерился сапожником и обещал своими кулачищами всем сделать такие же плоские головы, как у него.

Со сползшей на глаза кепкой он кидался в толпу гимназистов и те в ужасе выскакивали на улицу, помня из урока географии, что у носорога огромный вес и плохое зрение, но это не его проблема...

Витька Дубасов с непередаваемым душевным удовольствием огрел гиппопотама в кепке специально принесённым булыжником, рассчитав на уроке Колька, что хотя бы на минуту отрубит его и успеет взять автограф у прелестной Бальони. Как всегда его расчёты не оправдались — математикой надо упорнее заниматься, и он долго реял над мостовой, брякнувшись на брусчатку далеко от входа в цирк.

Благодаря булыжу пару недель кепка не закрывала обзор цирковому дегенерату, и он зорко следил за нравственностью несравненной наездницы.

Наблюдая за полётом Витьки Дуба, Аким сообразил, что в цирке приблизиться к Бальони нет никакой возможности, и принял рискованное решение попытаться у неё дома.

За рубль он узнал адрес у циркового карлика, яро ненавидевшего гиганта, и, помолившись, отправился на дело.

Благодаря тому что шишка у амбала рассосалась и кепка вновь закрывала обзор, Аким благополучно миновал его и пробрался в подъезд, где воняло кошками посильнее, чем их собратьями в цирке.

«Это, чтобы всегда в рабочем настроении быть», — оправдал любимую, прижавшись к её двери на третьем этаже и вслушиваясь в удаляющийся слоновий топот низколобого сторожа, замерший за углом дома.

Перекрестившись, плюнул на палец и утопил кнопку звонка, вздрогнув от павлиньего вопля и прикидывая, успеет ли первой к двери горничная или безмозглый гигант.

Дверь открыла сама наездница, и Аким без приглашения ввалился в прихожую, прижав синьору Бальони к стене и с беспокойством прислушиваясь к грохоту шагов на лестнице и затем к двум долгим предсмертным хрипам простывшего павлина. Но к его счастью, открывать дверь черноволосая синьора и не подумала, обняв поклонника и прижавшись к нему.

На этот раз всем своим существом Аким почувствовал тёплое и мягкое женское тело. А руки уже расстегивали его пальто и вновь прижимали к себе опешившего гимназиста.

«Я к вам за автографом, — хотел произнести он, но почувствовал у своей груди большую и мягкую женскую, а скосив глаза вниз, увидел расстёгнутый цветастый шёлковый халат, чёрный корсет под ним, из которого, словно тесто из квашни, вылазили белые груди, а ещё ниже — полные ноги. И тут его губы ощутили шершавые губы и запах лука изо рта. — Чего это с ней?» — чуть отстранился от женщины, разглядев дряблую кожу лица и морщины у глаз.

Отмытое от белил, румян, крема, помады и пудры лицо лишь отдалённо напоминало облик той несравненной, двадцатилетней, гибкой и грациозной наездницы.

«Не знаю, что она хочет со мной сделать, но явно что-то отвратительное», — отстранённо наблюдал, как руки расстегивают пуговицы его тужурки и тянут за собой в комнату.

За дверью в этот миг раздался гулкий рёв расสวิрепевшего животного.

«Что для меня безопаснее, — стал размышлять Аким, — остаться с задыхающейся от страсти Бальони или героически смыться, столкнувшись на пороге с разъярённым душегубом?»

И когда услышал: «Пишли до мене», — склонился ко второму варианту.

Оттолкнув оторопевшую от неожиданности женщину, быстро отодвинул металлическую задвижку и, распахнув дверь, вихрем промчался мимо тупоголового великана.

Кончив рычать, тот опустил голову и напряжённо стал думать, что это такое маленькое, серенькое, промелькнуло у его ног.

Когда Аким хлопнул внизу подъездной дверью, громила заморгал глазками, наморщил свои полвершка¹³ над бровями и махнул кулаком, больно ударив себя по тому месту, где у людей лоб.

Так вторым в классе он излечился от своей любви. Первым был «воздухоплаватель» Витька Дубасов.

И вновь по ночам Аким стал мечтать о прелестной, белокурой, голубоглазой девушке, а не о черноволосой, пахнущей цыбулей, цирковой наезднице.

К тому же от ехидного карлика узнал, что Бальони родом была из соседней с Римом Шепетовки и носила гордую аристократическую фамилию Пальцапуца.

Весна! Конец марта!

Аким, вспомнив цирк, перепрыгнул через лопату, которой бородатый дворник в белом фартуке скидывал остатки грязного снега с тротуара на дорогу. Его собрат в таком же фартуке ловко орудовал метлой, направляя поток жидкой грязи, перемешанной с конским навозом и мусором, к сточной трубе.

Возле добродушного дворника с метлой остановилась подвода с рогожами, и извозчик, махая по сторонам рукой, принялся что-то выяснять. Лошадь его в это время облегчённо вздохнула, блаженно отогнула от крупа хвост и напрочь перекркнула трудовую деятельность по уборке улицы.

Лицо добродушного помрачнело. Возчик, не успев выяснить, куда сдуру заехал, влепил похабнице кнутом по заднице и в ту же минуту схлопотал по ватной спине плашмяком лопаты, которая радостно оставила на армяке свой автопортрет, рисованный жидким дерьмом и грязным снегом.

— Яти твою в рогожу мать! — философски изрёк добродушный дворник, опираясь на метлу.

— И твою! — оглянулся в сторону перепуганной кобылы его напарник, убирая художественной лопатой оставленное добро.

¹³ Вершок — 4,45 см.

— И вашу! — топнул ногой на собравшихся пожрать воробьёв Аким.

Пахло весной... Свежий воздух Невы смешивался с запахами конского навоза, дёгтя и печного дыма.

«Хорошо-о!» — помчался он в сторону гимназии, щенком перепрыгивая через маленькие кучки оставшегося снега.

На задней парте полупустого класса сидел Витька Дубасов и, заглядывая в бумажку, что-то бухтел, пугая дьяконским басом проснувшуюся от солнца муху.

— Латынь учишь? — поинтересовался у друга Аким, доставая из ранца учебник и тетради.

— Не-а! — по-лошадиному замотал башкой Дубасов, не отрывая взгляда от шпаргалки и бормоча:

«Его преосвященство, за ним всё духовенство, все пьют до совершенства — умилительно-о-о!»

— Чего это ты учишь? Закон Божий?.. — заинтересовался Аким.

— Почти. У меня дальний родственник в бурсе учится, он и прислал: «Хоть поп и с камилавкой, но выпил он с прибавкой, катается под лавкой — удиви-и-и-тельно-о-о! — закатил глаза к потолку Дубасов. — Когда и сам владыка подчас не вяжет лыка, то мне-то, горемыке-е — позво-о-лительно-о!» — заревел он громче церковного хора. — В семинарии после гимназии пойду! — сообщил зашедшим в класс евреям.

— А куда же мне надо идти, коли я такие стихи изучил, — прокашлялся Аким и негромко продекламировал: «...И на постели одинокой мечусь как угорелый я. То лик мелькнёт голубокий, то черноокая моя». — Но это не синьора Бальони-Пальцапуа, точно говорю.

Дубасов в восторге хлопнул себя по колену:

— Ну давай, давай, не отвлекайся, дальше-то что?

— Дальше? Дальше самое интересное: «Глаза мечты спустились ниже, с лица скользнули по груди, к заветной цели ближе, ближе... Мечта проклятая, уйди!..»

— В публичный дом тебе надо! — сделал вывод Дубасов. — Прочти ещё раз помедленнее, я запишу, — достал листок и ручку с чернильницей.

Поэтический диспут прервал похудевший от поста отец Алексей в новом лиловом подряснике.

— Бр-р-а-а-тие-е! — пророкотал он, привлекая внимание. — Дубасов с Рубановым, хватит о божественном шептаться, поговорим о делах, — поправил на груди серебряный крест. — Бр-р-ра-а-тие! — глянул на этот раз в сторону спрятанного за белой тканью учебного скелета в натуральную величину, принесённого им из кабинета географии в качестве назидания. — Рёбра

не отломали у пособия? — вновь сбился с мысли и, приподняв материю, заглянул за неё. — Прости, Господи! — оторвал приклеенную толстую свечу, торчавшую между костяшками ног.

— Отче! А это шкелет мужика или бабы? — поинтересовался Дубасов.

— Судя по свече — мужеский! — развеселил класс демократичный рыжий батюшка.

«Скажи им, что женский, рассверлят отроки лонную кость. Спаси, О-осподи, мою душу грешную, — мысленно пропел и перекрестился отец Алексей, — или щетку прилепят», — завершил он грешные рассуждения, тщательно закрывая бранные останки.

— Чада мои неразумные. Грядёт великий праздник Пасхи Христовой, а мы ещё не распределили хоругви с образами и не репетировали крёстный ход, — раскрыл классный журнал и достал оттуда исписанный листок.

Акиму выпало нести Святой Образ, а Дубасову — тяжеленную хоругвь.

После репетиции младшие классы, вопя что-то непонятное, но громкое, бурей промчались по лестнице, с завыванием миновали загода спрятавшегося в стеклянную будку швейцара Сидорова, прижимавшего к груди драгоценный свой колокол, и пушечными ядрами разлетелись кто по двору, кто по саду, кто по улице.

Даже толстый здоровяк-жандарм и тот нырнул в подъезд дома, дабы не быть сметённым неуправляемым ураганом.

«Эти гимназёры хуже револьцинеров, — с опаской выглянул из двери, плюнув вслед пронёсшейся разбойничьей ватаге. — Ведь обязательно какой-нибудь мелкорослый нехристь на мундир соплями харкнет... Рази пумаешь потом шельмеца?»

— Ты на исповедь пойдёшь? — обратился к другу Рубанов.

— А в чём мне исповедоваться? — встал в позу Дуб.

— Ну хотя бы, неразумный сын мой, о свече батюшке расскажи, кою невинному скелетохе прилепил, и о надписи, что сзади на мослах вывел. Спасибо, отче туда не удосужился глянуть...

— Это не повод, чтоб каяться, — несколько сник Дубасов. — Я ведь и спереди хотел кое-какие буквицы накидать, но не стал...

— За это тебе три греха спишется, — поощрил приятеля Аким, — за каждую буквицу по греху.

— Тоже мне, архангел Гавриил... А может, все девять, по три на буквицу, — язвительно произнёс Дубасов, входя в физический кабинет и машинально вертя колёсико стоявшей на столе электрической машины.

Агрегат так и остался на столе, когда Дуб подошёл к стеклянному шкафу с занимательно блестящими паровыми машинами, паровозами и насосами, зато колёсико он обнаружил в своей руке.

— О-о! Ещё один грех, — спас наглядные пособия Аким, с трудом оттащив товарища от шкафа.

Раскрыв дверь, они вошли в притвор гимназической церкви, где висели две иконы, и Аким перекрестился на образ Двенадцати Праздников.

Распропагандированный жидами Дубасов иронично хмыкнул:

— Оставайся, а мне пора, — пожал руку Акиму и спустился по церковной лестнице из притвора.

Гимназистам строжайше запрещалось по ней ходить.

«Фома неверующий», — по синей ковровой дорожке Рубанов прошёл за железную решётку, поднялся на амвон, полюбовался ангелом в голубой одежде с белой лилией в руке, от безделья заглянул за ширму на клирос и вернулся обратно, поправив по пути свечу перед ликом Богоматери.

Увидев отца Алексея, беседующего у стены с двумя дамами, поклонился ему и встал неподалёку.

«Какой вид у батюшки строгий, сейчас даже Витька не осмелился бы с ним шутить», — подумал Аким, разглядывая поднимавшийся по лестнице народ.

Особенно его заинтересовала стройная дама в чёрной шляпке, идущая под руку с офицером. Остановившись перед прилавком, она достала из небольшой, висевшей на руке сумочки, кошелёк, отрицательно покачала головой на попытку офицера дать ей деньги и, протягивая серебряный рубль, купила свечи.

«Какая женщина-а! — наблюдал за ней Аким. — Господи! Спаси, сохрани и помилуй мою душу грешную, — пошёл за ними в притвор, где дама сняла накидку, и офицер повесил её на вешалку. — Какой ста-а-ан, — потрясённо глядел на строгую тёмную юбку, обтягивающую бёдра, на простую серую кофточку, под которой круглились два небольших холмика, на белую шею с жемчужным ожерельем и на выбивающиеся из-под шляпки светлые локоны. — У неё непременно голубые глаза, — думал Аким, — непременно голубые. Они просто не могут быть другими».

Офицер, взяв даму под руку, повёл её в сторону клироса, где началась уже исповедь и успела образоваться небольшая очередь.

За ними шли две девочки-гимназистки в коричневых платьях и белых фартуках.

Дама села на свободный стул у железной решётки, а офицер встал рядом, временами тихо позванивая шпорами.

Одна из гимназисток — невысокая, худенькая, с двумя толстыми чёрными косами за спиной, загородила даму, и Акиму

пришлось подвинуться в сторону, чтоб любоваться проступающими сквозь вуаль чертами лица. В этот момент худенькая гимназистка вновь закрыла обзор, подойдя к иконе и кланяясь.

Пока Аким нашёл место, откуда хорошо мог видеть красавицу, она грациозно поднялась и прошла за ширму.

Влекомый любопытством, он подошёл ближе и стал вслушиваться, надеясь узнать, в чём она кается, и, случайно глянув на офицера, такое же любопытство прочёл в его глазах.

Застыдившись, Аким встал в очередь, чтоб тоже исповедаться.

«Какие грехи могут быть у неё?» — снова прислушался, но кроме звука конки за окном и мерного барабанного боя — то на Семёновском плацу учились солдаты, ничего не услышал.

— И аз, недостойный иерей, властью, данною мне от Бога, прощаю вас, — раздалось вдруг за ширмой, и через минуту появилась женщина, всем своим видом излучающая счастье.

Следом, перекрестившись, исчезла за ширмой так мешавшая Акиму черноволосая гимназистка.

«Да теперь-то что. Теперь и смотреть не на что», — стал разглядывать высокого господина в сюртуке.

Вскоре появилась заплаканная ученица.

«Куклу, наверное, у подруги сломала», — хмыкнул Аким.

Когда, немного волнуясь, он сам шагнул за ширму, лицо отца Алексея просияло, и куда-то сошли строгость и важность, с которой говорил с прихожанами. Сейчас он стал больше похож на учителя, нежели на священника.

Пользуясь служебным положением, святой отец начал выяснять, не подкладывал ли сын божий кнопок ему на стул и не его ли рук дело — свечка в непотребном месте у скелета.

Аким всё отрицал, покаившись лишь в том, что чертил на доске перед уроком латыни слово «Хренадиада» в связи с тем, что латинист, подражая Гомеру с его «Илиадой», напечатал в журнале поэму под названием «Востокиада».

— Но «Ерундиада» и «Дерьмодиада» писал тоже не я, — отказался от чужой славы Аким.

Батюшка, махнув рукой, быстро простил понравившееся ему прегрешение, подведя отрока к чаше со Святыми Дарами.

— Да не в суд или во осуждение будет мне причащение, — произнёс Аким, и причастившись, с облегчением вышел из-за ширмы.

Ночью, ворочаясь на постели и наблюдая за слабым пламенем лампы, горевшей в углу перед иконой, он вспоминал виденную им женщину и мечтал, чтоб она когда-нибудь полюбила его.

«Ну ежели не она, так очень похожая на неё...»

В Страстную субботу Аким проснулся рано. Послonyaлся по дому. Позевал. Зашёл в людскую. Там с утра кипела работа. Красили яйца.

Марфе активно помогали неразлучные друзья: Пахомыч и Вла-сыч. Носы обоих от трудового напряжения в преддверии празд-ника имели ярко-красный оттенок и служили кухарке этало-ном цвета, который, к своей досаде, она никак не могла подо-брать.

Поглядев на её мучения, Аким вышел и наткнулся на собирающихся за покупками швейцара с горничной.

Как всегда, в последнюю минуту чего-то не хватало.

На улице их ожидал возок с Иваном на козлах. И тут Акима осенило, что ему срочно надо на рынок купить тетради и цвет-ные карандаши, а также перочинные ножи в подарок Витьке Дубасову и брату, которого отпустят из корпуса вечером.

Отпросившись у маменьки и выклянчив целых десять рублей в честь Пасхи, он весело насвистывал, наслаждаясь выгля-нувшим солнцем, чистым небом и красивыми домами Петер-бурга.

Сытые кони бодро цокали копытами, и возок приятно шур-шал литыми шинами по мостовой. На улице царило предпразд-ничное оживление.

Двери булочных, кондитерских, винных, колбасных мага-зинов были раскрыты нараспашку, и толпящийся там народ покупал продукты, вспоминая на выходе, всё ли взял на раз-говленье.

Иван без конца придерживал коней, натягивая вожжи, чтоб не раздавить ненароком перебегающих дорогу посыль-ных, горничных и мальчишек, разносящих пакеты со снедью.

Господа, никому не доверяя, сами несли аккуратно завер-нутые в тонкую бумагу цветы и разные хрупкие подарки.

— Сколько дам они сегодня уговорят... — позавидовал толсто-задый швейцар, облизнувшись на молоденькую горничную.

— Тпр-р-р-у-у! — заорал Иван, натянув вожжи и обернув-шись к Прокопычу.

— ...пойти в театр или на концерт, — благоразумно закон-чил мысль швейцарюга, незаметно перекрестив живот.

На рынке юный Рубанов отделился от честной компании и неспеша шёл между рядами, разглядывая товар.

— Ученик! Купи упырька! — подлетел к нему разбитной ма-лый и, разинув рот, что есть дури заорал: — Господа-а-а! Раз-бейрай упырько-о-ов. Очень полезны в хозяйстве-е...

— А какая польза-то? — удивился Аким.

— Орехи грызут! Прикажете завернуть мохнатенького?

— Обойдусь. Орехи и сам сгрызу.

— Лучше нигде не найдёте...

— Пряма сейчас искать кинусь, — пошёл дальше, наткнувшись на продавца рукодельных мух.

— Кому-у мушки-и! — надрывался тот. — Быдто живыя-я. Разбирай, не муди-и, хочешь — тещу пугай, хочешь — рыбу уди-и!

— А как пугать-то? — поинтересовался Аким.

— А у тебя уже теща есть? — поразился продавец мух.

— Не-а! Но будет когда-нибудь...

— В щи ей брось али в чай, — раскрыл пользу от мух.

Ветер трещал развивающимися флагами и раскачивал палатки с товаром.

«А вот и ножички!» — обрадовался Аким, пробиваясь к синей палатке, возле которой точильщик, лихо раскручивая ногой педаль, затачивал на камне ножи.

Но добраться туда он не сумел, так как наткнулся на двух девчонок и ненароком толкнул одну из них.

— Простите ради бога, — придержал за локоть невысокую, худенькую девушку в голубенькой шляпке и синей кофточке.

«Батюшки! Да это та самая гимназистка из Мариинки, что в церкви мешала дамой любоваться, — глядел в жёлтые кошачьи глаза под тонкими бровями. — Везде под ногами путается...»

— Господин гимназист! — воскликнула её подруга, морща нос и указывая пальцем на ремень с белой бляхой, где было выбито: «С.П.1.Г.» — Вы уже винца попробовали?

— С чего это вдруг? — неожиданно покраснел Аким и отпустил руку девчонки в голубой шляпке.

— Так у вас на бляхе написано: «Сенной Площади Первый Гуляка». С таким даже разговаривать опасно.

Аким покраснел до эталона, к которому стремилась кухарка Марфа, разглядывая смеющиеся, чуть припухлые губы желтоглазой, и с обидой подумал: «Ведь знают, что выбито: «Санкт-Петербургская 1-я гимназия».

— Неправда! — произнёс он. — Надпись обозначает: «Сей Повинуется Одному Государю», — гордо выпятил грудь в гимназической куртке.

Подруги прямо-таки зашлись от смеха. Желтоглазая встряхнула головой, и толстые косы нежно огладили её спину.

— Ли-и-гушечки-и-и! — заорал у них над головами высокий парень в кепке с отломанным козырьком. — Са-а-мы-ы-я-я импозад-д-н-ы-я-я зелёны-я-я ли-и-гушечки-и. Знаю-ют по иностранному-у, — убедительно глядел на них парень. — Покупа-а-й лигушечек, разбира-а-й зелёненьки-и-х.

— Господин гимназист, купите жабочку. Она вам на уроке латыни подсказывать будет, — отважась глянуть в лицо Акиму, сквозь смех произнесла желтоглазая.

— А какими языками владеет животная? — заинтересованно обратился к лоточнику Аким.

— Как какими? — опешил тот. — Насекомая знает два языка: «Ква-а-а-а» и «Кви-и-и-и», — очень похоже проквашал парень, чем сразил в самое сердце «повинующегося одному государю».

Без раздумий он купил трёх «ли-и-гуша-ч-е-е-к». Двух подарил дамам, одну оставил себе в качестве репетиторши.

А рядом уже орали:

— Червя-я! Кому елозю-ю-ющего-о червя-я-ка-а. На всех не хватит... Будете просить — не да-а-м.

Гулять — так гулять. Аким купил всем по «елозящему червяку».

— Мышки-и. Самозаводящиеся мериканские мышки-и. Купитя-я жане в подарочек. Самозаводя-я-щиеся-я-я. Серы-ы-е-е. Мериканское качество — самарское трюкачество-о. Зада-ром продаю-ю, алтын сдачи отдаю-ю.

Приобрёл и мышек.

— Куколка-пукалка. Маленькая-я куколка-а, но большая пукалка-а.

Девчонки хотели улизнуть, но Аким взял и куколок-пукалок.

— Мучень-я-я! Мученья-я грешников в аду-у! Кому страшные мученья? Десять фотографий с места событий. С описаниями.

Садистические фотки брать не стал. Гимназии хватало.

— Ну спасибо-о, о-о-о щедрый рыца-а-арь, — смеялась желтоглазая.

— На память! Меня зовут Аким, а вас? Познакомиться-то надо.

— Натали! — сделала книксен желтоглазая.

— Оля! — произнесла её подруга.

Отбиваясь от настойчивого продавца скелетных кашеев, стали выбираться с рынка, слыша за спиной:

— Господа-а-а! Разбирайте кашейков. Самы-ы-я лучшие-я кашейки-и. Яйцо со смертью прилагается-я. Кому кашейку с яйцо-о-м?

Ножички он так и не купил. Деньги остались, и домой решил добираться на извозчике, так как наказал Ивану не ждать его.

Торговля заканчивалась, и приказчики с продавцами поспешно разбирали походные ларьки и палатки. Рынок опустел. Горожане разъезжались по своим домам. Лишь городовые блаженствовали на перекрёстках, радуясь наступившему покою.

Столица и вся Россия готовились к Пасхе.

Интеллигенция уже сомневалась и трунила над собой, но воспоминания детства и вера в чудо жили в душе. Так хотелось

веровать... В Бессмертие... В Торжество Воскресения... В победу Жизни над Смертью...

Дома ждал брат. Обнявшись, обменялись подарками. Аким, немного подумав, одарил брательника красным жирным червяком, который шевелился в пальцах, а Глеб протянул брату карандаш со сломанным грифелем и обгрызенным с обратной стороны тупым концом.

— Да-а, мальчики. Подарки один другого дороже, — подвела итог Ирина Аркадьевна, брезгливо взирая на «елозящего червя».

— Подарок очень ценный, — заступился за свой презент Аким. — Можно другу в компот подбросить...

— Ух ты! — загорелись глаза у Глеба. — А ещё одного червячка нет?

— Хватит с тебя и одного — друга порадовать... Лучшего... А вот ещё мышь... Самарская... Как живая, собака. — Окончательно бросил в дрожь матушку, которая даже не отреагировала на «собаку», а перекрестившись, молча вышла из комнаты.

— Подари-и?! — стал кланяться Глеб.

— Ещё лягушка, квакающая на двух языках, — окончательно добил Глеба.

Вечером весь дом отдыхал, готовясь к бессонной праздничной ночи.

В церковь поехали на двух возках. В первом, где на козлах важно сидел Архип Александрович, — родители с Глебом. Во втором, которым правил Иван — кухарка Марфа с корзинами на коленях, куда аккуратно положила куличи и пасху, приготовленные для освящения, а рядом с ней - Аким.

На улицах зажглись фонари, и в их неярком свете трепетали на ветру трёхцветные флаги. По тротуарам, держа в руках узелки с разговеньем и весело болтая, шёл простой народ. Праздник входил в души людей. Все знали: сегодня в полночь Воскреснет Христос.

Воскреснет Радость. Воскреснет Любовь.

Так было всегда. И сто, и тысячу лет назад. Так будет всегда!

Всё было празднично сегодня... И глубокое весеннее небо... И синие звёзды... И ласковый ветер... И еле уловимый запах тополиных почек... И даже гимназия...

Всегда обычная лестница, по которой сновали гимназисты, сверкала золотом и серебром офицерских погон, чёрной гладью фраков, белизной манишек, разноцветьем бантов и платьев, искусных причёсок, воздушных улыбок, сиянием глаз и радостью, которая витала в воздухе, той великой радостью, что одна на всех...

Аким пошёл искать своё место в выстраивающемся крестном ходе, а родители с братом направились в церковь, чтоб поставить свечи и преклонить колени перед плащаницей.

Постепенно церковь наполнилась людьми. Ближе к полуночи в наступившей тишине отдёргнулась завеса, распахнулись царские ворота и появился отец Алексей не в тёмной, а ярко блестящей ризе, за ним — дьякон. Священник, волнуясь, подошёл к плащанице, благоговейно возложил её на голову и ушёл в алтарь.

По церкви прошёл лёгкий шёпот молитв. Все крестились. Кто-то негромко произнёс «крестный ход», и народ расступился, пропуская священников и несущих иконы и хоругви гимназистов с прихожанами.

Вспыхнули люстры, осветив яркое убранство церкви и взволнованных людей, начинающих зажигать свечи.

Аким нёс тяжёлую икону в серебряном окладе, а над головами реяли красные, синие, зелёные и серебряные хоругви, помнящие ещё ранние годы гимназии.

Прошли лазарет, вышли на маленький двор, окунувшись в свежесть ночи, затем полумрак коридоров, ярко освещённый зал и вновь церковь с запахом ладана, духов и радости.

Отец Алексей вышел на амвон. В руках он держал серебряный крест со свечами. Растроганно обвёл глазами людей. Лицо его пылало восторгом.

Он понял Суть Жизни. И от этого ему было страшно и радостно.

Он Знал! Он Верил! Его взор скользил по лицам людей, но не видел их. Он Знал... и он Верил... Верил в Него! Верил в Жизнь! В Воскресение!

И люди притихли и замерли. Даже те, кто пришли из праздного любопытства, провести время и развлечься, а после на каком-нибудь светском рауте рассказать об увиденном, иронизируя и юродствуя. Даже они ощутили в душе благость и торжество. Даже их глаза наполнились слезами, а душа запела, когда отец Алексей негромко, но так, что услышали все, произнёс: «Христос воскресе!!!»

На Петропавловской крепости гулко ударила пушка, и воздух наполнился праздничным малиновым звоном церковных колоколов.

И так было везде! По всей России!

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!» — раздавалось во всех русских храмах, на всём необъятном просторе РУССКОЙ ЗЕМЛИ.

И среди этих многочисленных колоколов ликующе гремели медью колокола Андреевского собора в Кронштадте.

Отец Иоанн воспринимал перезвон пасхальных колоколов не слухом, а душой. Лицо его осунулось от строгого поста, тело усохло, зато душа расцвела и очистилась от бытовой скверны, дух укрепился, а сердце наполнилось любовью.

Любовью к Богу... Любовью к Людям... Любовью к Земле Русской.

«Для того и нужен пост, дабы очистить душу от мирского, ибо все мы люди и живём среди людей. А постясь, мы становимся ближе к Вседержителю. К силе Его и Разуму. Становимся выше, добрее и чище, избавляясь от грехов, изживая их и спасая душу свою».

— Христос воскрес! — воскликнул он, сжимая тяжёлый крест с прикреплённым к нему букетиком ландышей.

И нежный запах их смешивался с запахом ладана, свечей, духов и дёгтя, коим в честь праздника наваксил сапоги рабочий люд.

И душа его радовалась, глядя, что вместе стоят заслуженные седые адмиралы, молоденькие, только начинающие жизнь мичманы и матёрые мужики. Простой народ и аристократия.

«Так и надо! — думал он. — Все мы — русские... Все любим Россию-матушку... Ведь она у нас одна, — вновь уловил запах цветов. Только цветов... — Это весна — медленно, наслаждаясь великой радостью, чуть заметно трепеща ноздрями, втянул душистый воздух, и глаза его наполнились слезами. — Это — Весна! Это — Воскресение! Это — Христос!» — И ему показалось, что сердце его застучало громче колоколов, громче залпов артиллерийского салюта с корабельной эскадры... Застучало на всю Россию и слилось с сердцами всех россиян. Всех православных, кто встречал Пасху и славил Христа.

— Христос воскрес! — перекрестил он грудь и просветлёнными глазами обвёл паству свою, и ему показалось, что услышал единый выдох:

— Воистину воскрес!

И Радость... Великая Радость вошла в душу! И ангелом воспарила душа его над Россией, над всею Землёю, возвещая Благую весть...

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!!!



Лев Николаевич Толстой лежал в постели уютного своего дома в Ясной Поляне и СТРАДАЛ, вспоминая острог, который недавно посетил.

«Как мучают безвинных людей... Как мучают... Я напишу об этом... Всенепременно напишу... А неправедные суды... А не-

давний рекрутский набор... Везде насилие... — даже застонал он и заворочался в постели. — Но я напишу... Не надо армии, не надо полиции, а нужна Истина. И я найду её! А ежели не найду, то Создам! Настоящую Истину! В которой нет загробной жизни... Этой выдумки попов... В Евангелии я не нашёл Истины... Не нашёл ни Бога, ни Таинств — ничего... В Тайне Святой евхаристии никакой тайны нет... Ну как можно думать, — разволновался он, — что разбавленное водой вино и брошенные туда куски хлеба превращаются в тело и кровь Христа... Сила инерции и внушения. Ну ладно крестьяне... Но ведь даже интеллигенты причащаются... И считают себя после этого культурными людьми... Меня бы почаще читали... «Исповедь», например. Я ничего не выдумываю... Говорю лишь правду... Голую жёсткую правду! Я не верю в Воскресение... Может ли мёртвый человек, хоть тот же Лазарь, воскреснуть на четвёртый день после своей смерти? Нет! Всё это басни и выдумки... Как о воскресении Лазаря, так и о воскресении самого Христа. Я не верю в божественное происхождение Христа! Не верю! Он равен Мне! И Я уважаю Его! Но не боле... И если бы мне сказали, что вон там, в саду, на дорожке ждёт Иисус, Я бы спокойно перевернулся на другой бок и через человека просил бы подождать, пока не выплыву... — глаза его стали закрываться. А верить в Тайну Святой евхаристии — всё равно, что смотреть похабные картинки перед смертью», — настрадавшись за всё человечество, крепко уснул великий писатель, ведь праздничный гром колоколов и пушек не достигал его усадьбы и сердца.

В огромном, полном верующих Андреевском соборе отец Иоанн служил праздничную обедню. Негромкий его голос звучал во всех пределах храма. Он говорил проповедь:

— Часто лукавая и слепая плоть или живущий в нашей бренной плоти князь века сего шепчет нам, что в Тайнах только хлеб и вино, а не самое Тело и Кровь Господа; и лукавыми свидетелями посылает для этого зрение, вкус, осязание... Гордый разум наш и Тайну Божию хочет исследовать. А если не может, то отвергает... — оглядел внимательно слушающих его прихожан. — Тайна Святой евхаристии есть чудо из чудес, большее даже, чем Сотворение мира, а потому уму здесь должно лишь смириться и принимать всё верою. А отвергать Тайну есть неразумие, даже безумие, ибо чудо выше естественных законов, выше ума... — заметил, что простой народ крестится и внимает ему, а пришедшие для развлечения молодые люди, видно, студенты, иронично улыбаются.

«Не верят! — опечалился пастырь. — Лев Николаевич Толстой успел переубедить их... Не верят в Воскресение...» — скорбно вздохнул и, обращаясь в основном к студентам, продолжил:

— Апостол Фома говорил: «Не поверю, что Иисус Христос как Бог воскрес силой божества Своего», хотя десять апостолов уверяли его: «Видели Господа». Но Фома повторял: «Поверю лишь тогда, когда увижу язвы от гвоздей на теле Его». Смотрите, что хочет неверующий Фома... Но чего Господь для нас не делает! — глядел в глаза увлечшимся речью проповедника студентам и курсисткам. — Он является апостолам и говорит Фоме... — казалось, что тихий голос отца Иоанна заглушил все другие звуки и мысли. Хотелось только внимать ему и верить. — ...поднеси сюда свой перст, посмотри на мои руки и не оставайся в неверии, — замолчал, оглядывая прихожан.

Тишина... Весь собор затих. Только лёгкое потрескивание свечей... Только скорбные лики святых. Только древняя строгость икон...

Все ждали Слова!..

Даже студенты забыли о своей иронии и серьёзно, без улыбок, глядели на отца Иоанна.

Совсем негромко, но так, что слышали его сердцем и мыслями все присутствующие, вымолвил он слова Господа: «Ты поверил, когда уже увидел меня; блаженны те, которые не видевши уверовали!» — протянул к пастверу руки свои. — Вслушайтесь, братие... Не видевши — уверовали!.. — Замолчав, широким крестом осенил себя, с радостью заметив, как молодёжь, задумавшись, тоже осенила себя крестным знамением.

— Аминь! — закончил пастырь проповедь свою.

Великая радость пела в душах людей. Восторгом замирало сердце от колокольного боя, за которым чудилось Воскресение Христа и вставала Непобедимая, Мощная, Гордая Россия.

РОССИЯ!!!

САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ СТРАНА НА СВЕТЕ!!!

После обедни Рубанов-старший в парадной генеральской форме стоял в гостинной и уже разговевшийся и хорошо остограммленный христосовался с прислугой и дворней, перед поцелуем каждому протягивая красное пасхальное яичко из подноса на столе.

Стоявшие рядом с ним сыновья после троекратного лобызания одаривали прислугу красными десятирублёвыми ассигнациями, как было велено отцом. Мадемуазель Камилла за свои страдания получила сорок рублей, но ей, по замечанию Глеба, следовало поделиться с мадам Светозарской.

Ирина Аркадьевна не понимала такого панибратства и ушла в свой будуар готовиться к встрече с гостями.

Прибывшие первыми брат с женой и детьми с иронией наблюдали за старорежимной картиной христосования.

Единственно, чему Георгий Акимович позавидовал, это когда Максим приник к свежим губкам горничной Даши, но зато его чуть не стошнило, когда брат челомкался с мохнатой похмельной рожей сторожа Пахомыча.

«Я либерал, но до такого отношения с дворней не опускаюсь», — молча осуждал старшего брата. А вслух произнёс, дождавшись очереди расцеловаться с Максимом:

— Я вместо яичек своей прислуге книжки Толстого подарил, — горестно терпел, пока брат смачно лобызался с его женой.

Сыновья тоже расцеловались с роднёй, но деньги им не вручали.

К огромной радости Глеба, у него в руках остался хрустящий красненький червончик — отец обсчитался, который он тут же, блаженно жмурясь, засунул в прорезь кошачьей копилки.



Царская семья встречала Пасху не в весеннем, но холодном Петербурге, а в тёплой солнечной Ливадии.

Ещё до отъезда, согласно устоявшейся традиции, заведённой его отцом, Николай заказал придворному ювелиру Фаберже два подарочных яйца — для жены и матери.

Император считал своего ювелира гением, как то и было, и полностью доверял ему в выборе материала и композиции. Гениальный мастер внутрь каждого своего творения вкладывал таинственный сюрприз. Начал он с миниатюрной корзинки с цветами из золота. Затем создал украшенного драгоценными камнями петушка, который появлялся из яичка, хлопал крыльями и кукарекал. Позже появился шедевр под названием «Великая сибирская железнодорожная магистраль». Яйцо представляло собой глобус из разноцветной эмали, на который серебром он нанёс очертания Сибири и ниточку железной дороги. Чудо спрятал внутри яйца, верхушка которого открывалась, если взяться за венчавшего его золотого двуглавого орла. Там находились пять вагончиков и локомотив, колёсики которых начинали вращаться после нескольких оборотов золотого ключика.

После заутрени, поздравив со светлым праздником жену и расцеловав дочек, император и императрица троекратно целовались с придворными, офицерами и нижними чинами охраны, протягивая каждому пасхальное яичко.

Александра Фёдоровна всей душой полюбила этот светлый праздник. Полюбила даже больше Рождества, потому что не надо было присутствовать на рождественском балу, где придворные дамы демонстрировали ей своё пренебрежение.

После обедни обер-прокурор Святейшего синода Константин Петрович Победоносцев, выпив рюмку пшеничной за светлый праздник и без аппетита закусив, решил развлечься и велел дежурному чиновнику купить билеты первого класса на поезд Петербург — Москва. Как водится — туда и обратно.

«Гулять так гулять! Чтоб чертям тошно стало... Хотя, полагаю, нечистых и так тошнит от одного моего вида», — немножко польстил себе.

Вечером под стук колёс блаженно лежал на мягком диване и наслаждался ленью.

«Всё-таки Обломов был счастливый человек, — позавидовал известному литературному сибариту, — валяйся себе и за державу отвечать не надо... да и на всяких либералов наплевать... а ведь сколько они, черти непутёвые, нервов моих понапрасну изводят, начиная с Толстого и кончая семинаристами... Эти чада неразумные, перепив, видать, пшеничной, взяли за моду писать на стенах всех посещаемых ими российских уборных: “Победоносцев козёл”. А может, это их наставники мел тратят, в сквернословии упражняясь, чтоб краску у меня на ремонт выбить? — задумался начальник попов, дьяконов и чад неразумных — семинаристов. — А я им, грешникам окаян-ным, оклады повысил... Тьфу! Дьяволы мохнатые... А всё Лев Николаевич... Совсем стыд человеческий потерял... Пишет чёрт-те что, похуже семинаристов, а ведь уже жизнь прожил, — закрихтев, выглянул в окно. — Травы-то нет, рано ему ещё косить, — вновь улёгся на диван. — Самое от него и зло. А к грешному его слову прислушивается интеллигенция. Ну сомневаешься ты и сомневайся на кухне потихоньку, ан нет, на весь мир надо... и внушать свои сомнения этим дурачкам очкастым, — хмыкнул и, вытянув руку, отодвинул подальше от себя очки на столике. — Спасибо, крестьяне пока верят в Христа и Православную церковь. Вон сегодня тысячи храмов полны людей были во всех городах и весях Великия, Белыя и Малыя России. Молились и радовались Воскресению Иисуса. Славно-то как! А у него всё плохо... Всё надо менять... Правильно говорят, что гениальность равна безумию. Все понятия в голове у графа сместились.

Чиновники, ведущие Россию к процветанию, плохие. Зато те, кто их убивает, хорошие. Ну если не совсем хорошие, то всё равно подлежащие снисхождению и оправданию, — вспомнил самую острую свою боль — убийство царя-освободителя Александра Второго, деда ныне правящего императора... — За что? Он был добрый! Отменил крепостное право, распустил третье отделение, издал множество либеральных, гуманных законов... И такой несправедливый конец. Ещё можно было бы понять, коли стреляли бы в его отца, Николая Первого, в царство коего повесили

пятерых декабристов, но на него или на Александра Третьего покушений не было. Чувствовали твёрдую руку и боялись. А тут такой либеральный государь, — горестно вздохнул и, не найдя платка, вытер намокшие глаза тыльной стороной ладони. — И Лев Толстой смел ещё просить государя о снисхождении к убийцам его отца... — повернулся на бок и попытался уснуть обер-прокурор. — Ведь я же отдыхать собрался, и чего мне в голову разные мысли лезут? Толстой ещё этот... не к ночи будь помянут, — трижды сплюнул через левое плечо, вывернув при этом шею. — Ну вот! И здесь мне навредил, — растёр заломившие мышцы. Нужно улучшать себя, а не исправлять других», — с этой традиционно православной мыслью Константин Петрович и погрузился в сон.

В первую субботу после Пасхи в 1-й Санкт-Петербургской гимназии намечался бал. В прошлом году Аким его пропустил. Отсутствовал и на гимназическом рождественском балу, но на этот раз решил осчастливить юное дамское общество своим присутствием.

Приглашались сёстры гимназистов и старшие классы из соседней Мариинки.

Целую неделю Аким, стоя перед зеркалом, прижигал угри водкой из спёртой у отца бутылки и терзал расчёской волосы под язвительные советы брата:

— Подстригись коротко, как я, и все проблемы побоку, гладил тот глиняную свою кошечку, набитую денежками.

— Ещё одно слово, и я уроню кошана, — обещал Аким, зачёсывая волосы в другую сторону.

— Я так спрячу копилку, что не найдёшь, — пугался брат.

Наконец торжественный день настал.

В освещённый люстрами зал с испугом входили гимназистки, одетые по такому значимому случаю в светлые платья с открытыми шеями и по-взрослому причёсанные.

Бледные от страха, они делали вид, что бал им не в новинку, что они больше времени проводят на балах, нежели на уроках. А ноги подворачивались в туфлях на высоких каблуках, а яркие платья смущали — как комфортно себя чувствуешь в коричневой с чёрным фартучком форме, такой же, как у подруг. И мамины броши, кольцо, браслеты, и вместо чернильных пятен — золотые колечки на пальцах, и наглые взгляды этих мальчишек...

А мальчишки сами краснели от смущения, но также делали вид, что бал им не в диковинку, а в день по два раза.

Но проходило немного времени, и девушки вдруг замечали, как сверкает свет на их драгоценностях, какой шарм придают

им взрослые причёски, заменившие повседневные косички, и становились увереннее в себе. И ноги больше не подкашивались от высоких каблучков, и вдруг с огромным удивлением замечали, что господа гимназисты не выдерживают их взгляда, то ли случайно, то ли нарочно встретившись глазами.

Такие открытия кружили девичьи головы и волновали сердца. Они начинали понимать, что детство безвозвратно уходит, а сами они превращаются из гадких утят в прекрасных лебедей.

И уже снисходительно разглядывали ребят, создавая кружки из нескольких подруг, и старались говорить о чём угодно, только не о предстоящем бале.

А душа ждала музыки. И сердце замирало в волнении, надеясь, что вдруг подойдёт Он...

И грянула музыка. И начался бал.

Согласно церемониалу великосветских балов, первым танцем был полонез. Но двухглобусный директор постеснялся пригласить на танец директриссу Мариинки, так как она выглядела бы над ним на целую голову, что принижало бы достоинство 1-й гимназии.

«Англичанин» Иванов настроился пригласить учительницу иностранных языков, но это ущемляло бы достоинство директора, потому как именно он должен был открывать бал.

Воспользовавшись заминкой, первую пару составили Яша Шамизон с Асей Клипович.

В результате у старичка-попечителя ужасно засвербил геморрой и он покинул ярко освещённый зал.

В отместку за попечительного дедушку и его геморрой, Витька Дубасов подхватил под руку давнюю свою приятельницу из Мариинки и нахально встал перед еврейской парой.

Яша, задумчиво сощутив близорукие воловььи очи за круглыми очками, сделал вид, что дальше своего носа ничего не видит, и как ни в чём не бывало начал танец, якобы случайно толкнув Дуба в спину. Тот тоже сделал вид, что хамства не заметил. До первого перекура...

Аким пару себе не выбрал, потому полонез пропустил. Не танцевал он и мазурку с кадрилию. Мучительно преодолевая стеснительность, решился уже пригласить приглянувшуюся даму на вальс, но не успел. Её увёл гимназист из параллельного класса. Перед следующим танцем Аким опять боролся с напавшей на него застенчивостью.

— Чего не танцуешь? — хлопнул его по плечу Дубасов. — Гляди, как у дам глаза разгорелись. Будто прожектора у паровоза. Пойду-ка приглашу вон ту кисочку.

«Ну чего я разволновался? — успокаивал себя Аким. — Женщин, что ли, не видел? Да ещё сколько... Даже в неглиже... На следующий танец надо решаться. А то так и просто ишь у стены. А мадам Светозарская утверждает, что это неприлично, противу правил, словом, неблагопристойно», — подняв портьеру, выглянул в окно.

На улице лил дождь, каплями стекая по стеклу. Одинокий экипаж, разбрызгивая воду, бодро пролетел по мостовой.

Вздохнув, Аким отвернулся от окна и вдруг увидел её.

Хрупкая Натали скромно стояла у занавешенного окна напротив и чуть завистливо глядела на кружащуюся в танце подругу.

А по залу витали звуки вальса, ярко светили люстры. Мужская гимназия благоухала дамскими духами.

Одаривая швейцара бутылками водки, на бал проникали бывшие ученики, а ныне юнкера и студенты. Кружились в танце даже несколько молодых офицеров.

Вся Мариинская гимназия, делая вид, что не замечает их, не отводила взгляда от бравых «душечек военных».

Дамы-наставницы бдительно следили за подопечными «глупыми девочками».

Не приведи господи какому-нибудь «первому сенной площади гуляке», ближе, чем следует, прижать партнёршу или слишком долго держать у своих нахальных губ её руку.

Витька Дубасов получил уже выговор от одной старой девы.

«Была не была! — решился на подвиг Рубанов. — Зря, что ли, ей «елозящего червяка» подарил, — через весь зал, бледный от волнения, пошёл к одиноко стоявшей у окна девушке. — Взрослую причёску почему-то не сделала», — отметил Аким, улыбаясь непослушными губами.

Но она не видела его улыбки, а задумавшись о чём-то, грустно глядела вниз, на блестящий от люстр паркет.

— Р-р-разрешите, м-мадемуазель, — заикаясь от волнения и злясь от этого на себя, произнёс Аким.

Но девушка не ответила, всё так же грустно рассматривая только ей ведомый сучок, трещину или рисунок паркета.

Аким растерялся.

— Натали-и! — тихо произнёс он и увидел, как она вздрогнула и глянула на него жёлтыми своими глазищами.

— Вы мне? — прошептала и как-то беспомощно повела взглядом, убеждая себя, что рядом никого нет и приглашают именно её.

На пальце у неё не было даже скромного колечка, тем более драгоценных ожерелий, кольцо или браслетов. Лишь нитка красных кораллов охватывала тонкую девичью шею.

В волнении она хотела отбросить толстую свою косу за спину, но видно, зацепила бусы, и нитка лопнула. Красные капель-

ки кораллов брызнули с шеи на грудь и стекли по белизне платья вниз на пол.

Жёлтые глаза набухли слезами, а губы задрожали в смутении.

— Ну почему, почему мне так не везёт? — прошептала она, разглядывая испуганное юношеское лицо, и вдруг испугалась сама, ожидая, что он засмеётся над её неловкостью и уйдёт.

Но «первый сенной площади гуляка» вдруг присел и стал собирать красные бусины.

— Не надо, — тоже присев, положила свою ладонь на его руку, ощутив кончиками пальцев, как дёрнулась мальчишеская рука и замерла. — Не надо их собирать... а то все, наверное, смеются над нами, — распрямилась первая, с вызовом глядя вокруг.

— Пусть только попробуют! — как взрослый мужчина, уверенно произнёс он и независимо посмотрел на окружающих. Вся его робость куда-то исчезла. — Я сумею защитить тебя! — повёл её в круг танцующих, не заметив, как она вся засветилась от счастья.

Да если бы и заметил, что лицо её разругалось, а глаза любят им, то не понял бы. Молод ещё был и неопытен.

«Ба-а! А веснушек-то у неё на носу», — стараясь делать это незаметно, разглядывал партнёршу, кружа её в вальсе.

Она закрыла глаза и в упоении отдалась танцу. Её полные губы чуть приоткрылись, и Аким просто до умопомрачения, до дрожи в коленях захотелось коснуться их своими губами. Не поцеловать, что он ещё и не умел, а просто коснуться... Ощутить их вкус... Свежесть... Запах... Упругость...

Желание было столь велико, что Аким, не понимая, что делает, склонившись, легко дотронулся своими губами до её, почувствовав непонятный ещё трепет, и увидел, как распахнулись её глаза, обдав его гневом.

Как нарочно, музыка стихла, и Натали, гордо выпрямив спину, вырвав свою руку, пошла к окну.

Опустив плечи, он поплёлся за ней, даже не обратив внимания на яростный выговор дамы-наставницы.

На следующий день бедная Ирина Аркадьевна пила сердечные капли, потому что классные дамы из Мариинской гимназии уведомили её, что сын растёт развратным циником.

Рубанов-старший, услышав, как было дело, пожал плечами, размышляя, в чём же тут циничный разврат.

«Этих тёток, наверное, мужчина даже за руку не брал, вот они и стали мужененавистницами. Нормальный парень растёт. В меня!» — что являлось, конечно, высшей похвалой.

Мадемуазель Камилла, полностью поддерживая высоко-
нравственных педагогинь, с уверенностью знала, что юноша
превращается в маньяка.

«То-то всё лето за мной подглядывал», — монотонно читала
провинившемуся азбуку приличий мадам Светозарской, хотя
ясно осознавала, что скорее мёртвый воспрянет от припарок,
чем её подопечный усвоит светский этикет, благовоспитан-
ность и вежливость.

— Разве вы не знаете, — вещала она, — что на танцеваль-
ный вечер каждый едет веселиться, но мысля о собственном
удовольствии, о котором вы только и думаете, не следует забы-
вать, что все ваши действия должны быть обращены также
в пользу и приятность другим... Молодые, благовоспитанные
люди, что к вам с братом практически не относится, приглашая
девицу на кадрили, должны поклониться и сказать: «Позволь-
те, сударыня, иметь честь пригласить вас на кадрили...» Если
же дама вам знакома, то можно сказать просто: «Не откажите
мне в удовольствии танцевать с вами эту кадрили». А вы как
партнёршу приглашали? — задала вопрос, требовательно гля-
дя на задумчиво перебиравшего какие-то красные камушки не-
доросля.

— Что? — будто проснулся тот. — Как я приглашал? —
грустно улыбнулся. — Как и все развратники: «Не откажите
мне в удовольствии закадрить вас!»

— Кошмар! Клеопатру Светозарскую от подобного пригла-
шения разбил бы паралич. А на вас, мон шер, одурающее
действие произвела бальная музыка, яркое освещение, души-
стая атмосфера и самый говор весёлой толпы. От этого можно
опьянеть! Потому следует неустанно проверять все свои дей-
ствия, сдерживать излишнюю весёлость, умерять диапазон го-
лоса, смягчать самые жесты, которые из изящных легко могут
сделаться слишком свободными и оскорбить собою деликат-
ный вкус дамы. Что и случилось с вами на первом вашем балу.
Помните! — наставительно подняла кверху указательный па-
лец воспитательница высоких манер.

Аким глянул на потолок, но ничего нравоучительного там
не заметил.

«Мне бы как-то извиниться надо перед ней...»

— ...Бальный шум и быстрота телодвижений в танцах уда-
ряют в голову, как кипящая лава, — продолжала урок этики
гувернантка, — обливают мозги.

«О-о-о! Кипящая лава... Взрыв вулкана... Какие образы...
А то я не знаю, что дурак!» — вновь стал разглядывать кораллы.

— ...Их пагубному влиянию необходимо противопоставить
рассудок, силу воли и в особенности самоуважение, — захлёбы-
валась словами мадемуазель Камилла.

«А где взять силу воли, коли у неё такие пухлые губы? — тосковал Аким. — А вообще-то чего я в ней нашёл? Нос в веснушках. Сама худая и глаза не голубые, озёрные, а как слабо-заваренный чай. Правда, ходит семейная легенда, что у моей прабабки были зелёные глаза... Ну и что? Моему прадеду нравились зелёные... а мне — голубые... А что жёлтые? Как у кошки... Она и есть чёрная кошка... — вспомнил Натали. — Одни неприятности от неё», — но на душе вдруг стало приятно и трепетно от какого-то неясного чувства, а может, просто от имени — Натали...

— ...Необходимо помнить, — не унималась воспитательница приличных манер, — что проводив даму на прежнее место, кавалер или делает ей почтительный поклон и удаляется, или осведомляется, не угодно ли ей мороженого, фруктов, лимонада...

— ...или водки, — перебил гувернантку Аким. Просто так. Из духа противоречия и плохого настроения. Спорить, а тем более ругаться, ему вообще не хотелось.

— О-о-о! Ужас! Вы монстр, сударь! Чудовище! И погибнете вы на дуэли. Муж какой-нибудь оскорблённой дамы застрелит вас... — закончила светский разговор мадемуазель Камилла. — А напоследок скажу вам, ежели хотите ещё немножко пожить, вальсируя, поддерживайте твёрдо свою даму за стан, но не берите дурной привычки приближать к себе всю её особу... И запомните, друг мой, или мон шер, что звучит приличнее, быть душой общества не означает играть роль гаера, паяца или шута, как это делают иногда молодые люди ради смеха. Но расчёт их неверен, так как паясничество никогда не может быть по вкусу благовоспитанной девушке, — хлопнув дверью, вышла из комнаты, оставив, наконец, Акима одного.

В эту ночь ему приснилась не роскошная белокурая красавица с голубыми глазами, а самая обыкновенная, худенькая, с веснушками на носу и толстой косой за спиной Натали.

Шестого мая 1898 года Николаю Второму исполнилось 30 лет, а через 10 дней Акиму стукнуло шестнадцать.

Ирина Аркадьевна, помня, как зарекомендовал себя сыночек на гимназическом балу, ровесников его на праздник пригласить не решилась — мало ли что, а потому отмечали дату, как всегда, в узком семейном кругу. К тому же Рубанову-старшему предстояло поздним вечером ехать на вокзал и отправляться в Крым, в Ливадию, где отдыхала уже царская семья.

Поэтому пил он мало, ибо мысли были заняты предстоящей дорогой и разлукой с близкими. Сыну он подарил месячный оклад подпоручика — 48 рублей, чтоб ориентировался на эту

сумму. Вдруг когда-нибудь сбудется отцовская мечта, и Аким станет офицером.

«Судя по поведению, все задатки у него для этого есть», — размышлял Максим Акимович.

«Ну что это за деньги? — хмурился Аким. — Вдруг Натали встречу... то-то расходы будут... Жабочками не отделаешься».

Глеб же, наоборот, завидовал брату чёрной завистью, представляя, как славно эти денежки расположились бы в брюшке рыжей кошечки с синим бантиком.

Несмотря на день рождения, на Акима навалилась какая-то непонятная тоска и, отговорившись головной болью, он пошёл в свою комнату, кивнув по пути сидевшим возле людской на лавочке старичку-лакею и пожилому швейцару, азартно игравшими в горку и смачно при этом шлепавшими засаленными картами.

Увидев барчука, швейцар сделал умильную рожу, а не потерявшийся старикашка спёр у него в это время две копейки.

«Прохиндей какой! — осудил разбойника Аким. — А ещё про меня говорят», — столкнулся со сторожем, стащившим у Марфы судок и блаженно пожиравшим на ходу кусочки недоёденного господами фрикасе.

Разглядев сощуренными глазами трёх одинаковых барчуков, Пахомыч озадаченно икнул и опёрся о стену.

— Сы-ы, сы-ы днё-ё-м анд-д-ела вас всех, — с трудом вымолвил вслед барчукам.

«Тоска-а-а! Какая тоска!» — лежал на кровати Аким и глядел в потолок.

Вечером немного развеялся, проводив отца на вокзал, и даже всхлипнул, прощаясь с ним в купе поезда.

Ночью он размышлял, как бы ему встретить Натали и чем бы поразить её воображение, чтоб она простила его.

Ирина Аркадьевна, рассеянно перекрестив перед сном сыновей, легла в постель и грустила об уехавшем муже, положив на грудь раскрытый томик французских стихов, кои любила за манерность, порядок рифм и грациозно завитую любовную негу и чувственность строф. Всплакнув, она забылась в томной меланхолии, навеянной амурной поэзией французских бардов.

Лишь один Глеб, чихнув и чертыхнувшись, тут же уснул крепким кадетским сном. И снился ему сначала гигантский оклад подпоручика, а потом новые золотые монеты в 10 и 5 рублей, которые в конце прошлого года стал чеканить министр финансов Витте. Часть кадетских остроумцов нарекла их «вит-

текинтеры», а другая часть, к коей относился и Глеб, — «матильдоры», в честь супруги министра Матильды Лисаневич.

Но все эти экономические и политические перипетии абсолютно не трогали огромное большинство российских подданных, которые работали, торговали, учились, служили, влюблялись и отдыхали летом на дачах и в имениях, у кого они, конечно, имелись.

У Рубановых, слава богу, была милая их Рубановка, куда, дождавшись приезда из Ливадии отца, и направились они, оставив Глеба производить воинские манёвры в летнем лагере.

Договорились, что в июле его привезёт Георгий Акимович со своей семьёй.

Акиму так и не удалось встретить обиженную им желтоглазую девчонку, и он грустно глядел в окно вагона на проносящиеся мимо перелески и поля, реки и озёра, бегущий параллельно поезду пыльный тракт с верстовыми столбами и деревьями по краям, на ветряные мельницы и поля пшеницы, на зелёные луга и помещичьи усадьбы. И над всей этой необъятной красотой, именуемой Россией, то вставало солнце, нежа в своих лучах сиреневые просторы, то жёлтая, как глаза Натали, луна золотила росу на траве.

Засыпая, Аким думал о необъятном мироздании и размышлял, куда ведёт Млечный Путь.

Утром он всё понял, увидев пыльную станцию затерянного на российском раздолье уездного городишки.

Млечный Путь вёл в Рубановку.

И вновь ландо с заспанным Ефимом на козлах, с вечной соломой в спутанных волосах, и колея дороги, и шаткий мостик, проезжая который, Рубанов-старший чуть не откусил язык, пытаясь донести до ближних, что мост никудышный.

— Так и не по-о-о-чинили, — сделав ударение на полудюжине «о», поддержал отца Аким.

— Вот я им да-а-а-м! — беззлобно пригрозил Максим Акимович.

Побеседовав как двое хронических заик, стали любоваться открывшимся видом.

— А всё-таки хорошо! — блаженно улыбался Максим Акимович, въезжая в Рубановку и кивком головы здороваясь с кланявшимися ему крестьянами.

У двухэтажного кирпичного дома старосты остановились, и сюсюкающий, якобы от счастья видеть господ, Ермолай Матвеевич, пузыря на выпуклом животе ситцевой рубахой, уговорил приезжих отведать молочка.

— Совсем ты, Ермолашка, осунулся от делов праведных, — глянув на выпирающую из-под рубахи «трудовую мозоль», произнёс Рубанов-старший, удивляясь, как к тощей фигуре сумел приклеиться такой «волдырь». — Я чуть все зубы на мостке не выбил, — наудивлявшись, продолжил он.

— Кому? — глядя честными глазами деревенского мазурика на своего господина, поинтересовался староста.

— Тебе! Хочешь, чтобы ваш барин в овраг свалился со всей семьёй?

— Никак нет! — струхнул Ермолай Матвеевич. — Оно ведь что с мостком-то? — стал мозговать он. — То то, то сё... Ноне оправим, — пообещал, обращаясь к медному петуху на крыше.

— Но-о-не! — язвительно произнёс Максим Акимович. — Хоть к отъезду сделай, — отдал ему пустую кружку. — Трогай, сноп пшеничный, — ткнул кучера кулаком в спину.

— На этот раз пылищи в доме на полвершка больше, чем в прошлый, — сделала вывод Ирина Аркадьевна, разбирая вещи. Совсем за чистотой не следят.

Так же как в прошлом году, весь следующий день принимали местных сливок общества — полицмейстера, предводителя уездного дворянства, чернавских и ильинских господ. Ещё через день нанёс визит и сам губернатор, дабы засвидетельствовать почтение и узнать, чем дышит сановный Петербург.

— Уж так надоела нам с супругой эта тьмутаракань и хочется в столицу. Ну хотя бы в Москву, — умильно выкатывал в сторону царского генерал-адъютанта и без того выпуклые глаза на полном лице.

Аким за это время навестил притулившуюся к пруду каменную беседку, поглядел сверху на Ромашовку, поплавал на лодке, без конца бултыхаясь в воду от летнего зноя. А вечером скакал по деревенским дорогам на Помидорчике, попутно навестив, приехавшего на вакацию из реального училища в уездном городке Васька Северьянова.

Ещё через день Рубановы помолились в церкви и поклонились праху покоившихся там предков.

И что тоже уже становилось местной традицией, Аким вместе с Васьком имели честь присутствовать на сельском сходе с повесткой дня: «Ремонт моста, туды его в перила мать». Перил, правда, давно не было — утащили на оглобли.

На этот раз раздражительный и нервный староста на табулете не сидел, а крыл односельчан стоя. Слово «мать» так и впитало в летнем воздухе, забивая запах трав, ржи и цветов.

— Барин чуть шею не свернул, по мосту проезжая, — быком ревел Северьянов.

— Кому? — как давеча он сам, озаботился Гришка-косой.

— Себе! — успокоил его староста.

— А-а-а! — уселся тот на завалинку своей хаты.

— Хрен на! — жёстко отреагировал Ермолай Матвеевич. — А я начну свёртывать вам, — внимательно оглядел маленькие свои кулачки. — Ну чего вылезла, старая шалава, — в сердцах рявкнул на бабу Матрёну, — по бабам дед Софрон ушёл, — развеселил собравшихся.

Даже Коротенький Ленивец, упав от смеха на плечо соседа по бревну, не поленился поднять вверх ноги и перебирать ими, явив обществу чёрные от грязи пятки.

Сам же дед Софрон скромно стоял за ракитой и задумчиво мочился на лист лопуха.

— Тьфу, нечисть рыжая, — глянув на старосту, заволновалась бабка и пошла за калошами, собираясь искать непутёвого старичка. По пути огрела прутом облезлого петуха, размышлявшего — топтать курицу или ну её, лучше завтра, выбив из него три драгоценных пера. — Один разврат в округе, — хотела поддать под зад легкомысленной курице, но та ловко увернулась, закудаhtала, на секунду остановилась у плетня, чтоб сделать маленькую кучку, подумала о чём-то своём, курином, видно приятном, квокнула и погналась за петухом, исчезнув вместе с ним в курятнике.

«Не иначе сблудить собрались, окаянные, — заметалась старуха от крыльца, где стояли рваные её калоши, к курятнику, в котором раздавался радостный куриный гвалт. — Дорвали, поди, проходимец... ну погоди, попадёсси, всю остаток красоту из задницы выщиплю», — мысленно обратилась от петуха к деду.

Каково же было её разочарование, когда, напялив калоши и вооружившись хворостиной, она вышла из калитки и увидела сидевшего на бревне своего суженого, собравшего в кулак седую бороду и задумчиво глядевшего в землю.

«Все невры на старости годов истрепал, страмотник», — плюнув, ушла в избу.

Взбеленившийся староста между тем привёл свою угрозу в исполнение и, схватив за шею Коротенького Ленивца, стал мотать его из стороны в сторону. Тот, закрыв глаза, мужественно терпел экзекуцию, потому что лень было сопротивляться.

«Помуржит и бросит, — размышлял страдалец, упревая всё-таки для крепости пятки в землю, — не душегуб ведь Матвейч... нешто он от своего добра в Сибирь потопает...»

И действительно вскоре наполовину удовлетворённый староста отпустил его шею.

— Со всеми так будет, — пригрозил Ермолай Матвеевич, — всем шеи набок посвёртываю, коли завтра мосток чинить не пойдёте, — оглядел «благородное собрание».

Мужики отворачивались. Лишь отставной солдат Егорка, встав во фронт и дурашливо отсалютовав палкой, высказал общую мысль:

— Так ведь сенокос, яти его в стерню...

— Страда идёт, — разом загалдели все, — а тут ещё чёртыка навязался, мосток энтот...

— Ноне день год кормит! — вспомнил пословицу, услышанную как-то от супруги, Степан, пригладив аккуратную свою бородку.

— Так не задарма же потеть станете, — оглядел староста мужиков, — я вам за труды целую бутылъ водовки выставлю, — глянул на Гришку-косого, который вздрогнул и начал возбуждённо курить и поплёвывать на ногу соседа, сидевшего со стороны бельма.

— Это не мост, а наказание божье, — уже заинтересованно произнёс кузнец, набивая цену, — чиним, чиним его, а он только хужей становится.

— Так, значит, чините, — осудил кузнеца староста, — коли ездить нельзя. Вот в прошлом годе Митька тебе железяку дал заварить... Так сколько ты с ней валандался? Я рад был уже сломанную вещь обратно выручить, не то что починённую, — укоризненно, но без злобы оглядел кузнеца.

Тот нервно стал запахивать пиджак на голом своём животе, но не сумел, так как ни единой пуговицы на одежде не наблюда-лось.

— Так вить... это... затерялась вещица, — скромно кашлянул в кулак, поднявшись с бревна и переступая на месте прожжёнными сапогами.

— И лопаты вам тащить не придётся, — не слушал оправданий Ермолай Матвеевич, — я подводу выделю струмент везти.

— Ну-у этоь дело другое! — хлопнул себя по коленке Гришка-косой, отбросив окурок, — ежели лопаты не тащить, тады ладно, — оглядел товарищей: «А то ведь кабы дурачки в горячах от выпивона дармового не отказались... Леший с ней, с этой страдой...»

— Согласны-ы! — загудели все. — Там и делов-то на три часа...

— Да ежели дружно навалиться, и за два управимси-и, — отвечали им оптимисты.

На следующий день, поутру, пришли почти все. Даже дед Софрон прибыл на подводе вместе с лопатами — кто же задарма выпить не хочет? Оно и в сто лет пользительно...

Выгрузив инструмент и прилагающегося к нему деда, уселись гуртом на зелёном бугре и начали свёртывать сигарки, ожидая ещё трёх человек, пообещавших вчера прийти.

— Ну что, робята, надоть предстоящее дело обсудить... — сглотнув слюну при взгляде на такую зелёную, такую вместительную, такую приятную взору бутыль, — промолвил Гришка-косой.

— Непременно надоть! — согласилось общество, тоже поласкав глазами стеклянную ёмкость, кою держал на коленях наподобие дитяти работник Митька.

— Ну-у, ты Митрий, таво, не расколи случаем посудинку, — запереживал вдруг кузнец.

— Ну как можно?! — прижал к груди заветный сосуд Митька. — Она ведь мне как родная.

Все безмятежно расслабились, предвкушая блаженство.

— Следоват так изладиться как-нибудь и на совесть всё одделать, чтоб всей деревне приятно было. Катайсь, сколько хошь, — глубокомысленно произнёс Семён Михайлович по кличке Хован.

— Непременно, дядя Семён, — тутушкал бутыль Митька, не особенно вникая в разговоры.

— С той стороны надо немножко скопать, а с этой насыпать...

— Да ты о чём говоришь, Хован? — удивился кузнец.

— Как о чём, о мостке.

— Тьфу! Нашёл, о чём тужить с утра, — огорчился кузнец. — Ещё и собрались не все...

— Что за народ, туды его в селезёнку. Нет того, чтоб дружно прийти и к мостку приладиться, — возмущался Гришка-косой, сидя бельмом в сторону мостика, а зрячим оком — к бутылки.

— Время ещё, слава богу, есть, — заметил кузнец, глянув где там висит солнце.

— Ну-у вы как хотите, а мы начнём, — взялся за лопату Семён Михайлович, — а то одни других ждут, так и до вечера не обернёшься.

Его поддержал Степан и начал срезать лопатой лишнюю землю с одной стороны и набрасывать с другой.

— Да погодите, дай остальные подойдут, — недовольно забурчали кузнец с Гришкой-косым. — Мы что, батраки ихние? Получается, что одни на печи прохлаждаться будут, а другие в поте лица и прочих конечностей ургучить на общество?

— Не на глупеньких наткнулись каких, — произнёс отставной солдат Егорка, стоя на зелёном бугре будто на посту и зорко оглядываясь вокруг. — Нашли лекрутов зелёных... Как же... А вон ещё кого-то черти несут, — указал палкой на бредущую в их сторону низкорослую фигуру с руками до колен. — Ну точно. Судя по рукам, которыми улов показывает, это рыболов Афоня.

Поравнявшись с сидевшими, тот снял кепку с налипшей рыбьей чешуёй и стал раздумывать, с какой такой целью собралась толпа людей: «Вроде как не на рыбалку, потому что в том ручье, что под мостом течёт, даже задрипанного ерша в рыбный день не пумаешь».

На него тоже внимательно глядели, соображая, куда это он прёт мимо них.

— Братцы, вы что это тута собравшись? — ничего не придумав, решил напрямую спросить Афоня, надевая пропахшую рыбой кепку.

— А ты куда, пескарь замусоленный, мимо общества топчешься? — прикинув высоту солнца и, по-видимому, оставшись довольным, поинтересовался кузнец.

— В нашей лавке нет, — стал оправдываться Афоня, — так в уездный город тащусь нитку купить для невода.

— А мост кто за тебя чинить станет? Я что ль? — чуть прирвав, возмущился Коротенький Ленивец и, набравшись сил, сплюнул в траву.

— Даже дед Софрон любимую жану дома оставил и пахать пришёл, — указал палкой на лежащего трупом старика бывший солдат Егорка. — А ты — ни-и-тки для невода.

— Ой, братец ты мой, с лески память сорвалась, как карась, — увидев у Митьки бутыль, для чего-то расставил длинные руки в стороны Афоня. — Пряма вытекло всё из башки напрочь... — подложив под зад кепку, сел поближе к бутылке.

— Вот и жди их всё утро, бестолочей с жабрами. Сам же глотку на сходе драл перед Матвеичем, — воспитывал рыболова кузнец, раздражённо усаживаясь с другой стороны от Митьки.

— Трое, а весь народ ждать заставляете, — выдал своё мнение Коротенький Ленивец, с ужасом наблюдая, как работают Степан с Семёном Михайловичем.

— Нешто с такими людьми что сделаешь? — вновь забурчал кузнец. — Нет, чтобы сразу всем прийти и на мосток навалиться...

— Ежели бы сразу начать, за два часа бы кончили, — подержал его Ленивец, поудобнее укладываясь на травке.

— Оно и в прошлом году тах-то было, — внимательно пригляделся к бутылке Гришка-косой. — Начинать так начинать, — рывком уселся он и задумчиво почесал колено.

— Братцы, дело общественное, — подошёл к народу Степан. — Мы сделаем, а всей деревне польза будет, и барин отвяжется...

— Вот я и говорю, — скорчил умильную рожу Гришка-косой. — Не пора ли начинать?! — единственным глазом скосился на бутылку.

Все плотоядно глянули на водку, которую должны были оприходовать, оправив этот злосчастный мост.

— Выпить бы уж што ли?! — открытым текстом, косясь на непонятливых, изрёк Гришка-косой.

— Не порядок бы, дело-то не сделали, — сомневался Степан.

— По одной не повредит для работы, — погладил бутылку Коротенький Ленивец.

— Про одну никто и не говорит, — деловито полез за стаканом кузнец.

— Хо-ва-а-а-н! — решительно заорал Семёну Михайловичу Степан. — Бросай одно занятие и начинай другое, — торопливо уселся в мигом образовавшийся кружок.

Митька аккуратно наполнил стопарь и пустил по кругу. — Ну-у! Дай бог не обжечься! — проглотил свою порцию кузнец.

— Чтоб клевало хорошо! — выпил следом рыбак и занюхал кепкой.

— Чтоб всю жисть так трудиться! — единым махом осушил стакан Ленивец.

— Веселей дело-то пошло, — подготавливаясь, высморкался в траву Егорка, с замиранием сердца наблюдая, как ходит кадык у Гришки-косого, медленно, с блаженным прищуром зрячего глаза, пропускающего вовнутрь свою долю.

Довольные, все свернули папироски и задымили.

— Братцы, можно и по второй, — затоптав прожженным сапогом окурок, жизнерадостно предложил кузнец. — Солнце-то ещё вона где, успеется с мостком...

Ясное дело, все его поддержали, определив на глаз позволявшую выпить высоту солнца. Даже дед Софрон.

— Выпьём, и по бабам! — выдал он тост, развеселив компанию.

Когда прикончили последнее, Митька опрокинул бутылку вниз горлом и потряс: — Сухо! — подвёл итог работе.

Разговоры, как водится, пошли весёлые. Афоня врал про рыбалку и уловы, так раздвигая длиннющие руки в стороны, что сбил деда Софрона, и тот мирно захрапел на зелёной травке.

Всем было хорошо!

— Чтой-то солнце, робяты, уже за обед перешло, — вдруг опомнился кузнец, выполнявший по-совместительству роль астронома.

— Эк хватился! — съязвил Степан.

— Начинать, что ли? — поинтересовался Семён Михайлович.

— Что ж начинать-то? Начать начнём, а до вечера и не уложимся, — высказал дельную мысль Коротенький Ленивец, сладко потягиваясь и зевая.

— Нешто мало тут работы? Жерди надоть срубить и настелить, перила изладить... Рази ж всё успеешь? Лучше уж в дру-

гой раз на совесть сделаем, чем ноне кое-как, — поделился умными мыслями, которые из него так и пёрли, Гришка-косой.

— Э-эх, друг ты мой, — обнял его кузнец и отчего-то прослезился, — што мы, мосты никогда не ковали? Да тыщщи штук... А ежели выпили... Это да-а... Это верно... Это как водит-ся у людей.

Все дружно поднялись, покидали в телегу лопаты, топоры, деда Софрона и нестройной, но довольной толпой, с чувством выполненного долга направились в сторону Рубановки.

Степан и Семён Михайлович, помакав головы в кадку с водой, пошли косить траву.

Митька, доложив хозяину, что дело сделано, так заховался на сеновале, что до следующего утра Ермолай Матвеевич не мог его отыскать, чтоб начистить наглую морду поярче самовара.

«Целую бутылюгу водовки выглохтали и ничего не сделали, каторжанские рожи», — хватался он за сердце.

Рыболов Афоня, забыв, что на рыбалке не был, хвалился соседям, какую заловил сегодня рыбину, во всю ширь разводя в стороны длинные свои лапищи.

Коротенький Ленивец, удивляясь своей необычайной работоспособности — эвон в какую даль забрёл на обчество потрудиться, велел жене на этой неделе его не будить:

— Как проснусь, так сам встану, — строго погрозил ей пальцем.

Гришка-косой, отдохнув до вечера, заместо моста наконец-то починил табурет и гордо сидел на нём за ужином, важно оглядывая наургучившееся за день семейство.

— Пробездельничали весь день, — громил он усталых домоладцев, обращаясь в основном к жене. — Мотритя у меня. Спуску не дам, — постукал деревянной ложкой по столу, — моду взяли на моей шее сидеть. — А ты, Авдотья, особо гляди, — погрозил сидевшей на другом конце стола худющей своей супружнице.

Полдюжины разнокалиберных детишек, не слушая косого тятюку, активно трудились над глубокой деревянной миской. Опомнившись, глава семейства шустро начал уплетать за обе щёки.

Получив выговор от мужа, Авдотья приняла скорбно-блаженный вид, а поднеся полную ложку ко рту, всю её вылила на выдавшую виды кофту, потому что один из непутёвых, как и отец, отпрысков, случайно подтолкнул мать. Насупившись и скорбно поджав губы, в душе она таяла от удовольствия, ведь как приятно быть мученицей,

— Чего ты, мам, не ешь? — спросил подтолкнувший её сын, видя, что она обиженно положила ложку на стол.

— Спасибо, сыта уже, — схватила картошку в мундире и тут же уронила на юбку, принявшись дуть на обожжённые пальцы.

— Мамань, я только сейчас картоху из печи вынула, — кивнула на чугунок дочь.

— Ну что ж, — тоненьким голоском произнесла мать, поднимая ложку и поднося её к миске.

Но миска была уже пуста.

— Спасибо ещё раз, — поклонилась Авдотья детям и особенно окаянному своему мужу, который из-за бельма в два раза меньше видел её страдания. — Ну идите, посидите у крыльца, — отпустила домочадцев, принявшись убирать со стола.

«Да что же это делается на белом свете, — удивлялась она, — все напасти непременно случаются именно со мной. Даже безмозглые мухи и те, курвы с крылышками, нарочно плюхаются в ложку, когда подношу её ко рту. Просто бяда... Ну вот, опять, — подскользнулась на коже и больно ударилась рукой о стол. — А огурцы солёные, что делают, паразиты, — потрясла ушибленной рукой и принялась промакать фартуком глаза, — беру самый толстый и именно он, паразит зелёный, оказывается пустым, — обиженно затрясла головой, — ну ладно пустой, так ведь эта кислая нечисть, нарочно ещё рассолом облить норовит, — тёрла красные свои зенки, — вот и в глаз что-то попало, — обомлела Авдотья, — ну это, конечно, лишнее», — пошла к дочери, чтоб та вытащила соринку.

В доме Рубановых царила атмосфера любви.

Лакей Аполлон просто изнывал от нежных чувств к мадемуазель Камилле. Любовь дошла до таких пределов, что он даже выучил слово «бонжур», коим и пользовался по своему усмотрению, так как перевод на русский забыл. Нежным излияниям ничего не мешало, ибо соперник — денщик Антип, остался тянуть солдатскую лямку в Петербурге.

Влюблённые сидели в саду на лавочке и упивались разговорами.

— Мон ше-е-р, — подняв к глазу раздобытый где-то лорнет и через него разглядывая здоровенный, красный угорь на щеке любимого, — вопрошала мадемуазель Камилла, — и вас даже не затруднит рассказать мне порядок обеденной подачи блюд?

— Бонжу-у-р, мадам, да ни скока! — бодро отвечал Аполлон. — Мы тоже почитывали несравненную Клеопатру Светозарскую.

— А-а-х! Как вы умны, месье, — игриво ударяла его в лоб лорнетом гувернантка.

— В дураках никогда не ходили-с, — приглаживал полосочки бакенбардов Аполлон и, рисуясь, обстоятельно объяснял: — всё зависит от рода обеда. На званных обедах суп никогда не разливают на столе, а наш брат разносит его в тарелках на больших подносах, а это, доложу я вам, огромное искусство... Не расплескать, не уронить, а с любезной улыбкой приподнести

гостю, который берёт у меня с подноса тарелку и ставит её поверх своей, продолжая светский разговор и помешивая горячий суп ложкой.

— Как вы правы, душа моя, дуть для остужения горячего супа не должно, как это делает молодой барин, — скривила она физиономию. — До крайности отвратительно и совсем по-мужицки. У вас бы, мой свет, ему поучиться, — вновь навела лорнет на своего друга: «Какой угрище выскочил. Чего он его не прижжёт или напроць не выдавит?»

— О-о-о! Мадемуазель, бонжур, конечно, как я вас понимаю... Вдалбливаешь, вдальбливаешь в них этикет, и всё напрасно... Как сторожу Пахомычу. Вот гнида тоже. Полуштоф водовки у меня утащил... Бонжур, конечно, о чём это мы?

— Не бонжур, мон шер, а пардон... А мы всё о том же, об этикете...

— Ах да... Многие ещё имеют дурную привычку опускать в суп кусочки хлеба.

— Плебеи! — поддержала лакея мадемуазель Камилла. — Это неопрятно и очень тривиально, — вновь подняла свой лорнет.

— Да как свиньи! — Пахомыч этот, например.

— А если хозяйка разливает суп за столом в узком кругу, и вдруг прислуга пропустила гостя, подав тарелку его соседу, — перебила, повысив голос, мадемуазель Камилла.

— Тяжёлый случай. На рупь того лакея штрахануть, чтоб знал, дурья голова.

— То сосед должен вернуть свою тарелку оставшемуся без супа гостю, ведь так?

Но Аполлона уже понесло. Вспомнились петербургские переживания.

— Одна как-то Пахомычу лишняя тарелка досталась... Сожрал обе, прохвост обжорливый. Власыч подмёл, ложку приготовил, а вместо супа — хрен...

— Друг мой... Давайте о возвышенном... Что вы всё — Пахомыч... Власыч... Что если в тарелку с кушаньем попался волос, насекомое, щепочка, пёрышко... только умоляю, не говорите, что Пахомыч пальцем выковырил находку и всё съел.

— Да ему, дураку, хоть плюнь в тарелку, слопает, ничего и вынимать не станет, а щепочку с пёрышком ещё и обсосёт...

— Бе-е-е! — сморщилась гувернантка, выронив лорнет. — Ну что вас на прозу тянет, давайте о поэзии, — вновь предложила она. — Ежели, к примеру, беспечный слуга, — подняв лорнет и обтерев его платочком, внимательно оглядела лакея: «Уж не ошиблась ли я? Антип ведь так меня любил... А бравый какой был...»

— Что вы замолчали, бонжур?

Вздохнув, мадемуазель Камилла продолжила:

— ...подаст гостю нечистую тарелку. Ведь многие люди, привыкшие к опрятности, брезгают есть из посуды...

— Ха! Однажды Пахомыч из собачьей миски кость вытащил... И хоть бы хны. Обсосал...

— Ну мне пора! — поднялась мадемуазель Камилла.

— Давайте ещё побеседуем, — спохватился Аполлон. — Вы знаете, — томно закачал он головой, — что моё имя переводится с греческого, как «губитель», — нежно взял её за ручку и чмокнул в щёку.

«Прям угрём прислонился, — вздрогнула мадемуазель Камилла, — и взаправду — губитель. Всю кожу мою загубит, хоть венчание отменяй».

Но свадьба в середине июля состоялась.

Второй влюблённой парой были работница Манька и её дружок Федька. То в доме, то в саду только и слышалось «Маню-ю-сь» и «Фед-ю-ю-сь» — так они себя называли. Но и здесь не всё было безоблачно и гладко.

Ирина Аркадьевна пригласила трёх деревенских девок убираться в доме по утрам.

К ужасу Акима, это были те самые обнажённые купальщицы, за которыми он подглядывал в лесу на озере в прошлом году.

«Ну не то чтобы подглядывал, а так... любопытствовал», — обелил он себя.

Работника Федьку присутствие в доме трёх новых женщин в ужас не бросило, а наоборот, привело в приятственное расположение духа и рук, коими он постоянно щипал их округлости. Особенно доставалось широкобёдрой. У неё в синяках были все выпуклости, а у Федьки — лапищи до локтей.

Маньку подобное рукоблудие доводило до тихого бешенства, постепенно перераставшего в весьма громкое. Она, затащив коварного изменщика в сад, исступлённо орала на него, требуя верности.

Федюсь изумлённо разводил руками, обещая к полудню исправиться. Потом они мирились, целуясь и обнимаясь, что-то шептали друг другу и исчезали то в конюшне, то на чердаке дома, то в купальне, где однажды их и застукал Аким.

Изнывая от жары и скуки, он сидел на прохладной скамье в купальне, дощатые стенки которой давали защиту от солнца. Крыши в полном понимании этого слова не было, но уложенные под углом гладко струганные доски практически не пропускали солнечные лучи, зато хорошо пропускали свежий воздух. Дневной зной здесь не ощущался с такой силой, как на улице, к тому же всегда можно было охладиться в проточной воде, спустившись по лесенке в своеобразный бассейн, что с удовольствием и проделал Аким.

Не успел окунуться, как неподалёку услышал голоса.

«Как говорят земляки: “Кого это нечистый принёс?”» — подумал он и вздрогнул от довольного женского визга:

— Не надо-о, Федю-ю-сь! Ой, ой, щекотно-о.

«Так вот это кто-о, — узнал пришедших и выглянул в приоткрытую дверь, разглядев расположившуюся неподалёку на песочке у помоста, к которому швартовались лодки, влюблённую парочку. — Ух ты!» — увидел пышные бёдра и мужскую руку, накрывшую сочную грудь.

— Ой, Федюсь, что ты делаешь, — закричала девушка, когда мужчина подхватил её и бросился в воду.

На некоторое время Аким оглох от женского визга.

«Ну и горлопанка эта Манюся, — покачал он головой, наблюдая, как парень с девушкой кувыркались в Волге. Он то обхватывал подругу за шею и погружался с ней в реку, получая затем громкие шлепки по груди и плечам, то, озуя, пригоршнями плескал воду в лицо любимой, отчего та, прикрывая ладонями глаза, счастливо верещала во всю свою лужёную глотку.

Вволю наигравшись, они вышли из реки и легли на тёплый песок как раз напротив приоткрытой двери купальни.

У Акима закурилась голова, и он вершок за вершком стал изучать лежащее перед ним обнажённое девичье тело, наслаждаясь живой упругостью, овалами, округлостями, покатосями, изгибами и всей поэзией юной плоти.

Чуть согревшись на солнышке, парочка поднялась и зашла в соседнюю купальню.

Дальнейшее Акиму стало неинтересно — там не было поэзии, и он отошёл от перегородки и сел на лавку, ощутив через некоторое время, что купальня начала угрожающе раскачиваться.

«По-моему, ещё немного и мы все очутимся в воде... Вот они удивятся, когда я между ними вынырну», — услышал мычание: «Фе-д-д-ю-ю-сь!» А в ответ пароходный гудок: «Ма-а-н-ю-ю-сь!»

Их свадьбу сыграли в конце июля после приезда Георгия Акимовича с семьёй и Глеба с кошачьей своей копилкой.



Состоялась этим летом за тысячи вёрст от Рубановки ещё одна скромная и незаметная свадьба. Женились Владимир Ульянов и Надежда Крупская, сосланные за антиправительственную агитацию в сибирское село Шушенское.

Село это, по сибирским меркам, не какая-то там глухомань, а волостное, с кирпичной церковью на центральной, дольше версты протянувшейся улицы.

В церкви этой и обвенчались молодые, чтоб жить долго и счастливо. Хотя и исповедовали они материализм, а бог его ведаёт... может, там что и есть, наверху, человеческому разуму неподвластное...

После церкви, оглушённые и счастливые, ехали в тряской двуколке по пыльной улице, с крепкими, на двести лет строеными избами, срубленными из пихтовых крепче стали брёвен.

За высокими заборами молодым кланялись длинные, потемневшие от времени и непогоды, журавлиные шеи колодцев, да приветственно гавкали, будто желая добра и достатка, шелудивые цепные псы.

— Завтра я подарю тебе марьин корень. Ни в Петербурге, ни в Москве нет такой красоты... Только здесь цветёт этот прекрасный цветок вполнину человеческого роста, бордовый, с жёлтой, как солнце, сердцевинкой.

Бледная от счастья, уже не невеста, а жена, смеялась, радуясь солнечному дню, пыльной зелени, тряскому возку, звону колокольчика под дугой и особенно — сидевшему рядом невысокому, с аккуратной рыжей бородкой, лысоватому молодому человеку, её мужу... её единственному... её судьбе...

А где-то там... в необъятной синей дали величественные и вечные, как их любовь, укрытые небом и снегами, поднимались громады Саян...

Отсюда они казались нереальными, фантастическими и загадочными, словно будущее...

Мыслями она вернулась к этой близкой и понятной маленькой улочке, на которую незаметно свернули с центральной. А вон и небольшая речка с таким же названием, как село. Неподальёку от реки — небольшой опрятный домик, где ждут их гости.

«Подольше бы не кончался срок ссылки... Подольше бы мы не расставались и были вместе...»

А навстречу уже друзья... И смех... И поздравления... И поцелуи... И радость... радость... нескончаемая радость... И не надо никакого светлого будущего, если настоящее столь прекрасно.

Местному начальству известно, что у Ульяновых сегодня свадьба. Съедутся гости — ссыльные из соседних сёл: Ермаковского, Тесинского и даже из Минусинска.

Поселенцы знали, что из Санкт-Петербурга предписано уездному и волостному начальству всячески поощрять отвлекающие от политики семейные радости и свадьбы особенно.

«Глядишь, оступенятся и образумятся бунтовщики, коли жена появится и сопливые детишки пойдут, которых кормить и лелеять надо... Тут уж не до политики станет... Некогда будет

нелегальную литературу читать и рабочих баламутить... Пусть лучше с жёнами цапаются, нигилисты проклятые».

И был праздник. Было веселье, шутки, цветы и поздравления. Главное блюдо — сибирские пельмени. И надоевшая красная рыба, икра, балыки и немного вина — зачем голову дурить, она должна быть всегда ясная для политики и книг, несмотря на женитьбы и свадьбы. Мало ли что там высшее начальство думает.

После вина — бесконечные разговоры и споры.

Они уже знали, что их товарищи собрались в Минске на первый съезд.

— Партия состоялась без нас, — горячился товарищ Ульяновых по ссылке Кржижановский, — мы создали партию, но её учредили без нашего присутствия. И тут же царские сатрапы разрушили её, погубив в арестах. Что делать? Нам необходима пролетарская партия.

— Я знаю, что нам делать, — перебил товарища Ульянов.

Гости повернулись к нему.

«Как он умён! — любовалась мужем Крупская. — Как его слушают и уважают».

— ...Долго думал... Путь один. Дг-г-угого не дано. Нужно создавать газету. Да! Да! Да! Не спог-г-ьте. Габочим как воздух нужна газета! Своя! Габочая, — рубил рукой, другую зацепив за пройму жилета.

— Где же будем её выпускать? Охранка глаз с нас не сводит, — озадаченно поинтересовался Кржижановский.

— Как где? Газумеется за г-ганицей. А здесь, в Госсии, во всех крупных гогодах найдём агентов по гаспгостанению, с которыми будем поддеживать связь. Мы создадим новую пагтию с помощью нашей газеты. Пгавда! Пгавда! Не спогьте...

— А как назовём её?

— Мы с Надей поклонники Пушкина, — окинул взглядом внимательно слушающих его товарищей, — и находимся там же, где и декабристы: «Оковы тяжкие падут, темницы гухнут — и свобода... нас пгимет гадостно у входа...»

— И далее, — возбуждённо поднял вверх руку Кржижановский: «Наш скорбный труд не пропадёт, из искры, товарищи, возгорится пламя...» — Точно! Искра!

«Лучше бы сегодня они говорили о пламени любви», — глядя на мужа, вздохнула Надежда Константиновна.

Увидев поскучевшее лицо жены, Ульянов захлопал в ладоши и воскликнул:

— Товагищи, веселиться, веселиться и веселиться. Хватит газгового. Пгидумал! Мы идём гулять, — довольно засмеялся он и потёр руки.

Проводив молодых с гостями и закрыв калитку, брат хозяина избы — здоровенный, кряжистый мужик с окладистой русой бородой, в новой сатиновой рубаше, из ворота которой выглядывал медный крестик, прошёл в горницу и, побряхтев для солидности, устроился на лавке рядом со старшим братом.

— Водки у них штой-то маловато быдто-бы, зато ихние бабы цигарки смолят, — поскрёб пятернёй затылок. — Вот скажи, как старший брательник, рази бабы курят?

— А чо им не дымить? Царь-батюшка за всё заплатит, однако. Это нам работать следоват, а им — болтай да веселись... Тридцать рублёв золотом в месяц на прокорм получают... Во-о!

— Три-д-ца-ать рублё-ё-в?! — ошалел младший. — Чо тут песни не играть? Да за тридцать рублё-ё-в? — в задумчивости ласково опрокинул в себя лафитничек горькой. — В левольцанеры подамси-и. Надоть, как придут, выведать, берут они ишшо левольцанеров али местов боле нема? — размечтался он, уплетая за обе щёки пельмени. — Веселись себе, песни играй, и работать не надоть! За тридцать рублей-то... Да не каких-то там сребренников, а зо-ло-то-м!

— Сюд-а-а, сюда! — стоя на краю зелёного луга, кричал Владимир Ильич.

Если уж Ульянов веселился, так веселился вовсю, от души. Протащив компанию с десяток вёрст, он радостно наблюдал, как усталые товарищи медленно подходили к крайнему из трёх огромных зародов — узких и длинных кладей свежего сена, прикрытого поверху ветками, и обессиленные, валились у стога, жадным ртом вдыхая свежий, терпкий сенной дух.

— Наденька, Наденька, ну чего вы все газлеглись? — бросил на траву пиджак. — А в догонялки иггать? Или цветы собигать? Смотгите сколько пикулек, — указал на крупные синевато-лиловые цветы с острыми, как осока, листьями. — Гвите пикульки, товагищи, — призывал он.

Но тщетно, все отрицательно качали головами: «Экий неугомонный забавник этот Владимир Ильич».

— Ну давайте хоть песни петь?! «Слеза-а-ми зали-и-т миг безбге-е-жный, вся наша жи-и-знь — тяжёлы-ы-й тгу-у-д, но де-е-нь настанет неизбежны-ы-й, неумолимо-о ггозный су-у-д», — дирижировал себе рукой.

«Какой он выносливый и весёлый!» — радовалась Надежда Константиновна, любуясь мужем.

~~~~~~~~~

У Акима свадьбы не было, но этим летом и он пережил первую брачную ночь. Вернее, день.

---

Гроза застала его в саду, в любимой беседке. Отложив в сторону томик стихов и мечты о худенькой черноволосой Натали, он наслаждался дождём, любовался молниями и с удовольствием прислушивался к басовитым раскатам грома.

Вдруг зашуршали ветки, осыпая брызгами женскую фигуру, и в беседку влетела та самая, высокая статная девушка, которой он любовался на озере.

«Лучше бы это была Натали, — разглядывая облепленный мокрой юбкой девичий стан, подумал Аким, — или вообще никого... всю идиллию нарушила».

Не подозревая о нарушенной идиллии, чернобровая, весело улыбаясь, принялась отжимать косу.

— Вот так льёт... Совсем промокла, — смело глядела на барчука, задрав юбку и отжимая подол.

Стихотворные вирши тут же улетучились из головы, и Аким, не отрываясь, глядел на открытые выше колен ноги.

Почувствовав такое внимание к своей персоне, на секунду наморщила лоб, о чём-то подумав, и быстро смахнула с себя юбку и кофточку, продемонстрировав барчуку покрывшуюся мелкими пупырышками кожу, крепкие груди с острыми сосками и чуть выпуклый живот с мысиком тёмных волос под ним.

Так близко — руку протяни и дотронешься, нагих женщин Аким ещё не видел.

Кожа его то ли от страха, то ли от неожиданности тоже покрылась пупырышками, а пальцы дрожали, когда он дотронулся до такого близкого и притягательного женского тела.

Груди её на ощупь были тверды и почему-то пахли яблоками. Вздрагивающим пальцем он обвёл вокруг соска и почувствовал, что чернобровая красавица задышала чаще, чем до прикосновения.

— Всё! Всё! Всё! — увернувшись, засмеялась она. — Лучше помогите юбку отжать.

Аким, видно, от нервов или её заразительного смеха, неожиданно тоже стал хохотать, скручивая в пружину материю.

А напротив ГОЛАЯ девушка, уцепившись за ткань, аж сгибалась от смеха, выставляя то покатые бёдра, то крепкую, чуть вздрагивающую грудь.

Не зная зачем, рассказал, что видел их у озера, и как они приняли его за водяного.

— А тебя Настя зовут, — вспомнил он. — А меня — Аким.

Чернобровая, вспомнив, зашлась от смеха. Хотела что-то произнести, но не сумела, судорожно хватаясь за грудь и размахивая влажной юбкой. Отсмеявшись, надела влажную одежду и села на покрытую ковриком скамью.

---

— Обними меня, а то замёрзла, — наконец выговорила она, и Аким, примостившись рядом, обхватил девичьи плечи и прижал высокую статную красавицу к себе.

Поначалу ему стало холодно от мокрой ткани, но через минуту тело его горело, ощущая так близко от себя податливость женских бёдер и плеч.

О желтоглазой своей богине он напрочь забыл в этот миг.

Чуть согревшись, и, наверное, в благодарность девушка тоже обняла Акима, нашла своими губами его и больно прижалась к ним.

Особого удовольствия от поцелуя Аким не почувствовал и сдвинул упругую грудь, ощутив, как вздрогнуло и напряглось девичье тело.

А по крыше беседки стучал дождь, мелкой пеленой увлажняя их головы, но они не чувствовали холодных брызг, лаская друг друга и забыв обо всём на свете.

Расстегнув ворот, Настя сняла с него рубашу и медленными поцелуями покрывала плечи и грудь, обжигая губами кожу.

Наклонившись от вспышки молнии, он ясно увидел свою руку, лежавшую на женской тайне, которая всё меньше и меньше становилась загадкой.

Оттолкнув его, она встала на ноги и в какой-то спешке, путаясь в мокром подоле, начала стягивать с себя юбку.

«Что она делает? Ведь замёрзнет, — не успел подумать Аким, как чернобровая, взяв его за руки, потянула на себя, медленно ложась на коврик скамьи. — Убежать, что ли? Как тогда от Жанны Бальони? И чего им всем от меня надо?» — почувствовал, что падает на женщину, через секунду ощутив под собой мягкое и податливое её тело...

Чернобровая вскрикнула, обхватив его спину руками и царапая ногтями кожу. Через минуту затихла и расслабилась, выпустив его из объятий.

Опустошённый, толком не понимая, что произошло, он сел на скамью, тупо разглядывая свои ноги.

— Ну что, барчук, понравилось? — поинтересовалась Настя, медленно одеваясь.

Он безучастно помотал головой, обозначая согласие.

— То-то! Я всем нравлюсь, — похвалилась она. — Придётся завтра?

Он опять покивал головой.

— Только вино не забудь взять и денег — четвертной. За так ноне ничего не делается, — выбежала из беседки и исчезла под дождём.

Начинало темнеть. Аким сидел на скамье и уныло глядел в сад.

«Это и есть то самое, о чём пишут поэты?! — разочарованно подумал он. — И именно этого добивалась от меня цирковая на-

---

ездница? Что в этом находят прекрасного другие люди? А может, я чего не понял?.. Она сказала — завтра. Вино и деньги! Где взять деньги? Свои я оставил в Питере. Что ж, придётся просить Глеба пожертвовать копилкой. Ему, конечно, легче рукой пожертвовать. Скажет — денег мало, но что червонец засунул туда, я точно видел», — направляясь домой, размышлял Аким, абсолютно не обращая внимания на дождь и лужи.

Этой ночью о Натали он даже не вспомнил, думая почти до утра — в чём тут изюминка, коли её воспевают поэты, и почему он её не заметил...

Проснувшись, первым делом спустился в подвал, раздобыв там бутылку бургундского. Обтерев пыль, спрятал её в беседке. «Теперь деньги», — ждал, когда проснётся брат.

Того же, как нарочно, разморил крепкий деревенский сон.

Вожделенная глиняная кошечка с синем бантиком стояла рядом с ним на маленьком столике.

Аким громко топал, кашлял, с шумом раскрыл шторы, осветив лицо брата солнечными лучами — всё бестолку. Случайно, даже не подумав об этом, взял в руки желанную пузатенькую кошку.

— Положи! — услышал строгий голос Глеба.

Сбросив ноги на пол, тот уже сидел на постели, обнимая толстененькую свою кису.

— Чего ты её схватил? — возмущался младший брат.

— Гле-е-бушка-а, — елейным голоском, от которого у брата полезли на лоб брови, засюсюкал Аким, — братишечка-а, — чуть не облизывался на копилку.

«Заболел, наверное», — на всякий случай сунул под подушку богатенькую свою кисочку Глеб и устался на брательника.

Тот, просяще сложив на груди руки, глядел на подушку, под которой был спрятан клад.

— Глебушка! Вот те крест, как в Питер приедем, отдам тебе весь клад подпоручика, — глянул в насущенное лицо брата, дабы удостовериться, доходят ли до него слова. — А сейчас давай расшибём копилку и достанем денежки. Четвертак — мне, остальные — тебе, — прижал руки к сердцу Аким.

Глеб гордо выпрямился на постели. Приятно было смотреть, как подхалимничает старший брат.

«Стоят ли мои унижения будущего удовольствия?» — ждал ответа Аким.

— И ещё жабочку, которая знает по-иностранному, и... — немного задумался, боясь продешевить, — куколку-пукалку...

Видя, что старший брат сомневается, достал для искушения кису.

— Лады, сельский кровосос! — согласился Аким и, вырвав у юного ростовщика кошана, смаху ахнул об пол.

---

Теперь за сердце схватился Глеб, но, мгновенно рассудив, что болеть сейчас не ко времени, а то брательник стырит — не подавится, лишний рупь, сиганул с кровати и рухнул на колени рядом с Акимом, наперегонки собирая раскатившиеся монеты.

«Червонец уже заграбастал!» — попутно осудил ловкость брата.

Кроме двадцати пяти рублей, которые урвал себе старший, пятишник с копейками достался и младшему.

Во второй раз Акиму не понравилось ещё больше. Даже вино не помогло.

«И чего бабы кричат как дуры, трясутся и стонут? — недоумевал он, глядя на молодую женщину. — Действительно, только цирковым дебилам этим заниматься...», — сделал вывод и третий раз на свидание не пришёл, наплевав высокой красавице в самое сердце.

В августе Рубанов-старший с семьёй стал собираться в Петербург — отпуск кончался, да и детям скоро предстояло учиться.

Попрыгав и покачавшись на шатком мостике, экипаж покинул пределы Рубановки, и эхо разнесло над полями прощальную ругань барина, затихшую как раз над домом старосты.



В Петербурге из головы Максима Акимовича сразу выбили мысли о распатанном мостике и рубановских лодырях.

Здесь кипели страсти по поводу «всеобщего мира».

— Сыну, по-видимому, не даёт покоя слава Александра Третьего как «миротворца», — оглядываясь по сторонам — нет ли поблизости соглядатаев, внушал Рубанову в апартаментах Александровского дворца в Царском Селе глава Канцелярии по принятию прошений на Высочайшее Имя приносимых, Дмитрий Сергеевич Сипягин, цепко ухватив его за пуговицу мундира. — Вдумайтесь, — отпустил пуговицу, дабы назидательно поднять вверх палец. — Его Императорское Величество, — шёпотом засипел он, — предпринял призыв к разоружению... Значит, и вашу дивизию теперь расформируют, — трагическим дискантом закончил он.

— Как так расформируют? — опешил Максим Акимович. — Быть того не может.

— Может! Так вы, голубчик, выскажете уж своё мнение по этому вопросу на высочайшем приёме... А завтра милости про-

---

шу ко мне. Побеседуем у каминчика, чайком побалуемся... с ромом, — выпустив пуговицу, быстрым шагом направился к выходу.

Николай встретил своего генерал-адъютанта стоя. От удовольствия видеть Рубанова даже притопнул сапогами в гармошку, в которые заправлены были широкие шаровары, и большими пальцами рук оправил на спине, за поясом, складки малиновой косоворотки.

«Форма лейб-гвардии 4-го стрелкового полка, — мысленно отметил Максим Акимович, кланяясь императору, — к чему бы это?» — с удовольствием пожал крепкую ладонь самодержца, заглянув в кроткие, добрые глаза, более подошедшие бы врачу или учителю, но не властителю огромной державы.

— Садитесь, — указал на кресло государь, сам усаживаясь за стол и подбирая под стул ноги. — Ежели хотите, курите, Максим Акимович, достал из портсигара папироску, положив его на стол, и, чиркнув спичкой, затянулся, добродушно разглядывая пришедшего спокойными серыми глазами.

«Глядя на него, почему-то всегда вспоминаю отца», — улыбнулся Максиму Акимовичу Николай.

— Сегодня чуть не до утра читал Пушкина... Вот уж действительно гордость России.

«Следует тоже почитать, — сморщил лоб Рубанов, вспоминая что-нибудь этакое, но в голову лезли лишь строфы: “Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...”», — чего там дальше-то? Ведь помнил когда-то. Ах, да. “То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя”. — К ранней осени не подходит... надо что-то про “очей очарованье”, а в голове лишь строевой устав... — краем глаза глянул в окно и по какой-то неожиданной армейской ассоциации тоже вспомнил умершего императора. — Да-а, его папенька крыл так, что действительно заплачешь, как дитя... Сын культурнее и много мягче... что совсем не идёт властителю такой державы».

— Максим Акимович, я беседовал со многими нашими генералами, дабы уразуметь их позицию по вопросу постоянного вооружения и перевооружения армий мира, в том числе и российской армии, и пришёл к выводу, что мы зря разбазариваем экономические ресурсы страны и финансы... Ведь кроме пушек можно производить какие-нибудь там плуги, сеялки или что-то подобное в этом роде...

— Без пушек, Ваше Величество, России никак нельзя, — заметив паузу в речи императора, встрял в разговор Рубанов. — А особенно без сильной и хорошо вооружённой армии... Ведь нас окружают одни враги.



---

— Но, Максим Акимович, — недовольно пощипал бородку Николай, — ежели мы станем мирными людьми, то и враги, полагаю, станут друзьями?.. Как вы думаете?

— Коли они были всю жизнь врагами, то врагами и помрут... А видя нашу слабость, захотят урвать от щедрот... Пушки их и отпугивают. Ваш батюшка не воевал, но армию любил и пестовал. А о друзьях говорил следующее, — вновь сморщил лоб Максим, глянув в потолок: «Самыми лучшими нашими друзьями являются наша армия и наш флот». Поэтому-то и кайзер, и английский король, и французский президент молча утирались, если вдруг до них долетал российский плевок.

— Да, всё это так, но Министерство иностранных дел уже направило призыв к разоружению и всеобщему миру... Теперь жду ответа. Все мои чиновники с этим согласны, генералы против... Как вы не поймёте, что у каждого предмета всегда имеется две стороны. Вот и в этом вопросе вторая сторона медали кроется на Дальнем Востоке. Россия будет произрастать Азией, а для этого у нас не должно быть врагов на Западе. Здесь войска сократим, а в Маньчжурии усилим влияние. Там недра. Там золото, лес... Да столько всего... Надо только взять и оттолкнуть Японию, которая тоже к этому стремится. А её поддерживают Англия и Америка. Поддерживают против нас... Вот потому-то, по конвенции с Китаем, мы и взяли в аренду на 25 лет Порт-Артур, который стал базой для Тихоокеанской эскадры российского флота, и начали строить железнодорожную магистраль, получившую название Китайско-Восточная железная дорога... — встал из-за стола и подошёл к окну император. — Погода какая прелестная сегодня, — забарабанил пальцами по подоконнику.

Рубанов знал, что это верный признак окончания аудиенции.

— Да, Ваше Величество, чудная...

«Чудная или чудная?! О погоде он или о моём предложении Европе?» — обернулся к Рубанову царь.

— Разрешите откланяться, Ваше Величество, — поклонился Максим Акимович.

— Да, да. Вы свободны, — вновь отвернувшись к окну, промолвил император.

«И зачем я так? Следовало согласиться, а не тараном переть, государя поучая... Но ведь сомнут сразу нас, если пушек не станет... Сомнут! То-то он нарядился в форму стрелкового полка. На одних ружьях далеко не уедешь. Азия — это, конечно, хорошо... Но живём-то мы в Европе...»

Как и обещал, на следующий день посетил Сипягина.

— Ну что государь? — когда пили коньяк перед камином, будто так, между делом, поинтересовался тот.

---

— Пушкина читает... — забько шевельнул плечами Максим Акимович.

— Пу-у-шкина-а? — вертел в пальцах рюмку Сипягин. — И какая тут связь с разоружением? Не понимаю, — одним глотком опорожнил содержимое. — Давай ещё по одной, — предложил гостю.

— Я и от двух не откажусь, — улыбнулся Рубанов. — Да и денёк, в отличие от вчерашнего, не очень, — поймал на себе изумляющий взгляд хозяина дома, от которого почему-то стало неуютно. — Моё мнение таково, — ещё раз в ознобе передёрнул плечами, — думаю, что, во-первых, предложение государя вызвано перевооружением австрийской артиллерии современными полевыми орудиями, которым нам пока нечего противопоставить. Но это дело времени. Вот император его и выигрывает... А во-вторых, решил продолжить дело Ермака по завоеванию Сибири... Наслушался князя Ухтомского, пока находился в кругосветном путешествии.

— Вот это дело другое, — залпом хлопнул рюмашку Сипягин. — Я чувствовал подвох, но не догадывался, — прошёлся по кабинету. — Ну конечно... Австрияки зарвались, — пропустил он мимо ушей Ухтомского и Ермака с их Сибирью и Азией. — Да ещё внутренние враги голову поднимают, — сменил тему. — Хотите, в качестве подарка ознакомлю вас с департаментом полиции?

«Вот так подарок, — с иронией подумал Максим Акимович, — лучше бы выпить ещё предложил», — а вслух произнёс:

— Да я вроде не собираюсь в полиции служить, — нехотя поднялся из кресла, — но поглядеть можно...

— Пути Господни неисповедимы, любезный Максим Акимович. Вы, наверное, удивляетесь, почему это я, давно уже не товарищ министра внутренних дел, а главноуправляющий Канцелярией по принятию прошений на Высочайшее Имя, до сих пор вхож в любой кабинет министерства? Думаете, по старой памяти курирую их? Чуть позже объясню... Набережная Фонтанки, шестнадцать, — веско произнёс он, обращаясь к извозчику, когда вышли на улицу и уселись в коляску.

Ехали недолго. Коляска остановилась у главного подъезда. Стоявший на посту жандарм, выпучив глаза, благоговейно отдал им честь.

«Вышколенные кадры! Мои вахмистры так выпучивать глаза не умеют, — мысленно похвалил Рубанов жандармскую выучку, поднимаясь по роскошной лестнице с тропическими растениями по краям, в зелени которых пели канарейки. — Словно в богатом ресторане», — отметил он.

Осмотрел картинную галерею с портретами императоров, столовую в стиле семнадцатого века, почитал на мраморных

---

досках имена невинно убиенных полицейских, поудивлялся богатству мебели в стиле ампира и оказался в огромном зале второго этажа.

— Картотека на верноподданных, — любовно указал на стеллажи Сипягин, — или, как в старину говаривали — «книга живота». Все здесь, голубчики. И не только варнаки, но и раззявы... Кто документы какие-либо терял, в газеты статьики обличительные строчил, особливо те, кто воззвания подписывал... неважно какого смысла, хоть к ломовым извозчикам, чтобы сморкаясь, зажимали ноздрю не средним пальцем, а указательным...

— Остроумно, Ваше превосходительство. И на меня данные есть? — поразился основательной постановке дела Рубанов.

— А ка-а-а-кже, Максим Акимович, разлюбезный вы мой. Только на птиц высокого полёта абы кому сведения не дадут... Ну так хотите узнать о себе? — довольно засмеялся Сипягин, промокая платком лысину, и отдал распоряжение вошедшему чиновнику.

Через десяток минут пораженный Максим Акимович читал такое, о чём сам давно забыл. Начиная с проститутки, которую снял, будучи ещё юнкером, и подрался из-за неё с пьяным чиновником, и заканчивая кутежами с Черевинным и Александром Третьим.

— Даже на императора данные имеются? — опешил он.

— Ну-у не столько на императора, — закрутился Сипягин, — сколько на его окружение. А теперь пойдёмте на третий этаж. Посторонних сюда вообще не пускают, ибо здесь расположен сыск и хранятся материалы личного состава департамента и агентов.

«Вот было бы прекрасно, чтобы и ваше жизнеописание хранилось тут, на третьем этаже», — помечтал Дмитрий Сергеевич.

— Здесь также собрана самая обширная библиотека русских и зарубежных нелегальных изданий. Внимательно изучаются наши и иностранные газеты. Здесь нет мелочей или пустяков. Всё анализируется и сопоставляется, сравнивается с показаниями агентов, и проводится на основе выводов акция... Вот так весной сего года мы и пересажали собравшихся в Минске социалистов, — подвёл Рубанова к похожему на профессора господину с красным карандашом в руке и брошюрой на столе. — Познакомьтесь, — назвал фамилию, которую Максим Акимович тут же забыл, — приват-доцент Петербургского университета. Преподаёт историю. И у нас имеет ставочку... Усерден и обладает аналитическим складом ума, — расхваливал сотрудника. — Именно он из собранных малозначительных фактов и раскрыл начинающийся заговор социалистов. Расскажите нам всё о заговорах с самого начала, — попросил приват-доцента, усаживая Рубанова в кресло и устраиваясь в соседнем.

---

— Извольте. В 1054 году христианский мир испытал страшное потрясение: от вселенской полноты Православной церкви отпал католический Запад, прельстившись суетой и обманчивой славой мирского величия, — отложив в сторону карандаш, сжал руки в кулаки приват-доцент истории. — Русь сохранила верность православию, презрев политические выгоды и соблазны ради подвижнических трудов. С этого момента берёт своё начало не прекращающаяся по сию пору война против России.

— А такие, как Витте, всю жизнь в католиках ходят, — буркнул Сипягин, — и вон каких высот власти достигли...

Согласно кивнув головой, историк продолжил:

— Русскому народу пришлось воевать практически всю свою историю. Уже с 1055 по 1462 год насчитывается 245 известий о нашествиях на Русь. С 1240 по 1462 почти не единого года не обходилось без войны. Ни единого, господа! — подчеркнул приват-доцент, глянув на слушателей, и, как гимназист, сложил перед собой руки одна на другую. — Я своим студентам внушаю — надо гордиться Россией. Ведь мужество и стойкость, проявленные русским народом в ходе этой многовековой битвы, не знают себе равных. За 400 лет, господа, территория России расширилась в 400 раз.

«Мы, Рубановы, тоже приложили к этому свою руку, — с гордостью подумал Максим Акимович, с интересом слушая историка. — Не то, что мой братец», — с уважением подумал о приват-доценте.

— ...И не всех брали силой, — продолжил тот лекцию. — Молдавские господа, грузинские цари, украинские гетманы и владыки кочевых азиатских народов смиренно просили о принятии в российское подданство. Так-то вот, господа, — пригладил он волосы. — Но были, конечно, и завоевательные походы. Тогда, когда терпеть жестокость соседей не хватало сил. Только с пятнадцатого по восемнадцатое столетие татары и турки захватили в полон и обратили в рабство около пяти миллионов русских. А сколько ещё погибло во время набегов. В одной лишь Казани, взятой русскими в 1552 году, томилось сто тысяч славянских пленников. Ещё в начале семнадцатого века на большинстве французских и венецианских военных галер гребцами были русские рабы, — в расстройстве стряхнул какую-то невидимую пылинку со стола. — В войне нас не победить! Нельзя победить народ, который всю свою историю только и делает, что воюет. Зато можно взять хитростью. Ведь известно, что сильные люди доверчивы и наивны. Началось с того, что хотели лишить Россию её религиозной самобытности и православных святынь, «растворив» их в западном католичестве. С предложением о воссоединении обращался папа Климент Третий в 1080 году. В 1207 папа Иннокентий в послании к русским лю-

---

дям писал, что он не может «подавить в себе отеческие чувства» и «зовёт их к себе». Оставшиеся без ответа «отеческие чувства» Ватикана проявили себя в организации военного давления на западные рубежи Руси. Воспользовавшись ослабленным состоянием разорённой монголами Руси, они последовательно направляют против православной страны оружие датчан, военнизированных монашеских католических орденов, шведов, немцев. Не брезговал Запад и антирусскими интригами при Дворе хана Батия. Европейские государи были как нельзя больше заинтересованы в продолжение татарских набегов на Русь. И всё же вопреки всему мы выстояли! Враги поняли, что извне нас победить нельзя. И воспользовались Первой русской Смутой.

— А почему первой? — удивился Сипягин.

— Да потому что, Ваше превосходительство, согласно анализу ситуации, скоро последует Вторая.

— Ну пока я на страже престола — не последует. А вы продолжайте. Но говорите факты, а не фантазии.

— А факты таковы, — вновь сжал кулаки приват-доцент Санкт-Петербургского университета. — За дело взялись признанные профессионалы интриг и провокаций — иезуиты, монахи католического «общества Иисуса», прекрасно понимающие, что основа русской мощи находится в области духовной. Они знали, что пока Русь держится православия, она крепка верой. Потому отцы-иезуиты дали своему воспитаннику, самозванцу Лжедмитрию, занимавшему в то время русский престол, следующие наставления: «...Самому государю заговаривать об унии<sup>14</sup> редко и осторожно, чтоб не от него началось дело, а пусть русские первые предложат церковные преобразования. Намекнуть чёрному духовенству о льготах, белому — о наградах, народу — о свободе. Пойдут споры. Дойдёт до государя, тебя значит, назначишь Собор, а там приступим и к унии. Сторонников купим. Потом крестьяне пусть чешут затылки. А следующему поколению вырасти патриотами мы не дадим». Слава богу, не удалось! — перекрестился приват-доцент. — С тех пор прошло почти триста лет. И всё начинается по-новому. Наступает эра новой Смуты. Кто ей воспользуется, я не знаю, но на свет появился любопытнейший документ, — взял со стола серую книжицу и потряс ею перед слушателями. — Сей опус «Протоколы сионских мудрецов» называется. Откуда он исходит и где мозговой центр — нам неизвестно.

— Да, Рубанов, — вновь перебил лектора Сипягин. — Самое тёмное дело в сыскной практике. Эту книжицу изъял, так будем говорить, у еврейских раввинов на западе России один

---

<sup>14</sup> Уния — объединение, союз Католической и Православной церкви.

---

опытный сыщик. Место вам неважно. Лучше много не знать, пока вы служите не у нас. Потому что этот человек потом погиб при загадочных обстоятельствах. Раввинов после тоже не нашли, словно сквозь землю провалились. Потому и не выяснили, откуда попали к ним данные наставления, в которых детально и сжато изложен план завоевания мирового господства. Столь циничный и подлый, но одновременно простой и доходчивый, что даже я — прагматик и циник, испугался. Да, да, Рубанов, не улыбайтесь. Несмотря на многочисленный полицейский штат и корпус жандармов, испугался. Потому и привёл вас сюда, чтоб всё рассказать и предложить под ваше начало либо жандармский корпус, ибо человек вы цельный и государству русскому верный, либо руководить тайной разведкой, образовать которую я предложил недавно императору. И он дал согласие. Этим я сейчас и занимаюсь. Именно об этой организации и хотел с вами поговорить. Штат её только формируется. И кроме меня, замыкаться она будет лишь на государе, а ежели дадите согласие, то и на вас. Это не контрразведка и не разведка генштаба. Новая тайная организация, создаваемая для объективной и точной информации, так необходимой нашему молодому царю. И вы можете ею руководить...

— Нет уж, Дмитрий Сергеевич, увольте. Спасибо, конечно, за доверие. Может, я и в армии корпусом командовать стану. Генерал-адъютант всё-таки,— гордо выпятил грудь. — А разведкой сроду не занимался... Вот Черевин покойный, это да. Тот бы мог.

— Зря! Положительно зря! А служить в МВД не зазорно. Это либералы в своих газетёнках внушают, что стыдно, дескать, и позорно интеллигентному человеку в жандармах служить. Е-р-р-унда! Они — главная опора престола. Как сейчас сказал историк, внешних врагов мы победим, но вот внутренних?! Взять даже вот эту, с виду явно простую книжицу, — осторожно, будто змею, поднял «Протоколы». — Казалось бы, нелепая безделица. Но кроме агента, её доставшего, уже погиб, якобы покончив с собой, прокурор московской синодальной конторы камергер Сухотин, отпечатавший на гектографе в позапрошлом году сто экземпляров подлой этой книжонки. Очень заинтересовался «Протоколами» Победоносцев и особенно Великий князь Сергей Александрович, велевший своему чиновнику по особым поручениям Клеповскому размножить в губернской типографии «Протоколы». Но в них была уже не полная версия. В типографии после случился пожар, а Клеповский как-то странно умер, задохнувшись угарным газом из камина. Угли ещё тлели, а он зачем-то закрыл все заслонки. Создаётся впечатление, что кто-то очень не хочет, чтоб «Протоколы» стали достоянием публики.

---

— Что же такого в этих «Протоколах?» — неожиданно заинтересовался Максим Акимович, поглядывая на книжицу.

— Да бред! Преисполненный явного презрения к людям и откровенного поклонения злу! Будто дьявол её придумал, чтоб погубить Россию, — полистал книгу Сипягин.

— Хуже, чем дьявол. Человек! — дополнил своего шефа приват-доцент.

— Вот, слушайте, — не обратив внимания на учёного, начал читать выдержки Сипягин: «Наш пароль — сила и лицемерие, — глянул поверх очков на Рубанова. И видя его неподдельный интерес, продолжил. — Насилие должно быть принципом, хитрость и лицемерие — правилом. Чтобы скорее достигнуть цели, нам необходимо притвориться сторонниками и ревнителями вопросов социальных. Особенно тех, которые имеют задачей улучшить участь бедных, но в действительности наши стремления должны тяготеть к овладению и управлению движением общественного мнения... Действуя таким образом, мы сможем, когда пожелаем, возбудить массы. Мы употребим их в качестве орудия для ниспровержения престолов и для революции», — оторвался он от книги. — Революция нам, конечно, не грозит, но вот террор против защитников престола идёт уже во всю. А самым главным основанием успеха они считают осквернение национальных святынь и православной веры. Так и пишут, злыдни: «Нам необходимо подорвать веру, вырвать из ума людей принцип Божества и Святого Духа, и всё это заменить арифметическими расчётами, материальными потребностями и интересами. Священничество мы позаботимся дискредитировать до полного крушения христианской веры, самой опасной для нас противницы». — Вот либеральные газеты и рисуют карикатуры на батюшек. Все они как на подбор с толстыми животами, пьяницы и объедаются свининой в пост. Потому-то Победоносцев и заинтересовался этой книжонкой, надеясь выяснить, от кого она исходит. А всё зло идёт сейчас от газет, — снял он очки. — Помню заголовок статьи в газете «Петербургский листок», вышедшей после убийства Александра Второго — «Божья воля свершилась». Видите, Рубанов, какой оттенок двусмысленности. А вот, что о прессе сказано в «Протоколах», — вновь нацепил на лоб очки и уткнулся в книгу: «Если золото — первая сила в мире, то пресса — вторая. Мы достигнем нашей цели только тогда, когда пресса будет в наших руках. Нам нужны большие политические издания — газеты, которые образуют общественное мнение, уличная литература и сцена. Этим путём мы шаг за шагом вытесним христианство и продиктуем миру, во что он должен верить, что уважать, что проклинать», — и я боюсь, Рубанов, что большинство газет в России уже принадлежит им. Этим неизвестным «тёмным



силам», и они формируют общественное мнение... только не в нашу пользу, — тыльной стороной ладони распушил древнерусскую свою бороду, — а в пользу носителей пейсов. Всё началось, к сожалению, давно, и «Протоколы» лишь проанализировали и обобщили опыт и указали план дальнейших действий. А вот самое главное, Максим Акимович, — поднёс к глазам книгу: «Когда мы ввели в государственный организм яд либерализма, — молодцы, всё называют своими именами, — прокомментировал прочитанное. — ...Вся его политическая комплексция изменилась. Либерализм есть школа раздоров, разлада, споров, несогласий — одним словом, школа всего того, что обезличивает деятельность государства. Парламентская трибуна не хуже прессы приготовила правительства к бездействию и к бессилию». Не дай бог России парламент, — брезгливо бросил на стол книжку. — Может, это и сойдёт в государстве с однородным составом населения — таким, как Франция, но для нас это нонсенс, бессмыслица, если даже не преступление... Заболтают государство!.. Власть в России должна быть в одних руках. Мощных и справедливых — таких, какие были у Александра Третьего. А раз у его сына нет таких рук, мы, его верные слуги, не щадя жизни своей, станем этими самыми руками. А вы не хотите командовать жандармским корпусом, — вздохнул Сипягин.

— Род войск менять не хочу, хотя, конечно, благодарю за доверие, а вот пару денёчков «Протоколы» почитать не отказался бы.

— Гм, — засомневался Сипягин. — Ну что ж, на пару денёчков можно дать экземплярчик. Юрий Николаевич, — обратился к приват-доценту, — выдайте, пожалуйста, генералу экземпляр из сухотинской сотни. С полной версией. Только условие, уважаемый Максим Акимович. Ни-ко-му-у! Вы меня понимаете? Даже брату. Для вашей же безопасности... и его тоже. Кто-то не хочет выносить всё на публику.

— А может, Дмитрий Сергеевич, напротив, «Протоколы» в газетах напечатать?

— Нет! Пока рано. Прежде следует самим во всём разобраться, а то после вообще концов не сыщешь...

Когда Рубанов ехал в коляске обратно, ему показалось, что за ним следят.

«Чудеса какие. Во как Сипягин мне опасения внушил. Если так дальше пойдёт, скоро тени своей бояться начну. Как же! Этого убили, того убили».

— Постой-ка, братец, — ткнул в спину ямщика. — Я сейчас вон тот экипаж остановлю, что бы кое в чём удостовериться, — вылез из коляски и направился навстречу упряжке из двух вороных коней, везущих закрытую коляску.



---

Неожиданно лошади понесли, и Рубанов чудом успел отскочить в сторону, закричав ругательства вслед исчезнувшей за углом коляске.

— Барин, вас не задело? — подбежал к нему перепуганный извозчик. — Пьяный, поди, чёрт напился, — погрозил вслед уехавшему экипажу, — вот и гоняет дуриком.

«Стечение обстоятельств, конечно! — сомневаясь, подумал Максим Акимович. — Не пойму, чего они больше боятся? Того, что стану злейшим их врагом или что информация от меня пойдёт дальше? И кто такие эти «они»? Если, конечно, произошедший инцидент не случайность... Да что это я? Ну конечно, случайность», — успокоил себя.

Дома сердитый Антип, сжигаемый страстями ревности, небрежно принял у генерала шинель, бурча под нос, что некоторые господа не расколются, коли горничную кликнут.

— Взяли моду, чуть что, сразу Антип, а лакейская рожа без дела шляется.

Ещё обиднее ему было то, что барыня назначила мадам Камиллу экономкой, и теперь она стояла над всеми слугами.

«Я к слугам, конечно, не отношусь, но её супруг, мажордом недоделанный, считает себя выше царского ефрейтора. Ну время придёт, разберусь с ним, — мстительно играл желваками, — или самому из ружья ликвидироваться от несчастной любви?»

«Да-а. Всё смешалось в доме Рубановых», — со вздохом сделал гончаровский вывод Максим Акимович.

Поздоровавшись с женой и немного пообщавшись с сыном, он удобно расположился перед камином, поставив на столик шустовский коньячок, и принялся штудировать «Протоколы», восклицая иногда в сердцах: «Во-о гады!»

Незаметно для себя уснул, пробудившись ночью от гвалта и ругани внизу.

«Разодрались с лакеем, черти», — уронив с груди книжку, поспешил узнать, что на самом деле происходит.

На первом этаже уже собиралась прислуга. Мадам Камилла в одной ночной сорочке обнимала и гладила по щеке бледного, трясущегося супруга. А денщик, размахивая руками, о чём-то рассказывал старичку-лакею и швейцару.

Увидев главного своего начальника, чин которого был немножко повыше ефрейторского, Антип, раздвинув слушателей, подскочил к барину и ещё активнее стал размахивать руками, пытаясь что-то объяснить:

— Он вот тут стоял... а я оттуда вышел. Хто-то хрипит. Гляжу-у, никак Аполлошку душат... а тот хрипит так...

---

«Приятно для слуха», — мысленно продолжил за него Максим Акимович.

— Ну понятно, понятно, ты постоял полчаса, пригляды-ваясь, чего это добрый человек с Аполлоном делает, песню, что ли, разучивает... «Тьфу! Не туда меня понесло». — Аполлон. Расскажи, как дело было.

— Показалось, вроде стекло разбилось, вышел поглядеть... а тут он... Я кричать, — постепенно начинал размахивать руками Аполлон. — Он душить, я кричать... а тут он появился...

— Стоп, стоп, стоп. Кто тебя душил? Вор, что ли, залез? Да что вы все руками-то размахались, вместо того, чтобы языком... — обернулся на визг мадам Камиллы, которая в ужасе глядела на дверь, в проёме которой стоял растрёпанный сторож.

«Ну вот. Ещё один рассказчик явился. Ну Чехов прям», — горестно покачал головой, рассматривая всклокоченного, заикающегося от избытка чувств и алкоголя Пахомыча.

— Он, гнида ушастая, меня по башке хрясь! — выговорил, наконец, Пахомыч, руками имитируя колку пенька и для усиления эффекта сводя глаза к переносице, отчего все вздрогнули, а слабонервная мадам Камилла взвизгнула.

— Не пугай дам своей мимикой, а внятно скажи, как выглядел тот человек, — по слогам произнёс Максим Акимович.

— Как гнида! Как же ишшо...

— О-о-х! — устало вздохнул Рубанов. — Аполлон. В чём он одет-то был?

— В чёрном пальте. Точно помню, — аж подпрыгнул Антип, перебив лакея.

— Да-а. Черноволосый такой. Как дьявол, словом... и тут же душить, — всхлипнул Аполлон.

— А я его — бац! — вновь начал заводится Антип. — А потом ещё раз... а потом как заору: «Руки кверху-у, зара-а-аза-а!» А он, шельмец, в дверь — шась, заранее, што ли, открыл, и исчез.

— Ду-ше-гу-у-у-бец! — словно в опере пропел Аполлон.

«Так, так, так, — задумался Рубанов. — Во-о чушь какая. Бывает же стечение обстоятельств».

— Ладно! Окно чем-нибудь заложите, запирайтесь, да спать. Утром полицейских вызову. Всё равно никого не найдут: «Зато будет, что рассказывать», — даже обрадовался он.

На Акима тоже свалилась неожиданная радость. На следующий день он не пошёл в гимназию, поплакавшись маменьке, что не спал всю ночь, хотя на самом деле, к несказанному горю своему, ничего не слышал.

Поглазев, как полицейские мучаются с Пахомычем и временами незаметно крестятся, оглядев разбитое окно, стал бродить по дому и в кабинете отца, куда вход ему был категорически

---

запрещён, увидел под креслом, рядом с пустой бутылкой, какую-то книжонку. Мучаясь скукой, унёс в свою комнату и начал читать с неожиданно проснувшимся интересом, неизвестно для чего записывая особо заинтересовавшие его места. Вечером вернул книгу на место, под кресло.

Отдав «Протоколы» лично Сипягину, Рубанов не стал фантазировать, рассказав лишь про вора.

— Да-а! Развелось в Питере мазуриков. Того и гляди портмоне сопрут. Но не они опасны, а те респектабельные курчавые брюнеты, что в прошлом году собрались в Базеле на Первый организационный съезд сионистов. Вот там-то, как мне донесли, и обсуждались некоторые из вопросов, о которых вы читали в данной пакостной книжонке. Через месяц после этого, в сентябре 1897 года, в Вильне состоялся Первый съезд еврейского социалистического Бунда, где преобладала идеология сионизма, а не социализма. Все должны подчиняться евреям как избранному народу, — сморщился Сипягин. — А весной этого года, как я тебе уже говорил в прошлый раз, состоялся Первый съезд РСДРП, где тоже еврей сидел на еврее и евреем погонял, как говорится в русской поговорке.

— Чего-то не слышал такую, — задумался Рубанов.

— Не слышали, так услышите. Главное — до этих-то субчиков добрались. Пусть в Сибири немножко остынут и свежим воздухом подышат. И я не считаю себя националистом. Тут дело не в нации, а в идеологии и религии. Ведь если у нас еврей выкрещивается, то он пользуется теми же правами, что и русский. Правда, об этом они почему-то помалкивают... А книжонка эта, — брезгливо кивнул на «Протоколы», — думаю, идёт от масонов. Вы, Рубанов, случаем не масон? — улыбнулся Сипягин. — Шучу.

— Я фармазон! Шучу! — тоже улыбнулся Максим Акимович.

— Мы-то с тобой шутим, а насколько мне известно, даже некоторые Великие князья являются масонами, — открыл он дверь и посмотрел, не подслушивает ли кто. — Рыба гниёт с головы, любезный мой Максим Акимович.

— Дмитрий Сергеевич, а вы, часом, не социал-демократ?

— Тьфу! Прости господи! Этих господ пока вообще понять не могу, хотя в принципе верхушка — те же самые евреи и поклоняются еврею Марксу с его «Капиталом». Посолиднее «Протоколов», но такая же белиберда, абсолютно для России неприемлемая. Затребовал недавно на него дело. Оказалось, что Карл Маркс — это псевдоним, а настоящие имя и фамилия этого масона — Мардохей Маркс Леви. Карл тоже мне. Папа Карло, — стал язвить Сипягин. — Крёстный отец всех буратин с деревян-

---

ными лбами и длинными носами, которые и суют их, куда не попадая. А более всего меня волнует самый влиятельный наш масон — Сергей Юльевич Витте.

— Что, министр финансов тоже масон? — поразился Рубанов.

— Тише, господин генерал. И у стен растут длинные уши... Особенно в здании МВД. Я давно наблюдаю за ним. Как известно, его первый брак закончился скандалом, вторым браком он женился на красивой жидовочке Матильде Хотимской. А еврейка-жена для любого, кроме еврея, — хуже динамиту, как говорится в народной пословице.

— Вы, Дмитрий Сергеевич, стали просто непревзойдённым знатоком народного фольклора.

— ...под себя подомнёт и умом забьёт даже академика, — не слушал собеседника Сипягин. — Сейчас он, пользуясь огромным влиянием при Дворе, поддерживает евреев и даже, как я узнал, имеет на своём заграничном счёте хорошие от этого суммы.

— И чего его государь возле себя терпит? — сделал наивное лицо Рубанов.

— Как же не терпеть? Финансовый гений, чёрт бы его побрал. Да-а, Максим Акимович, голубчик, по секрету вам скажу, что скоро, по поручению императрицы, едете в Москву, дабы с чем-то там поздравить её сестру, Великую княгиню Елизавету. Не знаю, выбрала она уже украшение или нет. С кем только государыня не советовалась, думаю, и с вами будет. Так что покажите Александре Фёдоровне свой тонкий вкус.

Всё так и произошло. Рубанова пригласили во дворец вместе с супругой. Кроме царской четы, присутствовал лишь министр Двора Фредерикс.

— А вы молодец, Рубанов, — пожал ему руку император.

Максим Акимович недоумевающее склонил голову, раздумывая, в чём именно.

Сам Николай и помог.

— К правильному пришли выводу насчёт австрийской артиллерии. Даже генералы приняли теперь мою сторону, — довольный хохотнул он. — Ну а сейчас прошу вас помочь выбрать подарок жене Великого князя Сергея Александровича.

Императрица с огромным воодушевлением уже показывала Ирине Аркадьевне украшения, сделанные Фаберже. Чего здесь только не было: цветы из драгоценностей, портсигары, инкрустированные бриллиантами, фигурки животных из камней и золота, броши, кулоны, ожерелья, статуэтки крестьян, конных казаков, поющих цыган...

Даже у Максима Акимовича разбежались глаза, что уж говорить о его жене.

---

Видя, что Алисе приятно хвалиться драгоценностями, император не спешил.

— Какие всё-таки превосходные люди государь с государыней, — уже дома, нервно куря папиросу от охвативших её чувств, говорила мужу Ирина Аркадьевна. — Как я счастлива от общения с государыней. Милый! — непреклонным тоном произнесла она. — Я непременно еду с тобой. До столицы дошёл слух о Станиславском и его театре. Следует убедиться самой. Мы как раз попадём на премьеру чеховской «Чайки».

«Лучше бы дома осталась... Не выпьешь лишний раз в ресторации. Декабристка тоже мне нашлась: “Поехала за ним в Сибирь и испортила всю каторгу”, — озвучил бы Сипягин русскую пословицу из армейского юмора», — грустно шутил Рубанов.

«Как мне будут завидовать в свете», — лёжа в постели, мечтала Ирина Аркадьевна, не задумываясь о настроении супруга, и сладко морщилась, представляя завистливые лица баронессы Корф и княгини Извольской.

Но тут она ошиблась. И в эту зиму, как в прошлую и позапрошлую, многие дамы высшего света неприязненно отнеслись к своей императрице.

«Как она скучна. Совсем не танцует. Нет в ней шарма и вкуса...» — шептались они и специально шокировали её смелыми декольте, любовными интригами и томными вальсами.

Особенно закрутилась вакханалия любви и страсти с Нового года, потому что астрономы предсказали, видимо посоветовавшись с рубановским кузнецом, а досужие журналюги донесли до любопытных умов, что на самом исходе девятнадцатого века, а именно в ноябре 1899 года, «выпадет» невиданный доселе звёздный дождь, который испепелит землю и всех на ней живущих... Чего уж тут скромничать...

К радости прислуги и денщика Антипа, Рубановы Новый год встречали в доме Георгия Акимовича — и хлопот меньше, и без господского глаза веселее гулять.

Антип стреляться передумал: «Чего уж там, поживу последний годок, а потом вместе со всем честным народом и родным полком ноги-то протяну в одночасье от камней небесных, за грехи наши с небеси сброшенных...»

Он даже человечнее стал относиться к Аполлону: «Недолго козлу радоваться осталось, — а неверную Камилку и вовсе простил. Потому как все бабы — дуры. Это ж чем надо думать, чтоб променять такого бравого ефрейтора на чудо в бакенбардах».

---

Пахомыч с Власычем плакали и прощались, мысленно прикидывая, сколько могли бы ещё выпить зелия, если бы не эти астрономы...

— А птичек-то как жалко, мать их яти, — тужил, качаясь из стороны в сторону Власыч.

— Да, робяты, — развивал тему Пахомыч, — от этих вчѣных хорошего не жди, одно дерьмо на уме. Знают, гадючы души, — жажнул стопарь и занюхал немытой башкой Власыча, — что живѣм мы и радуемся, вот и решили жисть испоганить.

— Ежели такое дело, то я за себя не ручаюсь, — вскочил с табурета кучер Архип Александрович, — будет дорогу переходить какой очкастый звездочѣт неподкованный, враз с копыт сшибу экипажем, чтоб у него самого, подлеца, из глаз звѣзды посыпались. Это надо же что удумали, мир загубить хотят, антиллекх-енты...

Старичок-лакей молча щупал грудь у Марфы.

«Чего уж таперя, — думала та, пусть порадуется, страшила, напоследок».



Владимир Ульянов стоял у конторки, заложив большие пальцы за проймы жилета, и обдумывал следующую главу обширного труда «Развитие капитализма в России». Он любил работать стоя — лучше сосредотачивался и погружался в мысли. Ему было зябко, но отрываться от «рынков», так он называл книгу, не хотелось. Работалось легко и с удовольствием. За стеной гремели тарелками и чашками жена с тѣщей.

«К празднику готовятся», — потянулся и взялся за письмо сестре с мужем и матери: «Я кончил четыре главы, и сегодня даже переписка их набело заканчивается», — перенёсся мыслями в Подольск, где жила сейчас мама с высланным туда младшим братом Дмитрием. — По моим стопам пошёл братишка, — с нежностью подумал он, — а маму по-человечески жалко, — представил худенькую, невысокую женщину, одетую во всё тѣмное, и с кружевной наколкой на седых волосах. — Траур! Вечный траур... то отец... то брат... бедная мама, — стараясь не скрипеть половицами, стал ходить по комнате. — То носила передачи в тюрьму старшему сыну, то мне, то сестре Анюте, вот и Митя, — высморкался в платок и вытер слезу. — Да что это я? Новый год ведь... и слабость нельзя показывать», — вышел из комнаты к жене и тѣще.

— Наконец-то появился старожил «Шу-шу-шу», — с некоторой долей язвительности воскликнула Елизавета Васильевна. — У людей Новый год, а ты всё один сидишь...

«Тѣща, она и в Сибири — тѣща!» — улыбнулся зять.

---

«Ухмыляется ещё, — обиделась Елизавета Васильевна, — про меня, наверное, чего-нибудь нехорошее подумал, А сам весь никчемушный. Копейки заработать не может. Если бы мать и правительство не поддерживало, по миру бы с Надюшкой пошли. Это ж надо. Сдал экстерном на отлично экзамены в университете, а когда стал в Самаре дела вести как адвокат, то все их и проиграл в суде», — саркастически улыбнулась она.

«Про меня чего-нибудь нехорошее подумала», — с уверенностью догадался Владимир Ильич, произнося вслух:

— Елизавета Васильевна у нас сегодня весёлая, — неспеша уселся за стол.

— Когда же и веселиться, как не в Новый год, — ответила тёща, раскладывая тарелки и вилки.

«После такого позора он и уехал в Петербург, где встретил мою Наденьку. Ох, лучше бы выиграл те дела... может, мы с дочкой отмечали бы праздник в столице, а не в Сибири... хотя, после декабристов это почётно».

— За любимую тёщу! — между тем предложил тост молодой зять, подумав: «Во чёрт. Против правительства и властей пишу — не боюсь, а тёщу... ну несильно, конечно, побаиваюсь... Сейчас выпьет и начнёт юность свою вспоминать...»

Елизавета Васильевна отвернула кран самовара и, пожевав губы, но ничего не сказав, наполнила чашку зятю, потом дочери и наконец себе.

— Надюша была совсем маленькой, когда мы с мужем, поручиком Константином Игнатьевичем Крупским приехали в Польшу. Он окончил к тому времени Военно-Юридическую академию и сам захотел, чтоб его послали туда на должность начальника уезда.

«Сразу начальником уезда, — хмыкнул в чашку Владимир Ильич и сделал вид, что поперхнулся чаем, — нет бы прежде судебным поверенным потрудиться, как я. Правда, конец карьеры у нас одинаковый, — опять хмыкнул в чашку».

Жена беспокойно глянула на него, а тёща окинула колким взглядом.

«...Я год в тюрьме отсидел, и на три сослали сюда. И Константин Игнатьевича тоже отдали под суд. Чего-то натворил там. Шесть лет разбирались его преступления... За три года до смерти только и был оправдан Сенатом. Тёща сейчас должна к мазурке переходить...»

— Ой, а как Костя превосходно знал польский... и дочку велел учить...

«Не угадал!» — удивился зять.

— ...А как мазурку мой муж танцевал... Лучше поляков! — победно глянула на молодых.

---

Подыгрывая теще в этом месте рассказа, зять обычно вставлял:

— Ну уж, лишку хватили... Поляки с детства мазугку обучены танцевать, — поставил чашку на стол и весело подмигнул жене.

— Ну, Володенька, тут ты не прав... Ты же не видел, а говоришь. Хоть у Наденьки спроси, — не думала она сдаваться. И кому? Зятю, что ли? — Мне ли не помнить, дети, как он мазурку танцевал?!

— Пагтнэгша-то у него кто была? — глядя на тещу, добродушно улыбнулся зять. — Газве с ней плохо станцуешь? — восстановил мир и хорошее настроение. — А тепегь, дети мои, — немножко передразнил Елизавету Васильевну, — непременно кататься на коньках. Да, да, да! Всенепременно и сейчас, — поднялся он из-за стола. — Наденька, где твои коньки?

За молодыми увязалась и мать.

— Снегу-то, снегу! Чистый, нехоженный, а как блестит от луны, — воскликнула Надежда, как воскликнула бы на её месте любая эмоциональная молодая женщина, да к тому же учительница, кем и являлась по образованию. — Володя, мама, а вон заячья тропа петляет, — как девчонка радовалась она. — Смотрите, как замёрзшая речка красива, — подняв перед собой руку с коньками, обводила вокруг, не веря своему счастью и мечтая, чтоб оно длилось вечно. Чтоб никогда не кончалась божественная эта новогодняя ночь. Чтоб всегда снег был так чист, как будущая жизнь, а рядом находились двое самых родных людей — мама и муж... — А тут что? — задышалась от беспричинного счастья. — Скорлупок под ёлкой насыпано... Белка орешки щёлкала, — задрала вверх голову и, забыв о белке, залюбовалась бездонным звёздным небом: «Как прекрасна всётаки жизнь, — как-то мимолётно подумала она. И зачем в ней что-то менять?»

— Господи! Светло-то как. Будто днём, — поддержала дочку мать. — Никто ещё не спит, — кивнула на неярко желтевшие окошки изб.

— Вот и плохо, что не спят, отойдите-ка в стогонку, — услышали звон колокольцев, раздававшийся всё ближе и звонче, и пара седых от изморози лошадей, запряжённых в кошеву, осыпала их снегом, обогнав на повороте у въезда в село.

Из саней слышался крик, свист и хохот.

— Местный богатей гуляет, — отряхивалась Елизавета Васильевна.

— Догуляется когда-нибудь, — помог ей зять. — Да ну их, пойдёмте кататься.

Засунув руки в карманы и насвистывая, чтоб успокоиться от неожиданной встречи, он катил по замёрзшей реке, далеко оставив жену и тещу.



---

Владимир Ильич был материалист и не верил в конец света от «небесного дождя» или какого другого. Но верил, что сам сможет создать «конец света» для российской буржуазии и промотавшегося дворянства, и чтоб приблизить это событие, с утра стоял за конторкой, работая над своими «рынками».



В выпускном классе гимназии все стали серьёзнее и задумчивее.

Кто думал о будущем, кто о гимназистках из Мариинки, Дубасов о том, что делать после занятий — поиграть в бильярд или выпить. Дилемма разрешилась до гениальности просто — он совместил оба этих мероприятия.

Аким тоже совмещал мысли о будущем и о Натали. Но мысли о Натали стали как-то блекнуть, видимо, потому, что давно не встречал её. На рождественский бал она не пришла.

А за окном слышался смазанный расстоянием, мерный барабанный бой — как всегда, на семёновском плацу обучались солдаты. Барабанная дробь была до того тихая, что даже ссорившиеся на подоконнике воробьи заглушали её. Но главное — не звук, а смысл. От чириканья смысла никакого не было, а барабанная дробь способствовала размышлению...

«В универе, где дядька преподаёт, конечно, легче учиться, чем в военном училище... не в смысле знаний, а в смысле дисциплины. Вон как Глеба муштруют в Кадетском корпусе, хотя по большому счёту там учатся дети. Юнкер кадету не чета!»

Педагогов больше не трогали.

«Не до сук», — как говорил Дубасов.

К скелету свечи тоже не приставляли. Взрослые всё-таки. «Англичанин» Иванов вздохнул свободно и опять стал вбегать в класс, как на пожар. Но двоек в огромных количествах теперь не ставил.

То же самое и математик Колёк. В этом учебном году его прозвище ассоциировалось не с отметками, а с именем.

На переменах Шамизон, прижавшись к тёплому боку печки, хвалился победами на любовном поприще.

Рубанов, познавший тайну любви, абсолютно не верил выпуклым, близоруким глазам, похотливо блестящим за круглыми очками.

«Врёт! Только на фотографических карточках и видел женщин», — делал пресыщено-загадочный вид Аким, лениво листая учебник.

В классе он прослыл за философа, потому что как-то сказал: «Скучно, господа! Единственная наша привилегия над животными — мы можем скучать...»

---

На гимназических балах стоял у стены или окна и задумчиво глядел в даль.

Не в эту даль, что за окном, а в ту, что в душе.

Многие гимназистки заглядывались на смуглого юношу с чёрными волнистыми волосами. Такого задумчивого и недоступного.

Даже родители стали замечать в нём что-то странное.

«Как бы не переучился парень», — переживал отец и решил приобщать сына к культурной жизни — водил слушать песни цыган в кафешантане за городом и даже взял с собой поужинать в ресторан.

Жене и матери сообщили, вернувшись после полуночи, что слушали сводный оркестр пожарных дружин Санкт-Петербурга.

Не поверив мужчинам, Ирина Аркадьевна железной рукой прекратила культурную жизнь по отцовской программе и стала водить мужа и сына в оперу, театр и балет.

«Балет ещё туда-сюда», — решили они.

Балет для русских офицеров был высшим искусством благодаря стройным ножкам танцорок.

После представления Аким не раз наблюдал, как юные балерины из кордебалета Мариинского театра весело садятся в экипажи гвардейских офицеров и вместе с ними куда-то уезжают.

Чтобы балерины дружили с приват-доцентами, Аким не заметил.

«Нет! Не нужен мне универ. Пойду в училище», — сделал он вывод.

Особенно укрепил его в этом решении увиденный им военный парад.

Он и раньше смотрел, как маршируют войска. Но тогда воспринимал парад глазами, а в этот раз воспринял душой.

В половине девятого утра, как и положено, Аким направился в гимназию. На улице было звонко от мороза, и он зябко передёрнул плечами, залюбовавшись укутанными в белый пух деревьями.

«Как на рождественской открытке», — мысленно отметил, обходя толстого дворника, посыпавшего перед магазином с широкой деревянной лопаты жёлтым песком.

Из двери хлебной лавки аппетитно пахло свежееиспечённым хлебом.

Снег хрустко поскрипывал под ногами. Стало тепло от быстрой ходьбы. Прокатившись на конке, Аким хотел уже сворачивать направо к гимназии, как услышал за углом мерный то-

---

пот ног и тут же увидел сначала стройного военного на белом жеребце, а затем из-за угла дома, где помещался трактир «Москва», показался стройный ряд музыкантов.

Прохожие останавливались, разглядывая солдат, которые, мерно топая сапогами, появились вслед за музыкантами.

Мимо Акима, чуть не толкнув его, придерживая ножны с саблём, пробежал офицер в серой шинели и, остановившись, молодым звонким голосом задорно закричал:

— Р-рота-а! Отбей ногу-у! Ать-два, ать-два! — и встал перед строем, картинно выхватив из ножен саблю и выставив её перед собой.

«Ой уж, ой уж, — позавидовал юному офицеру Аким, — ать-два, тоже мне...»

За первой ротой шла вторая. Крепкие, высокие солдаты с алыми погонами на плечах бодро стучали по брусчатке сапогами, а их уса́тые лица с живыми, весёлыми глазами держали равнение на трактир.

Другой уже офицер, подбадривая подчинённых, громко командовал:

— Ать-два, левой, левой! Подравняйся, ор-р-рлы!

И солдаты расправляя плечи. Начищенные до золотого блеска бляхи с орлом сверкали на ремнях.

Затем проехали три конных офицера с золотом погон на шинелях. За ними маршировал громадного роста солдат с синим зубчатым флажком на штыке винтовки, которую держал в руках. Следом чеканила шаг ровная колонна солдат с блестящими на выгнувшем солнце штыками.

— Это семёновцы! — неожиданно хлопнул по плечу Акима подошедший Дубасов

— Тьфу ты, Дуб, испугал меня, — вздрогнул от неожиданности Аким, здороваясь с другом.

— В газете прочёл, что сегодня перед Зимним дворцом Его Императорское Величество проводит высочайший смотр войскам. Потом егеря пойдут, кирасиры, казаки и артиллерия.

— Ух ты-ы! Слушай, господин Дубинов...

— Дубасов. Могу и по шее...

— Тогда извиняюсь. Давай латынь и математику промажем, а сами на парад поглазеем?!

— А чо, давай! — без раздумий согласился тот.

Поймав извозчика, помчались к Зимнему.

— Я видел, как вчера из Гатчины кирасиры ехали. Замёрзли — страсть! Все каски и кирасы в инее, аж сосульки висят. Рожи красные... К конногвардейскому манежу направились.

— Походи-ка, Дуб, в железяках, и сам покраснееешь как осина.

— Чего-о? Ща точно схлопочешь...

---

— А сосульки на чём висели? — хохотнув, передёрнул плечами Аким.

Находясь без движения, он стал мёрзнуть.

Где-то на площади грянула музыка.

— Скорей, скорей! — торопили они Ваньку.

По тротуарам, посмотреть на бесплатное представление, тянулся к площади народ.

Найдя свободное место, друзья замерли, наблюдая, как выстраиваются войска и какой-то генерал объезжает полки, здороваясь с ними.

Слышался дружный, резкий, солдатский ответ.

Генерал, казалось, был доволен.

Из труб домов на Мойке клубился белый дым, расплываясь в розовых лучах всходящего над зданием Главного штаба солнца.

Стыли ноги и руки. Приплясывая и растирая уши и щёки, друзья с интересом наблюдали за происходящим.

А войска всё подходили и подходили. Слева от них строился квадрат пехоты. Справа разворачивался кирасирский полк. Тускло мерцали золотом латы и каски. Рядом расположились казаки.

Неподалёку, на площади, Аким увидел небольшую группу молоденьких подпоручиков. Они курили, притоптывая ногами в до блеска начищенных сапогах, и смеялись чему-то, слушая высокого, с небольшими усиками, офицера, не заметив, как сзади подошёл полный широкогрудый генерал.

«Ага, сорокавосямирублёвые, будет вам сейчас», — позлорадствовал Аким, удивляясь в душе, что хочет находиться рядом с ними.

Генерал кашлянул, с отеческой улыбкой поглядывая на офицеров. Затем, напустив на лицо строгость, набрал в грудь воздуха и что есть мочи рявкнул:

— Сми-и-и-р-р-на-а!

Даже Аким с Дубасовым перепугались и стали во фронт. Чего уж говорить об офицерах.

Бросив папиросы, как юные кадетики разбежались по своим ротам от грозного командира, который с трудом прятал в седых усах добродушную улыбку, видимо, вспоминая свою, так быстро пролетевшую юность.

А солнце поднималось всё выше, сверкая в окнах Зимнего дворца, серебром блестя на штыках, играя на стали вынутых из ножен сабель и огнём горя на меди полковых оркестров.

— Р-р-авня-я-яйсь! — раздалась команда.

Пехотный полк замер, повернув головы направо.

— Смир-р-рна-а! — стали во фронт, приставив к ноге винтовки.

---

Даже досужие зеваки перестали грызть семечки, ёрзать, болтать и топтать ногами, обивая с обуви снег.

— Они что, и дышать перестали? — зашептал на ухо Аким Дубасов.

— На пле-е-чо! — слышали команду.

Чётко исполнив приём, солдаты замерли.

— Винтари-то тяжёлые, а они вон как ловко... Раз-два, и готово, — опять зашептал Дубасов, с восторгом наблюдая за солдатской выучкой.

После криков команды, звуков музыки и топота ног наступила тишина.

Только застывшее синее небо над головой, клубы бесшумного белого дыма и высокое, безразличное солнце.

Дубасов опять хотел что-то прошептать, но не решился, подумав, что шёпот громом раздастся в тишине площади.

Торжественная тишина!

Грозная тишина российской мощи.

Величественная тишина России.

Напротив Акима возвышалась Александровская колонна. Символ победной Отечественной войны 1812 года.

«Деды и прадеды этих солдат, из тех же полков, отвели от России нашествие... Вот они, эти полки... Русское воинство! Да ведь я... Я тоже русский», — может, впервые осознал себя и свою причастность к России, к её славе, к её силе...

Красноватый гранит колонны проступил сквозь белую индеедь снега, и возносящийся ангел сиял в солнечной синеве неба, благословляя воинов, во все века проливавших за Россию кровь.

«Несказанная красота... — даже задохнулся Аким, оглядываясь вокруг. — Строгая красота Севера... Красота Петербурга... Красота России... И я стою здесь! В центре всего этого!..»

Небольшой порыв ветра нарушил торжество тишины.

С шумом затрепетали флаги над головой и зашевелились значки и флюгера на красных, жёлтых и синих казачьих пиках. Ветер разорвал клубы дыма, и Аким даже показалось, что благодаря этому всё пришло в движение.

Затрещали барабаны и взвыли пехотные трубы. Под эти звуки на площадь выехала кавалькада всадников, возглавляемая самим императором.

Аким его сразу узнал. Государь ехал на белом в яблоках жеребце, изогнувшим шею и будто гордившимся своим седоком. За ним следовал блестящий кортеж генералов, среди которых он увидел своего отца.

Внезапно трубы и барабаны стихли, и Аким услышал ровный голос императора, но слов не разобрал. Через несколько секунд напряжённой тишины раздалось громкое, дружное «Ура-а!».

---

Когда голоса стихли, вновь загремели барабаны и загудели трубы.

Государь с сопровождающими проехал дальше, и Аким с Дубасовым, толкая зевак, стали пробираться к тому месту, где он остановился. Замёрзшие ноги плохо слушались и были, словно ватные, но Аким не обращал на это внимания, завидуя молодым, чуть постарше него, юнкерам, которые восторженными свежими голосами радостно отвечали:

— Здравия желаем, Ваше Императорское Величество.

После их ответа музыканты заиграли гимн, и загремело ликующее и бодрое юнкерское «Ура-а!».

Император поехал дальше, и по мере его движения «Ура!» прекращалось в одном месте и восторженно гремело в другом.

Аким наслаждался русским победным «Ура!» и мощными звуками российского гимна. Слезы выступили у него на глазах, и вместе с солдатами, вместе со всем народом он кричал «Ура!» своему императору, он кричал «Ура!» своей России. И великая гордость переполнила его сердце в тот миг.

Гордость, что он русский!

Гордость, что это его император. Северный монарх... Вождь великого народа, не боящегося врагов... Если бы сейчас император подъехал к нему и сказал: «Умри!» Умер бы, не задумываясь...

Такие же чувства, видел он, бушевали и в душе его друга.

Неожиданно царь подъехал и остановился неподалёку от них.

Чуть поодаль от него расположился оркестр. Свита рядом с государем поуменьшилась. Отца Аким уже не видел.

Через минуту загремела музыка, и полки стали проходить мимо своего главнокомандующего. Солдаты молодцевато и весело отвечали на похвалу императора.

— Рады стараться, Ваше Императорское Величество!

Затем по брусчатке провезли пушки. Следом — кавалерия.

Впереди гвардейского полка ехал отец. Как сейчас он любил его, любовался им и мечтал быть таким же бравым генералом... За полком отца пронеслись казаки, и последними, держа равнение на государя, лихо отбивали шаг, строя из себя бывалых вояк, безусые юнкера.

«Такие же, как я, — глядел на них Аким. — Всё! Решено! Иду в училище!»

Глядя на молодых ребят, Николай заулыбался и произнёс:

— Надежде русской армии, ура, господа!

И юнкера так молодецки рывкнули «Ур-а-а!» и с таким армейским шиком отбивали шаг, что государь захлопал в ладоши, нарушив этим строгий распорядок парада.

---

Вечером Аким с чувством расцеловал отца и, сознавшись в своих грехах, сообщил, что определённо пойдёт в военное училище.

Максим Акимович прослезился, потому что сбылась его мечта, и от гордости за сына.

«Рубанов растёт! Ещё один защитник Отечества!»

Ирина Аркадьевна, узнав о прогуле и безумном решении старшего сына, думала совершенно иначе.



В мае Максим Акимович Рубанов поехал в Гаагу в составе российской делегации, чтоб принять участие в мирной конференции, созванной по инициативе русского императора.

В Гааге собрались представители двадцати держав, которые с треском и провалили предложения Николая о разоружении. Да и как они могли утвердить их, если принц Уэльский назвал призыв России к миру «величайшей бессмыслицей и вздором, какие он когда-либо слышал».

Кайзер Вильгельм и вовсе воспринял российскую инициативу как государственную шутку. Вдосталь насмеявшись от этого сумасброда Ники и наязвившись на тему «Миротворец», он дал ответ русскому царю: «Ники, я надорвал живот от смеха. Вообрази монарха, распускающего свои полки, освящённые вековой историей, и предающего свой народ анархии и демократии...»

Но всё же кое-что положительное произошло. Государства приняли конвенцию по правилам ведения войны, и был учреждён постоянно действующий международный арбитражный суд.



Кроме этой неудачи, в царской семье произошла и другая — опять родилась девочка.

Прежде чем зайти к жене и поздравить её с рождением ребёнка, Николай долго гулял по парку, дабы успокоить нервы, раздражение и изобразить на лице приличествующую событию радость.

«Какая может быть радость, — думал он, — коли мне нужен сын. Ведь до сих пор официальным наследником на престол является мой брат, Мишка, а такого, мягко говоря, олуха, свет ещё не видывал. Ежели я держу примером для подражания, кроме папá, конечно, императора Александра Первого, то мой братец во всём подражает Константину, брату императора Александра. Судьбы иногда склонны к повторению... Тоже того и гляди женится шут знает на ком, создав мне и державе непри-

---

ятности. Ну ладно... Пора идти поздравлять любимую Аликс с рождением дочери».

Конечно, чуть позже, Николай души не чаял в Марии, как и в двух старших дочерях — Ольге и Татьяне.

Через две недели после рождения Марии императора постиг ещё один удар — в возрасте 27 лет скончался от туберкулёза другой его брат — Георгий.

После похорон царская семья уехала успокаиваться в Ливадию.



У Акима это лето проходило под знаком сдачи экзаменов. А экзамены — под знаком столетия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Каждый экзаменатор, даже по математике, считал своим долгом что-нибудь спросить о великом юбиларе.

— Неужели Александр Сергеевич не мог родиться годом раньше? — тяжело вздыхал Дубасов.

— Или годом позже, — развивал его мысль Аким. — Выход у нас один. Следует посетить Домик Петра Первого и помолиться в часовне перед образом Спасителя, дабы помог сдать экзамены.

— Точно! Как я сам не догадался, — обрадовался Витька Дубасов, и друзья направились в сторону Прачечного моста, что напротив Летнего сада.

— О-о! Видать к удаче, — сначала услышали, а затем и увидели пароконную повозку, гремющую по булыжной мостовой окованными железом колёсами.

— Дилижанс летит, — иронично хмыкнул Дубасов.

— «Сорок мучеников», — вспомнил народное название громыхавшего транспорта на жёстких рессорах Аким, приготавливая пятак для проезда и усаживаясь на расположенную поперёк повозки скамейку.

— Пешком бы быстрее добрались, — потёр прикушенную щёку Дубасов, высаживаясь у пристани на Фонтанке.

— Скорее! К Спасителю — за две копейки, — надрывался у схода темного-синего пароходика, матрос в выцветшей тельняшке.

К нему выстроилась очередь мамаш с гимназистиками младших классов и самостоятельных великовозрастных олухов — из старших.

— Пороть их надо было во время учебного года, — бурчал пожилой чиновник в пенсне и с саквояжем в руке, обращаясь



---

к женщинам, но косясь на великовозрастных лентяев. — А теперь из-за этих двоечников нормальные люди на Выборгскую сторону попасть не могут. И откуда такое поверье пошло, что икона сдать экзамены помогает? Я ни разу к ней не ездил, однако ж среди первых учеников гимназию кончил, — пробрался к жёлтой кормовой каюте и уселся на скамью.

Друзья расположились у поручней втащенного на борт трапа.

— Красота, — снял фуражку Дубасов и кому-то ей помахал на пристани.

— Сейчас тебя на двульник накроют, — засмеялся Аким, радуясь хорошей погоде, реке, пароходу и предстоящему плаванию. — Видишь надпись: «Рук за борт не выставлять», и чуть ниже: «Штраф — 2 коп.».

И точно. Подошедший матрос с финским акцентом произнёс:

— Ка-а-с-с-пат-та-а! П-п-росьп-па-а рук-к-и за п-по-орт не выст-т-авляйт-те.

— А я не руки, а фуражку, а про фуражку ничек-к-о-о не сказано, — стал спорить с ним Дубасов. — Терпеть не могу эти корыта, общества лёгкого финляндского пароходства. Лучше бы на шхуну купца Шитова сели, — указал матросу на усердно дымящий чёрной трубой, обгоняющий их пароходик главного конкурента, выкрашенный в зелёный цвет.

Финский морской волк, вспоминая все какую-то финскую «каррамбу», оставил друзей в покое, забыв, про штрафные две копейки.

Как все народные бедствия — типа пожаров и наводнений, экзамены закончились. То ли помогла икона Спасителя в часовне Дома Петра Первого, то ли просто повезло, но друзья экзамены сдали вполне прилично. Даже «гениальный» Дубасов.

Правда, евреи, которые не молились иконе, и вовсе сдали на пятёрки.

Максим Акимович порекомендовал сыну Павловское училище. Зная про суровую его дисциплину, надеялся, что Аким станет там настоящим солдатом и потом ответственным офицером.

— Будь как все! — напутствовал его отец. — Я уже предупредил начальника училища, чтоб не делал поблажек, а наоборот, велел ротному командиру относиться к тебе строже. После служить легче будет. На бога, как говорится, надейся — скромно потупился Максим Акимович, под богом в данный момент, подразумевая себя, — а сам не плошай, — потрепал сына по плечу. — Как ты заметил, ни тебя, ни брата твоего, я не балую. Деньгами особенно. И меня так отец воспитывал. Я, к сожалению, не вечен, поэтому смолodu привыкайте надеяться только на себя. Мало ли что в жизни может случиться. Ведь судьба —

---

ненадёжная и изменчивая дама. Вспомни своего прадеда, героя Отечественной войны Максима Рубанова, — выставил грудь и расправил плечи. — Из гвардейских полковников армейским прапорщиком стал... Затем вновь полковника выслужил. Так-то вот. Трудно будет, но держись, — обнял сына. — Мой отец мне так сказал: «Служи честно, как все Рубановы служили. И помни — Родина одна! Другой у нас нет!» — Вот и я тебе, считай, повторил его наказ.



Двадцать девятого августа 1899 года немного испуганный, но дела геройский вид, юный Рубанов подъехал на извозчике на Большую Спасскую улицу, где находилось Павловское военное училище. Незаметно перекрестившись, шагнул в подъезд здания, в котором ему предстояло два года постигать воинскую науку.

Вместо Сидоровой Козы на площадке парадной лестницы он увидел подтянутого юнкера в бескозырке набекрень, с красными погонами на чёрном мундире и со штык-ножом на кожаном ремне с начищенной бляхой.

Юнкер, по мысли удивлённого Акима, обезьянничал перед огромным, выше человеческого роста зеркалом, то отдавая своему отражению честь, то маршируя.

— Кхе-кхе, — скромно кашлянул Аким, дабы привлечь внимание великолепного юного вояки.

— Так точно, — растерявшись, козырнул своему отражению дневальный, но быстро взял себя в руки. — Первый «козе-рог» пожаловал, — с ухмылкой стал рассматривать Рубанова.

Громыхнув дверь, в вестибюль влетел запыхавшийся Дубасов и, хлопнув по плечу Акима, радостно поздоровался, не обратив внимания на великолепного юнкера.

— А вот и второй ко... — на всякий случай проглотил тот окончание и отошёл к тумбочке, стоявшей у стены неподалёку от двери с табличкой «Дежурная комната».

Следом вошли ещё несколько юношей в кадетской форме, на которую пренебрежительно пялился дневальный.

— Смирна-а! — вдруг заорал он и вытянулся сам.

Кадеты мигом построились и встали во фрунт. Рубанов с Дубасовым растерянно оглядывались, высматривая виновника переполоха.

— Да-а-а! — болезненно сморщившись, словно заболели все зубы и нога впридачу, критически оглядел их вышедший из «дежурки» рыжебородый полковник с купеческой золотой цепочкой от часов по борту сюртука. — Ничего! Превратим вас в людей, — обрадовал заулыбавшегося дневального.

---

Подождав, пока нашли своё место в строю штатские лоботрясы, хриплым басом продолжил:

— Я ваш батальонный командир, полковник Кареев, — окинул прибывших орлиным взором, от которого даже Дубасов вздрогнул и затрепетал. — А вам, господин дневальный, — с иронией глянул на ухмыляющегося юнкера, — одно дежурство не в очередь за весёлое настроение. Доложите о взыскании своему ротному командиру, — привёл в строго служебный вид юнкера и поднял глаза на верхнюю площадку лестницы, с которой, словно ветром сдуло пришедших поглазеть любопытных юнкеров старшего курса. — Вы приняты в Павловское военное училище, — вновь обратился к зелёной юной поросли. — Это лучшее училище России, — глаза его потеплели и загорелись восторгом. — Вы уже не кадеты и тем паче не гимназисты, — со вздохом добавил он, — а юнкера. Любите своё училище, — уже по-домашнему, с потеплевшими глазами произнёс полковник, — и держите его знамя высоко, как держим мы, старые выпускники... И всё у вас будет хорошо, — кивнул кому-то невидимому на верхней площадке лестницы и, чётко повернувшись, шагнул в дежурную комнату.

Подлетевший к ним по кивку полковника стриженный юнкер с двумя серебряными нишпиками на красных погонах с вензелем Павла Первого, подражая полковнику, сморщился, разглядывая вновь прибывших, и рывкнул:

— Вольно!

Подмигнув хмурому дневальному, продолжил:

— Господа юнкера, — глянул на дверь «дежурки», — сейчас прошу вас следовать за мной в цейхгауз для получения обмундирования... Не растягиваться, «козероги», — когда отошли подальше от «дежурки», пренебрежительно произнёс он. — До юнкеров вам расти и расти... — вновь сморщившись, наблюдал, как молодое пополнение надевает белые полотняные рубахи с пюгами, кожаные ремни с тусклыми бляхами и чёрные штаны с короткими сапогами.

Бывшие кадеты быстро разобрались в новой форме и вскоре построились, разглядывая друг друга и особенно гимназистов. На головы, с военным уже шиком, водрузили бескозырки.

— Бескозырку полагается надевать так, чтобы между ней и правой бровью проходил один палец, а над левым ухом — четыре, — нравоучительно произнёс стриженный.

Бывшие кадеты сразу его поняли и мигом поправили бескозырки согласно уставу.

— Ну а вы чего всё бесиком, гимназёры? — подошёл к ним портупей-юнкер старшего курса. — Без сапог, но в шляпе, — ехидно глянул на приляпанные к головам бескозырки. Портянки мотать не умеете? Кто покажет маменькиным сынкам? — по-

---

вернул короткостриженую голову к одевшимся уже юнкерам из кадетов.

— Пара пустяков, господин портупей-юнкер, — щёлкнул каблуками высокий, худощавый, белобрысый юноша.

— Назовитесь, господин юнкер, — строго оглядел его стриженный, — и застегните верхнюю пуговицу на рубахе.

— Слушаюсь! — выполнив команду, вновь щёлкнул каблуками. — Юнкер Зерендорф, господин старший портупей-юнкер.

— Приступайте, — благосклонно разрешил стриженный.

Зерендорф ловко снял сапоги и, поставив ногу на табурет, размотал и намотал портянки.

Выдававший им форму пожилой седоусый унтер-офицер одобрительно хмыкнул.

— Ещё раз, — велел стриженный. — Ну а теперь вы, детвора. Вам весь год в портянках париться, только на старшем курсе носки разрешат носить.

Дубасов обиженно засопел, однако ссориться не решился.

Под смех бывших кадетов Аким с Дубасовым кое-как накрутили портянки и надели сапоги.

Форма на них висела мешком, а бескозырка приляпалась к голове пережаренным блином.

— По-моему, Аким, мы становимся посмешищем Павловского училища, — грустно шепнул другу Дубасов. — Сколько же народу придётся отдубасить, чтобы уважение внушить, — огляделся по сторонам, подсчитывая.

Кроме повседневной формы, им выдали ещё парадный чёрный мундир и высокие сапоги, а также шинели, перчатки, гимнастические рубахи, башлыки, зимние барашковые шапки и ещё кучу всякой всячины.

— Ну а теперь, юнкера рядового звания, — гордо глянул на свои погоны стриженный, — милости прошу в роту. Покажу козережки ваши койки и тумбочки, — хмыкнул в бритый подбородок.

Не успели войти в помещение, как вздрогнули от вопля:

— Р-рота-а, стройсь! — и бравый портупей-юнкер, приложив руку к бескозырке, побежал докладывать вошедшему капитану.

Среднего роста щеголеватый капитан в старомодном пенсне, с университетским значком и юбилейным знаком ПВУ на кителе, прошёлся перед неровным строем, критически оглядывая юнкеров. Левую руку он держал в кармане брюк.

— Я ваш ротный командир, капитан Кусков Дмитрий Николаевич, — остановился перед друзьями и, сморщив лицо, тяжело вздохнул.

— Гимназисты, Ваше благородие, — козырнув, доложил портупей-юнкер, саркастически нахмутив брови.

---

По его глубочайшему мнению, он ответил сразу на все вопросы начальника.

Поднеся к пенсне исписанный листок, капитан прочёл фамилии.

— Вы Рубанов? — почему-то сразу угадал он. — Через час зайдёте ко мне в кабинет, — с ног до головы оглядев юнкера, опять тяжело вздохнул.

Аким растерялся. Хотел сказать «ага» и утвердительно кивнуть головой, но вовремя вспомнил, что это не по уставу. Как нужно по уставу — забыл.

Встретившись с требовательным взглядом капитана, улыбнулся и произнёс:

— Ладно.

Капитан сразу сник, портупей-юнкер напрягся, а рота покатила со смеху.

— Отставить! — резко произнёс капитан. — Займётесь с ними отдельно. А сейчас покажите юнкерам их койки, тумбочки и помещение роты. Завтра распределим винтовки.

Ровно через 60 минут Рубанов, расспросив, где кабинет, с опаской постучал в дверь и, войдя, лихо, по его мнению, козырнул, доложив о прибытии, как учил портупей-юнкер.

— Хорошо! — более доброжелательно произнёс капитан. — Вы сын генерал-адъютанта Его Величества Максима Акимовича Рубанова?

— Так точно, господин капитан, — вспомнив ответ, радостно подтвердил Рубанов-младший.

— В стенах училища забудьте об этом... Вы поняли?

На этот раз Аким не по уставу просто кивнул головой.

— Свободны! — страдальчески махнул правой рукой капитан.

После простого, но сытного обеда, который Акиму не очень-то понравился, Дмитрий Николаевич прочёл краткую лекцию об училище и предметах, которые им предстояло пройти.

— Наше училище представляет собой батальон из четырёх рот. Вашей дисциплиной и воспитанием будут заниматься строевые офицеры: командир батальона, четыре ротных командира, и у каждого ротного — по два младших офицера. Курс обучения рассчитан на два года. Лекции вам станут читать офицеры генштаба, военные инженеры и даже профессора университета.

Капитан крупными шагами ходил по классу, не вынимая из кармана левую руку, и размеренным голосом проводил урок:

— Какие же науки предстоит вам постигнуть в наших стенах? В программу училища входят как общеобразовательные предметы: Закон Божий, русский, французский и немецкий языки. Так и военные дисциплины: тактика, артиллерия, фортификация, военная топография, военная администрация,

---

военная история, законоведение, военная гигиена. Все военные училища готовят не только для армии, но и для государства людей образованных и культурных, а потому в программы военных заведений, и в наше в том числе, включены танцы, гимнастика, фехтование, ну и, разумеется, все вы должны знать теории и использовать на практике правила хорошего тона и светский этикет.

«Надо мадам Камиллу сюда устроить», — хмыкнул Аким.

— ...чтоб дамы, завидев вас, восклицали: «Ах, эти военные такие душки», — пошутил напоследок капитан.

Далее обучение взял в свои руки стриженный портупей-юнкер.

Закрыв дверь классной комнаты и пару раз скомандовав «Встать-сесть», чтоб знали своё «козерожье» место, он тоже провёл урок.

— Вот что, господа «козероги», все вы, как «Отче наш», должны запомнить, что юнкер старшего курса для вас царь, бог и воинский начальник. Следует беспрекословно ему повиноваться, не за страх, а за совесть... Шучу! За страх тоже. Старший курс до воинской присяги станет постоянно вас, так ска-а-ать, экзаменовывать. Где бы вы не столкнулись со старшим юнкером, должны беспрекословно... запомнили, господа «козероги», беспрекословно исполнять его команды. Это называется «цук». Поверьте молокососы, цуканье поможет вам быстро усвоить воинскую науку и дисциплину. Юнкер старшего курса для вас не какой-то там гимназёр или студиз, а «трынчик». Это очень почётное звание. Но как бы старшекурснику не хотелось задавить вас своим авторитетом, его притязания строго ограничены. Из еды «трынчику» брать ничего не положено. Булки по утрам ешьте сами. Бить и оскорблять вас мы тоже не имеем права... Ну а «молодой» там или «маменькин сынок» — не оскорбление, а констатация факта. Уяснили, клопы? Это наши, а теперь и ваши неписанные традиции. И скажите спасибо, что вы не в Николаевском кавалерийском училище. Вот там настоящий «цук». А здесь так, пустяки... Если что, обращайтесь ко мне. Некоторое время я буду вашим командиром взвода. Обращаться ко мне следует «господин портупей-юнкер». Ну а для расширения вашего кругозора... зовут меня, — поднял крепкий кулак и поводит из стороны в сторону стриженной головой на мощной шее, — Гороховодатсковский Амвросий Дормидонтович.

— Чего-о? — поразился Дубасов. — Не в жизнь не выговорю.

— Если коротко, то ГАД, — хмыкнул Рубанов.

Почуввав посягательство на свою фамилию, стриженный крепыш как можно строже нахмурил широкие брови, зловеще подёргал курносый нос, и друзьям по его команде пришлось пятнадцать раз лечь и отжаться.

---

— Или Горох, — с придыхом от физических нагрузок зашептал другу Дубасов, на что тот хихикнул.

Отжавшись ещё по двадцать раз, они всё равно остались при своём мнении.

Повоспитовав молодёжь, которой повезло, что портупей-юнкер точно не расслышал, а только догадывался о данной ему характеристике, тот вдарился в воспоминания:

— А сюда я пришёл не из какой-то там ГАВНАЗИИ, — глянув на друзей, громче, чем надо, произнёс он, — а из Императорского училища правоведения, что на Фонтанке, напротив Летнего сада. Знали бы вы, дети, как надоели мне всякие «права»: римское, гражданское, морское, полицейское... Вот потому-то будущие законники и сидят после лекций в различных забегаловках на Фонтанке и немерено гложат водку. Вот она, жисть-то была, какая окаянная, — по-крестьянски просто описал свою судьбинушку. — А какая там форма? Жёлто-зелёной масти. Тьфу! За неё-то в народе нас и прозвали — «чижики», сочинив дурацкую песенку: «Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две — зашумело в голове», — напел он, сразу вызвав уважение в Дубасове. — В сто раз лучше быть «трынчиком», чем каким-то там «чижиком».

Весь взвод, безусловно, согласился с портупей-юнкером.

После небольшого перерыва, за который курящие юнкера успели покурить в специально отведённом месте умывальной комнаты, а некурящие продолжили знакомиться, Горохово-датковский представил взводу ещё одного юнкера старшего курса:

— Господа, самый главный ваш начальник и мой тоже — фельдфебель первой роты Соколов Михаил Иванович, — почтительно козырнул крепкому и высокому, под стать Дубасову, юнкеру в фуражке и с тесаком на ремне.

«Нас, что ли, изрубить собрался?» — внутренне ухмыльнулся Аким.

Внешне не посмел. Слишком представительен и важен был фельдфебель. Он не знал ещё по наивности и молодости лет, что тесак является вожделенной мечтой простых смертных юнкеров и носят его только портупей-юнкера и фельдфебели. Да плюс к этой роскоши фельдфебелю положена ещё фуражка вместо бескозырки и белый, а не коричневый ремень.

— С фамилией на этот раз всё в порядке, — сделал глубоко-мысленный вывод Дубасов, — но моя звучит лучше.

За фельдфебелем, кровожадно улыбаясь, стоял ещё один юнкер старшего курса с какой-то небольшой картонной коробкой в руке.

---

— Господа юнкера, — выставив вперёд подбородок и чуть задрав голову, властно произнёс фельдфебель, отстранив ещё что-то хотевшего сказать Гороховодатского. — Я фельдфебель первой царёвой роты старшего курса и некоторое время буду вашим фельдфебелем. Большинство нарядов не в очередь будет исходить от меня, — лицо его на минуту приняло блаженный вид, но он быстро справился с собой и опять стал сурово-недосягаемым. — Однако и увольнительные давать буду я, — улыбнулся неровному строю. — И гонять вас по плацу тоже пока буду я или мой заместитель, — сделал небрежную отмашку рукой в сторону Гороховодатского. — Р-равняйся! — неожиданно рыкнул он. — Смир-р-на! — насмешливо покачал головой. — Гороховода-доска... тьфу, господин взводный, — обратился к портупей-юнкеру, — и это называется строй?

— Никак нет, Михаил Иванович, — уважительно, но в то же время показывая юнкерам, что он у фельдфебеля свой человек, ответил Гороховодатский.

— Тогда мы их подровняем под гребёнку, — по слогам, значительно глядя на юнкеров рядового звания, произнёс фельдфебель. — Это наш, вернее, ваш ротный парикмахер Ковалёв Александр Петрович, — указал на кровожадного.

Тот жёлчно усмехнулся и не внутренне, а открыто, и, придав лицу выражение, с которым палач поднимает топор над головой будущей жертвы, вытащил из картонной коробки машинку для стрижки волос.

— Тупа-ая! — хрипло произнёс инквизитор, подняв орудие казни перед неровным строем, и несколько раз сжал и разжал блестящие её рукояти. — Ты! — указал на Зерендорфа.

Бедняга побледнел, затрепетал и покрылся потом.

— Неси к окну табурет.

С плачевным видом, будто принёс не табурет, а колоду для отсечения головы, Зерендорф поставил его у окна.

— С-садись! — устрашающе клацая челюстями прибора, приблизился к жертве садист-парикмахер, и волосатая рука его занесла над головой Зерендорфа машинку. — Не надейтесь! — оглядел окруживших его юнкеров. — Стричь стану под ноль, чем вы сейчас и являетесь.

К вечеру, одинаково стриженные, мрачно пошли в столовую.

— А ведь я окончил Кадетский корпус шестым учеником и вице-унтер-офицером, — жаловался Дубасов идущий рядом с ним в первом ряду Зерендорф.

— Озверели эти «козерегие папаши», — поддержал его хватавшийся уже ходячих училищных выражений Дубасов. — Тебя как зовут?

— Григорий.



---

— А меня Виктор, — познакомились они под окрик портупей-юнкера: «Разговорчики в строю!»

Спустившись по тускло освещённой лестнице на первый этаж, прошли в столовую, где стояли длинные столы со скамьями.

— Садитесь на скамью по пять «козерогов», — отдал приказ Гороховодатсковский, усаживаясь за крайний стол.

Служители в белых рубахах споро разложили по тарелкам пшеничную кашу с мясом, богато приправленную маслом. На этот раз Аким съел всё до дна и с сожалением облизал ложку.

Один служитель уже наливал в толстые белые кружки горячий чай из большого медного чайника, а другой раскладывал перед юнкерами мягкие французские булки.

К винтовкам в этот день перейти не успели, но впереди ещё было два года.

После ужина недолго перекурили и отдохнули. Без четверти девять в коридоре затрещал барабан, и появившийся фельдфебель велел Гороховодатсковскому строить роту на переключку. В девять ноль-ноль вечера, держа в руке список, Соколов начал проверку личного состава, по алфавиту выкрикивая фамилии:

— Антонов! — строго вызывал он.

— Я! — испуганно ответил из строя красивый голубоглазый юнкер.

— Дроздовский!

— Я! — чётко произнёс высокий, хорошо поставленный голос.

— Дубасов!

— Я! — молодецки гаркнул новоиспечённый юнкер.

Постепенно дошла очередь и до Рубанова.

После проверки молодой священник пропел с ними вечернюю молитву.

— Ничего, сынки. Тяжело в ученье, легко — в бою, — подбодрил их суворовскими словами.

После вечерней молитвы вновь было свободное время. Все разбрелись кто куда по казарме.

Дубасов с Акимом сначала перемотали натёршие ноги портянки, потом уселись на свои койки и стали тупо смотреть друг на друга.

Просидев так около часа, горько вздохнули и тихо разошлись.

Дубасов — курить. Аким — смотреть в окно.

А за окном мутно-прозрачный туман стелился по училищному двору, по каналу и клубился между жёлтых от осени высоких деревьев недалёкого Петровского парка. Акиму так захотелось туда, в осень.

---

В половине одиннадцатого вечера двое назначенных дневальных во всю глотку стали горланить, прикидываясь бравыми служаками.

— Р-рота, отбой! — кхе-кхе-кхе, поперхнувшись, закашлял один из них.

Но сразу лечь спать не удалось. Зловредный Гороховодатковский полчаса обучал юнкеров правильно раскладывать на табурете снятую форму.

Наконец он смиловился и разрешил им спать.

Аким, укрывшись синим одеялом, решил вспомнить и проанализировать, как он провёл день, но в ту же минуту у него над ухом затрещал дурацкий барабан и ещё более дурацкий дневальный, выхватив из ножен штык, стал колотить им по железным дужкам коек и во всю широченную лужёную глотку орать:

— Р-рота, подъём!

— Встава-ать, рота, — вторил ему напарник.

Дубасов, подняв стриженую голову с подушки, прислушивался, пытаясь понять, где это он очутился.

— Вить, слышь, здесь что, и по ночам покоя не дают? — сонным голосом произнёс Аким.

— Да утро уже! — со вздохом спустил ноги с постели Дубасов.

— Как утро? — разглядывал ошалелых спросонья юнкеров Аким.

Отовсюду поднимались с постелей белые фигуры и громко крыли барабанщика, дневальных и тихонько — портупей-юнкера. Присутствующего на подъёме фельдфебеля материли мысленно.

— Какие на вас шикарные кальсоны, господин «козерожий» юнкер, — похвалил рубановский наряд Дубасов, с трудом удерживая улыбку и разглядывая вытянутые на коленях Акима белые штаны. — Кавалергард, да и только.

— На себя-то поглядите, господин будущий полковник. Пока ворочались, о девицах думая, пуговицу на белоснежных бальных штанах оторвали, — не остался в долгу Аким, — где иголку с ниткой возьмёте?

Дубасов сразу сник.

— Я о тесаке думал, — буркнул он, направляясь со своей бедой к взводному.

Постепенно казарма наполнялась шумом и движением. Вялые юнкера, недовольно ворча, тащились в умывальную комнату, расположенную рядом со спальным помещением, где с одной стороны находились медные умывальники, а с другой, у стены, в деревянных стеллажах стояли винтовки.

Рядом с оружием, за небольшим столиком с тускло горевшей лампой под розовым фарфоровым колпаком, сидел на табурете дежурный по роте — юнкер старшего курса, и осолове-

---

лыми глазами смотрел на раздетых по пояс подведомственных «козерогов», плескавших друг на друга воду из краников и вопивших при этом дикими голосами, видимо, чтоб отогнать сон от «козерогого папаши».

Подошедший Гришка Зерендорф смело подставил свой тощий торс под струю воды и тут же завизжал тонким, пороссячим, а по мнению окончательно разбуженного дежурного, «козерожьим» визгом, заглушив остальные паровозные гудки и приманив потрясённого фельдфебеля.

— Что вы тут орёте, как бешеные зайцы? Смотрите у меня!

Узнавший у взводного, где взять швейный инструмент, Дубасов усталился на главнокомандующего, придерживая руками кальсоны.

— Чего усталился? — вперил в него грозный взгляд главный воинский начальник.

— Сами сказали: «Смотрите у меня...»

— За глупый солдатский юмор два наряда не в очередь, — для доходчивости поднял два пальца фельдфебель. — Горохово-даско-доска... да что ты будешь делать... Взводный! — сиреной взвыл Соколов, в десятки раз перекрыв недавний визг Гришки Зерендорфа. — Этого так называемого юнкера, а при внимательном взгляде — натурального «козерога», запряжешь на пару ночей полы в коридоре драить...

— Господин фельдфебель, у него и так горе — пуговица на кальсонах оторвалась, — вступился за друга Рубанов.

— И этого «муфлона», тьфу, «козерога», тоже, — указал на заступника Соколов. — По три часа после отбоя.

— Вот и исполняй после этого команды, — под смех товарищей развёл руками Дубасов, с трудом успев поймать сползающие кальсоны.

— Нам дали понять, что детство кончилось, и здесь не гимназия, а военное училище, — стал умываться Аким.

Затем вслед за другими юнкерами прошёл в комнату для чистки, где лежали на скамейках щётки и помазки, а в углу стояло ведро с сапожной смазкой, около которого, поставив ногу на невысокую скамейку, старательно начищал голенища сапог фельдфебель.

Здесь же унылый Дубасов, примостившись на табурете под неярко горевшей лампой, высунув от усердия кончик языка, мучался с пуговицей, истыкав пальцы иголкой.

— Учитесь, молодёжь, — взяв «гербовку», стал начищать пуговицы мундира удовлетворённый мучениями «козерога» фельдфебель. Следом он отполировал бляху. — Луч света в тёмном царстве, — похвалил свою работу. — А у вас что? Сплошное тёмное царство, — опозорил юнкеров. — Господа! Быстрее

---

приводите себя в порядок, и строиться, — нахмурился при слове «господа» и вышел из бытовки.

Не успел Аким одеться, как подбежавший к окну Горохово-датковский скомандовал:

— Второй взвод, строиться-я.

Первый взвод, опередив второй, уже равнял свои ряды.

Тщательно побритый и наодеколоненный фельдфебель важно прошёлся перед линией юнкеров и, вдруг заорав «Смирно!», помчался рапортовать ротному:

— Господин капитан, рота на утреннюю поверку построена, — с шиком козырнул начальнику.

— Здравствуйте, Соколов, — за руку поздоровался с ним командир. — Здравия желаю, господа юнкера, — поприветствовал роту и горестно помотал головой от их ответа. — Позанимайтесь с подразделением, — велел фельдфебелю и отошёл к окну.

Через десяток минут рота ответила на приветствие командира более-менее сносно.

Начался осмотр внешнего вида: мундиров, сапог, пуговиц, ремней и тщательности бритья.

Строго разглядывая юнкеров, ротный шёл вдоль строя, сопровождаемый фельдфебелем, и почти у каждого находил какой-либо недостаток.

— Внимательнее надо смотреть за подчинёнными, — сделал замечание Соколову. — Отставить! — поднял правую руку, прервав его оправдания. — Сегодня наказывать не будем. После молитвы ведите роту в столовую.

Позавтракав, сидя в классе, боролись со сном, попутно изучая устав. Делая ошибки, записывали в тетради, к кому как обращаться и что отвечать.

Затем, чтоб отогнать сон, учились отдавать честь. Горохово-датковский расставил юнкеров в коридоре, подальше друг от друга после того, как Дубасов, щёлкнув каблуками, резко выбросил правую руку в сторону и сбил с ног стоявшего рядом Пантюхова. Тот, взбрыкнув ногами, под хохот взвода, грохнулся на пол, сразу победив сон и на зубок запомнив, к кому как обращаться.

— Да-а! — покачал стриженной головой портупей-юнкер. — Оказывается, нет воина опаснее бывшего гимназёра.

— Раньше его звали Головорез, — подтвердил Рубанов, скромно умолчав о втором прозвище.

Перекурив и обсудив происшествие, юнкера разобрали винтовки, а фельдфебель в особый журнал переписал их номера, и в графе напротив — фамилию владельца.

Потом после обеда и двухчасового отдыха — уставы, физподготовка, чтоб одолеть послеобеденный сон, и перед ужином,

---

для поднятия аппетита Соколов с огромным вдохновением провёл строевые занятия на плацу, пообещав с завтрашнего дня перейти к индивидуальной строевой подготовке.

— Будем оттачивать выправку, господа, — обнадёжил уставших юнкеров.

— Военное училище, господин юнкер Дубасов, оказывается, очень умственное и полезное для юношества заведение, — работая после отбоя шваброй, разглагольствовал Аким.

— Я тоже так думаю, господин юнкер Рубанов. Особенно развивает руки, — поддержал друга Дубасов, отжимая тряпку не в ведро, а себе на колени.

— Р-р-азговорчики, — от скуки прикрикнул на них парикмахер, который был сегодня дежурным по роте, но увидев разъярённое лицо отшвырнувшего тряпку Дубасова, почёл за благо смотаться подальше. — Через час приду, проверю, — чтоб не терять марку старшекурсника, крикнул им на прощание.

— Господин шкурный по роте, тьфу, дежурный по роте, уборку коридора закончили, — приложив два пальца к виску, доложил циркульнику обстановку Рубанов.

Дубасов молча сопел, с ненавистью глядя то на швабру, то на «козерогого папашу».

Отойдя от него на всякий случай подальше, дежурный стал вразумлять Акима, который якобы оговорился при докладе:

— Во-первых, к пустой голове руку не прикладывают, — загнул один палец, — во-вторых, сказано отработать три часа, — мстительно оглядел «козерогов».

— Сказано коридор с лестницей помыть, и мы помыли, — возразил Рубанов.

— Ещё спорить будешь с «трынчиком», — расхорохорился ротный брадобрей, — плохо помыли, давайте по новой, — вновь исчез в оружейной и по совместительству умывальной комнате.

Аким с тоской оглядел громадный объём работы, тяжело вздохнул и приступил к уборке.

«Права была мама, — лёжа на койке и считая для разнообразия длинный ряд окон, размышлял Аким. — Лучше бы я в студенты пошёл. Жил бы сейчас дома и горя не знал. Целых два года провести здесь, в этой казарме. Умываться ледяной водой. Словно слон в цирке, топтать под команду ногами, да при всём этом напускать на лицо бравый и довольный вид... Я не смогу! Нет! Не выдержу... Но как же Глеб? — заворочался на матрасе. — Ведь он же на два года младше меня, а выдержива-

---

ет... Выдерживает, потому что — Рубанов. А что же я? Стыдно! Должен выдержать! Выдюжу!» — дал себе слово и провалился в сон.

И снова «та-та-та» выбивал барабан. Снова утренняя брань юнкеров, ледяная вода и простой завтрак, и физподготовка, и уставы, хождение строем на плацу под ненавистный уже барабан. Затем индивидуальная подготовка.

Занимались шагом так, чтобы ступня ноги, идя всё время параллельно земле, выносилась на аршин вперёд. И так не то что до седьмого — до семнадцатого пота.

Через неделю вставать стало как-то легче, и вода уже не казалась такой ледяной, и канат, по которому обезьянами лазили на физподготовке, не таким длинным, а уставы не такими замучившими.

Юнкера стали чаще шутить и улыбаться. Как-то в воскресенье, развеселив Акима и всю роту, в казарме появился скелет — точная копия гимназического, только этот был в лихо заломленной бескозырке, с папиросой в зубах и в форме «павлона». В костлявой руке он держал плакат «Мама, я павлон-отличник».

И хотя в военных училищах была не 5-ти, а 12-балльная шкала успеваемости, кадеты и гимназисты младшего курса по привычке называли себя отличниками или двоечниками.

— Привычка — вторая натура, — сделал вывод Гороховодатсковский.

— Намного солиднее, чем свечу втыкать в мослы, — похвалил костлявую немощь Дубасов.

— Господа, меня именуют Николай Малюшин. Кто желает запечатлеться на память — гоните трёшницу и сфотографирую, — предлагал суетившийся возле костлявого отличника весьма упитанный юнкер старшего курса.

Он широко улыбался и показывал стоявший на треноге фотографический аппарат.

— Какие щёки накачал, — толкнул Дубасова Аким. — Да не скелет, а его друг.

От желающих сняться для истории с мосластым красавцем не было отбоя.

Сфотографировался и Рубанов, обратившись потом к Малюшину:

— Господин юнкер, а можно с вами за трёшницу щёлкнуться? Только плакатик нужен другого содержания, например, «Я и павлон-двоечник».

— Это чтобы за отметки дома не ругали? — сообразил фотограф. — Да ради бога.

---

Через десяток минут Аким запечатлелся для родителей, обнимая одной рукой упитанного двоечника, а другой — костлявого отличника.

Потрясённая рота вновь стала сниматься.

Фотографом на этот раз был Дубасов.

За идею Рубанов получил четыре снимка бесплатно, а Дубасов и вовсе заработал тридцатник.

В октябре в торжественной обстановке в училище проходила военная присяга.

Как и всякому славному делу на Руси, ей предшествовала большая церковная служба.

День был хоть прохладный, но солнечный, поэтому служба проходила на плацу. Перед строем юнкеров установили аналой со Святым Евангелием и Крестом.

Юнкеров окружало ещё одно каре — родителей и родственников. Чета Рубановых стояла на почётном месте.

В торжественной тишине, старательно печатая шаг, к середине каре юнкеров вышел начальник училища в сопровождении командира батальона и поприветствовал их. После дружного ответа, волнуясь не меньше юнкеров младшего курса, генерал-майор Шатилов отдал команду:

— Р-равнение на знамя!

Оркестр грянул марш «Под двуглавым орлом», и у Акима восторженно заколотилось сердце, когда знаменщик, чеканя шаг, торжественно прошёл перед замершим строем и встал у аналая, держа штандарт с золотым орлом на вершине древка.

— На молитву! Шапки долой! — скомандовал на этот раз полковник Кареев, и священник, тоже волнуясь, произнёс:

— Повторяйте за мной слова военной присяги: «Обязуюсь и клянусь Всемогущим Богом перед Святым Его Евангелием защищать Веру, Царя и Отечество до последней капли крови...».

Аким повторял слова клятвы, но глядел не на священника, а на стоящего неподалёку отца, тоже шептавшего слова давно им принятой присяги.

И столько света было в его взгляде, что у Акима отчего-то навернулись на глаза слёзы.

Затем адъютант училища громко зачитывал военные законы, карающие за нарушение присяги и награждающие за храбрость.

Хотя Аким всё это прочёл заранее, сердце его трепетало от гордости — он становился защитником России.

А когда в порядке очереди подошёл к аналою и приложился пересохшими губами к Кресту, Евангелию и, встав на колено, поцеловал краешек знамени, глаза вновь налились

---

слезами, и он понял, что судьба его навеки связана с Отечеством и армией.

«Не станет армии, пропадёт и Россия», — подумал он.

Ирина Аркадьевна тоже промокала платочком глаза, осознав, что сын больше ей не принадлежит безраздельно и у него начинается своя, взрослая жизнь.

Максим Акимович постыдился достать платок и украдкой вытирал глаза ладонью. Этой минуты он ждал всю жизнь, иногда надеясь только на чудо. И оно произошло.

«Старший сын, придёт время, заменит отца и подхватит знамя защиты Отечества из его ослабших рук. Россия бессмертна, пока Рубановы оберегают её», — не стыдясь уже своих слёз, думал генерал.

После присяги и торжественного обеда юнкеров на целые сутки отпустили по домам — кто жил в Петербурге. Иногородним дали увольнительные до вечера.

Аким получил первую в своей жизни увольнительную и, взяв в каптёрке парадку, чтоб ушить, в повседневной форме отправился домой.

— Ой, похудел-то как, бедный, — всплеснула руками Ирина Аркадьевна, — а где твои прекрасные локоны? — с ужасом глядела на стриженую голову.

— Зато, мам, по канату могу залезть хоть на крышу дома.

— Слава тебе господи! Научился, — с иронией глянула на сына. — Я всю жизнь об этом мечтала.

— Ладно язвить-то, — обнял Акима отец. — Зато мышцы крепкие стали. Смир-р-но! — вдруг рявкнул он, отметив для себя, что сын сразу вытянулся во фрунт. — На пользу пошла наука, — протянул ему 48 рублей. — Сгодятся в хозяйстве. Скоро и Глеб подойдёт. Форма, однако, сидит на тебе безобразно. Совсем не пригнана. Но ничего. К утру с иголочки одет будешь, — велел не мадемуазель, а мадам Камилле срочно звонить знакомому портному.

— А вот и фотографии, — развеселил отца и расстроил мать Рубанов-средний. — Так что на отлично учиться не обещаю.

Вволю наевшись, под руководством Антипа, разбирал и собирал винтовку, которую, по приказу генерала, денщик держал дома — вдруг опять воры полезут.

Максим Акимович не мог нарадоваться на сына.

Зато Ирина Аркадьевна была в шоке, глядя на то, как надежда и опора становится солдафоном.

«Ладно - Глеб. На него я давно махнула рукой, но Аким...»

После принятия присяги на должности отделенных и взводных командиров капитан Кусков выдвинул своих юнкеров.



---

Фельдфебелем роты стал получивший третью лычку Гороховодатсковский.

Начальник училища приказом утвердил его выбор.

Тощий Гришка Зерендорф получил две унтер-офицерские лычки и должность командира взвода, а Витька Дубасов неожиданно для себя стал командиром отделения и младшим унтер-офицером.

— Учение и труд всё перетрут, — снисходительно похлопал он по плечу Акима. — Эх-ма! Оказывается, нет ничего лучше армейской службы.

Теперь на железной каретке дубасовской койки висела не какая-то там красная табличка, а солидная, позолоченная, с крупными красными буквами, извещавшими простых смертных юнкеров, что здесь спит младший унтер-офицер Дубасов.

Просыпаясь, он дышал на неё и полировал рукавом.

После присяги, кроме маршировки и физподготовки, начались лекции и исчез «цук».

День пролетал как миг.

Взводу легче не стало, что руководили свои юнкера. Дубасов по утрам строго проводил осмотр мундиров, сапог и внешнего вида, придравшись однажды по поводу оторванной пуговицы даже к Акиму.

— Дружба дружбой, а служба службой, — оправдался потом перед ним.

С огромным упоением он дежурил по роте, и докладывал капитану:

— Ваше благородие, в 3-й роте юнкеров 103, в лазарете — 5, налицо — 98. Всё обстоит благополучно.

Капитан шёл вдоль строя, останавливался по центру роты и здоровался с подразделением:

— Здравия желаю, господа юнкера! — и добродушно слушал чёткий ответ.

Затем сам проводил внешний осмотр.

— Дубасов, — подзывал командира отделения.

Тот срывался с правого фланга взвода, подбегал к ротному и вытягивался.

— Хоть вы и дежурный по роте, но за отделением тоже смотреть следует. Обратите внимание на юнкера Дроздовского. Забыл, наверное, когда сапоги в последний раз чистил. Дневальство вне очереди, господин юнкер.

Полы после принятия присяги драить не заставляли.

— А у Рубанова крючок оторван! На следующую субботу без отпуски. Следите за другом.

Дойдя до левого фланга, с удовольствием окинул взором юнкеров, стараясь как можно строже глядеть из-под пенсне, и миролюбиво произнёс:

---

— Взводный Зерендорф, ведите роту на завтрак.

Ошеломлённый своим значением, Зерендорф командовал:

— Р-тора-а! — с шиком растянул последнее А. — Напр-р-аво! Шаго-о-м марш! — выстрелил последнее слово и с наслаждением наблюдал, как чуть качнулись стриженные головы, и рота чётко повернулась направо.

Звучно стуча ногами, стали выходить из помещения.

По быстрому поев и попив чаю с французской булкой, к восьми часам спешили на лекции.

В отличие от гимназии, слушали внимательно.

Перед обедом, когда уже уставали сидеть, приходил полковник Дурново и писал на доске формулы. Юнкера переписывали их в тетради, по возможности стараясь понять и запомнить.

В столовой, у накрытых столов хором пели молитву и обедали. В конце обеда появлялся начальник училища, здоровался с батальоном и довольный выслушивал дружный ответ:

— Здравия желаем, Ваше превосходительство.

После обеда и небольшого отдыха сквозь дрему слушали об устройстве орудия: затворах, трубах, муфтах, винтах и прорыве газов.

В половине второго возвращались в казарму, снимали маленькие сапоги и надевали высокие.

— Быстрее, быстрее, хватит спать, — подгонял Дубасов юнкеров, наблюдая, как они напяливают бескозырки, опоясываются ремнями с жёлтыми подсумками и бегут разбирать винтовки.

Затем в одних мундирах выходят на плац, покрытый тонким слоем снега, и по команде капитана Кускова: «Ро-о-ота-а, бего-о-м марш!» — бегут по снегу, выдыхая изо рта пар.

Винтовки хлопают по спине и мешают бежать.

Холодно! Неуютно! Скользко!

— Ать-два, ать-два, — подбадривает их капитан.

Постепенно винтовки будто срастаются со спиной, мороз куда-то уходит, бег становится лёгким, пружинистым и свободным. Кажется, ноги сами несут тебя навстречу ветру и небольшому снегу.

— Шаго-о-м марш! — командует капитан.

Резко чеканят шаг юнкера, но ротному не нравится.

Приглаживая усы, он идёт сбоку, не вынимая левую руку из кармана шинели:

— Но-о-ги нет! Не слышу! Резче! Резче! Отбить шаг! Ать-два, ать-два! Прямее ногу!

Наконец стал довольным и отдал команду: «Вольно-о! Р-разойтись!»

Повеселевшие, с мокрыми от пота спинами, толкаясь и гремя винтовками, юнкера лавиной помчались к подъезду, чтоб скорее попасть в тепло родной казармы.

---

Капитан Кусков, шагая сзади, улыбнулся, заметив, как Дубасов пытается навести элементарный порядок.

«Дети ещё!» — ласково глядел на юнкеров.

А те, радуясь, что занятия на холоде закончились, грели руки и протирали запотевшие в тепле винтовки.

Перекурив и отдохнув, строились на «ружейные приёмы», по сложности даже рядом не стоявшие с шагистикой. Всего и делов-то — вытянись во фрунт с оружием «на плечо» и слушай замечания капитана Кускова.

Не занятия, а блаженство наподобие сна.

— Юнкер Дроздовский, разверните приклад, возьмите больше в плечо. Смотрите, как Рубанов держит. А вы, Пантюхов, — обращался к невысокому, стройному юноше Кусков, — чего ухо о винтовку расплющили... Ухо, говорю, поднимите и плечо не заваливайте...

«Я его и не ронял, — мысленно подбадривал себя юнкер, — и плечи держу ровно», — тем не менее беспрекословно выполнял команды ротного.

— Коли надумали военным стать, так любите винтовку, — махнул барабанщику, и тот, радуясь своей должности, стал монотонно отбивать редкий шаг, под который юнкера, цепочкой друг за другом, медленно проходили длинный коридор с винтовкой на плече, а рядом безотлучно шёл капитан и исправлял недостатки. — Твёрже ногу, Рубанов. На весь след, не подсекайте, проносите плавно...

«Сейчас бы небольшой конец света не повредил», — размечтался Аким, ставя твёрже ногу.

— Когда нога сзади, носок кверху, — не унимался капитан, — вы слышите меня, Рубанов, кверху носок. Молодец!

Так день за днём оттачивалась выправка и дисциплинировалась воля.

### КОВАЛАСЬ РУССКАЯ ПЕХОТА!

До пяти вечера был перерыв, и желающие попить чаю со сладкими пирожками или булками шли на первый этаж в чайную.

Здесь за маленькими столиками, собирались представители всех рот и делились впечатлениями от занятий, рассказывали анекдоты, ну и, конечно, велись беседы о дамах.

Затем зубрили пройденный материал и в шесть вечера шли в класс на так называемые репетиции, где каждый отвечал преподавателю по предмету.

Затем ужин, вечерняя поверка, молитва и до полонинадцатого отдых. В одиннадцать вечера отбой, и до семи утра сон.

Утром всё начиналось сначала...

---

В увольнение отпускали по праздникам, по средам и субботам.

Одну субботу Аким пропустил из-за оторванного крючка, но в последнюю субботу октября всё же удостоился чести сходить в увольнение.

Но теперь это стало делом непростым.

Единственный раз после присяги начальство сквозь пальцы глядело на форму одежды первокурсников.

Дежуривший по училищу офицер отпускал в два, четыре и шесть часов. К двум часам дня на площадке перед дежурной комнатой собралась группа юнкеров со всего батальона.

Обычно, как начинали бить часы, из дежурной комнаты раздавался голос офицера: «Являться!»

Но не сегодня.

Благодаря наплыву неопытных «козорогов» училищное начальство приказало дневальным вытащить стол на площадку, и чуть не весь состав строевых офицеров тревожил нежные юнкерские сердца суровым отцовским взором.

Молодцеватых старшекурсников отпустили сразу и занялись молодым составом.

Батальонный командир строго оглядел волнующуюся «козержью» шеренгу и почему-то вздохнул, словно перед ним стояли не бравые вояки, а доприсяжные маменькины сынки.

По понятиям юнкеров, всё, что застёгивалось, было застёгнуто. Всё, что могло блеснуть, сияло. Герб на шапке — перешли на зимнюю форму одежды — аж светился. Бляха на кожаном ремне просто лучилась. Пуговицы, начищенные толчёным кирпичом до золотого сияния, ослепляли своим блеском. О сапогах и говорить нечего... Чёрные зеркала.

Куда уж лучше-то?

— По очереди являться! — приказал дежурный по училищу, командир 1-й царёвой роты.

Первым в шеренге стоял юнкер Александр Колчинский.

Остановившись в двух шагах от стола, он начал рапортовать полковнику, тот кивнул на дежурного офицера.

Растерявшийся юнкер, резко, как учили, выбросив правую руку в сторону параллельно полу, лихо согнул её в локте, приложив ладонь к виску и одновременно щёлкнув каблуками красавцев-сапог, отчётливо произнёс, делая бодрый вид и грызя глазами начальство:

— Господин капитан, позвольте билет юнкеру третьей роты Колчинскому, уволенному в город до поздних часов.

Оглядев юнкера с ног до головы и обратно, ротный произнёс:

— К зеркалу.

Это означало, что внимательный и опытный глаз капитана заметил неисправность в одежде, и явку следует начать сначала.

---

Повертевшись перед зеркалом и чего-то поправив Колчинский встал в хвост очереди.

— Следующему являться, — приказал капитан.

С замиранием сердца в двух шагах от стола остановился Пантюхов.

Этому даже не дали доложить.

— Прибудете в следующую явку, — произнёс командир батальона. — И научитесь верхний крючок на шинели застёгивать.

Теперь бедному Пантюхову весь процесс следовало начинать через два часа.

Третьим к столу подошёл Дроздовский.

— Господин капитан, юнкер Дроздовский по вашему приказанию явился... для...для взятия билета.

— Смирно! — рыкнул полковник и даже подскочил на стуле. — Не умеете являться, так учитесь... и потрудитесь перешить пуговицу с перевёрнутым верх ногами орлом. Вернитесь в роту!

«Всё, — подумал Рубанов. — Следующий я. Судя по нарастающей степени замечаний меня ждёт карцер», — мысленно поразившись, как умно составил предложение о замечаниях, на ватных ногах промаршировал к столу, заменявшему юнкерам плаху, молодцевато отдал честь, синхронно с этим щёлкнув каблуками, и внятно доложил.

— Ну-у, хоть одного научили, — язвительно произнёс Кареев, глянув на присутствующего здесь командира третьей роты.

Кусков покраснел, снял, потом вновь надел пенсне, но ничего не ответил.

— Берите билет! — велел Рубанову дежурный по училищу, услышав характеристику старшего начальника.

Шагнув к деревянному ящичку на столе, Аким дрожащими пальцами стал отыскивать картонный отпускной билет со своей фамилией. В замшевых перчатках это было просто пыткой.

«Сейчас точно в карцер отправят», — наконец вытащил картонный квадратик и встал во фрунт.

— Ступайте! — скрывая улыбку, разрешил дежурный по роте.

С облегчением повернувшись направо, Аким покинул импровизированный эшафот и вышел из подъезда на Большую Спасскую, припорошенную белым чистым снегом.

Спрятав вожаденный билет за обшлаг шинели, оглядел длинную вереницу извозчиков, собиравшихся на обычно тихой улице в отпускные дни, и сел в понравившийся экипаж.

Дома, быстро пообедав, Аким намеревался позаниматься с Антипом любимым своим делом — маршировкой и оружием, но в этот раз ефрейтор затосковал и в связи с душевными пережи-

---

ваниями заниматься шагистикой и сборкой-разборкой винтовки не мог.

Приближался ноябрь, а с ним и звёздный дождь.

Антипу же генерал пообещал чин младшего унтер-офицера, и потому конец света в данный момент его абсолютно не устраивал.

«Ладно бы в прошлом году, когда я деньжищ уйму задолжал повару и швейцару... но сейчас, — приготовил в подвале укромный уголок, натаскав туда консервов и водки. — Аж целых пять бутылок. На первое время хватит... а там, глядишь, не всех в полку звёздами перешибает... можа, тока одного фельдфебеля, дурака, чтоб не совал свой нос, куда не надо. А меня-то — раз, да на его место и поставят», — замирало от счастья сердце.

Витька Дубасов в отпуск тоже попал и, в отличие от Рубанова, времени зря не терял. Даже про бильярд с водкой забыл, а донимал старшего брата, штабс-капитана гвардии, чтоб позанимался с ним строевой подготовкой. Тот плевал на такую мелкую ерунду — в сравнении с их полковником, как «звёздный дождь», и потому, отдыхая душой, до седьмого пота гонял младшего брата.

«Совсем парень изменился, как в училище пошёл, — не мог нарадоваться штабс-капитан. — Только вот родители у нас не богаты. Вряд ли потянут двух сыновей в гвардии».

Обиженная на супруга за погубленного первенца, Ирина Аркадьевна стала ярой театралкой. Театр успокаивал нервы, поэтому она не пропускала ни одной новой постановки и даже в пик мужу съездила в Москву на премьеру «Дяди Вани» в Художественном театре Станиславского. И присутствовала на дебюте Фёдора Шаляпина, потрясшего любителей оперного искусства непревзойденным своим басом.

А в конце года, в журнале «Нива» стало печататься «Воскресение» Льва Толстого.

Ирина Аркадьевна с упоением читала каждый номер, переживая за Нехлюдова и Катюшу Маслову.

— Что творится в России? Безвинно осуждают людей, — обсуждала прочитанное с Любовью Владимировной. — А что цензура делает? Видела точки в тексте? Говорят, Толстой высказал пожелание, что если цензор какое-то место в романе запретит, то следует заменить пропущенное точками. Но баронесса Корф обещала завтра принести вычеркнутые места, отпечатанные на гектографе. Один её друг, действительный статский советник, где-то достал рукопись романа без купюр.

---

— Наверное, цензор своим друзьям даёт почитать. Кстати, говорят, в Англию пошёл нецензурованный текст. Так что через месяц он появится и у нас. Ой, Ирочка, слышала от своего учёного мужа, — почему-то с иронией хмыкнула Любовь Владимировна, наведя подругу на мысль, что женщины стали дерзки, ну настоящие эмансипе, — что в ознаменование юбилея Пушкина, Академия наук учредила Разряд изящной словесности, и в начале следующего года будут избирать почётных академиков. Как ты думаешь, Чехов войдёт? А Толстой? Власти-то его не любят.



Как следует, встретив Рождество и Новый год, отгуляв Святки и из последних сил отметив Крещение, мужи российской империи целую неделю приходили в себя. Это — самые ответственные. Другим требовалось куда больше времени.

«А чего скромничать, — рассуждали они, — не только новый 1900 год встречаем, но и новый век».

Споров в газетах и обществе было много. То ли встречали новый век, то ли заканчивали старый, но в любом случае событие стоило того, чтоб его как следует отметить.

Рубанов с Сипягиным в споры не вдавались и считали себя людьми ответственными, но уж больно дни стояли холодные, а потому, сидя перед камином в кабинете Рубанова, грелись теплом очага, помогая ему водочкой.

— Холода-то какие, — наполнял сипягинскую рюмочку хозяин дома.

— Согласен! — кивал головой чуть опьяневший Дмитрий Сергеевич. — Но русские не боятся морозов, — поднимал он рюмку. — Выпьем, чтоб у врагов Отечества водка колом в горле встала, — произнёс шуточный тост, проследив, как плавно и не морщась выцедил напиток Максим Акимович.

— Хорошо пошла, — крякнул тот, закусывая.

А вот Сипягин поперхнулся.

— Во-о! — удивился он, вытирая платком пятно на мундире. — Вижу, литературкой увлекаетесь? — заметил на столе обложку «Нивы» в виньетках, цветах и ангелочках. — Сразу видно, что владелец журнала — очень романтический человек. Маркс Адольф Фёдорович. Фамилия очень ценится революционерами... Имя пока не оценили...

— Жена принесла почитать Толстого. Не роман, а скукота. Совсем дедушка исписался. Устав караульной службы в сто раз интереснее.

---

— Во-о! — опять буркнул Сипягин. — А интеллигенция так не считает, — вытянул ноги к камину. — Да что там интеллигенты, коли статские и тайные советники увлеклись этой дребеденью.

— Вы тоже прочли? — поинтересовался Рубанов.

Сделали паузу, пока Антип, довольный, что избежал конца света, положил на стол трубки для курения и медленно удалился, выхваляясь перед гостем унтер-офицерскими нашивками.

— Только по долгу службы, — продолжил тему Сипягин. — Даже оскомину набил, как от кислого плода... Это я образно. А ежели серьёзно, то многие сцены подходят под статьи свода законов «Хула на православную веру». Ну что это такое? Крест на церкви напоминает ему виселицу... Коли описывает богослужение в тюрьме, то в каждой строчке ядовитая издёвка над священником, над священными сосудами и, страшно сказать, над таинством Святой евхаристии. Ну куда это годится? А как подана сама Россия? Тюремь. Публичные дома. Грязь. Бездушные. Этапы. Ни одного положительного штриха. При всём том главная героиня всё-таки помилована... Хочет того Лев Николаевич или нет, но справедливость в России есть... К сожалению, это никому не интересно.

— Лучше бы он на Анне Карениной остановился, — выдал реплику Рубанов.

— А ещё лучше, и вовсе бы ничего не сочинял кроме «Войны и мира», — подытожил Сипягин. — Вот они, наши гении, — достал из стоявшего у ног саквояжа мятую газету и стал читать: «На основании Высочайшего указа Правительствующему Сенату от 23 декабря 1899 года и Высочайше утверждённых “Постановлений, касающихся Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук”, происходили 8 января 1900 года выборы в Почётные академики.

Избраны в Почётные академики отделения по Разряду изящной словесности:

“1. К. Р.” — Это литературный псевдоним поэта и президента Академии наук Великого князя Константина Романова, — с уважением произнёс Сипягин.

“2. Граф Лев Николаевич Толстой”. — Представляете, Рубанов? После всего, избрали... Это к вопросу о справедливости в России.

“3. Алексей Антипович Потехин”. — Ничего сказать не могу.

“4. Анатолий Фёдорович Кони”. — Терпеть не могу после оправдания Засулич.

“5. Алексей Михайлович Жемчужников”. — Безразличен.

“6. Граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов”. — И этот писателем стал, — прокомментировал Сипягин. — Что там далее, — уткнулся в газету.



---

“7. Владимир Сергеевич Соловьёв.

Антон Павлович Чехов.

9. Владимир Галактионович Короленко”». — Ещё один правдолюбец, — осудил девятый номер.

— Господин министр, презентуйте мне эту газету.

— Пока не министр, а лишь управляющий министерством внутренних дел. А зачем вам, Рубанов?

— Супруге подарю. Не знаю, читала или нет. В искусствоведы, видимо, собирается...

— Да ради бога. А теперь я вас повеселю, — выпили ещё по рюмочке, и Сипягин вытащил из саквояжа пухлый журнал. — Сей альманах «XIX век» называется. Интереснее «Воскресения» будет. Авторы дали обзор важнейших событий столетия, половины коих мы с вами были свидетелями, — глянул на Рубанова. — Но самое интересное я нашёл в последнем разделе, — потряс альманахом. — Слушайте: «В конце 19 века ряд учёных высказал предположение, что в веке 20-м люди будут летать на Луну». Представляете, Рубанов? На Луну летать станут... На ядре артиллерийском, как Мюнхаузен... С перепою чего только не выдумаешь, — закатился смехом Сипягин. Отсмеявшись, вытер платочком глаза. — В дальнейшем я полностью согласен с авторами, которые пишут: «Нам это кажется столь же невероятным, как если бы кто-то стал утверждать, что в 20 веке Россия будет не продавать, а покупать зерно». Есть ещё у нас умные люди. То-то купчишки покатываются, барыши в кубышках подсчитывая. Россия зерно станет покупать, — вновь развеселился он. — Вот и читали бы интеллигентшилки эти фантазии, так нет, «Воскресение» им подавай, а потом в политику лезут. Все земства заволокли. Совсем там порядочных людей не осталось. Одни либералы. И аристократия туда же. Бунтари... Декабристы. Вызов государству бросают. Так, например, представитель известного княжеского рода Дмитрий Иванович Шаховской демонстративно работает учителем в земской школе Весьегонского уезда Тверской губернии. Шаховской, — повторил он по слогам, — князь... Что же говорить о разночинцах? Ну ладно, Бог с ним. Пусть учительствует... Дело полезное... Несколько лет назад я своими глазами видел на Морской вывеску «Техническая контора князя Тенишева».

— А князь Хилков ездил на паровозе за машиниста, — встал Рубанов.

— Да пусть хоть в цирке выступают, — разозлился Сипягин, — но этот Шаховской издаёт на свои деньги, не на учительскую, полагаю, зарплату, за границей нелегальные брошюры, которые затем распространяются у нас с молниеносной быстротой. Земские либералы, шушукаясь за спиной у властей на многочисленных своих собраниях, месяца два назад создали

---

нелегальный кружок «Беседа» с целью, — наклонился и достал из саквояжа листок...

«Не саквояж, а библиотека», — хмыкнул Рубанов, внешне оставаясь серьёзным, и слушая чтение Сипягина.

«...пробуждения в России общественной деятельности, общественного мнения, столь в России слабого и искусственно подавляемого, чтобы оно было более авторитетным для Петербурга». — Во куда хватили. Я слежу за этим кружком. Членов там уже с полсотни...

— Одни мужики, что ли? — с трудом удержался от зевка Максим Акимович.

Ему надоели уже политические разговоры, а хотелось просто выпить и поговорить о дамах.

«Военный в душе навсегда остаётся юнкером, хоть будь он в летах и генерал», — мысленно хмыкнул Сипягин, а вслух продолжил:

— Богатые люди, помещики, особи мужеского пола, — пошутил он. — Среди них 9 князей, 8 графов и 2 барона. Ну чего им не хватает? Ох, накличут они беду, накличут... Если эти недовольны властью, то что же говорить о менее аристократических кругах? Социалист Струве через год после вступления государя на престол написал ему открытое письмо, в котором заявил, что дело самодержавия проиграно... А помните приват-доцента? — неожиданно сменил он тему. — Убили!

— Как убили? За что?

— Всё в тайне... Как сказал самый уважаемый мною писатель Николай Васильевич Гоголь: «Грустно жить на этом свете, господа», а Россия становится самой грустной страной на земле, — пессимистически глядел на огонь Сипягин.

Рубанов вздрогнул от этих слов и огонь показался ему не ласковым и домашним, а карающим и жестоким.

«Наконец-то выходной. Полгода не отдыхал... Как душевно стучат колёса», — млея в купе на мягком диване обер-прокурор Святейшего синода Константин Петрович Победоносцев.

На столике рядом с пустым стаканом в серебряном подстаканнике лежал номер «Нивы» с главами из романа «Воскресение».

«Как всё-таки странно устроена жизнь, — думал Константин Петрович. — Крестьяне обрабатывают Льва Николаевича и не ропщут. Ходят в церковь, веруют в Бога, любят царя-батюшку и Россию. Граф же Толстой всё это ненавидит... А что он любит? Вернее — кого? Только себя! — взгляд Победоносцева упал на журнал. — И вот тому пример. Написал пасквиль, взбаламутил Россию и доволен. Да ещё меня в нём вывел в роли Топорова. Этой карикатуре на человека. Подчинённые ухмы-

ляются. Все роман прочли... И даже Его Величество на вчерашней аудиенции с трудом скрывал усмешку. Тоже прочёл. И без купюр, — обиженно вздохнул обер-прокурор, вспомнив недавнее общение с императором. — А как он меня описал: “Нехлюдов, не садясь, смотрел сверху на этот узкий, плешивый череп, на эту с толстыми синими жилами руку...” Нехлюдов хлопотал перед Топоровым за сектантов. Нашёл за кого заступаться. И то Топоров восстановил справедливость. Значит, Лев Николаевич, несмотря на сарказм, всё же считает меня честным человеком. Да. Для меня главной религией в России является православие, а не какие-то там секты, униаты или, хуже того, иудеи. От них-то и идёт всё зло. Я не раз говорил государю и не отказываюсь от своих слов, что еврейская проблема в России будет решена только тогда, когда одна треть российских евреев эмигрирует, другая треть обратится в православие, а одна треть исчезнет... Как же. Исчезнут они! Скорее Россия исчезнет, а они останутся... Но когда против них говорю я, вся левая пресса, которую они на корню скупили, поносит меня. Именно поносит. Я интеллигентный и культурный человек, поэтому не могу сказать — обгаживает. Хотя это и так. Но вот если Лев Николаевич поносит... точнее обгаживает... религию, священников, их внешний облик и одежду, газеты его поддерживают и восхваляют... Ризы он называет парчовым мешком. Святой крест — виселицей... Надо додуматься... Когда обо всём этом докладывал государю, тот остался глух: “Я смотрел наши газеты, — сказал он, — сплошной панегирик Льву Николаевичу...” — “Ваше Величество, да это пишет пресса определённого направления”, — говорю ему. “Позвольте, Константин Петрович, мне тоже понравились многие места в романе, — взял он подшивку журналов. — Слушайте, — начал читать: “Нехлюдов прежде всего направился в Сенат. Его проводили в канцелярию, где он в великолепнейшем помещении увидел огромное количество чрезвычайно учтивых и чистых чиновников”, — закрыл государь журнал и не стал слушать, что хотел ему прочесть я. “Что вы предлагаете, Константин Петрович?” — стал вспоминать Победоносцев. “Отлучить Толстого от Церкви”, — ответил ему. “Нет, это невозможно, — разволновался император, — всемирная известность, гордость русской литературы, прежние заслуги...” — Хорошо, конечно, что царь так относится к литераторам и уважает печатное слово... “Ваше Величество, говорю, мы не изгоняем его из Церкви, он сам отошёл” “Нет, нет, Константин Петрович, давайте пока не будем”. — Мягко, ох мягко император. Не то, что его, почивший в бозе отец», — под стук колёс на стыках рельсов заснул обер-прокурор Священного синода.

---

Этой же ночью усталый паровоз, пыхтя паром, усердно тянул состав по транссибирской магистрали. Пассажиры, налюбовавшись за день видом из окон, наслаждались сном.

Не спал лишь в вагоне второго класса невысокий, просто одетый господин. Склонив над столиком крупную лысую голову, он с интересом читал «Воскресение» и восхищался романом и автором.

Был это отбывший ссылку, широко известный в узких революционных кругах, Владимир Ильич Ульянов.

~~\*\*\*\*\*~~

Начальник Павловского училища генерал Шатилов собрал ежемесячное заседание офицеров строевого командного состава, дабы заслушать доклады ротных командиров о своих подопечных, их характерах, знаниях, достоинствах и недостатках.

Николай Павлович за время учёбы младшего курса успел уже лично познакомиться и побеседовать с каждым молодым юнкером, вызывая ежедневно в кабинет по пять представителей младшего курса и по двое юнкеров — старшего.

Своё мнение о воспитанниках училища он успел составить. Но всё течёт, всё изменяется... Кто-то начинает относиться к занятиям хуже, кто-то — лучше.

— Начальник должен знать о подчинённых всё, — учил он ротных командиров. — Будущий офицер должен находиться под его отеческим, пристальным наблюдением. Вы на всё должны обращать внимание: как юнкер одет, какова его выправка, много ли проигрался в карты и не попался ли под горячую руку рогатого мужа... Это я не о «козерогах», — разрядил обстановку. — Они должны находиться у вас, как на раскрытой ладони... а посему... — поднялся из-за стола, и все офицеры бодро вскочили со стульев и вытянулись, — рекомендую произвести у козе... извините, у младшего курса «осмотр столиков».

Так назывался в училище элементарный обыск.

— Два раза в год положено, господа, — развёл руками генерал. — Неприятно, а что делать? Особое внимание обратите на порядок содержания вещей в тумбочке. Не держат ли хлеба вместе с сапогами и нет ли запрещённой литературы. Особенно, как мне позвонили из министерства, нового романа Льва Толстого... Понимаете, о чём речь?

Из офицеров, как оказалось, роман прочитали все. Кроме начальника училища. За неимением времени он ещё только собирался.

— Ну что ж. Приступайте, — закончил напутствия Шатилов.

Ротные командиры осмотры проводили поверхностно. Они были уверены в юнкерах.

---

Аким стоял у своей тумбочки и переживал. Подшивка журналов «Нива» ходила по рукам, и теперь настал его черёд читать «Воскресение».

«Отнимут, и финал не узнаю, — морщился он, словно от зубной боли, — да ещё и в увольнение не пустят в субботу».

Для ускорения «осмотр столиков», кроме своих унтеров, помогали проводить портупей-юнкера старшего курса.

Особенно лютовал фельдфебель Соколов, всё переворачивая у «козорогов» вверх тормашками. Как оказалось, у него болел живот.

— А это что? — до смерти обрадовался он, обнаружив у Олега Пантюхова кусок хлеба, хранившийся вместе с сапожной щёткой и банкой с ваксой.

— Хлеб! Закаляю желудок, — потупившись и держа руки по швам, ответил пойманный с поличным юнкер.

— Без вас вижу, что хлеб, а не колбаса, — потёр опять заломивший живот фельдфебель. — Вам что, мало того, что дают за обедом?

— Подрасти хочу!

— Подрасти-и? Вот и подрастайте неделю без отпуска.

Обыск постепенно приближался к тумбочке Рубанова, к горю которого, на помощь фельдфебелю откуда-то подвалил «козерогий папаша» и по совместительству садюга-цирюльник.

Проверяли уже спавшего на соседней койке Михаила Дроздовского.

Фельдфебель с портупей-юнкером Гороховодатсковским под «Эх, дубинушка, ухнем» радостно вывалили на застеленную одеялом койку содержимое тумбочки. Чего здесь только не было: цветасто раскрашенные жестянки с монпансье, мыльницы, зубные щётки, одеколон, тетради, учебники, ручки, сапожная вакса, портянки, носки, подсвечник, свечи, коробки с папиросами и ещё полно всякой всячины. Однако нелегалщины не имелось.

Злой гений младшего курса Александр Ковалёв, он же цирюльник, так, от нечего делать, а может, леденчик захотел, открыл коробку с монпансье и, радостно сверкая своими брадобрейскими очами, как выразился потом Мишка Дроздовский, вытащил оттуда стопочку карточек.

— Вот, господин фельдфебель, полюбуйте, — с интересом, переходящим в восторг, разглядывал подвитую молоденькую барышню в одних панталончиках. На других карточках панталончики уже отсутствовали.

— Ух ты! — восхитился Соколов, у которого неожиданно перестал болеть живот.

— Это кто ж такая? — поинтересовался подошедший капитан.

— Кузина, Ваше благородие. Купаться собралась.

---

— На диване, что ли? Во всяком случае посоветуйте ей купаться в более безлюдных местах, где нет фотографов. А к вашему сожалению, два отпускных дня вы её не увидите, — размахивал он рукой с французским игривым романом, на обложке коего во всей красе лежала нагая нимфа, видимо, другая кузина юнкера Дроздовского.

Этот роман рота уже прочла.

Настала очередь Рубанова.

Вывалив содержимое тумбочки на койку, тут же наткнулись на несколько номеров «Нивы» с романом Толстого.

— Ру-ба-но-о-в? Вы читаете эту пошлость? — удивился капитан, отбросив французский роман, который тут же запрятал под мундир фельдфебель. Толстого он уже прочёл.

— Никак нет. Не успел ещё. Но журналы я вполне официально купил в книжном магазине на Мойке.

— Надо знать, господин юнкер, какие журналы покупать, а какие не стоит, потому как за некоторую литературу, — многозначительно поднял подшивку, — по месяцу в увольнение не ходят... и дневальным не в очередь дежурят.

Скоро генерал-адъютант Рубанов конфиденциально узнал, что сын его нигилист и читает не то, что следует будущему офицеру.

— Твоё воспитание, — укорил супругу, которая счастливо улыбалась, заступаясь за сына:

— Слава богу, сударь, что Аким растёт не солдафоном, а культурным и образованным человеком.

«Значит, ещё не всё потеряно», — думала Ирина Аркадьевна, сидя в кресле и штудиря основанный Сергеем Дягилевым журнал «Мир искусства», где он очень остро критиковал маэстро Петипа, поднявшего русский балет на недостижимую высоту.

Чуть позже её навестила Любовь Владимировна с пачкой газет и журналов, и они долго обсуждали публикации.

— Представляешь, Ирочка, оказывается, вчера оперу посетил один арабский шейх, и все газеты пишут, что особенно долго он аплодировал перед представлением, когда музыканты настраивали инструменты... Всё остальное ему не понравилось.

Отсмеявшись, подруги обсудили ещё одну животрепещущую тему, о которой сколько уже дней трубила петербургская пресса. О маньяке, коловшем насмерть длинной иглой.

— Я уже боюсь ходить в магазины, Любочка. Скоро надеть будет нечего.

---

— Говорят, он колет только молодых красивых женщин.  
— А может, у него неудачная любовь? Она предала его, и он мстит всем женщинам... Страшно... Но как бы хотелось хоть одним глазком глянуть на него...

От маньяка перешли ко Льву Толстому.

После публикации романа репортёры дежурили у дома в Москве, где жил в эту зиму писатель, и брали интервью у всех, кого он принимал.

Благодаря им Сипягин очень экономил на филёрах.

Так, из газет читающая Россия узнала, что в начале года Толстого впервые посетил начинающий, но уже известный литератор Горький.

Ирине Аркадьевне это имя ничего не говорило, зато Любовь Владимировна была без ума от его рассказов, потому что автор уверенно входил в моду в студенческой и разночинной среде. И как жена профессора, она обязана его любить.

— Представляешь, Ирочка, пришёл к Толстому одетый в чёрную косоворотку, штаны навыпуск...

Зашедший на минуту в комнату к дамам Максим Акимович вставил реплику, услышав последнюю фразу:

— А сам-то Лев Николаевич сидел в валенках на босу ногу, в заплатанных портах и в рубаше без пуговиц, увлечённо подшивая к лаптям лаковые подмётки...

Когда богохульника с позором изгнали, дамы вновь занялись обсуждением встречи на высшем писательском уровне:

— Обычно Лев Николаевич всех критикует, но Горького встретил ласково и откровенно высказал отрицательное мнение о некоторых его произведениях и похвалил другие... Ирочка, а кто у нас остался-то? Все гении ушли. Майков в 1897 году, на следующий год — Полонский, следом — Григорович... Появились какая-то Гиппиус, Фёдор Сологуб, Бальмонт и Мережковский... но пишут какой-то ужас. Как же, господа символисты...

Словом, жизнь кипела. «Звёздный дождь» давно потускнел и забылся, вытесненный щедрым изобилием интриг, слетен и душещипательных историй, бесконечно происходящих в столице и за её пределами.

А тут ещё война англичан с бурами.

Чего-нибудь подобного ожидали, так как Гаагская мирная конференция подтолкнула государства активнее, чем прежде, вооружаться.

— Мировой парадокс, — обсуждали политику братья Рубановы. — Представляешь, Максим, уже несколько моих студен-

---

тов записались в добровольцы и едут на край света сражаться с английскими колонизаторами. Да, да. Это их выражение.

— И в армии так же, Георгий. Многие мои офицеры подали рапорта с просьбой послать их в Трансвааль. По академии ещё помню, что буры являются прирождёнными охотниками на львов и антилоп, попадая за полверсты меж глаз жирафу. Живут на фермах, где вокруг растут эвкалипты и мимозы...

— Ну да! А по баобабам лазают обезьяны, — перебил его брат.

— Кто по бабам там лазает? — заинтересовался Максим. — В академии про это ничего не говорили.

— Надоел твой армейский юмор, — пойдём лучше к жёнам.

Их супруги тоже запоем обсуждали данную богом и газетами тему. Только несколько в другой интерпретации. Преобладал любовный уклон:

— Он так разочаровался в ней, что решил принять благородную смерть в бою и уехал воевать... — слышали братья, когда вошли в гостиную.

При них женщины не стали досконально обсуждать интересующую их тему — что эти мужчины понимают в безответной любви...

Начавшаяся англо-бурская война всколыхнула всё русское общество — от верхов и до низов.

Сторож Пахомыч, обнявшись с дворником Власычем, горько глядели на пустые бутылки, валявшиеся на столе и, видимо представляя, что выпили их подлые англичане, с бурным негодованием в адрес захватчиков горланили: «Трансвааль, Трансвааль, страна-а моя-я, ты вся-я горишь в огне-е...» — один сжимал в свободной руке ржавую берданку, другой — метлу.

Швейцар, смахнув суровую мужскую слезу, аккомпанировал им на балалайке.

В правительстве тоже не дремали. Пока англичане отвлеклись войной, Россия тихонечко, особо не афишируя, «временно», конечно, оккупировала всю Маньчжурию и стала вождельно облизываться на Корею.

На Дальний Восток направили комиссию, которой предписали под видом экономического исследования Кореи изучить её с военно-географической точки зрения, получить концессии у корейского императора и положить начало завладения Кореей. Целая группа предпринимателей и политиков обмозговывала план «временного захвата полуострова», решив для начала основать в Корее частную «деревобрабатывающую компанию Ялу» и под видом рабочих направить туда солдат.



---

«А когда япошки допетрят, мы их хватъ по башке, а станут возмущаться — хватъ ещё раз, чтоб глаза у макак совсем окосели... Глядишь, империя приобретёт новую провинцию, а мы — богатые концессии. Ведь Россия обустраивается не только с помощью дипломатии, но и силой оружия».

Не все в правительстве поддерживали эту точку зрения. Догадываясь, какие последствия это может вызвать, военный и морской министры были против неофициального захвата Кореи.

Аким Рубанов, лишённый на месяц увольнительных, всё свободное время, пока однокашники обедались и отсыпались дома, проводил в тире.

Видя, что занимается парень полезным воинским делом, капитан, испросив разрешение у начальника училища, велел фельдфебелю патроны стрелку отпускать, не жалея.

В результате юнкер Рубанов, по умозаключению ротного командира, подстрелил двух зайцев: во-первых, отвлёкся от вредных сочинений сумасшедших гениев, а во-вторых, стал лучшим стрелком в роте. Ну как не поощрить такого орла?

В феврале толстовская эпопея мучений закончилась, и Акиму разрешили отбыть в отпуск до 11 часов вечера.

Предвкушая встречу с родителями, он стоял на площадке перед дежурной комнатой и любовался своим отражением в огромном зеркале. Всё на нём блестело и сияло — не юнкер, а церковный купол. Складки на шинели расправлены. На руках прекрасные белые перчатки. Барашковая шапка с кокардой лихо сидела на голове. Башлык сзади не торчал колом, как у нерадивого кадета, а плотно прилегал к спине, спереди же, как и положено благородному «павлону», лежал крест-накрест, правая лопасть сверху вылезала из-под ремня ровнёхонько на два пальца.

Разумеется, сражённый сияньем бравого юнкера, дежурный по училищу офицер при всём своём воображении не нашёл, к чему придаться, и произнёс музыкальную для юнкера фразу: «Берите билет».

На этот раз Рубанов виртуозно нашарил его в коробке и по команде «Ступайте» чётко повернулся направо, покинув дежурную комнату.

Большая Спасская была пустынна и запорошена снегом. Радостно выдохнув облачко пара и полюбовавшись на него, Аким пошёл вдоль улицы, высматривая извозчика. В ту же минуту их показалась целая вереница.

«Знают, черти, в какие дни у нас увольнительные», — усаживался он в возок с поднятым кожаным верхом.

— Трогай, братец, — солидно велел вознице, покосившись на приближающиеся сани.

---

Словно на троне, в них сидел батальонный командир.

«Пронеси, Господи! — мысленно взмолился Аким. — Даже дежурный офицер хулы не возвёл и с миром отпустил восвояси, как бы теперь полкана миновать... Что же делать?! То ли честь отдать по всей форме... но это риск. Вдруг придерётся, — разглядывал оглаживающего рыжую бородку Кареева. — Нет! Лучше я спрячусь... Одни юнкера, что ли, в экипажах разъезжают?» — откинулся назад в тень поднятого верха.

И зря! Извозчик был остановлен, юнкер извлечён на свет божий и водворён в казарму, где провёл этот и несколько последующих отпусков.

Только стрельба заменилась на колку штыком чучел.



Владимиром Ульяновым полковник Кареев не руководил, и благодаря такому стечению обстоятельств, благополучно отбыв ссылку в Шушенском, он с успехом побывал в запрещённых для посещения Петербурге и Москве, а также навестил Уфу, Нижний Новгород, Самару, Сызрань, Подольск, Ригу, Смоленск и наконец в феврале осел в Пскове.

Чучела потрошить его не заставляли, и потому Владимир Ильич отдавал всё своё время на подготовку революционной газеты, кою задумал ещё в ссылке.

— Товагици, — убеждал он сподвижников, — нам необходима... как воздух, газета, — сурово окидывал взглядом своего оппонента Струве: «Тоже мне, легальный магксист, один вгед от него», — ...газету станем выпускать за границей. Здесь цагские сагапы закроют издание. Поэтому лучше всего в Гегмании.

«А коли так, то следует усовершенствовать знание немецкого», — через несколько дней после партийного совещания поместил объявление в газете «Псковский городской листок»: «Желают брать уроки немецкого языка (теор. и практ.) у образованного немца. Предлож. письменно. Архангельская, д. Чернова, кв. Лурьи, для В. У.».

Он искренне любил своих родственников, особенно маму, и не забывал писать ей письма. Старался подбодрить её и потому никогда не жаловался, а сочинял бодрые, энергичные и нежные послания. Не жалоб на жизнь, не денежных просьб. В письмах шёл разговор о книгах, о жизни в маленьком провинциальном Пскове: «Живу по-старому. Гуляю — теперь недурно гулять здесь, — сообщал весной Марии Александровне, — в Пскове (а также в его окрестностях) есть, видимо, немало красивых мест. Купил в здешнем магазине открытые письма с видами Пскова и посылаю три: тебе, Маняше и Анюте».

---

Ежедневно к 9 утра ходил на почту получать и отправлять корреспонденцию. С этого начинался его новый день.

К Пасхе Аким всё-таки выслужил увольнение в отпуск.

Ирина Аркадьевна даже не узнала в этом крепком, подтянутом, стройном и серьёзном юноше своего мягкого и некогда лирического первенца.

Зато Максим Акимович светился счастьем, разглядывая не только отеческим, но и генеральским взглядом фигуру и выpravку сына.

«Будущий генерал», — пела его душа.

А когда Аким, к ужасу Ирины Аркадьевны, уговорил отца и брата поехать вместо театра в тир, сердце её просто стонало от горя нежным голосом Собинова.

В тире, не ведавший о страданиях мамá Аким, поразил все мишени, отчего сердце папá торжественно пело строевую гусарскую песню, а брат приуныл от зависти и сказал, что пойдёт служить не в какую-то там пехтуру, а в благородную кавалерию, где юнкера носят не штык, а шашку и малиново звенят шпорами, а не цокают голыми пехотными каблуками.

Всю дорогу до дома Глеб развивал мысль, что нет ничего возвышеннее службы в армии и особенно в кавалерии, и просто вогнал Максима Акимовича в слезу словами: «Русское государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его — быть грозой света», — как написано в одном из учебников.

Словом, оба сына, по мысли Ирины Аркадьевны, явно отбились от добрых материнских рук и попали в грубые, солдафонские лапы отца.

Собинов горестно стонал в её душе и сердце...

Двадцать первое мая в Павловском военном училище являлся не простым, а Храмовым праздничным днём. Второй великий день — училищный праздник 23 декабря. Но он давно прошёл.

Благодаря этому в начале мая капитан Кусков провёл беседу с личным составом роты, в коей указал, что праздник — это не только хороший обед и бал, но и, что самое главное — торжественный парад, на котором могут присутствовать высочайшие лица. И подытожил:

— В результате, господа юнкера, буду греть вас в хвост и в гриву, но добьюсь отчётливости, выправки и отточенного печатного шага.

— Мы что, кавалеристы, что ли, в хвост и гриву нас греть, — ворчал Дроздовский.

По нареканиям он даже опережал Акима и часто проводил время в карцере.

---

— Вы что в строю бурчите, когда командир говорит? — отреагировал капитан. — Два дневальства не в очередь. Взяли привычку с начальством переговариваться, — всё не мог успокоиться.

И когда рота оттачивала строевой шаг на плацу, не спускал строгого взгляда, подмечая малейшие нарушения:

— Кто там танцует во втором взводе? Ну конечно! Дроздовский. Юнкер! Вы ногу потеряли, и весь взвод из-за вас сбился.

— Как я могу танцевать без ноги? — тихо брюзжал Михаил.

Марширующий рядом Аким шёпотом поддержал товарища тривиальным юнкерским выражением, усвоенным ещё в «козержи» времена:

— Что толку в танцах — будь твёрд по фрунту, — и тоже сбился с ноги.

— Р-рота-а! Стой! Зерендорф, что у вас происходит во взводе? Дубасов, ваше отделение? Вечером займитесь с этими двумя юнкерами индивидуальной подготовкой. Почти год отслужили, а ноги всё нет! В Сморгонской академии вам учиться, а не в Павловском военном училище. Р-рота! Шаго-о-м марш!

Вечером, после переклички, в ярко освещённом, идущем вдоль роты коридоре Дубасов занимался с отстающими.

— Сморгонцы! — дурачился он. — Ногу тяните. Ноги нету, — подражал ротному. — Отбить шаг. А-ать, два. А-ть, два! Рубанов, когда нога сзади — носок кверху! Твёрже ногу. На весь след.

— Говорила мне мама — иди в университет! — рассмешил всех Аким.

— А про Сморгонь, где находится «медвежья академия», она тебе не говорила? — поинтересовался подошедший Зерендорф, с интересом отслеживая процесс обучения.

Пришли даже любители сальных солдатских анекдотов, что кучковались возле шинельной.

«И эта моль на свет вылезла», — неліцеприятно подумал о них Аким.

Тут же появился и фельдфебель Гороховодатсковский.

— Да-а! — сделал он вывод. — Медведи в Сморгони быстрее дрессируются, обучаясь танцам на горячих углях. Вот и вам бы, господа юнкера, угольев насыпать, да босиком заставить ходить, чтоб ноги выше поднимали и игры в них больше было.

Но это он придирался. Маршировать юнкера давно научились, и ступня ноги, как и положено, шла параллельно полу. Аким с Михаилом только улыбались на слова фельдфебеля.

— А вам, Михаил Гордеевич, — ехидно продолжил Гороховодатсковский, — ещё и дневалить ночью... Ну до 21 числа отоспитесь. Господа юнкера, — обратился к обступившей их полуроте, — а я сегодня институткам старших курсов Смольного и

---

Екатерининского приглашения и программы отправил в виде юнкерского погона. Да ещё в Мариинскую гимназию, что на одноимённой улице находится. Так что дам будет предостаточно. Тяните ножку, господа, — съязвил напоследок, услышав сакральное юнкерское из пятидесяти глоток:

— Что толку в танцах — будь твёрд по фрунту!

Вечером перед праздником Аким, лёжа на койке, отстранённо наблюдал за пожилым ламповщиком, который ловко управлялся с лесенкой, зажигая большие медные керосиновые лампы — электрическое освещение в училище ещё не провели, и мечтал о недосыгаемой Натали. О её жёлтых глазах, о её губах, о её улыбке. Отчего-то он знал, что завтра непременно увидит её. Но как она к нему отнесётся? — глядел на мерцающий в лампе жёлтый огонь, а видел её глаза.

«Вдруг не захочет видеть меня... А может, давно забыла того несносного, невоспитанного гимназиста, что поцеловал её... — это показалось ему ещё обиднее... — Пусть лучше не захочет видеть, чем забудет», — повернулся на другой бок и задремал.

Молебен на этот раз проводился не на плацу, а в церкви училища, и парад прошёл просто великолепно. Присутствующий на празднике Великий князь Константин Константинович Романов, назначенный в марте главным начальником военно-учебных заведений, вынес благодарность начальнику ПВУ генерал-майору Шатилову. Тот — полковнику Карееву. И так по нисходящей. Капитан Кусков объявил благодарность юнкерам рядового звания.

Затем праздничный обед и отдых.

Вечером классные дамы привезли ненаглядных своих воспитанниц.

Институтки косились друг на друга, отыскивая недостатки, и особенно пренебрежительно глядели на гимназисток.

У Акима временами замирало сердце то от радости, то от страха — сейчас это произойдёт... Сейчас он увидит Её. Он предчувствовал, даже знал это точно.

Щеголеватые и элегантные юнкера с восторгом встречали юных дам.

Классы успели превратить в буфеты. У стен поставили скамеечек — вдруг дамы устанут, они ведь не привыкли к многовёрстным маршам с полной выкладкой.

К своему разочарованию, Натали Аким нигде не видел. Как пастух сквозь стадо, прошёл он сквозь строй институток и гим-

---

назисток, кого-то нечаянно толкнув и заработав замечание от классной дамы, но Натали, к своему горю, не встретил.

Распорядителем танцев и вечера Кареев назначил капитана Кускова.

Под его руководством стал составляться полонез. Первой парой, по статусу, были генерал Шатилов и старшая из классных дам. За ними пристроились полковник Кареев с другой классной дамой — чопорной и сухощавой немкой, а там и юнкера, краснея и волнуясь, выбирали понравившихся институток, которые и вовсе пылали маковым цветом.

По взмаху капитана заиграл училищный оркестр, и пары стали дефилировать перед Акимом, в нарушение бального этикета прижавшегося к стене между окнами. И вдруг в промежутке между растянувшимися парами он увидел Её. На другой стороне зала. Как и в прошлый раз, она стояла одна и отстранённо глядела перед собой. Аким растерялся. Поначалу хотел бежать к ней напрямую сквозь пары танцующих, но разум взял верх.

«Я спокоен! — выдохнул воздух сквозь губы. — Я спокоен, как часовой», — пошёл вдоль стен зала, огибая пары.

Она не видела его. Опять смотрела в паркет пола, разглядывая только ей понятный рисунок, и нервно теребила пальцами свою косу.

Ноги у Акима отчего-то стали ватными.

«Когда нужен капитан Кусков, его рядом нет, — сквозь какой-то туман в голове подумал он, — сейчас бы скомандовал: “Твёрже ногу, юнкер”», — стал успокаивать себя, медленно приближаясь к Натали.

Она что-то почувствовала и, повернув голову в его сторону, глянула на приближающегося юнкера. Щёки её не запылали, а наоборот, побледнели, косу она нервно перебросила за спину.

Аким ничего этого не видел. Купаясь в жёлтых её глазах, всё глубже погружался в их пучину, тонул и захлёбывался от нежности, любуясь глазами, овалом лица и такими милыми веснушками, высыпавшими на носу и щеках.

Когда он приблизился к ней, глаза его почему-то стали влажны от слёз.

«Да что это со мной? — изумился он, — я же юнкер Его Императорского Величества и не должен бояться не только врагов, но и женщин», — молча склонил перед ней повинную свою голову, теряясь и не зная, что следует в таких обстоятельствах говорить.

Она, тоже ошеломлённая и растерянная от неожиданной встречи, глядела на него, собираясь что-то сказать и не умея.

— Вот! — разжал ладонь Аким. — Три твоих коралловых бусины.

---

Щёки её вспыхнули, полные губы задрожали, и чуть слышно она что-то прошептала.

— Я не слышу, — склонил голову к её губам Аким. — Музыка!..

— Вы хранили их целый год? — чуть громче произнесла она и испугалась.

Ей показалось, что она выкрикнула эти слова и все услышали, потому как оркестр, как нарочно, смолк.

На этот раз капитан Кусков выручил Акима, велел музыкантам играть вальс.

— Натали! Я целый год хотел извиниться перед тобой, — стал смотреть не в глаза, а на её губы, чтоб немного прийти в себя, — не знаю, как это получилось, — вновь встретился с ней глазами, растерялся и понёс от этого, по его разумению, всякую чушь. — Гувернантка сделала вывод, что от музыки, от обстановки бала, от танцев... — окончательно запутался, замолчал, вдохнул побольше воздуха и решился... — Позвольте, сударыня, иметь честь пригласить вас на вальс, если, конечно, вы не обещали этот танец какому-нибудь другому кавалеру, — замер, глядя в её глаза и называя себя дураком.

Губы Натали опять задрожали, на этот раз от сдерживаемого смеха.

— Этой фразе вас тоже гувернантка научила? — доверчиво протянула свою руку.

Коснувшись её пальцев, Аким вообще лишился дара речи и остатков разума.

— Ага! — только и сумел произнести он.

Опомнившись, попытался раскрыть смысл слова «ага», для чего-то щёлкнув перед этим каблуками:

— Ну да. Это из свода законов светского человека, составленных мадам Клеопатрой Светозарской.

— Понятно. Ведите меня в круг, господин светский человек, — прошептала она, пряча в углах рта улыбку.

А ноги-то не шли. Он глядел в её глаза и думал — как мог целый год жить без неё... Без её глаз, без её рук, без её улыбки. Без неё... без неё... без неё, — повёл к вальсирующим, ощущая нежное касание пальцев в перчатке. И задохнулся, повернув её к себе и ощутив под ладонью тёплый и упругий девичий стан.

Закружились стены, закружились люстры, закружился весь мир вокруг них, а они стояли, казалось, и не двигались...

Но вот всё смолкло. Звуки вальса растворились во вселенной... Придя в себя и потерянно оглянувшись, он повёл её на место, размышляя, танцевали они или просто стояли.

В чувство его привёл давно забытый девичий голос:

— А вот и первый сенной площади гуляка, — и незнакомая ладонь легла на рукав мундира.

---

Но трепета от пожатия этой руки он не почувствовал, а подняв глаза, встретился со смеющимся взглядом Ольги, почти забытой подруги Натали.

— Ну как, с помощью «ли-и-игушечки» освоили иностранный язык? — смеялась она и кокетливо обмахивалась веером.

Завитые светлые волосы её были искусно уложены в замысловатую причёску с приколотым большим чёрным бантом. Высокая и статная, она гордо стояла перед Акимом. Вполне определившаяся грудь вызывающе смотрелась сквозь декольте платья.

Она знала себе цену.

Натали при ней была как гадкий утёнок при лебеде. Платье под шею — какое там декольте. Худенькая и невысокая. И всё равно Аким не променял бы Натали и на тысячу её красавиц-подруг.

— Аким, познакомь с дамами, у людей не одной, а у него целых две, — с шиком щёлкнул каблуками и поклонился Ольге Дубасов.

На Натали он даже не глянул.

— Ольга, Натали, — произнёс Аким.

— Очень приятно! — вновь щёлкнул каблуками Дубасов.

«Ого! Галантный какой, — поразился Аким, — все пятки, наверное, отбил».

— А это Виктор Дубасов, — хотел добавить: «По кличке Дуб», — но вовремя передумал.

— А я гляжу, кто это так нахально даму ведёт? Присмотрелся, а это старина Рубанов...

«Оказывается, я нахально шёл», — порадовался за себя Аким.

И вновь музыка. И вновь вальс. Капитан Кусков знал, какой танец ждут юнкера. И танец этот явно не «полька».

Дубасов пригласил Ольгу, а Аким на этот раз хладнокровно и, как подобает юнкеру, твёрдой уверенной походкой повёл Натали к танцующим.

— А мы послезавтра отправляемся в Красносельский лагерь, — наслаждаясь вальсом, сообщил Рубанов. — Экзамены позади, — чуть подумав, добавил он.

— А у нас экзамены впереди, — вздохнула Натали. — А когда их сдать, получу свидетельство домашней учительницы.

— А в прошлом году?

— В прошлом году, после семи лет учёбы, получила аттестат учительницы начальной школы. Я с восьми лет учиться пошла. А Ольга — с девяти, — улыбнулась она. — Затем родители хотят отправить меня в Москву, к тёте. Женщина старая и одинокая. Сорок лет уже.



---

— Натали, прошу тебя, напиши мне письмо... Хотя бы осенью. Я дам тебе свой адрес.

На этом балу губ её он не коснулся.

Утром 23 мая в Павловском военном училище проходила репетиция конца света. Но не от звёздного дождя, а от переезда младшего курса в Красносельский лагерь.

В последний момент выяснялось, что о чём-то забыли, чего-то не сделали. Потный от напряжения переезда полковник Кареев «пушил» ротных, а те — своих младших офицеров.

Довольные жизнью старшекурсники подбадривали младших:

— «Козероги-и»! — вопил юнкер, бывший в первый день училищной жизни Рубанова и Дубасова хмурым дневальным. — Опорожняяй вещевые мешки для завтрашних нарядо-о-ов, — аж захлёбывался он от восторга.

По всему коридору творилось что-то невообразимое: крик, гомон, смех, ругань, дурацкие советы и дурацкие ответы.

— Вот ты, Банников, и положи в свой вещмешок два наряда не в очередь, — расщедрился Кареев, испортив смуглолицему невысокому юнкеру настроение.

— Вот иди теперь, сам себе честь перед зеркалом отдавай, — посоветовал ему Рубанов.

— И вещмешок с нарядами не забудь прихватить, — напомнил хмурому юнкеру Дубасов.

По мере роста профессиональных навыков почтение к старшему курсу начинало убывать. К тому же с сентября, после лагерных сборов, старшими становились они.

— Чья фляга-а? — орал Кареев. — И сапог! Господа юнкера, сейчас всех в карцер отправлю... Кто без сапога до сих пор? Капитан Кусков, руководите здесь, я насчёт поезда пойду уточню...

«Каждый год светопреставление... Старшие две роты в этот день в отпуск следует отправлять», — уходя, слышал за спиной:

— Подтягивай подпруги, «козероги-и», не спотыкаться на все четыре-е...

«По-моему, это юнкер-парикмахер Ковалёв орёт. Времени нет, а то бы я его подстриг под гребёнку своей пашкой... Ну ничего... У них ещё экзамены впереди... А в июне старшие роты отправить в лагерь полегче будет».

После молебна немного успокоившийся Кареев лично повёл две роты Павловского училища на станцию. Он гордо шествовал по мостовой, наслаждаясь маршем училища. За его спиной с удовольствием пели уже вычищенные, выглаженные, аккуратные юнкера, чётко отбивая строевой шаг и ровно держа на левом плече винтовки с примкнутыми штыками.

Сапоги, к его радости, были на всех.

---

Под знамя павловцев  
мы дружно поспешим,  
За славу Родины всей  
грудью постоим!  
Мы смело на врага,  
За русского царя,  
На смерть пойдём вперёд,  
жизни не щадя!!!  
Рвётся в бой славных  
Павловцев душа...

Последнюю строку первого куплета полковник Кареев пропел вместе с юнкерами. Душевное равновесие его полностью восстановилось. А когда на железнодорожной станции он распределил юнкеров по вагонам раздолбанного пригородного поезда, то и вовсе успокоился и, умиротворённый, направился в голову состава, где не в меру упитанный юнкер старшего курса Николай Малюшин сопел, пыхтел, кряхтел и щурился, устанавливая фотографический аппарат и нацеливая его на собравшихся около паровоза офицеров.

«Будто на глазомерных съёмках, которые младший курс едет проводить», — хмыкнул полковник, устраиваясь в центре офицерского сообщества и делая приличествующее обстановке и должности выражение лица. Но от мысли, что юнкера распределены по вагонам и совсем скоро отправятся в Красносельский лагерь, его рот предательски расплывался в улыбке.

Малюшин между тем, поколдовав у аппарата, накрылся с головой пустым вещмешком.

«И этот тряпку свою забыл, — расплылся ещё шире и скопился на офицеров. Все были солидны и серьёзны, как и подобает начсоставу ПВУ. — Один я как ротный дурачок получусь... Следует сосредоточиться... Юнкера-то, наверное, из вагонов по-вылазили, — стал настраивать себя на рабочую обстановку. — И эти тоже хороши, — хмурился он, — батальонный командир пёхом чешет, а младший комсостав на извозчиках изволит до станции катить».

От улыбки не осталось и следа. На фото он получился, как и положено «ужасу» юнкеров, суровым и грозным, словно десять нарядов не в очередь.

Не успел после съёмок смочить пересохшее горло в пристанционном буфете, как обнаружил своих подопечных, позирующих перед фотографом.

Достал часы на цепочке и глянул: «Времени ещё достаточно... И почему русские так любят сниматься на память? — философствовал полковник, разглядывая юнкеров в белых руба-

---

хах и белых фуражках, суетящихся перед аппаратом. — Без меня не разберутся», — пошёл руководить съёмками.

— Господа... вам, вам говорю, второй взвод... Половина сюда садитесь, а остальные группируйтесь за ними. Подсумки поправьте... Рубанов, вас касается... Сюда, возле фонаря вставайте, а вы двое на поваленное дерево садитесь, — распоряжался командир батальона. — А вы, не дети уже, язык товарищам показывать, — сделал замечание выглядывающему из окна вагона юнкеру Антонову.

Так и сохранился этот миг в необъятной вечности: улыбающийся Аким обнимает за плечи Дроздовского и Дубасова, Зерендорф для важности скрестил руки на груди, Олег Пантюхов, заслонившись от неяркого солнца ладонью, смотрит вдаль, а Сашка Колчинский, сложив руки рупором, чего-то кричит из окна вагона.

Остановись мгновенье, ты прекрасно...

И с каждым годом становится всё краше и краше... До слёз в глазах...

Выгрузившись на перроне Красносельского вокзала, юнкера построились, на этот раз без шума и гвалта — сказывалась усталость, и верховодивший сегодня Кареев повёл роты к месту дислокации.

Про парадный шаг он, расслабившись на природе, забыл, но расстегнуть верхнюю пуговицу мундира себе не позволил, ибо строй для «павлона», в каком бы чине не был — дело святое.

А день стоял расчудесный, и солнышко щедро одаривало приезжих нежными весенними лучами.

— Батальо-он, стой! — скомандовал он, когда вышли из Красного Села. — Господа юнкера, дабы приблизительно представляли план местности, если в самоволку убежите, — хохотнул полковник и довольно шмыгнул носом, вспомнив что-то своё, юнкерское.

«Уж не заболел ли я часом, весь день не в своей терелке... Даже Кусков коситься начал...»

— Гм-гм, — прочистил горло и уже строго произнёс: — Мы движемся с севера на юг. С левой стороны на несколько вёрст тянется Большой лагерь, а справа — наш, Авангардный. Видите бараки вон в той берёзовой роще, — показал рукой направление. — Здесь квартируют полки армейских пехотных дивизий. Дальше, в палатках, лагерь стрелковой бригады и за ним, скоро увидите, отделённый грунтовой дорогой — лагерь военных училищ. Батальо-о-н, шаго-ом марш! — Для разнообразия и чтоб навык не теряли, дал команду печатать шаг, затем через некоторое время, насладившись топотом, вновь остановил юн-

---

керов. — Господа! Зарубите на носу! Сейчас мы маршировали по так называемой офицерской дороге. Слева находятся бараки господ офицеров. А вон там, где берёзки, клёны и тополя — моя избушка и дача Его превосходительства начальника училища. Сразу отмечаю — на эту сторону дороги — не ногой! Чтоб вещмешки нарядами не наполнились: «опять меня понесло... а всё природа расслабляет...»

«Уютные дачки», — подумал Аким, разглядывая потонувшие в зарослях кустов отцветшей уже сирени, жёлтой акации и жимолости небольшие аккуратные деревянные домики, за которыми блестела водная гладь.

— Это Дудергофское озеро, — ответил на его мысленный вопрос Кареев. — По вечерам разрешаю вам купаться в отведённом, разумеется, месте. Капитан Кусков, принимайте командование, — направился в свою дачу.

Капитан, приложив ладонь к фуражке, повёл юнкеров в другую сторону от дороги, вверх, по крутому склону оврага. Сам он поднимался по деревянной лестнице с гладкими, отполированными перилами.

Не заметив, Аким провалился в яму. Чертыхаясь, вылез оттуда и обтёр винтовку, потом штаны.

«Ещё и окопов нарыли», — критически оглядел пересекавшие овраг траншеи.

— Во всех побываете, — подбодрил его с лестницы голос всевидящего капитана.

Поднявшись наверх, увидели ряды длинных барakov, архитектурой напоминающие гигантский молоток, где ручкой служила длинная казарма, а в торце, поперёк неё, стоял домик о четырёх окнах со входом посередине.

Туда и повёл юнкеров капитан, попутно просвещая молодёжь, как давеча Кареев.

— Здесь располагаются помещения дежурного, мой кабинет и оружейная комната, куда сдадите сейчас винтовки. Это барак третьей роты, то есть ваш. Фельдфебель Гороховодатч-с-к... тьфу, командуйте и обустраивайтесь, а я пойду насчёт обеда узнаю, потороплю кашеваров и четвёртую роту провожаю.

Несмотря на фамилию, довольный жизнью фельдфебель повёл юнкеров распределять койки, уже расставленные служителями вдоль барака и даже аккуратно накрытые тонкими одеялами. У каждой койки стояла тумбочка.

Аким глянул на расстроенное лицо Дубасова. Из всей роты один он хмурил лоб.

— Обидно, конечно, нет позолоченной бирки.

На низких деревянных каретках с металлическими ножками не было не то что позолоченной дубасовской, а даже простых красных табличек.

---

— Да не от этого я, а от внешнего бардака... Окна не помыты, кое-где даже досками заколочены, некрашенные полы грязные. Как будешь по-пластунски ползать?

— А зачем? — опешил Аким.

— Для трениров-в-ки-и, — заржал унтер-офицерским басом Дубасов, радуясь, что напугал товарища.

Настроение его сразу заметно улучшилось.

Определившись с койками, кое-кто из юнкеров развалился на них, ожидая обеда или ужина, смотря что успеют сготовить кашевары, а Рубанов с Дубасовым и Дроздовским вышли на улицу поглазеть на окрестности. Здесь уже курили несколько юнкеров во главе с фельдфебелем.

— Перед вами, господа бывшие «козероги», — размахивал он рукой с папироской, — так называемая линейка. Скоро вы её посыпете свежим песочком, обложите дёрном и станете следить, как за своей родной винтовкой. А на флангах первого ряда барачных, где наш старший курс после сдачи экзаменов будет жить, деревянные «грибы» для дневальных и пост с часовыми у знамени. Увидите, когда службу нести начнёте. А теперь самое главное. С правого фланга, за барачным четвёртой роты, проложена юнкерская дорога к задней линейке, где расположены столовые, уборные, чайная, умывальная и пороховой погреб. Затем по скату оврага она вас выведет на берег Дудергофского озера, где находится ваша, вернее, наша купальня, а к мосткам, ведущим в неё, причален восьмивёсельный катер — белый, как наши бараки, и с красным кантом по борту. Есть ещё и маленькие лодки. Ну а сейчас главнейшая из всех главных заповедей, — бросил окурочек в стоявшую у крыльца, рядом со скамейкой, урну. — Через год своим «козерогам» накажете. Это святое! На той стороне озера, на левом фланге Главного лагеря, — желваки его нервно заиграли, — торчит, как бельмо на глазу, барак пажей. На самом деле они — «пижи». При любом возможном случае, когда будете плавать на лодке и увидите их корыто, без всяких раздумий и угрызений совести переворачивайте посудину этих выскочек, хамов и «шаркунов». Уже десятилетия они портят благородную кровь нашим славным юнкерам, — погрозил кулаком в сторону предполагаемого барака строевой роты Пажеского Его Величества корпуса.

Вечером Гороховодатковский повёл роту в столовую — навес на столбах, без стен и окон, с длинными, на десять человек столами и деревянными скамьями.

Ужин состоял из пустых щей и каши, которые подавались не в тарелках, как в училище, а в медных мисках. Вернее, в миске. Одной на четыре человека. И ели деревянными ложками.

— Это чтобы к простой фронтовой жизни привыкали, — уплетал за обе щёки фельдфебель.

---

Лагерная жизнь начинала налаживаться.

Через день появились соседи — юнкера Константиновского артиллерийского училища, поселившиеся тоже в крашенных белой краской бараках с синей полосой посередине. На следующий день прибыли юнкера Михайловского артиллерийского училища. И на зависть «констапёрам», выставили оружейный парк перед своими коричневыми бараками.

Самым последним заселил барак эскадрон Николаевского кавалерийского училища.

В 7 утра назначенный дневальным юнкер Антонов, раздобыв где-то барабан, увлечённо колошматил по нему ладонью и радостным голосом орал:

— По-о-о-дъё-ё-м, юнкера-а! — ловко уворачиваясь при этом от летящих со всех сторон сапог.

— Ему-то до обеда после дежурства дрыхнуть, — зевая во весь рот, позавидовал Дубасов и поскакал на одной ноге, обутой в сапог, отыскивать другой.

Аким, рассудив, что сейчас возле умывальников народу мало, побежал умываться. Здесь уже весело плескалось начальство: Гороховодатковский и Гришка Зерендорф.

С левого фланга, от барака Николаевского кавалерийского училища, двигалось нечто странное — один голый по пояс юнкер вёз на спине другого.

— Господин фельдфебель, у них что, лошадей на всех не хватает? — поинтересовался Рубанов, глядя, как наездник спрыгнул с «коня» и юркнул в уборную.

— Сейчас узнаем, — ухмыльнулся фельдфебель. — Здорово, кавалерист, — поприветствовал вылезшего из уборной невысокого худенького юношу. — Тут молодёжь интересуется, у вас что, лошадей на эскадрон не хватает?

— Лошадей хватает, — насупился кавалерист, снисходя до разговора с пехтурой. — Памяти у моего «сугубого зверя» не хватает, — побренчал шпорой на высоком хромовом сапоге и пренебрежительно покосился на голые каблуки «павлонов». — Благородный корнет его спросил ночью во время бессонницы...

«Благородный корнет — это тощий наездник», — с интересом отметил для себя Аким.

— ...По хорошему, доброжелательно так спросил: «Молодой, пулей ответьте мне, в какой полчок в августе я выйду корнетом?» — Он на зубок должен помнить полк, в который выйдет его корнет. А зверь вместо «Кавалергардского» сказал «Конногвардейский»... Ну чего он заслуживает? Только стать скакуном благородного корнета. И я оказал ему эту честь, — опять взгромоздился на бедного беспамятного «иноходца» и поскакал в барак.

---

— Вот! Видели теперь в действии кавалерийский «цук»? — обратился к пришедшим умываться юнкерам фельдфебель. — Благородным «павлонам» это не подходит. Для нас главное — устав. Помните училищный девиз? «Сам погибай, а товарища выручай». Так что погоняйте до присяги своих «козорогов», чтоб службу знали, и хватит... Соблюдайте святые традиции, — накинув на шею полотенце, пошёл по «юнкерской дороге» в барак.

Юнкера за год службы выучили девизы всех военных училищ и песню про журавушку, которая по популярности не уступала маршу ПВУ.

— Кстати о девизах, — произнёс Аким. — У «николаевцев», — кивнул в сторону уехавшего на «коне» кавалериста, девиз, то есть кредо на всю жизнь, таков: «И были дружною семьею солдат, корнет и генерал».

— Ага! Все друг на друге катаются, — заржал Дубасов.

После завтрака рота построилась на парадной линейке.

— Фуражки прямо надеваются, без наклона, — ходил перед строем Гороховодатсковский. — Дроздовский, гимнастические рубахи застёгиваются на все пуговицы и подпоясываются поясным ремнём.

— А то я не знаю, — буркнул юнкер, глядя на двух приближающихся офицеров.

— Всё вы знаете, а воротник можно расстёгивать только в курительной комнате, — сделал ему замечание фельдфебель и строевым шагом направился докладывать капитану о состоянии роты.

— Это ему обидно, что мы бескозырки на летние фуражки сменили и стали наравне с фельдфебелем. Не ему одному фуражку носить, — язвил, застёгивая верхнюю пуговицу Дроздовский.

— Господа юнкера, — поздоровавшись с ротой, произнёс Кусков. — Во-первых, после построения попрощайтесь с фельдфебелем Гороховодатстковским, — чётко выговорил фамилию, — он отправляется в училище для сдачи экзаменов. Заменять его будет унтер-офицер Зерендорф. А временно исполняющим обязанности командира 2-го взвода станет младший унтер-офицер Дубасов. Во-вторых, фельдфебель Гороховодатсковский разобьёт напоследок личный состав роты на пятёрки, и под руководством капитана Нилуса Фемистокла Феофановича приступите к топографическим съёмкам на местности. Прошу, господин капитан.

Потрясённый Гороховодатсковский с уважением рассматривал Фемистокла.

«Но фамилия моя всё равно благороднее звучит», — успокоил себя.

---

— Господа юнкера, — произнёс бархатным, проникновенным голосом, мало похожим на командирский, капитан Нилус. — Начнём мы с полуинструментальных мензульных съёмок в окрестностях сёл Красного и Дудергофа. Каждая пятёрка получит отдельный участок местности, который должны будете нанести на план с масштабом в 200 сажен в дюйме. Скоро подвезут базисные цепи и вехи. Работать будете самостоятельно, но под моим контролем.

В первую пятёрку вошли: Виктор Дубасов, Аким Рубанов, Михаил Дроздовский, Олег Пантюхов и Сергей Антонов.

Записав фамилии в журнал, капитан по карте отвёл им самый крайний участок около Дудергофской железнодорожной станции. В участок вошли расположенные возле неё дачи и дома с палисадниками и огородами, отрезок Балтийской железной дороги и часть грунтового шоссе за станцией.

— И не дай вам бог ближе пушечного выстрела приблизиться к железнодорожному буфету, господа юнкера. Ну, думаю, командир взвода унтер-офицер Дубасов нарушений дисциплины не допустит.

— Так точно, господин капитан, — уверенно гаркнул Дубасов, но весь вид его говорил об обратном, а в глазах отражались не планы и схемы участка, а бутылки с пивом.

До вечера работа просто кипела. Дубасов, Дроздовский и Рубанов самоотверженно таскали базисную цепь и расставляли вехи по краю шоссе за дудергофской станцией. Пантюхов и Антонов трудились у треноги с планшетом, визируя отдельные вехи, телеграфные столбы, шпили на станции, и составляли на бумаге ломаную и извилистую триангуляцию.

Мысли всей доблестной пятёрки крутились неподалёку от пристанционного буфета с пивом. Да ещё, как нарочно, на стене вокзала красовалась облезлая, но сильно действующая на юнкерское сознание реклама. В окружении разнокалиберных пивных бутылок облезлый официант с отвалившимся носом откупоривает бутылку пива. И над безносом пыльным господином надпись: «Тов-во Пиво-Медового Завода. Иван Дурдин. С. П. б.»

И тут таким демоном-искусителем почище официанта, с пивной бутылкой в каждой руке, откуда не возьмись, появился фельдфебель Гороховодатсковский.

В предвкушении праздника жизни он расположился в тени дерева у сломанного штaketника, где и был вычислен поднаторевшими топографами.

— Господин Гороховоподдатсковский, разрешите обратиться, — облизывался на пиво Рубанов.



---

— Не-е-т! Не разрешаю, — попытался спастись на станции фельдфебель, не обратив внимания на изуродованную фамилию, но был окружён и лишён бутылки пива.

Начало было благополучно положено.

У выхода из вокзала, как раз под рекламой, бездельничал в экипаже возчик.

За две бутылки пива он был запряжён и командирован в буфет. Через пять минут этот добрый человек с мешком за плечами выложил перед истекающими слюной юнкерами: 12 бутылок пива, свежую колбаску, сыр и тёплые пирожки.

Компания расположилась под «сенью кудрявых берёз», как написал бы, по мысли Акима, проезжающий мимо них Пушкин, и предалась усладе юнкерского организма, предварительно наняв за два пирожка местного парнишку следить за появлением на дороге конного офицера.

Когда оный некстати, как и положено начальству, появился, парнишка залихватски свистнул, и часть бригады топографов под благосклонным взглядом проверяющего активно таскала вехи, цепь и ещё какие-то причиндалы, а другая часть, словно художники за мольбертом, чертили схему на бумаге за треногой. Фельдфебель, на всякий случай схоронился в кустах.

Унижаться до того, чтоб обнюхивать юнкеров, Нилус не стал, хотя некоторые подозрения и имел. Начинаящим топографам очень повезло, что он не заглянул в чертёж. Потому как там вместо плана выделенного участка красовалась реклама пива и облупленный официант — то Пантюхов обнаружил в себе дар художника.

Во втором акте жизненной пьесы в ход пошло уже вино, несмотря даже на отсутствие рекламы.

— Сельская местность и пристанционный буфет негативно влияют на воинскую дисциплину, — такую теорию увлечённо обсуждали «павлоны».

Как расстались с фельдфебелем, и на тот ли поезд он сел, топографическая пятёрка не помнила.

Утром апатично слушали завистливую ругань Зерендорфа, особенно, в своей образной речи нажимающего на то, что среди проштрафившихся находится командир взвода.

— Господа, скажите спасибо, что вечернюю поверку проводил я, а не капитан Кусков.

— Это от жаркого солнца голова кружилась, — только и сумел произнести в оправдание Рубанов.

— А винный запах, который до сих пор в казарме витает, тоже от солнца?

На это Аким развёл руками и ни к селу ни к городу напел: «Ах, Волга, муттер ты моя», — чем довёл Зерендорфа до белого каления.

---

Дурной пример, как известно, заразителен. На второй день уже большая часть юнкеров страдала головокружением от палящих лучей солнца, а барак по запаху напоминал винный заводик.

— Во всём «шакалы» виноваты, — оправдывался Дубасов.

Шакалами назывались разносчики товаров с лотками или корзинами на голове.

За неделю съёмок к дубасовской пятёрке бог или судьба прикрепили сорокалетнего, прохиндейского вида мужичка, с обвислыми хохлатскими усами и блестящей лысиной под кепкой, которую он поминутно снимал, вытирая ею лицо и шею.

Чего в его корзине только не было.

После объезда подопечных Фемистоклом Феофановичем великолепная пятёрка купила у Иваныча, так представился торгош, две бутылки водки. Одну под «красной головкой» за 40 копеек, другую под «белой» — за 60 копеек. На закуску денег не пожалели. После каши и щей душа просила деликатесов. Взяли копчёного угря, колбасы, сыра, пирожков с яйцом и капустой вместо хлеба, и нарзана — запить всё это изобилие.

Да и как в жару без воды?

Расположились в роще на склоне Дудергофской горы.

Дубасов взял бутылку и постучал слегка красной сургучной головкой о камень, а когда сургуча почти не осталось, профессиональным ударом ладони по днищу, выбил пробку и разлил водку по маленьким стопочкам, хранившимся у Иваныча в отдельном пакете и за отдельную плату.

Пир пошёл горой. Дудергофской.

Перед Иванычем была поставлена боевая задача на завтрашний день.

Народу захотелось консервов из омаров, паштет из дичи и паюсной икры.

Щёлкнув каблуками рыжих сапог, Иваныч лихо козырнул, ибо служил когда-то в гвардейском Семёновском полку, затем традиционно снял и обтёр красную рожу кепкой и безмолвно, словно джин, испарился.

Попутно с выпивоном до вечера азартно резались в карты, купленные втридорога у того же Иваныча.

Бывший семёновец, хоть и работал «шакалом», оказал юнкерам ещё одну неоценимую услугу, причём бесплатную. Нашёл в Дудергофе землемера и тот мигом всё замерил и начертил.

Топографию похмельные юнкера сдали прекрасно.

После полуинструментальной съёмки, так же весело прошли глазомерные и маршрутные.

Землемер разжился окладом подпоручика, а у Рубанова в кармане остался оклад нерадивого ефрейтора самого захудалого пехотного туркестанского батальона.

---

Зато Фемистокл Феофанович ставил в пример всей роте дубасовскую пятёрку. Даже Зерендорф, несмотря на трезвый образ жизни и немецкий педантизм, получил на балл меньше.

После топографии отдохнувший и посвежевший капитан Кусков, согласно плану учебно-тренировочных занятий, решил заняться с ротой стрельбой, о чём и сообщил утром на построении.

После чая взгрустнувшая рота с винтовками на левом плече, отбивая шаг по «офицерской дороге», под руководством Кускова и Капрала, так называли прибывшую к роте собачонку, направилась на стрельбище.

Путь лежал в сторону Главного лагеря. Те места для юнкеров были ещё загадкой, поэтому несколько раз сбивали строй, зыряка по сторонам глазами.

Обогнув Дудергофское озеро, вышли на левый фланг Главного лагеря, где находился барак Пажеского корпуса.

Любопытные пажы, словно семечки из подсолнуха, высыпали на парадную линейку и, дурачась, отдавали честь проходящему воинству.

На стрельбище Рубанов попал в свою стихию. Здесь ему не надо было звать на помощь землемера. Отстрелялся он первым по роте и заслужил благодарность от капитана Кускова и Капрала, ласково лизнувшего его руку.

После занятий роту вёл Зерендорф. Кусков встретил знакомых офицеров и остался с ними «обсудить результаты стрельб».

— Завтра утром роту в тир поведёте без меня, — распорядился он, обращаясь к Зерендорфу.

Тот козырнул, Капрал повилял хвостом.

— Ну вот. С приказом все согласны, — порадовался за дисциплину капитан.

— С песне-е-й марш! — скомандовал старший унтер, собачонок тявкнул, и рота, отбивая шаг, двинулась домой, во всю глотку напевая училищный марш.

Подходя к бараку пажей, бодро горланили второй куплет:

Мы смело в наступлении победу завоюем,  
Погнём штыки опасности и славу всем добудем,  
Вперёд, смелей, друзья. На штык и на ура,  
Коли, руби врага, умрём и победим,  
За славу русского царя.

Когда молча отбивали шаг по главной линейке пажей, те, построившись, тоже запели, нагло глядя на юнкеров:

Как надутые гондоны,  
Маршируют все «павлоны».  
А кто первые «хамлоны»?

---

Это, верно, уж «павлоны».  
Жура-жура-жура мой.  
Журавушка молодой.

— Они чем-нибудь путным занимаются по службе? — поинтересовался у Дроздовского Аким.

— Р-р-ота! Стой! Продолжим «Журавушку», — дал команду Зерендорф, и довольный курс дружно затынул, стоя перед бараком пажей:

Пред начальством, как ужи,  
Извиваются пажи.  
Кто способен на шантаж?  
Ну конечно, камер-паж.  
Жура-жура-жура мой.  
Журавушка молодой!

Спев, весело продолжили свой путь, оставив пажей в глубокой задумчивости.

В запале творчества этот вечер юнкера посвятили песенному искусству, услышав, как вдалеке поют «никolaевцы»:

Соберёмся-ка, друзья,  
Да споём про журавля-я.  
Строят «сральник» на ура-а,  
Инженеры-юнкера-а.

Далее по эстафете куплет подхватили артиллеристы-михайловцы:

В Петербурге держит тон,  
Только юнкер-«михайлон».

Возвысили они себя. Следом константиновские юнкера пропели избитые строчки про «павлонов», а те успешно отдались.

Кто безмерно туп и глуп?  
Это юнкер-«констапуп».

«Жура-жура-жура мой, журавушка молодой», — гремело в воздухе до самого отбоя.

На следующее утро, выполняя приказ до сих пор обсуждающего результаты стрельбы капитана, Зерендорф знакомой уже дорогой повёл роту на стрельбище.

Хорошо позавтракавший и потому довольный жизнью Капрал бежал перед строем, трудолюбиво ставя метки на окрестных кустах.

---

Пересекая парадную линейку пажей, «павлоны» насторожились, разглядывая, чего это «шаркуны» держат в руках, ни на флаги, ни на подсумки непохожее. Оказалось — клизмы. А один наглый и здоровый паж любовно прижимал к груди огромнейший пульверизатор. И он ведь был не пустой...

Нарушив дисциплину, Аким крикнул из строя:

— Господа «пижи», у вас что, запор?

И тут же поплатился за этот вульгарный вопрос, будучи обрызган какой-то необыкновенно вонючей жидкостью из вместительного пульверизатора.

Благоразумный Капрал, почуяв нестранные запахи, опрометью бросился в кусты и появился перед строем уже на стрельбище. Словом, службу завалил полностью.

Пропустив «павлонов» через парадную линейку, пажи не отстали, а зарядив по-новому вонючей жидкостью свои боевые клизмы, преследовали юнкеров по дороге, отделяющей первобытную стоянку пажей от лейб-гвардии Финляндского полка.

Выбежавшие поглядеть на представление «финляндцы» показывались со смеху, показывая пальцами на мокрых «павлонов».

И даже в такой неординарной ситуации юнкера не сломали священный строй, а высокомерно глядя на нападающих, чётко отбивая шаг, топали дальше.

Они уже приучились, что строй для «павлона» — превыше всего.

«Финляндцы» это поняли и перестали ржать, уважительно провожая взглядом колонну Павловского военного училища.

Отстрелялись на этот раз неважнецки. Даже Рубанов промахнулся, приняв за исходящему от рубахи запах.

На обратной дороге, услышав крик дневального «“Павлонов” несут-т!», неумные пажи поднесли к глазам заранее приготовленные огромные монокли на широких жёлтых лентах страшных размеров подзорные трубы и бинокли, чтоб смотреть свысока на вонючих «павлонов».

Юнкерский строй прошёл как по ниточке, лишь один Капрал, стыдясь за утреннее своё поведение, вступился за честь роты, громко облаяв смутьянов, и попытался укунить огромного пажа, который давеча держал в руках пульверизатор, а теперь глядел на юнкеров через монокль величиной с тарелку.

«За меня мстит», — подумал про собаку Рубанов и крикнул:

— Мы вам под них скоро глаза подровняем! — «Становлюсь постепенно рупором роты», — погордился собой.

Зерендорф промолчал, не сделав замечания, видно был того же мнения.

Дубасов яростно сверкал очами. Нарушить строй, чтоб куда-нибудь засунуть пажу подзорную трубу, он не мог — воспитание не позволяло.

---

В столовую никто не пошёл, аппетита не было. Почистив и смазав винтовки, помчались купаться на озеро. В воду с мостков под лай Капрала, бухались в одежде и сапогах. Благо, день был жаркий.

После водных процедур до вечера стирали и сушили на солнышке форму. Ходили, ясное дело, в чём мать родила, и кожа по цвету прошла все метаморфозы, начиная от белых рубаш, потом медных тарелок и наконец сравнялась с сапогами.

Поев, опять ринулись на озеро. На этот раз поплавать на лодках.

Зерендорф со своими «нукерами», заняли восьмивёсельную шхуну, остальные, записавшись в очередь, рассекали во всех направлениях Дудергофскую лужу на лёгких каравеллах... Или яхтах, корветах, крейсерах, в зависимости от фантазии «моряков».

В консервную банку с надписью на борту «Сойка» вместились все триангуляционная пятёрка.

В тесноте, как говорится, да не в обиде. Дубасов сидел на вёслах, Пантюхов на корме крутил фанеру с рукоятью под гордым названием «руль», Аким был рупором команды и, расположившись на носу или клюве «Сойки», орал встречным яхтам, каравеллам, шхунам и крейсерам: «Побереги-и-ись!» Дроздовский с Антоновым обязанностей по лодке не имели и являлись просто моряками.

И тут Рубанов заметил флот неприятеля, состоящий из одной восьмивёсельной посуды, которая неуклюже, как и Зерендорфская — кто в лес, кто по дрова, отчаливала от противоположного пажецкого берега.

— Господа корсары, прошу ко мне, — взял он руководство в свои мстительные руки.

И когда корсары окружили «Сойку», выложил свой план:

— Господа пираты, дадим брига противника отплыть на серёдку озера и неожиданно, как наряды не в очередь, свалимся им на голову.

— Снаряды? — переспросил Дубасов.

— Наряды! — поправил его Аким. — Цель — перевернуть судно с сухопутными матросами, и пусть «шаркуны» по дну добиваются до берега.

Народ с великим воодушевлением согласился на атаку.

Зерендорф, пытая и ругаясь, на совещание генштаба опоздал. Его броненосец, к удивлению морских волков, медленно крутился вокруг своей оси.

Дубасов хотел прочесть басню Крылова — «когда в товарищах согласия нет», но перепутал слова.

Дроздовский начал что-то про лебедя, рака и щуку, но среди них почему-то затесался Капрал и запутал всё дело. Закон-

---

чил он басню нравоучительной цитатой из устава внутренней службы.

Аким перебирал в уме подходящие случаю вирши Пушкина, но выдал:

— Медведь, мартышка, козёл и косолапый мишка...

— Козла в компании не было, — стал спорить Дубасов.

— Не козла, а медведя, — не согласился с ним Дроздовский.

Отвлекли их от поэзии вошедшие в ритм и раскошегарившие свой восьмивёсельный дредноут пажеские яхтсмены.

Перевязав один глаз платком и произнеся:

— Эх, нам бы ещё шарманку с попугаем, — Рубанов дал команду: «На абордаж!»

Корсары в несколько минут окружили корабль противника и со словами: «Где ваши клизмы, господа утопленники», — перевернули его.

Да так ловко, будто этому учились под бдительным оком Кускова.

Слушая вопль Зерендорфа: «Отстави-и-и-ть!», Аким любовался захлёбывающимся здоровяком-пажом, высчитывая в уме, сколько пульверизаторов дудергофской воды поместится в его желудке.

Пажеские глаза стали величиной с монокль на жёлтой ленте. Плавать, оказывается, он не умел. Но поняли сидящие в лодке это не сразу. Паж сначала бил руками по воде и что-то мычал.

— Радуетса купанию, — выдвинул Аким свою версию, но поперечный Дубасов вновь стал спорить, доказывая, что паж по укоренившейся привычке хочет нас обрызгать.

— Нет! Вы не правы, господа, — не согласился с ними Дроздовский, — паж просто хочет понырять...

Но когда любитель водных упражнений появляться на поверхности стал реже и реже, больше времени проводя под водой, и, вынырнув, вдруг завопил, раз в десять перекрыв визг обливающегося по утрам Зерендорфа: «Помогитя-я-я!» — с деревенским к тому же акцентом, Дубасов мощной своей дланью поднял его за шкурку исподней рубахи над водой, а Аким поинтересовался:

— Зелёненкокий, и где же твой пульверизатор?

От охватившего его ржання и общей душевной радости спасатель выронил пажа, и тот, барахтаясь, ещё громче заорал: «Карау-у-л-л-л-л!»

— Вот тебе и буль-буль-буль, — вновь выудил из воды тело несостоявшегося водолаза.

Аким огляделся окрест.

Двое яхтсменов саженками улепётывали по направлению к берегу, остальные мокрыми курицами сидели, сдавшись на милость победителя, на днище вельбота.

---

Зерендорфский корабль, вращаясь вокруг оси, медленно приближался к месту боя.

— Всё! Трубить отбой, — снял с глаза повязку Рубанов, — войска противника отступают по всему фронту. А вон ещё одно неопознанное плавсредство, — ехидным голосом дал информацию к размышлению.

На этот раз Дубасов всё понял правильно: «На аборда-а-аж!» — воинственно-хриплым, прокуренным басом зарычал он, затащив всего утопленника в лодку, и флот двинулся в сторону морских топографов.

— Убью-ю-ю! — завизжал главный «козерог», будто его окатили ледяной водой, и на всякий случай поднял весло.

«Нукеры» последовали его примеру.

— Солдат ребёнка не обидит! — миролюбиво изрёк Аким. — Всем к берегу, оживлять утопленника-а! — направил мысли окружающих в русло Гаагской конференции по разоружению.

Как паж не сопротивлялся, чуя недоброе, его вытащили за руки и за ноги, уронили на песок, и в придачу тяпнул за ногу Капрал. На этом пажеские мучения закончились. Юнкерам стало жалко его.

— Ребята, теперь он наш гость, — повели страдальца в чайную.

Вскоре сердобольные «павлоны» принесли ему запасную форму, угостили конфетами с чаем и извинились за превращение пажа в водяного.

Виновный в покушении на пажескую ногу Капрал лизнул гостя и в знак примирения улёгся у его ног.

— Граф Игнатьев Сергей Рудольфович, — представился паж. И поклялся на уставе внутренней службы не брать в руки клизму, а тем более пульверизатор, даже если будет страдать хроническим запором.

Когда гостя проводили, появился усталый боцман Зерендорф с командой матросов. Ладони их пузырились от мозолей.

— Живым отпустили? — поинтересовался он. — Главное — традиции не нарушили, — пошёл в барак отдыхать.

Через день во главе с генералом Шатиловым прибыл старший курс, и с ними училищное знамя. Тут и пошли наряды, караулы, учения.

К середине июня Красносельский лагерь и Дудергоф полностью заполнились юнкерами, гвардейцами, «шакалами» и «жуками». Так на военном языке именовали проституток.

Народ вдохновился и стал ещё гуще ваксить сапоги и чистить пряжку ремня, будто для «жуков» или, точнее, «жучих» это являлось самым важным.

Основа быстрой любви — деньги в кармане, а пряжка пусть выглядит темнее тёмного царства.



---

У Рубанова денег после топографических съёмок осталось с гулькин нос, который много короче носа «Сойки». К тому же по ночам часто снилась желтоглазая Натали.

А Дубасов и вовсе получил письмо от Ольги, став от этого задумчивым и мечтательным. К тому же денег у него осталось ещё меньше, чем у Акима.

С приездом высшего училищного начальства начались активные учения. Батальон совершал марш-броски по окрестностям Красного Села и Дудергофа. Стоять на посту считалось отдыхом.

Рубанов уже отдежурил у порохового погреба и готовился заступать на пост номер один у знамени.

Особым шиком у «павлонов» считалось простоять два часа на посту не шевелясь и по стойке смирно. Юнкера закаляли этим волю и характер.

Перед заступлением в караул капитан Кусков лично провёл инструктаж с постовыми в дежурной комнате.

— Господа юнкера. Для военной службы нужен безукоризненно честный воин. Поэтому, как вы уже поняли за год, вся обстановка училищного воспитания построена на началах чести, справедливости и благородства. Воинская честь — есть высшее проявление нравственных качеств юнкера, а потом и офицера. Верность царю, Отечеству и знамени — вот важнейшие основы воинской чести. Знамя, на охрану которого вы заступаете, — царское благословение на верную службу Родине. Сейчас знамя училища, а потом полка — это святыня для вас. Потерять в бою знамя, всё равно, что нарушить присягу, изменить царю и Родине. Знамя — душа армии. Знамя — символ идеи защиты Родины. Защиты детей, матерей и стариков. На такой важный пост вы сейчас и заступаете.

Два часа на посту у знамени Аким не шелохнулся.

На следующий день — стрельбы, затем марш-бросок, и так до середины июля, когда для младшего курса учения закончились.

Старший курс прощался со своими «козерогами». Второй взвод расположился в чайной за сколоченными из досок импровизированными столиками.

— Берегите училищные традиции, не уступайте пажам и уважайте своего капитана, — сидя в окружении юнкеров, говорил расчувствовавшийся Гороховодатсковский. — Левая рука у него знает отчего всегда в кармане? Прострелена на дуэли, когда вступился за честь юнкера перед пехотным офицером. Юнкеру-то стреляться не положено. А честь для военного человека — главное. Вот он и восстановил справедливость. Ну ребята, прощайте... С кем-нибудь судьба сведёт в полку или на войне, — жал

---

всем руки. — А от вас следует подальше держаться, когда топографией занимаетесь, — улыбнулся Дубасову с Акимом и их товарищам. — А нам ещё до 6 августа делать марш-броски по окрестностям Копорья, Кипени и Ропши.

После чая — переключка и вечерняя молитва.

На главной линейке построились юнкера. Фельдфебель выкрикивал фамилии.

У знамени, где не шелохнувшись стоял часовой, выстроился караул. Трубоч встал на правом фланге. Затем вперёд вышел священник.

Батюшка по-доброму глянул на молодых ребят, отчего-то зная, что немногие из них доживут до старости. Он и жалел их в душе, и гордился ими.

Пока они есть — будет и Россия...

— Если посмотреть русские святцы, — негромко начал он, — то большинство святых или воины, или монахи... Монах всю жизнь отдаёт Богу, а воин всегда готов положить жизнь свою за други своя... Помните девиз училища — «Сам погибай, а товарища выручай». И тем воин обретает Царствие Божие. И то, и другое служение жертвенное, и высшее проявление этого служения именуется ПОДВИГОМ. Главное в молодом человеке — это сознание долга и красота подвига. Долг и подвиг — вот что приносит честь солдату и офицеру, вот к чему надо стремиться. И я благословляю вас на это, — медленно, широким крестом перекрестил стоящее перед ним воинство.

Строй запел «Отче наш».

Дружно и с чувством. Рядом запели юнкера других училищ. Запели во всём Авангардном лагере. И даже сюда, через Дудергофское озеро, доносился стройный и могучий звук тысяч и тысяч голосов — то пели в Главном лагере.

И Акиму показалось, что поют не люди, а славит Бога и небо, и воздух, и заходящее солнце, и вся Россия... От одного необъятного своего края и до другого.



В Рубановку они приехали вместе с Глебом. Остальные Рубановы с чадами и домочадцами уже отдыхали по обе стороны Волги в своих имениях.

— Ой, похудели-то как, — всплеснула руками Ирина Аркадьевна.

— Не похудели, а возмужали, — поправил её Максим Акимович. — Вот вам, сынки, по окладу подпоручика, — думал обрадовать детей, протягивая им по 48 рублей, но был сконфужен младшеньким.

---

— Папа́, такой оклад у подпоручика был в дни твоей молодости при императоре Александре Третьем. Сейчас господин подпоручик получает целых 60 целковых.

— Сколько он получает? — сделал удивлённое лицо Рубанов-старший, но всё же под смех жены полез в портмоне.

— Уж можно бы и штабс-капитанские оклады детям выдать, — съязвила она.

— Это в будущем году, — нашёлся Максим Акимович. — Старший закончит, а младший поступит в военное училище.

— Если поступлю, так и полковничьим можно поощрить, — опять высказал высокие финансовые амбиции Глеб, убирая денежки в какой-то потайной карманчик кадетской формы.

«Сам, что ли, пришил? — призадумался Аким. — В районе спины карман находится, первый раз вижу».

Как и положено, на следующий день нанесли визит ромашовские Рубановы.

Благодаря императору Николаю Второму, у генерал-адъютанта Рубанова появилась в жизни новая страсть — лаун-теннис, и он ходил по дому, держа в одной руке ракетку, в другой — майерское руководство для этой игры. Временами, прочитав страницу, начинал производить странные пасы.

Не успев толком выпить и закусить, потащил брата и детей на теннисную площадку, оборудованную в саду за домом.

Любимой формой одежды Рубанова-старшего стал не генеральский мундир, а форма теннисиста. Такая же, как у императора. Белые брюки и рубашка, но без вышитого имперского двуглавого орла на кармане, и белые ботинки с чёрными носками.

Младший, уже ознакомившись с причудами старшего, заранее оделся под теннисиста.

«Это много лучше, чем купаться в чём мать родила», — пришёл он к выводу.

Игра между ними завязалась нешуточная. Причём старший проиграл младшему.

Чуть позже, посплетничав о чём-то своём, женском, появились их жёны в светлых воздушных блузах и белых юбках. Они сменили уставших мужей на корте и, к удивлению Акима, играли уверенно и профессионально.

Маленький мячик так и летал с одной стороны сетки на другую.

Их мужья в это время, мягко сказать, спорили.

Старший брат привёл множество причин, почему произошла такая оказия, что он неожиданно проиграл. Тут и происки встречного ветра и мягкое ещё покрытие, а также множество других нюансов, как соринка в глазу, небольшой вывих ноги...

---

— Ага! Застарелая подагра, — перебил Рубанов-младший. — К барьеру, сударь, — молодцевато пофехтовал ракеткой.

Игра определённо начинала ему нравиться.

Во втором туре он опять выиграл, хотя встал на место брата против ветра и против солнца.

Затем все дружно стали учить самых младших Рубановых, но у тех игра пока что не ладилась.

Вечером пили чай на веранде и беседовали.

Старшие Рубановы, как водится, опять сцепились, обсуждая царский указ от 12 июня 1900 года об отмене ссылки на поселение в Сибирь.

— Давно следовало отменить ссылку в Сибирь. Позор на всю Европу, — горячился Георгий Акимович.

— Да это государь Сибирь пожалел и не стал засорять нежелательными элементами вроде студентов и профессоров. Государь, как говорится в указе, снял с Сибири тяжёлое бремя местности, в течение веков наполненной людьми порочными.

— Вот именно, Сибирь жалко, а людей нет, — не сдавал позиции Рубанов-младший.

— Ну да! Тебя послушать, так в Крым надо смутьянов ссылать, а не на Сахалин, который оставлен местом ссылки. Но вот в этом же указе Николай зря отменил наказание розгами, применявшееся по решению сельских обществ. Разбалуетесь народ!

— Варвар! Ты меня поражаешь, — возмутился Георгий. — Это же дикость — наказывать розгами.

Про «варвара» Максиму не понравилось, и он немного изменил тему разговора.

— Господин профессор, надеюсь, читал последний номер журнала «Вестник Европы?»

— Неужели генералы читают прогрессивную прессу? А что там? — несколько озадачился Георгий Акимович.

— Там сопоставляется отмена ссылки с событиями в Китае. С «восстанием боксёров». Интересен вывод, что следует развивать Сибирь. Узкой железнодорожной полосы, связывающей европейскую Россию с берегами Тихого океана недостаточно. Кстати сказать, правильно анализируют ситуацию. Будет война — нескоро из России грузы и людей доставят к театру военных действий.

— Максим! Да бог с тобой, какая война.

— Обыкновенная, Георгий, на которой стреляют. Да она уже началась. Про англо-бурскую вся Россия знала, а на свою никто и внимания не обращает. А ведь китайцы в июне захватили у нас всю линию строящейся железной дороги, а в июле перешли в наступление на Благовещенск. Сейчас за них взялся генерал-майор Ренненкампф. Долбит желтолицых в хвост и в гриву.

---

Младшие Рубановы заинтересовались военной темой, но в этот момент перед ними предстала компания из полудюжины мужиков под водительством длинного, худого, очкастого субъекта с бородкой клинышком.

Сидящая на веранде компания безошибочно признала в нём учителя.

Как понял Аким, просили лес на ремонт рубановской школы.

Ясное дело, Максим Акимович выделил на поддержку образования, к горю подошедшего старосты, приличную делянку.

— И про мост не забудьте, — но он не успел развить мысль.

— Качать благодетеля! — заверещал учитель голосом Зерендорфа, и довольные мужики, ухая и вскрикивая, стали подбрасывать Рубанова-старшего.

— Не уроните! — запричитала Ирина Аркадьевна, волнуясь за мужа.

Огорчённый убытком староста желал обратного: «На гроб меньше бы леса ушло, прости господи...»

В начале августа Максим Акимович, с матюгами миновав раздолбанный мост, уехал в Петербург, дабы успеть к 6 августа в Красное Село, куда прибыл и государь, согласно традиции, ежегодно поздравлявший юнкеров с производством в подпоручики.

Аким до конца каникул бился с братом в лаун-теннис, делал конные прогулки или читал, но с крутобёдрыми, русоволосыми, чернобровыми бестиями порочащих связей не имел. Осенью он мечтал получить письмо от своей желтоглазой колдуньи, так зачем ему другие.

С Васькой Северьяновым этим летом, к радости брата, тоже не встретился. Тот навестил отца и Рубановку в июне.



Когда Аким вернулся в стены родного училища, первым, кого он встретил, был Мишка Дроздовский, нёсший дневальство и грустно рассматривающий себя в огромное настенное зеркало.

— Честь имею явиться, господин «козерогий папаша», — отрапортовал ему Рубанов, чётко отдав честь и щёлкнув каблуками.

— Вольно! — повеселел Дроздовский. — А ведь и правда, папашами стали. Скоро и «козерогии» притащатся. А вот и они, — принял строгий вид, пренебрежительно разглядывая появившихся в дверях испуганных кадетов.

И служба полетела со скоростью курьерского поезда.

Юнкера 3-й роты получили высокий статус роты Его Величества и царские вензеля на красные погоны, став 1-й ротой училища.

---

Гришку Зерендорфа приказом начальника училища назначили младшим портупей-юнкером. Еле дыша от счастья, он сменил берет на фуражку, штык-нож — на тесак с офицерским темляком и подпоясался белым поясом.

К несказанной радости Дубасова, его тоже произвели в младшие портупей-юнкера со всей соответствующей атрибутикой, и он стал взводным командиром, сменив круто пошедшего вверх Зерендорфа, исполняющего обязанности фельдфебеля роты.

Не обошла божья благодать и Рубанова. Ему присвоили чин младшего унтер-офицера и поставили на должность командира отделения.

— Ну вот, — прокомментировал назначение Дубасов, обращаясь к Акиму. — Наконец-то и ты человеком становишься. И хотя не выслужил фуражку, тесак и белый пояс, зато на койке появилась позолоченная табличка с фамилией. Глядишь, скоро в люди выбьешься, — гордо покрутил темляком на тесаке и сдвинул набок фуражку.

— Увидев твой тесак до колена, Ольга непременно обомрёт и выйдет за тебя замуж, — ответил Аким приятелю, отчего-то вогнав его в задумчивость.

Письма от Натали всё не было.

С сентября занимались на плацу выездкой, фехтованием. В тире учились стрелять из семизарядного офицерского револьвера системы Наган, а не из трёхлинейной винтовки системы Мосина, которую освоили на младшем курсе. Ну и, конечно, воспитывали «козерогов» в духе Павловского военного училища.

Построив молодых юнкеров, Дубасов важно ходил перед ними и менторским, занудливо-нравоучительным голосом вещал:

— Слушай сюда, «козероги». Головные уборы снять! — командовал он. — О-о-х! Ну как вы держите свои «козерожьи» бескозырки? Когда они не на вашей «козерожьей» башке, полагается держать снятый головной убор в левой опущенной руке за тулью, кокардой вперёд. А вот когда фуражку выслужите, что вам ещё сто лет не грозит, — прикоснулся к своему головному убору, — то её полагается держать за козырёк, донышком вперёд. Большой палец поверх козырька по направлению к кокарде, остальные — внутри. Но это вам до лета не понадобится. Бескозырку учите правильно держать. Надеть головные уборы... снять, надеть... сня-я-ть... надеть. Скоро буду учить вас честь отдавать. Да смотрите, с дури с ног кого не сбейте... И ещё запомните, как «Отче наш»... Шинель, надетая в рукава, застёгивается на все крючки. Надетая внакидку — на крючки воротника и верхний бортовой крючок. Запомнили, «козероги», — строго глядел на стоявших в струнку юнкеров.

---

К своему удивлению, Аким с удовольствием посещал лекции и грамотно отвечал на репетициях, получая хорошие баллы.

Капитан Кусков, забросив шагистику, с интересом следил за развитием российско-китайского театра боевых действий и обсуждал все известные боестолкновения со своей ротой.

— Господа юнкера, — сжимал он в правой руке газету, медленно прохаживаясь перед строем. — Российский офицер всегда должен интересоваться боевыми действиями, которые ведёт русская армия. Вот потому-то и довожу до вашего сведения, что в конце июля небольшой отряд генерала Ренненкампа очистил от противника весь правый берег Амура — от Покровки до Благовещенска. Затем взял населённый пункт Цицикар, отставить смешки, за что награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. В конце августа военное соединение из 922 казаков при 6 орудиях двинулось на Гирин, и 10 сентября передовой отряд в 150 человек подошёл к городу, столкнувшись с китайской пехотой в количестве 500 человек. Растерявшийся противник сложил оружие. Из города прибыли парламентарии. Павел Карлович запугал их, сказав, что с ним сейчас 150 человек, а в 20 верстах — 800 казаков с шестью орудиями, а за ними, даже не покраснел он, — бригада пехоты с артиллерией в 100 пушек. Противника не то что можно, а даже нужно обманывать, коли разведкой не научен заниматься. Это называется военной дипломатией. Честно говоря, сам только что термин придумал. Суворов называл военной хитростью, или смекалкой. Турки ему верили... За что всегда были биты... Отставить смех. Так вот. Перетрусившие китайцы пропустили отряд Ренненкампа в город. Отряд на рысях двинулся к дому наместника, разоружил охрану численностью в 200 штыков и предложил китайским войскам капитулировать... Что они и сделали. Около трёх тысяч человек сложило оружие. Генерал захватил 69 орудий, а на монетном дворе — 904 пуда серебра в чеканной монете. И в середине сентября продолжил свой путь на Мукден, за что высочайше удостоен ордена Святого Георгия 3-й степени. Два Георгия за одну непродолжительную кампанию... Вот что значит энергия, натиск, выносливость и организованность. Вот у кого всем надо учиться, господа юнкера, — у генерал-майора Павла Карловича Ренненкампа.

«Учиться-то можно, да вот фамилия его явно подводит», — делал свои выводы из сказанного Дубасов.



Поздней осенью птицы высокого полёта — министры, высший генералитет и Великие князья — потянулись в Крым — Николай Второй заболел брюшным тифом.

---

В ялтинских и ливадийских церквях служили бесконечные молебны о выздоровлении императора, а газеты публиковали бюллетени о его здоровье и статьи, посвящённые высшим сановникам.

Приехал в Ливадию и генерал-адъютант Максим Акимович Рубанов.

За супругом самоотверженно ухаживала Александра Фёдоровна. Она даже отказалась от сиделки.

— Ники! Не умирай! Господи, помилуй раба своего — молила Бога о муже. — Что мы будем делать без тебя и что станется с Россией? — умывала его по утрам, кормила с ложечки и строго следила за приёмом лекарств. — Ники, так надо, — целовала мужа, гладила его руки и молилась, молилась, молилась... — Ники, — шептала она, — я жду ребёнка... Вдруг будет сын, — влажной салфеткой вытирала его лоб и щёки.

Когда мужу стало совсем плохо, велела собрать совещание и напрямую задала вопрос: кто будет править страной, если с Николаем что-то случится.

— Я считаю, что императорская власть могла бы перейти к старшей дочери Ольге, — высказала своё мнение Александра Фёдоровна.

— Ваше Величество, — поднялся из кресла министр финансов Витте, — по смыслу Основных законов империи, престол должен перейти к цесаревичу Михаилу Александровичу.

— А если у меня через несколько месяцев родится сын? — перебила она министра.

— Ваше Величество, — не смутился тот бестактностью государыни и не обиделся на неё, ибо по отношению к подчинённым тоже вёл себя не особо деликатно. — Если у вас родится сын, только сам Великий князь Михаил Александрович в качестве императора должен будет судить, как надлежит в этом случае поступить, — наслаждаясь её недовольным, нервным лицом, витиевато, елейным голосом поучал царицу министр. — Мне кажется, я даже совершенно уверен, он настолько честный и благородный человек, в высшем смысле этого слова...

«О ком это Витте говорит? — злилась императрица. — Это Мишка честный и благородный человек? Да таких легкомысленных и безалаберных людей во всём царстве поискать ещё...»

— ...что если сочтёт полезным для государства и общества, это ведь такой справедливый, великодушный человек, — видя, что царице неприятно слушать комплименты брату Николаю, вовсю расхваливая последнего министр, — его высочество сам откажется от престола в пользу родившегося племянника: «А скорее всего, вновь будет племянница», — ехидно поджал он губы.

— Ну а если на законодательном уровне изменить существующее положение вещей... Я хочу сказать, внести изменения в за-



---

кон о престолонаследии по английскому образцу, — растерялась Александра Фёдоровна.

— Ваше Величество, — хмуро глядя на императрицу, крихтя, поднялся со своего места Победоносцев. — Закон уже есть. Он давно разработан, подписан и принят императором Павлом. И если вдруг придётся от него отказаться, — смягчил свой голос бессменный руководитель Священного синода, с жалостью поглядев на императрицу, — то подобное решение может вызвать глубокий раскол династии и правящих сфер, что грозит непредсказуемыми последствиями для России. А стабильность государства — главная наша цель и задача, — уселся он, сложив на коленях сухие руки.

«Если даже сам вопрос о новом законе престолонаследия вызывает столь резкое неприятие и отторжение у таких преданных Николаю лиц, как Константин Петрович, то следует от него отказаться», — сникла Александра Фёдоровна.

Во время своего генерал-адъютантского дежурства Рубанов деятельно помогал императрице, уставшей и морально уничтоженной после неофициального совещания с высшими сановниками, и, о чудо, именно в этот день Николай почувствовал себя много лучше и с аппетитом поужинал, чем очень обрадовал и успокоил жену. Затем, поднявшись из постели с помощью Рубанова, сам дошёл до кресла перед окном и с удовольствием стал смотреть на виноградники и вечернее небо.

«Жизнь прекрасна!» — любовался открывшимся видом и женой, устроившейся за столом и устало водившей пером по бумаге.

«Ники действительно был ангелом, я не захотела приглашать сиделку, и мы превосходно обошлись своими силами», — сообщала в письме сестре Александре, принцессе Уэльской: «А генерал-адъютант Рубанов просто наш ангел-хранитель», — оторвавшись от письма, подумала государыня, благодарно глянув в сторону Максима Акимовича.

Эпистолярным творчеством занималась не только она.

Начальник Канцелярии двора генерал Мосолов записал в дневнике: «Со дня заболевания государя императрица явилась строгим цербером у постели больного, не допуская к нему не только посторонних, но и тех, которых желал видеть сам государь... Увы. Горизонты мысли государыни много уже, чем у государя, вследствие чего её помощь ему скорее вредила».

И подобное отношение к Александре Фёдоровне было у большинства представителей высшего света.

Она это чувствовала женским своим умом и к тому же была не глупа, как бы это ей не приписывали сами страдающие недо-

---

статком интеллекта многие царедворцы. Потому и записала в дневнике: «Я чувствую, что все, кто окружает моего мужа, неискренние, и никто не исполняет своего долга ради долга и ради России. Все служат Ему из-за карьеры и личной выгоды».

Она бесконечно любила своего мужа и просто старалась поддержать и оградить его от холодного, фальшивого мира, в котором царят не любовь, совесть, милосердие и доброжелательность, а цинизм, безверие, нигилизм и непримиримость...

Рубанов, наблюдая такую любовь, часто вспоминал свою жену и сравнивал свои семейные отношения с царскими.

Он понимал Александру Фёдоровну и относился к ней с должным уважением.

Императрица женской своей сущностью это чувствовала и попросила генерала остаться в Ливадии до полного выздоровления государя.

И часто они втроем — мужчины верхом, она в коляске, посещали Ореанду, Ай-Тодор, Харакс. По вечерам читали вслух книги и очень сблизились за это время.

Первый раз царская семья задержалась в Ливадии до Рождества и Нового года.



Аким наконец-то получил письмо от Натали.

Целую неделю анализировал, нравится он ей или нет.

«Про любовь, конечно, не строчки, — нюхал конверт и страстицу с каллиграфическим почерком. — Духами не пахнет, — сделал вывод после нюхательной экспертизы, — а конверт и вовсе селёдочкой отдаёт, — взял лупу и всмотрелся в огромный жирный отпечаток пальца. — Не её! У Натали, если только большой палец ноги такой, — отчего-то покраснел он. — У этих почтарей, — отвлёкся от пикантных мыслей о женских ногах, — никакого почтения к письмам. Как закусывают селёдкой, так и хватают немытыми лапищами конверт... А дамы, бывает, засушенные цветочки посылают... чтоб на любовь намекнуть... Молодой юнкер понюхает, и чего?.. Любовью не пахнет... а салом, луком или селёдкой, как в моём случае...»

Неожиданно у него разыгрался волчий аппетит.

«Ну вот, хорошо, что в увольнении, а чего б я в казарме поел? Пойду-ка к нашей кухарке наведаться», — решил он.

Перекусив, вновь начал анализировать письмо.

«Натали пишет, — поцеловал строчки письма, — что живёт у тётки в Москве. О-о-о! Любит, любит... Как я сразу не сообразил, — покружился с письмом по комнате и огляделся, нет ли поблизости брата. — В конюшне, наверное, — решил он. — Вот

---

приписка в конце, после PS: «Как было бы хорошо встретиться на рождественские праздники...» Любит, любит, любит, — пошёл он вприсядку. — Вот оно, сакральное влияние пьяных почтарей, — устало плюхнулся на диван. Безусловно, встретимся... Не будь я Аким Рубанов», — направился разыскивать матушку.

Обнаружил её в зале за роялем, грустно наигрывающую «Лунную сонату».

— Маман! — сходу, как положено военному человеку, начал генеральное сражение. — Давно хочу посетить Московский художественный театр, — торжественно, чуть не по слогам произнёс он, — и посмотреть какой-нибудь спектакль... Пора приобщаться к прекрасному... А то всё стрельбы, лазание по канату, кувырки на брусках... Я же не обезьяна какая, а дворянин и сын культурной, любящей театр и оперу, матери... И будущий офицер...

Руки Ирины Аркадьевны замерли над клавишами, а лицо начало проясняться. Слова сына музыкой ложились на её сердце.

«А ведь и правда, — размышляла она. — Муж далеко, я одинока и тоскую перед роялем. Да конечно, как сама не догадалась... Давно следует развеяться. А с сыном и на бал можно сходить... И повеселюсь, и приличия будут соблюдены. Максим не осудит», — поднялась она из-за рояля.

— А почему непременно МХТ? В Петербурге тоже театры есть. Драматический Александринский или оперный Мариинский.

— Матушка, ну полно тебе, что ты говоришь, право... Там же Станиславский... А кто здесь?

«Какая прелесть. Мой сын интересуется театром».

— Мама́, у нас послезавтра 23 декабря — училищный праздник. Как положено, молебен, парад, праздничный обед, вечером — бал. На бал не пойду, возьму увольнительную, а если удастся, то и обед пропущу, вечером и уедем. Рождество встретим в Москве. Поговори с Любовью Владимировной, может, она составит нам компанию. И в путь!.. Да, мне надо партикулярную одежду купить, а то придётся в третьем классе ехать. А форму в чемодане повезу: «Здорово расписал военную диспозицию... Следует на будущее о генеральном штабе подумать...»

«Это же чудо, какая славная мысль», — стала развивать бурную деятельность Ирина Аркадьевна.

Её подруга и родственница, услышав о предложении, захопала в ладоши и запрыгала по комнате, как недавно Аким.

— Ирочка, ласточка, муж как раз занят политическими вопросами... Министр народного просвещения Боголепов отрешил от преподавания в Санкт-Петербургском университете несколько профессоров, оказавших попустительство студенческим

---

волнениям... Это так супруг выражается. Да ещё в Киевском университете прошли массовые исключения студентов. 183 человека, кажется... Их зачислили на военную службу. Славно было бы, коли моего супруга зачислили или от преподавания отрешили... Так вот. Молодёжь волнуется, а мой профессор пишет в их защиту статьи и собирает подписи... Словом, не до жены стало... Вот и я подниму бунт на семейном корабле, — веселилась она.

23 декабря Аким проснулся задолго до воплей дневального: «Царёва рота, встава-а-ать! Юнкера роты Его Величества — подъём!»

«Слава богу! Дождался!» — быстро оделся Аким.

Днём училище посетил Великий князь Константин.

«Да когда же вечер наступит?» — вполуха слушал доклад Зерендорфа, который стал уже старшим портупей-юнкером:

— Ваше высочество, в роте имени Его Императорского Величества всё обстоит благополучно. Больных нет.

С обеда юнкера Рубанова капитан Кусков не отпустил, но когда тот стал рассказывать про бедную больную матушку, расчувствовался и подписал увольнительную.

«А там и отпуск подойдёт! — радовался Аким: “Гудбай Петесбё-ёг, гудмониинг Моско-о-у”, как сказал бы “англичанин” Иванов. А Дуб, напрягши морщины на лбу, выдал бы: “Переменим че-е-а-а!” Ну, или что-то вроде этого», — спешил он в родительскую обитель.

Дома Аким поначалу оторопел, остановившись у парадной двери, и стал философствовать, чтоб привести себя в чувство: «“Всё смешалось в доме Облонских”, — сказал бы Лев Толстой. Но лучше с ним не связываться, а то из револьвера весь отпуск в тире палить буду. Безопаснее Сидорову Козу процитировать. Тот бы брякнул: “Дым в доме Рубановых стоял коромыслом”... и трескал по башкам свёрнутой газетой нерадивых слуг», — увернулся от проковылявшего старичка-лакея с каким-то свёртком.

За ним следовал швейцар Прокопыч с баулом в руках. На барчука они не обратили даже мизерного внимания, поглощённые каким-то глобальным заданием, полученным от маменьки.

— А где матушка? — обратился к пулей пролетевшему лакею Аполлону: «Даже ухом не повёл, — немного обиделся Аким. — А может, я невидимка? — пошёл разыскивать маман, ни к кому конкретно не обращаясь. — Вот это она их озадачила...»

— Сына-а! Мы же опаздываем, — услышал голос матери и через секунду увидел её, покрасневшую и с сумочкой в руках.

— Матушка, я по-быстрому переоденусь в цивильное, а то честь надоест отдавать... Да того и гляди придерутся ещё...

---

— Это кто придерётся?.. Пусть только попробуют, — воинственно взмахнула сумочкой. — Ступай в свою комнату переоденься. А-а-рхип Александрович, уже собрался, — обрадовалась барыня, увидев кучера в тёмно-зелёном ватном кафтане с белым кушаком. — Все на санях не поместится. Где мадам Камилла? Извозчика наняли вещи везти? О-ох! Сколько с этим бестолковым народом хлопот...

— Ирина Аркадьевна, я всё сделала и распорядилась, — обидчиво поджала губы домоправительница, услышав из уст барыни последнее предложение. — Вот два билета первого класса по 16 рублей, а один, в сидячий вагон, за 6 рублей 40 копеек, для Аполлона, — захлопала носом. — Извозчик уже прибыли и ожидают во дворе. На них вещи грузят. Мой супруг руководит, — всхлипнула она.

«По-французски мадам понятнее изъясняется»:

— За Аполлона не волнуйся. Вытри глаза и смотри, чтоб не забыли чего, — распорядилась барыня, — а мне пора одеваться.

— Темень-то, господи! — вышла на крыльцо Ирина Аркадьевна, с каким-то мистическим удовольствием разглядывая увеличенные тени лошадей от фонаря на столбе.

Выдула губами воздух, отлепив от них вуалетку, и со смехом скомандовала: «По коня-я-м!.. Каков приход, таков и поп», — несколько переиначила поговорку.

Аполлон проворно запахнул медвежьей полостью на господах и прикрепил её к углам низкой спинки, за которую тут же ухватился, медведем влезший на запятки русский богатырь Иван.

Оглядевшись по сторонам, барыня спрятала замёрзшие ладони в муфту и коротко произнесла: «С Богом!»

Тройка лихо выкатила со двора и ходко пошла вдоль улицы. Архип ловко управлялся с лошадьми, чмокая им губами и выдыхая целые облака пара. Идущие рысью кони тоже парили, как маленькие паровозы.

Ирина Аркадьевна, заслоняясь от ветра, грациозным движением изнеженной петербургской дамы поднимала к лицу муфту и временами дула губами, словно на горячий чай, отлепляя от них вуаль.

Заехав за Ольгой Владимировной и по-быстрому расцеловавшись, уже все вместе помчались на вокзал.

Аким с интересом крутил головой, радуясь предстоящей дороге, радуясь завтрашней Москве и радуясь встрече с Натали.

У самого вокзала им пришлось остановиться, пропуская пожарную команду. Аким издалека ещё услышал звуки горна и, улыбнувшись, подумал, что царёва рота решила его проводить. Затем гул приблизился, и дорогу пересёк конник с горящим фонарём в руке.

---

— Скачок называется, — перекрикивая шум, загудел за спиной Иван.

За скачком, гремя колёсами, вылетела линейка, по обе стороны которой сидели в брезентовых костюмах с топориками на широких ремнях, пожарные.

«Красота! — подумал Аким, разглядывая их начищенные до зеркального блеска каски, игравшие весёлыми бликами в свете фонарей. — Почти кавалергарды».

У ног пожарных кавалергардов он заметил вёдра и багры. Подпрыгивая, эти причиндалы гремели, скрипели, скрежетали и звенели. Ко всей этой какофонии временами присоединялся толстый пожарный, жизнерадостно трубя в рог и, по задумке брандмайора, оповещая этим глухих или задумавшихся прохожих о проезде команды. Другой пожарный, расположившийся где-то посередке, во всю глотку орал: «Побереги-и-ись!» Но это ещё не всё. Брандмайор явно не хотел отвечать за попавших под колёса пешеходов и потому в самом начале линейки, перед крупами лошадей, повесил приличных размеров колокол, списанный батюшкой в каком-то приходе, и длиннорукий «тушила», неуловимо чем-то напоминавший Сидорову Козу, увлечённо трезвонил им.

Скачок, здравомысляще рассудив, что одного фонаря явно недостаточно — могут и не заметить по пьяни, иногда свистел Соловьём-разбойником.

За линейкой следовали две водовозные телеги на железных осях и, стараясь не отставать, бодро гремели бочками с водой. Возчик первой из них, многократно перекрывая шум, давал советы правящему линейкой, какой дорогой лучше ехать, дабы хоть что-то успеть погасить, да ещё громогласно ругался со вторым водовозом, вечно несогласным с его выбором маршрута.

— Ты в своей деревне руководи, как от сарая до уборной доехать, а я всю жисть в Питере прожил, и не учи меня, — орал он.

И всё это хозяйство с воем, лаем и визгом сопровождали три горластые пожарные собаки.

«Если где-нибудь ночью, в поле, вражеский полк наткнулся бы на эту весёлую пожарную дружину, — подумал Аким, — то солдаты потом и детям, и внукам бы наказали с русскими не воевать».

На вокзале их поразила тишина...

Чуть слышно гудели паровозы, шёпотом орали носильщики и вполголоса переговаривались вечно опаздывающие пассажиры.

«Благодать-то какая! — умиротворённо подумал Аким. — И в театр не надо, уже на спектакле побывал», — разглядывал рекламу галош фабрики “Треугольник”.

---

— Аким! Не отставай, — услышал далеко впереди голос матери и ринулся на звук, перебрасывая с руки на руку пухлый баул.

Вскоре он нагнал кавалькаду и пристроился в хвосте.

Перед ним шествовал весь в чемоданах богатырь Ванятка. Рядом семенил вечно недовольный и чего-то бормочущий Аполлон с увесистым тюком в руках. Поравнявшись, Аким услышал:

— Шокола-а-ад! Да его самого пожарные за день не отмоют...

«О ком это он?» — покрутив головой, наткнулся на прибитую к столбу рекламу, где под надписью «Шоколад» сидел грязный, как поросёнок, маленький обжора и лопал плитку этого продукта. Точноёхонько под мелким засранцем увидел номер своего вагона и матушку, активно спорившую с проводником.

«Да-а-а! Терниста дорога к любви», — полез он в вагон.

Поздним утром Аким с трудом растолкал Аполлон.

— Барчук, вставайте, приехали.

— Не барчук, а юнкер роты Его Величества, — сделал замечание Рубанов и мощно чихнул. — Значит, так оно и есть, — сел и выглянул в окошко.

«Москва! — дошло до него. — Натали!» — Стал надевать узкие гражданские брюки, крахмальную сорочку и пиджак.

— Аполлон, как в этом ты ходишь? И даже штык-ножа нет.

— О, Господи! — перекрестился лакей. — Мы и без него обходимся, — помог барчуку завязать галстук.

Выйдя из вагона, Аким непроизвольно сглотнул слюну, наткнувшись взглядом на рекламный плакат.

*Пиво, воды.*

*Шаболовский завод.*

*МОСКВА.*

*Корнеев, Горшанов и К°*

*Пиво Пильзенское, Мартовское,*

*Золотая головка, чёрное бархатное.*

«Когда же наконец я стану взрослым? — с некоторым оттенком грусти подумал он. — Сколько в мире прекрасных вещей, но то Кусков рядом, то мать», — слушал, как Аполлон, призывно размахивая рукой, вопил:

— Носильщи-и-к! Носильщи-и-к!

И приманил бородатого пожилого, но крепкого москвича в сапогах, фартуке и с бляхой на широкой груди, оповещающей, что это действительно носильщик, а не абы кто. К тому же за собой он тащил тележку.

— Любочка, а здесь теплее, чем у нас, — подняла вуаль Ирина Аркадьевна, но унюхав идущий от носильщика перегар, вновь её опустила.

---

— Дамы и господа! — солидно начал рыжий мужичок, почесав под бородой.

«Начало, как у английского лорда», — заинтересовался Аким.

— Грызёт и грызёт, гнида, — пообщался с собой, с внутренним своим Я.

Затем опять обратился к дамам и господам:

— Пять копеек с носа — тащу в руках, а вот ежели-и гривенни-и-к, — мечтательно погонял кусочую нечисть под бородой, — то исть, всю тележку займёте, то 10 копеек с вас, — солидно, как подобает лорду, сообщил он и со вздохом глянул на рекламу Корнеева и Горшанова. — Ежели всю телегу, приведу вас к куму, к возчику, вернее сказать. Докатит куда надо и много не возмёт, — рекламно закончил тему.

— Это хорошо, — произнесла Ирина Аркадьевна. — Ангажируем вас вместе с тележкой.

— Чаво-о-о? — обиделся носильщик.

Аполлон хихикнул, подумав: «Хоть москвич, а дурында дурындой!»

— Нанимаем и даём 15 копеек, — утешила его Любовь Владимировна.

— Вот это по-нашему. Это мы со всем понятием, — покидал вещи в тележку и споровисто, на рысях, помчался по перрону, временами покрикивая для острастки: «Побереги-и-сь!»

Пассажиры поспешили за ним.

— Господин носильщик, а нам два экипажа надо, — стала общаться с его спиной Ирина Аркадьевна.

— Да хошь гривенник, тьфу, хоть десять... Понаехали, поди, к поезду на хвостатых, — ответила спина.

Головы он не повернул.

— Малахольный какой-то, — высказала своё мнение Ирина Аркадьевна, — и как он понял слово «ангажировать?».

Любовь Владимировна в ответ лишь хихикнула.

Кум оказался ещё малахольнее.

Борода лопатой, очки, котелок над ними, нагольный тулуп и засунутые за красный кушак огромные рукавицы.

— Ку-у-м. Куманё-ё-к! Господь привёл до тебя, — окликнул родственничка носильщик.

Тяжело вздохнув, возчик, кряхтя, спустился с облучка на грешную землю, бросил вожжи на лошадиный круп, степенно зажал большим пальцем сначала правую ноздрию, мощно выдув её содержимое, затем так же поступил с левой. Не спеша обтёр пальцы о гриву и стал заниматься багажом.

Аполлон в это время подогнал ещё один экипаж.



---

— Аполлон, ты вместе с вещами к куму сядешь, а мы вторым в других санях поедем.

В гостинице Ирина Аркадьевна заказала три роскошных номера с телефонами и один без излишеств.

«Без излишеств кому, мне или юнкеру? Юнкерам, по моим сведениям, и в трамвае только на площадке разрешается ездить, и в ресторан первого разряда вход воспрещён, значит, и в номер с телефоном строгим образом запрещается... этими... ихними... уставами не положено...»

Но к глубокому разочарованию Аполлона, номер без излишеств — 70 копеек в сутки, достался именно ему, а барчук, в нарушение уставов, расположился в апартаментах за 8 целковых и с телефоном в придачу.

— Дамы и господа, если не забыли — завтра Рождество, — ликующе произнесла Ирина Аркадьевна, когда компания обедала в ресторане.

Аполлон на этом празднике жизни не присутствовал, а обретался в ресторане низшего пошиба типа трактир, где обслуживали посетителей не метрдотель с официантами, а половый с большими зубами. И играл не цыганский оркестр из румын, а пьяный гармонист из села Заячий Пузырь, что в Тамбовской губернии.

«Нет в жизни счастья, — думал он, — особенно для лакеев».

После обеда Ирина Аркадьевна вознамерилась позвонить старинной своей приятельнице Марии Новосильцевой и получила приглашение на рождественский бал.

— Иринушка, — тараторила подруга, — так буду рада обнять тебя... Непременно приезжай... Я сына твоего только в детстве видела, ясное дело, теперь и не узнаю... Балу дала название «Оранжевое танго». Это танец аргентинский. Танец чувства и любви... Кроме Аргентины, с ним знакомы лишь в Париже и Москве. До Петербурга ещё не дошёл. Вы там всё полонез танцуете, а танго — это не прогулка под ручку. Для избранных танец продемонстрирует настоящий мачо со своей дамой.

— Машенька, кто продемонстрирует, я не расслышала?

— Мачо! Так в Аргентине знойных мужчин называют... Сама увидишь... Напрасно вы считаете Москву консервативным и провинциальным городом. В этом веке мы вас обгоним, и провинцией станет Петербург, — показала она телефонной трубке язык, подразумевая под ней всех петербурженок. — Ну, лапочка, жду. До встречи. Нежно целую, милая.

После телефонного звонка барыня велела Аполлону нанять извозчика.

---

— Только не кума! — крикнула вслед. — Пусть у подъезда ждёт. Скоро выйдем.

«Скоро», как водится у дам, растянулось на добрый час.

В магазинах Москвы шла бойкая праздничная торговля. Разбитной московский кучер, прикидывая, сколько сумеет слупить с господ, катал их по Москве, сидя на облучке лицом к господам, а спиной — к лошадям.

Каким местом он видел дорогу, Аким не мог понять.

«У нас в роте капитан Кусков каждое нарушение дисциплины видит, ежели даже спиной к тебе стоит. Может, у них какой-то третий глаз на затылке?.. — размышлял он, глядя по сторонам и читая названия улиц. — О-о! На этой Натали живёт, — бросило его в жар. — Может, где и гуляет рядом, а я не вижу... Вот мне бы третий глаз, — позавидовал разглагольствовавшему ямщику. — Ну как, как к ней зайду... Что её тётка скажет? Лучше всего позвоню, — осенило его. — Нумер телефона в письме сообщила», — приложил руку к сердцу, где лежал конверт и три коралла от бус.

— Щас хорошо... На центральных улицах газовые фонари, — вещал кучер, сидя задом наперёд. — Керосиновое освещение лишь на окраинах осталось. Ночью едешь — всё видать... Городового за версту от столба отличишь. Но вот бяда-а... Вторую линию тра-н-н-вая уже пустили. И зачем он, дьявол, нужен? У вас в Сам-пим-тем-бурхе, — по слогам выговорил название, — говорят, зимой по льду яво, окаянного, пускают, а летом — нет. На конках катаются. А энтот змей гремит, скрипит, трещит, звонит, лошадей и баб до смерти пугает...

— Это вы, господин кучер, нашу пим-тен-бурхскую пожарную команду не видели, — встрял в умный разговор Аким, насмешив дам. — Транвай супротив неё, как воздушный шар супротив паровоза...

Извозчик надолго задумался, раскидывая мозгами, и пришёл к парадоксальному выводу:

— Не иначе конец света грядёт... А вот и пассаж Постниковой, господа хорошие, что на улице Тверской. Чего-о там только нет, — вёз их дальше.

Ирина Аркадьевна, когда проезжали мимо Елисеевского, где «чего только не было»... надумала посетить его и кое-что купить.

«И правда, оранжевый цвет танго в моде», — разглядывала коробки с конфетами и плитки шоколада жёлто-оранжево-золотистых тонов.

— Ну теперь в Кремль, а затем в гостиницу, — распорядилась она, усаживаясь с покупками в санях.

— Транвай, — всё не мог успокоиться возчик, сидя спиной к дороге. — Да у нас до сих пор по Покровке коров гоняют...

---

Тра-а-н-ва-ай! А у Сухарёвой площади, где квадратная сажень земли в целую тыщу рублей ценится, ишшо огороды разводят... Шалаша да пугала стоят, и козлы с козлятами шлепаются... Вон один из них стоит, — сел, как положено, проезжая мимо городского, хмуро, из-под бровей рассматривающего извозчика..

«Пьяный, поди, сукин сын, вот и крутится вокруг себя, как наш околоточный будет на том свете на сковороде вертеться».

Вечером с замиранием сердца Аким крутил рукоять телефона, вызывая «барышню, и попросил её соединить с номером Натали, назвав заветные четыре цифры.

На том конце трубку долго не брали, потом что-то щёлкнуло, зашипело, и он услышал голос Натали.

Растерявшись, сразу не сумел ей ответить на «алло».

— Натали, это я, — справившись со спазмом в горле, произнёс он: «Прямо-таки блещу остроумием, — подумал о себе. — Вдруг бросит трубку», — испугался Аким и в ту же минуту услышал:

— Я тебя ждала...

«Господи. Какие волшебные три слова... Чего я молчу... Как хочется ещё раз услышать три сказочных слова:

— Натали-и! Не слышу! Повтори, что сказала... — прижал трубку к уху.

— Я тебя ждала... — услышал удивлённый, медленно наполняющийся счастьем голос. — Ты где?..

— Натали-и. Я здесь. Рядом. В Москве... Я мечтаю увидеть тебя... Слышишь... Ты не представляешь, как я этого хочу... — кричал он в трубку, сглатывая слова, заикаясь и желая сказать, что скучал, что любит её... и не смея этого произнести, вдруг опять обидится и прервёт разговор.

А она счастливо улыбалась, прижимая губы к телефонной трубке, слушала его голос, не разбирая большую часть слов, и почему-то вспоминала его поцелуй.

«Я с ума сошла, — думала она, прижимая губы к трубке. — Так нельзя... Так нельзя...»

— Натали... Мы завтра приглашены на бал. К Новосильцевым... Натали. Может, твоя тётя сумеет получить приглашение... Я тебе позвоню... Барышня-я. Почему нет связи? — прижимал к уху смолкшую трубку и, конечно, не видел, как Натали, смахнув пальцем отчего-то набежавшую слезу, поцеловала трубку, представив, что это ЕГО щека...

«Нет, я положительно схожу с ума, — подумала она, почти падая в кресло. — Что это со мной?..»

На следующий день Рубановы встали поздно. Позавтракав в ресторане, занялись своими делами.

---

Акиму хотелось побыть одному, и он решил пройти по центральным улицам. Незнакомые люди не нарушали его одиночества.

В толпе знакомых людей человек более одинок, чем в пустой комнате.

А женщины принялись активно готовиться к «оранжевому балу».

За огромные деньги, через гостиничную прислугу, пригласили в номер парикмахера — «жана», как их называли в Петербурге, и чуть не до вечера он колдовал над причёсками, работая четырьмя пальцами с оттопыренным для фасона мизинцем.

Рассказывая о московских нравах и происшествиях, через каждые две минуты не забывал поинтересоваться: «Ме-е-да-ам! Не беспокоит-с?»

Вечером, на санях, направились к дому Новосильцевых. Погода радовала пушистым снежком, таинственно мерцающим и искрящимся в свете газовых фонарей. Небольшой морозец лишь нежно румянил щёки, не принося озноба и холода. И кругом весёлые, улыбающиеся лица. Из встречных саней — поздравления с Рождеством, и пожелания здоровья, и пикирование гармоний, и песни...

И танго...

Из залов Благородного собрания, ресторанов, Купеческого и Английского клубов неслись звуки танго...

— Иринushка, тебе не кажется, что Москва помешалась на этой мелодии?

— Ну да. Как Петербург в начале царствования Николая помешался на времени Алексея Михайловича.

Подъезжая к ярко освещённому дому Новосильцевых, улыпали:

— Ну куды, куды прёшь? Видишь, всё занято у подъезда. На той стороне господ высаживай, — руководил движением уса́тый полицейский.

— Тьфу! Японский городской! Вон там, промеж саней я бы и приткнулся.

— Поматюжись ишшо у меня, конский хвост, глядишь, и приткнёси в кутузке на весь праздник. Сказано тебе, на той стороне...

— Ого! Мамзельки какие! — восхитился любопытствующий мастеровой, таращившийся на подъезжающих господ. — Маня, гликось, какая у ей причёска... А ты волосы пивом намочишь, папильотками увешаешься, как собака блохами, и храпишь... А мне из-за тебя всю ночь раков солёных хоц-ца-а.

---

— Ты Вась, глянь на ейну шубу. Мех явно не собачий... С искрой. На такую всю жизнь горбатиться будешь и лишь на рукав заработаешь.

— Гм, — задумался тот. — У соседа Пашки кобель недавно пропал... Также искрил на морозе...

— Любочка, ты тоже думаешь, что это не соболь, а Пашкин кобель? — провела по рукаву ладонью Ирина Аркадьевна. — Ну, приедем домой, получит Максим у меня.

Перейдя дорогу, увидели, как лакей помогает полной даме выбраться из саней. Швейцар в парадной ливрее подобострастно стряхивал снежинки с бобрового воротника спутника толстухи, затем, поддерживая под локоток, повёл его к подъезду по разостланной через тротуар широкой красной ковровой дорожке.

Усатый полицейский держал под козырёк, а лакей, жмурясь, как кот на сметану, провожал до подъезда полную даму.

— Московский мэр, — выдвинула версию Любовь Владимировна.

— Или его папа, — сделал умозаключение Аким.

— Сейчас спросим, — тоже заинтересовалась Ирина Аркадьевна, разглядывая горностаевую шубу гостя. — Не одни мастеровые любопытны, — рассмешила свою подругу.

На них внимания никто не обратил — мало ли тут всяких дворян шляется.

Парочка «битюгов» оказалась семейством купцов Сапожниковых.

Не успели они зайти внутрь, как сломя головы к ним кинулись два лакея, спеша принять верхнюю одежду и по целковому за труды.

Покряхтев для солидности и поправив золотой перстень на пальце, купчина выпатил грудь, демонстрируя окружающим булавку с крупным бриллиантом в галстук и золотую цепь от часов. Именно собачью цепь, а не цепочку.

Супружница его, сняв фетровые светло-серые ботинки, надевшие для тепла, продемонстрировала ботинки из белой лайки, и поправила складки жёлтого платья из лионского бархата, сверкнув нанизанными от запястья до локтя золотыми браслетами. Затем поправила перед зеркалом здоровенный кулон на груди и бриллиантовые бусы на шее, повела головой, чтоб народ полюбовался блеском диадемы из драгоценных камней, и, гордо взяв супруга под руку, стала подниматься по покрытой ковром и убранный цветами лестнице.

Наверху приглашённых встречал хозяин.

Немного огорчённая Ирина Аркадьевна поднялась следом за денежными мешками, протянула руку для поцелуя и, вы-

---

слушав дежурный комплимент, прошла в гостиную, где попала в объятия Машеньки Новосильцевой. Сын с Любовью Владимировой следовали за ней.

Растерявшийся Аким с интересом окинул взглядом декольтированных дам с длинными, выше локтя, перчатками и кавалеров во фраках.

«Военных почти нет, вместо них — студенты», — отметил для себя, с кокетством давешней купчихи поправив штык-нож на поясе.

На бал он прибыл в юнкерской форме.

«Два кавалериста всего, — высокомерно оглядел уланских подпоручиков в сапогах без шпор, отстегнувших и передавших лакею сабли. — Николаевское училище, наверное, заканчивали... катались друг на друге», — отстегнул штык-нож и протянул лакею.

Шпоры и холодное оружие на танцах неположены. Это он помнил и без мадам Светозарской.

«Придёт ли Натали», — огляделся по сторонам и услышал:

— Ирочка, этот красивый юноша твой сын? — под руку с матерью к нему подошла хозяйка дома.

Щёлкнув каблукami и склонив на секунду голову, Аким представился ей, оценив мужским уже глазом тонкую фигуру, обаятельную улыбку с ямочками на щеках, голубые глаза и ровные белые зубы.

Пахло от женщины духами французской фирмы «Коти», как и от матери.

Сказав подобающий комплимент, Аким с облегчением отошёл к окну и, приподняв портьеру, глянул на вечернюю, освещённую фонарями улицу.

Любопытствующая толпа на противоположной стороне тротуара уже рассеялась. У подъезда остался дежурить лишь наряд полиции.

«Приедет Натали или нет? Она говорила, что тётя её столбовая дворянка, в десяти поколениях москвичка и к тому же имеет неплохую деревеньку под Москвой. Уж коли Новосильцевы пригласили эти две денежные кубышки, то столбовых дворян и подавно должны привечать», — опустил портьеру и подтянул белые замшевые перчатки.

Раздались нежные звуки вальса, и Аким отстранённо любовался танцующими парами, где-то в глубине души надеясь на встречу с Натали.

Видимо прошёл слух, что на балу присутствуют жена и сын царского генерал-адъютанта, и Аким временами ловил на себе любопытные взгляды.

Ирина Аркадьевна пользовалась ошеломительным успехом. Помимо высокого статуса, она выделялась красотой, эле-

---

гантностью и аристократизмом. Присутствующий на балу репортёр журнала «Вестник моды», что тоже являлось прогрессом, व्यоном крутился около высокопоставленной петербурженки, пытаясь получить комментарии по поводу бала, нарядов гостей и рождественской Москвы, но увы, генеральше было не до него.

К тому же уланский подпоручик якобы случайно опрокинул его треногу с фотоаппаратом, чем привёл в умопомрачительный восторг чету Сапожниковых.

«Кавалерист не хочет огласки, — хмыкнул Аким, — наверное, по месту службы ждёт богатая невеста из старых дев».

И тут Рубанов увидел ЕЁ...

«Нет! Деньги не заменят Любвы! — подумал он, обходя стоявших у окон и стен кавалеров и дам. — Мадам Светозарскую бы сюда, — стал настраивать себя на бодрый армейский лад, потому что внутри чувствовал непозволительные для юнкера роты Его Императорского Величества страх и растерянность, — она бы мигом направила всех танцевать, объяснив, что прислоняться к стенам или колоннам, держа при этом руки в карманах, является предумышлением супротив хозяйки дома. Ну почему, почему я такой трус», — нацепил на лицо независимую усмешку сорвиголовы из лучшего военного училища России.

Увидев растерянные, робкие его глаза и прилипшую к лицу циничную гримасу, Натали улыбнулась, каким-то женским чутьём замечая, как ухмылка всё испытывшего дуэлянта меняется на мягкую и застенчивую улыбку стеснительного в дамском обществе человека.

«Боже, неужели я люблю его», — вспыхнула она, наблюдая, как Аким с изысканной вежливостью кланяется и целует руку её тётке.

«Умеет держать себя в обществе, воспитан, но немного застенчив... Так это даже и хорошо», — мигом раскусила Рубанова сорокалетняя ухоженная дама, разбиравшаяся в мужчинах не только интуитивно, но и на основании жизненного опыта, выслушивая неловкий, но всё равно приятный юношеский комплимент:

— Я представлял вас чопорной пожилой дамой с лорнетом у глаз и сухо поджатыми губами, а вы такая... — многозначительно замолчал он, паузой подогревая интерес к словам.

— Какая такая? — с некоторой долей жеманства в голосе поинтересовалась тётка Натали.

— Такая молодая и интересная, — покраснел от своих слов.

— Скажете тоже, — довольно произнесла женщина, слушая, как путаясь в словах от волнения, племянница представляет ей молодого человека.

— Тётушка, это Аким Рубанов, о котором я вам говорила, — неизвестно отчего ужасно покраснела она.

---

«Да девонька, похоже, не в шутку влюблена», — отметила для себя женщина и завистливо вздохнула.

— Это моя тётушка, папина сестра, Бутенева Зинаида Александровна, — представила Акиму свою родственницу.

— А меня, господин первый сенной площади гуляка, вы не заметили? — упрекнула Рубанова стоявшая слева от Натали красавица, на которую юнкер и взаправду, от волнения видимо, не обратил внимания.

— О-о, Ольга-а, — голосом оперного Онегина пропел он. — Простите-е! Рад вас видеть, — наклонился и поцеловал её руку.

— Мы уже на «вы»? — упрекнула его подруга Натали.

— Это от вежливости, — пришла на выручку Зинаида Александровна.

Скромный молодой человек положительно начинал ей нравиться.

В ту же минуту к ним с поклоном приблизился кавалерийский подпоручик и, витиевато изъясняясь, пригласил Ольгу на танец.

Когда первое волнение сошло, Аким смелее уже глянул на Натали и поразился, как она изменилась и расцвела. Перед ним стояла не та угловатая девочка из гимназии, а невысокая, стройная девушка в прекрасно сшитом платье из бледно-розового атласа. Шею её украшали две нитки жемчужных бус, в руках она держала небольшую сумочку и веер. Белоснежные перчатки закрывали её руки выше локтей. А в глазах полыхало зимнее московское танго...

Аким хотел пригласить её на танец, но всё не мог решиться.

И вновь выручила тётя.

— Молодые люди, наверное, собираются танцевать, а мне надо подойти к знакомым, — оставила их наедине Зинаида Александровна.

«Вот молодец. Прямо капитан Кусков в юбке», — похвалил женщину Аким.

Спасибо, она не умела читать мысли и не узнала о комплименте.

— Ты изменилась, — взял девушку за руку Аким. — Разрешите пригласить тебя на вальс, — склонил перед ней голову.

— Разрешаю, — доверчиво положила руку ему на плечо.

Не успели отдышаться после танца, как к ним подлетел репортёр.

Скороговоркой представившись, сходу взял быка за рога:

— Господин юнкер, как вы оцениваете наряды присутствующих дам? — и видя, что никак не оценивает, обратился к его спутнице: — Сударыня, что вы можете сказать о присутствующих кавалерах и их костюмах?



---

— Гоголь уже всё сказал... — И видя удивлённое лицо репортёра, продолжила: «Сам Чичиков любил цвета оливковые или бутылочные “с искрою”, приближающейся, так сказать, к бруснике. Имел фрак “цвету наваринского дыму с пламенем”», — поражённый репортёр, чего-то записав в блокноте, ретировался.

Не менее поражённый эрудицией Натали, Аким пригласил её танцевать, подумав, что классные дамы Мариинской гимназии и мадам Светозарская сейчас бы возмутились, поскольку нескромно несколько раз подряд приглашать одну и ту же даму. Поэтому для приличия на следующий танец решил пригласить Ольгу.

Достав из сумочки бальную книжечку, та зачитала:

— Вальс — Сергей, который Трубецкой. Затем Аполлон...

«Лакей, что ли?» — опешил Аким.

— ...Опять подпоручик, потом Костик, за ним юноша в оранжевом жилете, следом — студент... Ага! Свободен танец падепатинер...

— Чего-о? — ещё раз опешил Рубанов. — Это мы пока не проходили... После отпуска обучать станут. А чего-нибудь попроще нет?

— Есть, — рассмеялась Ольга. — Падеспань.

Аким похлопал глазами.

— А кадрили, мазурки, полонеза или вальса нет? — без особой надежды поинтересовался он. — Венгерка с краковяком тоже подойдут.

— Очень нескоро. Свободен ещё падекатр.

— Знаешь что?.. — Но высказаться до конца не успел, потому как Ольгу подхватил под руку и увёл то ли Костик, то ли Аполлон, но явно не юноша в оранжевом жилете.

«Ну и Москва... — поразился Аким. — Нет бы польку-бабочку сплясать, так они та-а-нго норовят, провинциалы».

Но сюрпризы на этом не кончились.

На балу неожиданно появился ещё один военный в форме пажа. Нетвёрдой походкой, не испытывая при этом не малейшего стеснения, здоровяк шёл приглашать дам.

«Это что за филистимлянин Голиаф? — всматривался в знакомую фигуру Аким. — Ну конечно... Кто же ещё? Одиозный паж. Пойду пообщаюсь с “утопленничком”».

Хлопнув о чём-то размышлявшего пажа по плечу, произнёс:

— Герцог Иванов?

— Нет! Граф Игнатьев, — повернулся тот, и недовольное поначалу лицо расплылось в улыбке. — «Па-а-в-ло-он» Рубанов. — Расставил для объятия руки. — А кто ещё может меня по плечу колотить...

— Синенький, боевую клизму лакеям сдал?

---

— Какую клизму? — удивился паж. — Бу-а-а-а! — иноходцем Николаевского кавалерийского училища заржал он.

На них уже стали оглядываться.

— Ваше сиятельство, по-моему, вы мадеркой прилично угостились, — завистливо приняхался Рубанов.

— И не только! Бу-а-а-а! — На этот раз извергнул ржание простуженного тяжеловоза владимирской породы.

— Рубанов, как у вас весело, — с иронией разглядывая юнкера и пажа, произнесла подошедшая с подругой Ольга.

Натали молча улыбалась, глядя на молодых людей.

— Полковник Игнатьев Сергей Рудольфович, — представил товарища Аким. — Ольга и Натали, — показал рукой, кто есть кто.

— Краковяк освободился, — обмахиваясь веером, заглянула в книжечку Ольга.

— А за что его арестовали? — икнул граф, стыдливо прикрыв ладонью рот.

— Краковяк — это не фамилия, это танец, — образумил непонятливого пажа Рубанов, отметив, что про «полковника» тому очень понравилось.

— Та-а-нец! Мадемуазель. Позвольте иметь честь пригласить вас на... э-э-э... — запомнил он название.

— Краковяк... — подсказал Аким. — Его недавно с гауптвахты освободили, — прояснил ситуацию, заметив, как паж, ведя под руку даму, вновь глубоко задумался. — Да-а, кавалеру пора окунуться в воду Дудергофского озера, — и видя вопросительный взгляд Натали, осведомился: — Не угодно ли даме мороженого, фруктов или лимонада?

— Угодно! — ответила уставшая от недосказанностей дама.

Но в буфетной отведать бисквит или конфету не удалось. У стола с фруктами стояла Ирина Аркадьевна и, отрезая маленьким серебряным ножом кусочки от яблока, разговаривала с хроникёром.

— Слишком дорогое платье свидетельствует о том, что дама «слегка из выскочек», — безапелляционно произнесла генеральша, поглядев в сторону поглощавшей бисквиты мадам Сапожниковой.

— О-о, сударыня, как это тонко подмечено, — строчил в блокноте хроникёр.

«Он в точности так ответит купчихе на её мысль, что аристократия всё профукала, вот и донашивает обноски», — ухмыльнулся Аким.

— Совершенно с вами согласен, что цвет — важнейшая характеристика стилистического образа времени...

— Извините, месье, — кивнула головой писаке Ирина Аркадьевна, увидев сына с девушкой.

---

— Мама́, это Натали. Та несчастная гимназистка из Мариинки, которую я обидел... Случайно встретив её здесь, с преклонёнными коленями приношу свои извинения, и вроде бы она меня простила. Моя мама — Ирина Аркадьевна, — познакомил дам.

— О-ой. Мой сын бывает иногда совершенно бестактен, предосудителен и невежлив, в чём вы имели возможность убедиться даже сейчас. Всё ему шуточки... Но ради бога простите его. В душе он добрый, мягкий и деликатный молодой человек, — ласково дотронулась пальцем до локтя девушки, заметив, как та вспыхнула и потупилась. — Чем я могу искупить его вину?

— Пригласить с нами в театр, — подсказал сын.

По окончании бала лакеи внесли коробка с цветами, и Аким с поклоном подарил букетик фиалок Натали.

Через день, вечером, посетили театр. Смотрели чеховскую «Чайку». За ходом пьесы Аким не следил, а скосив глаза, любовался Натали.

«Вот так монголами и становятся», — с трудом сфокусировал глаза после спектакля.

Пьеса ему категорически не понравилась, а женщины охали и ахали, вспоминая действо.

— Сценический подтекст... — восторженно твердила Любовь Владимировна.

— Тоска от нудной, никчёмной жизни, где каждый по своему несчастен и нелюбим, — это мамá.

— Неблагополучие и неустроенность человеческих судеб, — Зинаида Александровна.

«Господи, — касаясь якобы случайно руки Натали думал он, — ну какая может быть тоска? Все несчастливы, нелюбимы... Да сам человек должен создавать себе счастье», — опять скосился на Натали, но тут же стал глядеть вперёд и вдаль.

Хотя ничего там не видел... Кроме Натали и офицерских эполет...

Но разве этого мало?!

~~~~~

В последний день года обиженный на только что приехавшую жену Рубанов-старший договорился по телефону о встрече с Сипягиным.

— И вот ещё что, Дмитрий Сергеевич. В «Кюба», «Донон» или «Контан» идти банально неинтересно. Новый век завтра начинается. Предлагаю, как в год восшествия на престол государя, одеться в народные тулупы и проводить век оригинально, под мужика... Ежели у тебя облезлого армяка в гардеробе не имеется, так я у сторожа Пахомыча возьму на время. А ты ему свою генеральскую шинель отдашь, околоточных

попугать, — засмеялся он погромче графа Игнатьева.

Бывает, что и на государственных мужей находит блажь.

— Ого! Ваше превосходительство. Шикарный заячий тулупчик отхватили. Сразу видно — поставщик Императорского двора Николай Иванович Норденштрём расстарался, — похвалил при встрече форму одежды министра внутренних дел Рубанов.

— В департаменте полиции у филёра взял поносить... А валенки какие...

— Господин Сипягин. Вам бы ножичек аршинный¹⁵ за кушак, и при вашей бороде — вылитый Емелька Пугачёв...

— Вы мне льстите! — хохотнул министр. — С чего начнём провожать старый год?

— Известно с чего, с водовки... Вон, видите вывеску зелёного цвета с двуглавым орлом и надписью «Казённая винная лавка». Туда и пойдём. Надо же хоть часок жизнью простого народа пожить, — через минуту разглядывали разнокалиберные бутылки, стоявшие на прилавке и на полках.

— Рубанов, вон ту, ёмкостью четверть ведра мы не осилим без закуски, — с сомнением присматривались к трёхлитровой бутылке в плетёной корзине.

— Да-а. Тяжельно будет. Возьмём, Ваше превосходительство, красноголовку за 40 копеек.

— Напополам, — полез в нагрудный карман Сипягин, радостно посмеиваясь и доставая 20 копеек. — А вот у вас, мой друг, вряд ли такая монетка найдётся. Потому что не предусмотрительны, хотя батюшка ампирактор цельную гвардейскую дивизию вам соизволил доверить, — шутил он.

Порывшись в портмоне, Максим Акимович меньше четвертого билета денег не обнаружил.

— Вот, сударь, и покупайте на него, — убрал двугривенный в карман Сипягин. — А я понаблюдаю.

— Где я тебе с ранья сдачи возьму? — возмущился небритый продавец с перевязанным глазом. — Украл, поди, денежку, подлец...

Растерявшийся генерал-адъютант крутил четвертной билет, поглядывая на лопавшегося от смеха министра.

— Поговори ещё! Сейчас на дуэль вызову... То есть второй глаз подобью-ю, мерзавец, прохвост шаромыжный... — заорал Рубанов. — Быстро водку давай, пока зубы не вышиб.

Сипягин просто падал от удовольствия.

— Поори мне тут, — явно струхнул продавец. — Ща городского кликну, — однако нашёл засаленные рубли и мелочь, брякнув о прилавок бутылкой «казёнки».

¹⁵ Аршин — 16 вершков, 0,71 м.

— То-то! — брезгливо взял сдачу Максим Акимович, а Сипягин схватил бутылку.

— Пьяницы-ы... — слышали они вслед. — Буянить ишшо тут будут, пробки картонные.

— Нет ничего лучше простой жизни! — выйдя из лавки, огляделись по сторонам.

— Смотри, Дмитрий Сергеевич, как хорошие люди делают... О стенку сургуч сбивают, — подошли к соседнему с шинком дому, вся штукатурка которого была выщерблена и утыкана красным сургучом.

Сипягин осторожно постучал о стену, сбивая сургуч, а затем ладонью жажнул по днищу, выбивая пробку.

— Вот! — похвалился он. — А из чего пить-то будем?

— Проблема! А пойдём-ка в соседнюю мелочную лавку и стаканы купим, — предложил Рубанов.

— Э-эй, мужички, закусить часом не жалеете? — грубым голосом обратилась к ним сидевшая у дверей лавки толстая баба в тёплой юбке.

В руках у неё ничего не было.

— Канешна жалаем! — подтвердил Рубанов, вновь приведя министра в приподнято-радостное настроение.

Баба на удивление быстро поднялась с насиженного места, которое оказалось приличных размеров чугуном, сняла крышку и, плюнув на пальцы, выудила оттуда горячую картошку в мундире. Из другого чугуна достала плесневелый солёный огурец.

— Важный продукт по копейке, — басом произнесла она.

Максим Акимович на радостях, что избавится от мелочи, сыпанул в её ладонь пригоршню медаков.

— Да куды столько? Вместе с чугуном рази хотите приобрести?

— День ангела у меня... Купишь детям чё-нито за моё здоровье, — обрадовал мужеподобную бабицу Рубанов, положив в свёрнутый из газеты кулёк две картошки и два огурца.

Небольшая мелочная лавка под самый потолок была набита продуктами и всяким несъедобным барахлом.

Рядом с конфетами лежали мыло и селёдка. Хлеб соседствовал с картошкой, крупа находилась неподалёку от керосина.

— Веничек не желаете купить, — вежливо обратилась к Сипягину чисто одетая девица в белом фартуке.

— Господину во-о как нужен веничек, — провёл ребром ладони по горлу Рубанов. — А что, Ваше превосходительство. Врагов государства будете выметать...

— Знаете что, Рубанов, купите лучше кнут или рукавицы. К вашему тулупу очень подойдут.

— И маслице лампадное свежее имеется, — не унималась девица, — а также конверты, открытки, марки... Ежели, к примеру, в деревню захочите написать...

— А стаканы пустые есть? Без топлёного масла, — поинтересовался Максим Акимович, которому начинала надоедать эта праздничная канитель.

— И квас, и папиросы, всё есть... И пироги с мясом и морковкой...

На пироги с морковкой генералы согласились.

— Здря селёдки не купили, Ваше превосходительство, — пожалел Рубанов.

— Присесть бы где? — выдвинул предложение Сипягин.

— Да уж выпить бы скорей, — зашли они под арку дома рядом с мелочной лавкой и достали стаканы. — А вон сани с извозчиком. Там и посидим, — обрадовался Максим Акимович.

Извозчик аж захлебнулся слюной от увиденной благодати.

Выпив по полстакана и занюхав огурцом, есть ничего не решились, всё богатство отдали возчику.

После народной водочки Сипягина потянуло на разговоры:

— Да, Рубанов. Эти вечно недовольные интеллигенты называют Россию «рабской страной». А того в голову не возьмут, сукины дети, что в Соединённых Американских Штатах отменили рабство только через четыре года после отмены крепостного права в России и через полтора века после отмены холопства Петром Первым. Но США «рабской страной» не называют. А по отношению к России эпитеты «рабская», «крепостная», считают вполне уместными, — поглядел, как возчик, смакуя, выпил стаканчик и занюхал огурцом. — Эх! Либералы... В той же Америке смертная казнь практикуется вовсю, и у президента даже мысли нет её отменить... А у нас за период с 1866 года и по настоящее время казнено 94 государственных преступника и смертная казнь отменена за все виды преступлений, кроме государственных... Ну посидели и будя, — ещё раз глянул на цедающего водку возчика.

На выходе нарвались на полицейского.

Увидев Сипягина, который привычно хотел произнести: «Вольно, вольно, братец», — тот встопорщил усы, строго оглядев мужика в заячем тулупе, и задумчиво произнёс:

— Во, гнида! Как на нашего министра похож. Так бы и въехал в рыло.

Рубанов от этих слов воспарил на седьмое небо, вспомнив сипягинские издевательства в винной лавке.

Дмитрий Сергеевич, пораскинув мозгами и не найдя ответа, двинул нижнего чина в нос, загнав сим деянием на седьмое небо ещё и возчика.

«Как ноне повезло, — балдел тот, — и выпивон обломился, и спектакля оперная», — наслаждался побитым городовым, старательно, на одной ноте вопившем: «Ка-ра-у-у-ул!»

— В свисток дуди! — посоветовал возчик и, тут же, выпрыгнув из саней, вытянулся во фрунт, увидев под сброшенным тулупом генеральскую форму.

Появившийся в сопровождении ещё одного городского и, видно, хотевший заорать на нарушителя околоточный, безмолвно, выброшенной на берег рыбой, раскрывал рот и пучил зенки, разглядывая стоявшего перед ним заместителя бога на земле.

Сипягин хотел дать в нос и ему, но, плюнув, поднял линейный тулупчик и велел благодетельствованному им возчику отвезти его домой.

— Рубанов, — усаживаясь в сани, произнёс он, — встретимся днём на ипподроме. Да оденьтесь поприличнее. Довольно с нас непредсказуемого карнавала. А эти пусть ищут в заячьем тулупчике потаённый смысл, — выезжая из-под арки, крикнул министр.

Встретившись на ипподроме, друзья солидно раскланялись, будто не встречались до обеда, пожали друг другу руки и, покхекав, Рубанов осведомился:

— Какие упования изволите возлагать на двадцатый век?

— Большие упования возлагаю, — получил ответ.

Садиться не стали. Холодно.

— Ветер сегодня неблагоприятный и сильный, — похлопал в ладони Рубанов и, отстегнув кнопку, стал снимать кожаную перчатку.

— Ну вот. Другое дело. Английской фирмы «Дерби» рукавички изволите носить? — хохотнул Сипягин.

— Так точно. Ваше превосходительство, — достал из кармана шинели сложенный листок. — Сейчас, Дмитрий Сергеевич, будут соперничать четыре лошади: Не Тронь Меня, Раймонд, Червончик и ещё какая-то кобыла, не разобрать — текст смазан. На какую изволите ставить? И сколько?

— Четвертной на Червончика, — ответил Сипягин.

— Прекрасно, прекрасно... А я, с вашего позволения, поставлю на Не Тронь Меня. Кличка больно оригинальная... Все они сначала так говорят...

— Лошади?.. — сделал удивлённый вид Сипягин.

И был наказан за свой юмор. К его великому огорчению, Не Тронь Меня сразу вышла вперёд и первенства не уступила до самого финиша.

— Как говорят в народе, «гоните четвертак, Ваше превосходительство», — вновь снял перчатку Рубанов и пощелоктил пальцами.

Новый год Рубановы встретили тихо и мирно, если не считать учинённой сыночками стрельбы.

Младшенький в 12 ночи палил почём зря из берданы мирно спавшего сторожа Пахомыча, которого не разбудили даже выстрелы. Старшенький пулял в небо из трёхлинейки денщика Антипа.

Потом под окнами посвистели городовые, потом вышедший в генеральском мундире Максим Акимович послал их на хутор... бабочек ловить. Отдав честь, городовые пошли отлавливать пьяных проституток...

Так они поняли приказ. Дисциплина есть дисциплина.

В общем тихий семейный праздник.

Разгульная жизнь начинала надоедать, и потому все в доме Рубановых читали, приводя нервы в порядок и вспоминая о былом.

Аким читал письмо от Натали.

Его маменька читала журнал «Вестник моды»: «Госпожа Рубанова сияла на балу у Новосильцевых в платье из шёлка цвета светлой стали с античными кружевами и с цветами фиалки в отделке».

«Так, так. Неплохо... Оказывается, удивительно приятно читать о себе», — перелистнула страницу.

«Юная мадемуазель Натали Бутенёва, тоже петербурженка, была одета в потрясающее платье от госпожи Ламановой, из бледно-розового атласа и шифона. Мы видим тонкое чувство стиля и художественный вкус знаменитой московской портнихи. Шифон, положенный на атлас, смягчает блеск этой ткани, приглушает её, заставляет мерцать в зависимости от освещения».

Максим Акимович читал рубрику «События» в газете «Новое время» от 1 января 1901 года. О традиционных новогодних бегах: «Бега проходили при неблагоприятном сильном ветре. По общей дорожке соперничали четыре лошади. Вперёд вышла лошадь Не Тронь Меня и никому не уступила первенства. Справа её энергично преследовал Раймонд, затем Червончик. Но обогнать так и не удалось. Не Тронь Меня стала победительницей последнего дня уходящего века петербургских зимних бегов».

«Вот тут-то в моём кармане и зашелестела выигранная асигнация, — довольно хмыкнул Рубанов-старший. — Ну дальше неинтересно»: «Вечер. В канун Новогодья в Петербурге стояла температура 10 градусов ниже нуля. Несильный ветер традиционно насвистывал по питерским переулкам» — уронив на грудь газету, задремал он.

Денщик Антип, временами почёсывая сытое брюхо, взахлёб читал потрёпанный роман Буренина «Мёртвая нога» об убийстве проститутки, а коварная изменщица Камилла читала

вслух сонному Аполлону выдержки из «Свода законов светского человека» великой Клеопатры Светозарской.

Друг дома Сипягин, недовольно ворча, внимательно читал газету «Искра».

«Следует узнать, где печатают эту гадость, и активно отлавливать распространителей», — в одно время с Рубановым уронил на грудь газету и задремал.

~~аааааааааа~~

В январе из Ливадии вернулся выздоровевший государь.

Жизнь текла своим чередом. В России всё обстояло тихо и благолепно, что абсолютно не нравилось либералам, и они усиленно муссировали тему студенческих беспорядков, за которые, кроме киевских, отдали в солдаты 28 питерских студентов.

Как всегда, чисто российские проблемы широко раздувались за границей.

Начитавшись немецких газет и наслушавшись от приезжих студентов российских сплетен, проживающий в Берлине Пётр Карпович воспылал ненавистью к министру народного просвещения Боголепову.

— Да как он посмел отдать наших товарищей в солдаты, — кричал в пивной Карпович, — я не прощу ему этого...

Десятого февраля он выехал в Петербург и остановился в скромных номерах на Казанской улице.

Ни друзей, ни знакомых в Петербурге у него не было.

«Страшно... страшно убивать... и умирать потом самому, — пил он горькую и думал, думал, думал, как решиться на убийство человека, — а бедные студенты, — опрокидывал в себя стакан и закусывал колбасой, — им-то каково... — направился в оружейный магазин и бесхлопотно приобрёл револьвер, — как всё у нас просто», — опять думал он и решил...

Составив прошение на имя Боголепова, написал, что был исключён из Московского и Юрьевского университетов и просит о зачислении в студенты Петербургского технологического института.

Тринадцатого февраля отнёс прошение в приёмную министра и был записан на приём в полдень следующего дня.

«А ещё говорят о царящей в России бюрократии, — вновь раздумывал, убивать или нет, — а ежели не убью и вновь приеду в Берлин, что подумают обо мне товарищи... Я ведь рассказал им, зачем еду в Петербург. Нет! Всё решено. Рубикон перейдён», — целился в картину и щёлкал курком револьвера.

Четырнадцатого февраля Боголепов с присущей ему пунктуальностью приехал в министерство около 13 часов. Оглядел заполненную посетителями приёмную.

«Какой несчастный молодой человек, — остановил взгляд на Карповиче, — болеет, наверное, бледный весь... или меня боится... вон руки как трясутся и щека дёргается... Следует непременно помочь ему», — прошёл в кабинет и заслушал от помощника доклад о текущих делах.

— Хорошо, хорошо. Меня люди ждут, будь добр, подай их прошения, надо прочесть... Особенно того молодого человека... Так... Пётр Владимирович Карпович. 1874 г. р. Учился в гимназиях в Гомеле, а затем Слуцке, — быстро пробежал текст глазами. — Пусть учится. Следует помочь молодому человеку.

— Да, но его уже исключали из Московского и Юрьевского университетов за антиправительственную агитацию и организацию студенческих беспорядков, — напомнил помощник. — Карпович больше занимался делами студенческого движения, нежели учился, ярко подтверждая прописную студенческую истину, что «всё равно где учиться, лишь бы не учиться...»

— А вот, чтоб не стал бомбистом и агитатором, пусть лучше учится... Наша задача — преподать им знания и приёмы, с помощью которых студент может впоследствии сделаться учёным, судьёй, адвокатом и развивать умственные силы... Поднимать Россию, а не губить её, — аккуратно причесав расчёской каштановую бородку и волосы, вышел к просителям.

Он не был бюрократом, и в отличие от других министров, принимал не в кабинете, а обходил просителей в приёмной. Такой стиль работы остался у него со времён ректорства в Московском университете.

«Это плохо... Это очень плохо, — переживал Карпович, — в моём распоряжении один-единственный выстрел... Сделать другой мне не дадут... Главное — неожиданность».

И когда министр разговаривал с его соседом, быстро встав, выхватил револьвер и выстрелил в голову, в аккуратно зачёсанные каштановые волосы, но рука дрогнула, и пуля попала в шею.

Никто к нему сразу не бросился... Он имел возможность выпустить в лежавшего на паркете человека всю обойму, но силы покинули его. Глядя на расплзающуюся лужу крови у своих ног, он бросил пистолет и бессильно закрыл лицо руками.

— Зачем, зачем, зачем я сделал это? — шептал он, безучастно позволяя подбежавшим людям крутить ему руки и связывать. — Не бойтесь, я не уйду, я сделал своё дело, — дрожащими губами произнёс убийца.

«Да-а. Мавр сделал своё дело... Мне следовало застрелиться...»

После покушения на министра Санкт-Петербургский митрополит Антоний встретился с Победоносцевым, чтоб обсудить вопрос о вере православной. О том, почему молодые люди и интеллигенция отходят от веры русской, отпадают от Церкви и идут в секты.

— Во многом здесь виноват писатель граф Толстой, — сделал вывод митрополит, — а глядя на него и читая богоборческие тексты, молодёжь начинает глумиться над православием, над церковными таинствами и святынями. Дошло до того, что не снимают в церкви головные уборы, юродствуют, оскорбляя чувства верующих, и насмешничают над ведущими службу преосвященными, обзывая делающих им замечания прихожан... Из многих епархий я получаю сведения о подобных дерзостях. Теперь все в Синоде пришли к мысли о необходимости обнародования в «Церковных ведомостях» синодального суждения о графе Толстом, о его отходе от веры православной... и, может, это в какой-то мере повлияет на его сподвижников и последователей, кои именуют себя толстовцами, — выговорившись, нервно провёл ладонью по седой окладистой бороде.

— Ранее я считал отлучение необходимым, — поднялся и стал ходить по кабинету Победоносцев, — и даже написал письмо императору Александру Третьему, ныне, к горю нашему, почившему в бозе... но теперь так не думаю. В сложившейся внутривластной ситуации такой акт будет воспринят как правительственная демонстрация, а не как давно ожидаемая верующими мера церковного воздействия.

— Позвольте с вами не согласиться, — тоже поднялся из кресла митрополит Антоний, — Толстой отвергает учение о Троичности Бога, непогрешимый авторитет Вселенских соборов, церковные таинства. Свои интересы ставит выше, чем изначальные христианские идеалы... И мы, несмотря на это, не отлучаем его от Церкви, это он покинул её, — вновь уселся в кресло, поправив на груди тяжёлый крест. — А ваша подпись, Константин Петрович, необязательна, — положив левый локоть на край стола, добавил он, — вы не являетесь членом Священного синода.

— Да это бунт! — улыбнулся Победоносцев. — Взяли моду у студентов. В душе я с вами полностью согласен, — тоже сел в кресло, — но вот государь?! Его Величество возражает против любых мер по отношению к графу.

— Константин Петрович, ещё раз повторю, мы не отлучаем Толстого от Церкви, а лишь констатируем, что граф сам отошёл от неё. И главное — не закрываем ему дорогу к возвращению... В лоно Церкви нашей, — перекрестился на икону в углу.

«Но выговор-то от батюшки-царя получу я, обер-прокурор Синода, а не митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский», — подумал он, глядя в спину уходящему Антонию.

Двадцать второго февраля 1901 года Синод принял постановление, через три дня опубликованное во всех газетах.

Как и ожидал Победоносцев, именно в этот день он и получил высочайший выговор, ввиду чего письменно извинился перед императором за то, что «...не испросил согласия Вашего Величества на самую редакцию послания Синода. Я докладывал, что Синод вынужден к сему смуту, происходящую в народе, и многочисленными просьбами о том, чтобы высшая церковная власть сказала своё слово... Послание составлено в кротком и примирительном духе...»

«Да это поднимет ещё большую смуту в народе, — читая Определение Синода, думал Николай. — А что скажет Европа? “Известный всему миру писатель, русский по рождению, православный по крещению, граф Толстой в пресыщении гордого ума своего дерзко восстал на Господа и Христа и на святое Его достоинство... В своих сочинениях и писаниях... он проповедует с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов православной церкви и самой сущности веры христовой и тем сознательно и намеренно отторг себя сам от всякого общения с Церковью православною”, — здесь они правы», — мысленно прокомментировал Николай, продолжив читать Определение. “...Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею... Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние и разум истины”. — «Шероховатости есть, но в целом неплохо», — подумал государь, просматривая семь подписей под документом.

Лев Николаевич тоже прочёл в газете Определение Синода и даже расстроился, отметив, что слова «отлучение» в нём нет.

«Очень жаль, ничего до конца делать не хотят. И «анафему» побоялись объявить. А хорошо было бы. Во всех церквях моё имя поминали бы», — надел крестьянский тулуп, нахлобучил старенькую шапочку, что выменял у дворника, и по обыкновению направился гулять по привычному маршруту.

Пройдя Остоженку, Волхонку, по Охотному ряду вышел на Лубянскую площадь.

— Тётя, смотрите, это же Лев Николаевич, — потрясённо зашептала Натали, схватив Зинаиду Александровну за локоть и удерживая её на месте.

Прогуливающаяся по Лубянке публика узнала писателя и стала окружать его тесным кольцом.

— Ур-р-а-а Льву Николаевичу-у, — раздался задорный молодой голос.

— Ур-р-а! — поддержала его толпа.

Но не вся!

— Вот он, дьявол в образе человека, — прокуренным басом зарычал расхристаный мужичок.

— Иди в свою мясную лавку и головы свиньям руби, — ответил ему тот же задорный молодой голос. — Ур-ра-а Толстому-у, — вновь заорал студент и его поддержали господа в бобровых шубах и дамы в мехах, студенты и гимназисты.

Крестьян в этой толпе не было. Как-то не принято у простого сословия бесцельно гулять по Москве в два часа пополудни.

Стоявшая у высокого десятиэтажного здания публика начала аплодировать опальному писателю. В пику властям и Синоду просвещённая дворянская и купеческая Москва устроила овации Толстому.

— Спасибо, спасибо, — благодарно твердил тот, высматривая городского, с помощью коего мечтал выбраться из круга почитателей.

«Так и затоптать могут от приступа благодарности», — наконец с помощью освистанного студентами конного жандарма выбрался из толпы и сел в остановленные городовым сани.

— Вас проводить до дома или сами доберётесь? — добродушно поинтересовался городской.

Но и дома он не мог остаться один и поразмышлять. Огромная толпа посетителей уже ожидала его и устроила триумф прибывшему писателю.

Гостиная была завалена цветами.

«Будто покойник в доме», — вздрогнул Лев Николаевич, раскланиваясь с гостями.

Софья Андреевна весь следующий день просидела за письменным столом, сочиняя ответ Синоду.

Письмо жены писателя вызвало огромный резонанс в России и за рубежом.

«Никакая рукопись Льва Николаевича не имела такого быстрого и обширного распространения, как это моё письмо», — хвалилась потом она.

Митрополит Антоний, видя такой общественный отклик, написал ей ответ, где попытался объяснить положение вещей.

«Не то жестоко, что сделал Синод, объявив об отпадении от Церкви Вашего мужа, а жестоко то, что сам он с собой сделал, отрекшись от веры в Иисуса Христа...»

Лев Николаевич принципиально не стал читать письмо митрополита, зато с увлечением прочёл басню «О семи голубях», посвящённую семи иерархам Церкви, подписавшим документ.

«Так им... — злорадствовал он, — будут знать, на кого замахнулись, — заучивал слова из другой басни под названием «Осёл и лев». — Есть, оказывается, и кроме меня, таланты... Как красиво сочинили: “В одной стране, где правили ослы, лев завелся...” — Просто чудесная басня, непременно следует заучить».

Рана Боголепова оказалась тяжёлой и болезненной. Он метался на постели и то стонал, то скрипел зубами от невыносимой боли.

«За что, за что?... Я ведь ничего плохого не сделал ему, — тяжело дышал больной и чувствовал, что силы покидают его. — Я умираю... Господи! Как страшно! — временами он терял сознание. Боль в эти минуты отпускала, и лицо становилось безмятежным и спокойным.

Жена, сдерживая рыдания, вытирала мокрым от слёз платком влажный лоб умирающего супруга и выходила в соседнюю комнату выслушивать ничего не значащие соболезнования и ненужные уже советы врачей.

Беседовал с ней и Николай Второй, приехавший навестить раненого министра и выразить свою печаль жене. Хотя газеты и печатали бюллетени об удовлетворительном состоянии его здоровья, император понял, что тот умирает....

Неожиданно вспомнил, как двенадцатилетним мальчиком стоял у кровоточащего тела своего деда... и слёзы потекли по его щекам...

«Мне нельзя!.. Мне нельзя показывать слабость, — с трудом взял себя в руки. — Никто, кроме Алекс, не должен видеть моих слёз», — вытерев глаза, вышел из комнаты, сурово оглядев присутствующих.

«Какой-то бесчувственный», — шептались за его спиной пришедшие навестить Боголепова профессора и приват-доценты Санкт-Петербургского университета.

Профессор Рубанов свои соболезнования жене министра не принёс.

«Рутинёр, реакционер и бездушный деятель, только вредивший народному просвещению», — думал он о Боголепове и готовил статью в газету.

Генерал-адъютант Рубанов и министр внутренних дел Сипягин пришли навестить больного.

Последние дни его жизни прошли в страшных страданиях. Он кричал от невыносимой боли, временами впадая в забытие...

Второго марта 1901 года, не приходя в сознание, Николай Павлович Боголепов скончался.

Через полторы недели в Петербургском окружном суде состоялся процесс по делу Карповича.

Неожиданностью для России явилось то, что его дело слушалось не в военном суде или особом присутствии Сената, а в Судебной палате с участием сословных представителей, и судили не за государственное, а уголовное преступление, за которое смертная казнь отменена.

— Не доведёт нас подобная мягкотелость до добра, — делился с Сипягиным своим мнением Рубанов-старший.

— Студенты бастуют в поддержку этого убийцы, — поддерживал его Сипягин.

— Жаль, что они не видели, как он умирал, — вздыхал Максим Акимович. — Государство должно поддерживать порядок среди своих граждан... И это в вашей власти, Дмитрий Сергеевич.

— Твой брат думает иначе, — глядя куда-то вдаль, ответил Сипягин.

— И не только он, а большинство его коллег... Да чёрт с ними, шпаками. Но вот военный министр Куропаткин... — покачал головой Рубанов. — Лично пришёл проводить питерских студентов, отданных в солдаты... Демократ тоже мне... Произнёс ободряющую напутственную речь. Пожимая каждому руку, дал слово офицера, что покуда он министр, Карпович не предстанет перед военным судом... А выразить соболезнование жене убитого как-то не удосужился. Тогда и крестьянским парням руки пожимай... К чему этот либерализм приведёт, как думаешь, Дмитрий Сергеевич?

— Говорю же тебе, Рубанов, иди служить в наше министерство... А Карпович от последнего слова отказался и приговорён к «лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на 20 лет». Сейчас в Шлиссельбургской крепости находится.

— Да-а! Мы в фортеции живём, хлеб едим и воду пьём... А человека-то нет...

Через день Максим Акимович, проезжая в своём экипаже по Невскому, был остановлен буйствующей толпой студентов.

— Бе-е-ей царского сатрапа-а, — заходился криком прыщавый юнец, размахивая студенческой фуражкой в сторону Рубанова. — Опри-и-ичник, — вопил студентик, но желающих бить заслуженного пожилого генерала не находилось.

К студентам постепенно прибавались какие-то подозрительные личности. Толпа разрасталась на глазах, и, что удивило Максима Акимовича, так это десятки курсисток, сновавших среди студентов и на что-то подбивавших их.

«Ну явно не на любовь», — хохотнул Рубанов.

Всерьёз собравшихся он не воспринимал.

— Свобо-о-ду Карповичу-у, — завизжала неподалёку от него стройная девица и, неловко размахнувшись, бросила в генерала камень.

Пролетев около головы Рубанова, небольшой осколок булыжника на излёте ударился о круп лошади. Этого хватило, чтоб испугать её. Кобыла фыркнула, взбрыкнула задними копытами и рванула вперёд. Нервно вздрагивающий коренник с места взял в карьер, и тройка врезалась в толпу.

Не ожидавший такой подлости Ванятка, не успев натянуть вожжи и на время потерял управление экипажем. К тому же в коренника, радостно заулюлюкав, кто-то попал пустой водочной бутылкой, отчего он совсем обезумел.

Топча и раскидывая людей, тройка прокладывала себе дорогу сквозь толпу. Испуганные девицы и студенты с криком шарахались в стороны.

Через десяток сажений толпа поредела, и экипаж стал удаляться, оставляя за собой озлобленных людей, поднимающихся с мостовой и отряхивающих одежду. Некоторые, хромая и держась за ушибленные места, отправились восвояси.

Взяв управление тройкой в свои мощные руки, Ванятка осадил лошадей, и те, успокоившись, пошли шагом, нервно встряхивая головой и фыркая.

Когда приехали и генерал ушёл в дом, кучер долго ещё, жалея, хлопывал лошадей, успокаивал их и мазью смазывал небольшую кровоточащую ранку на крупе кобылы, недобрым словом вспоминая злодеев-бунтовщиков.

«Кони-то им чем виноваты?.. Ничо-о. Попадётесь мне когда-нибудь».

Максим Акимович, набрав по телефону номер Сипягина, выяснял, почему в самом центре города нет полиции.

— Чуть царского генерала бунтовщики не ухлопали, — уже посмеиваясь, шутил он.

Сипягин шутку не оценил, а набрал номер телефона директора Департамента полиции Зволянского и холодно поинтересовался:

— Сергей Эрастович, что там у вас... — особенно сурово произнёс слово «вас», чтоб директор Департамента прочувствовал, кто будет отвечать, — ... творится у Казанского собора?..

Не зная толком, что там творится, Зволянский бодро отпартовал:

— Дмитрий Сергеевич, не волнуйтесь, ситуация под контролем полиции, — сам же принялся названивать Петербургскому градоначальнику генерал-лейтенанту Клейгельсу.

— Товагищи, огатоги будут выступать у Казанского собора. Все туда, — отряхнув юбку, руководила студентами стройная девица. — Бестужевские кугсы, кугсистки, все к собору.

— Ася, красный флаг у тебя? — подошёл к ней прыщавый студент.

— Знамя геволуции, товагищ Муев, у меня, поднимем его в полдень, когда удагит пушка с Петгопавловской кпепости.

— Хорошо. Как председатель студенческого организационного комитета я выступаю первым и, как только начну громить Боголеповские «временные правила», разрешающие отдавать студентов в солдаты, поднимайте, товарищ Климович, знамя борьбы... Нас поддерживают не только студенты. Здесь много известных личностей... Публицист Анненский и наш университетский профессор Туган-Барановский, Струве и даже, как мне сказали, член Государственного совета, генерал-лейтенант Вяземский. Но он, скорее всего, просто случайно оказался. В основном здесь студенты «всех родов знаний», — улыбнулся своему остроумию. — После пламенных слов других ораторов дружной колонной идём по Невскому.

Пройти по проспекту не удалось. Не успел над митингующими заколыхаться красный флаг, как появились отряды казаков, конной и пешей полиции. Возглавлял их заросший бородой полковник — пристав Казанской части.

— Господа студенты, расходитесь, Христом Богом прошу вас... Рядом храм Божий, а вы бесчинствуете...

— Выступая на защиту попранных прав человека, на борьбу за них, мы обращаемся ко всем слоям общества. Идите с нами! Не бойтесь царских сатрапов. Нас здесь пятнадцать тысяч... А их горстка. Бейте царских прислужников и холуёв, — привычно завопил прыщавый.

В казаков и полицию полетели камни и пустые бутылки.

— Р-разгоняйте! — приказал полковник, увидев, как стоявшему рядом поручику попали молотком в голову.

Разъярённые казаки врезались в студенческую массу, яростно размахивая нагайками. Пешая полиция работала кулаками.

Как нарочно повалил мокрый снег. Разбегавшиеся студенты скользили и падали.

Князь Вяземский в негодовании стал кричать на полковника, но тот спокойно обошёл его, приложив ладонь к фуражке, и стал руководить наведением порядка.

Буквально за несколько минут митингующие были разогнаны и оттеснены к ступеням Казанского собора, куда и ринулась, ища спасения, студенческая масса.

Раненые сели на мраморные скамьи у гробницы Кутузова. Враз сникшие курсистки ревели в голос, призывая на помощь своих далёких мам.

Прыщавый руководитель забился в центр толпы, в ужасе прикладывая к распухшему носу платок. Такого мордобития студенты никак не могли ожидать.

— Устыдитесь! — появился перед ними батюшка. — Ворвались как безбожники в храм и даже фуражек не снимаете... Это ведь не вокзал, а Казанский собор, — увидел синяки и ссадины на лицах молодых людей и как-то сразу сгорбился и сник.

— Мы не по доброй воле здесь, — встала перед ним Ася Клипович, — нас загнали в собор цагские саттапы, — указала на вошедших полицейских и казаков под предводительством полковника.

Те фуражки сняли и крестились на иконы.

— Не троньте их, — загородил собой студентов старый седобородый священник, и слёзы побежали по морщинам его лица. — Не ведаете, бо, что творите.

— Отче, — склонил перед ним голову полковник, — если тут находятся благонамеренные православные люди, то прикажите распахнуть западные врата, и пусть они спокойно уходят домой. Даю слово — никто их не тронет. Полиция будет считать их присутствие на площади случайным. Оставшиеся станут рассматриваться как бунтовщики, и с ними поступят по всей строгости закона... Даю вам полчаса времени на размышление и исход из храма. Кто останется, пусть пеняет на себя, а не на полицию, — повернулся и ушёл, не забыв посмотреть на часы.

— Дети мои, не думал я, что буду просить кого-то покинуть храм Божий... Но сейчас прошу. Пожалейте себя и родителей.

— Мы не уйдём и не пгосите, святой отец, — гордо ответила ему Ася Клипович.

Прыщавый промолчал, прикидывая, как бы половчей улизнуть отсюда.

Большинство студентов, конфузливо улыбаясь, группами и поодиночке стали покидать собор.

Когда через истёкшие полчаса пристав появился, несколько сот человек, половина из которых были курсистки, остались на месте.

Девицы плакали, размазывая слёзы по щекам и вспоминая мам, но не уходили.

Аси Клипович среди них не было...

Прыщавый смыться не сумел. Его застали практически у входа.

— Вы сами этого хотели, — невесело развёл руками полковник. — Прошу вас, господа, спокойно и не толкаясь — все успеете, выходить через те же западные врата, но уже в руки, т-э-э-к скэ-э-ть, правосудия, и следовать в полицейскую Казанскую часть. Воскресенье, а вы нам работы подкинули, — всю дорогу бурчал бородатый полковник. — И родителям неприятности доставили... Права вам подавай и счастье народа, а о своих папах с мамами не думаете...

До вечера полицейские чиновники во всех четырёх этажах здания скрипели перьями, переписывая задержанных.

В девять вечера, построив арестованных, повели их по улицам затихающего города к крытому манежу Конногвардейского полка, что рядом с Исаакиевским собором.

«Как надоело от собора к собору ходить», — понуро опустив голову и временами трогая нос, размышлял Муев.

За оцеплением из полицейских шла огромная толпа родственников.

Курсисток отвели в другое место.

— Манеж предназначается для верховых экзерциций, но не в качестве гостиницы... — возмущался студенческий командир.

— Для верховых чего предназначается? — крепко задумался бредущий неподалёку от него городской.

— Как мы будем здесь ночева-а-ть? — вопил прыщавый. — На песке, что ли, спать?

— Раньше следовало думать, — хладнокровно ответил полковник. — А мне именно такой приказ от градоначальника поступил. Как вас зовут, господин студент?

— Муев Иосиф Карлович, — раздражённо ответил учёный арестант.

— Так я и думал... — развеселил подчинённых и стоявших неподалёку офицеров-конногвардейцев пристав, изменив первую букву фамилии на "Х".

Однако офицеры, когда полицейское начальство покинуло манеж, благожелательно отнеслись к страдальцам, велев солдатам принести вороха соломы для устройства неприхотливого ложа.

— Господин офицер, — обратился к румянному усатому поручику Муев, — а нельзя ли передать моим родителям записку. Они где-то у ворот манежа находятся.

— Здесь не тюрьма, господин студент, а я не жандарм. Разумеется, пишите, прикажу солдату, он передаст, — заулыбался конногвардеец, радуясь, что чем-то может помочь арестованному. — Мы что, на «губе», что ли, не сидели?..

«Видно, переименовал фамилию, сатрап, по примеру полковника, — покраснел от злости Муев, набрасывая текст послания на вырванном из блокнота листе, — вот и веселится... А то на какой-то “губе” он сидел...»

На следующий день, согласно правительственному сообщению, Россия узнала, что было задержано 760 человек, половина из которых — женщины.

Убитых нет. Раненых: 2 офицера, 20 полицейских и 32 демонстранта.

Князь Вяземский, вступившийся за демонстрантов перед императором, получил «высочайший выговор» и был на год выслан из Петербурга в своё имение.



«Что творят, что творят, — ехал на встречу с господином Шамизоном, редактором «толстой восьмистолбцовой» ежедневной газеты, профессор Рубанов, попутно размышляя о подавлении студенческих беспорядков. — В солидных домах редакторы живут», — прижимая к груди саквояж, выбрался он из возка и поднялся по двум широким ступеням к массивной дубовой двери с большой медной ручкой, начищенной до умопомрачительного блеска.

Нажав на кнопку под дощечкой с надписью «Звонок швейцару», стал очищать калоши о ножной скребок, а затем о ворсистый коврик.

Дубовую дверь, кряхтя от усилий, не слишком широко распахнул представительный швейцар в обшитом золотыми галунами пальто и в брюках навыпуск с узким золотым лампасом.

С поклоном стянув с лысой головы фуражку с золотым околышем, швейцар пропустил посетителя в вестибюль и плотно закрыл за ним дверь.

Задумавшийся Рубанов тоже приветственно поднял шляпу, но тут же чертыхнулся, разглядев чучело медведя с подносом для визитных карточек.

«Как похож на сторожа Пахомыча, — оглядел медведя, — только этот лохматик покрасивше немного, — снял пальто и повесил на стоявшую рядом с мишкой вешалку, сковырнув и задвинув под неё калоши. — Хорошо-о!» — приложил ладони к синей кафельной печи, отапливающей вестибюль и широкую мраморную лестницу. Затем не спеша причесался, глядя в трюмо на своё отражение, и уселся в кресло, стоявшее у покрытого синей плюшевой скатертью стола на резных ножках.

Достав из саквояжа исписанный лист, внимательно прочёл его, ещё раз глянул на своё отражение и стал подниматься на третий этаж.

«Солидно, солидно», — разглядывал висевшие на стенах картины и скульптурные украшения на площадках лестницы. Полюбовался на цветы в кадках, уколол палец о кактус, зачем-то дотронувшись до него, и нажал на кнопку звонка рядом с начищенной до запредельного блеска медной дощечкой с синими буквами, извещавшими, что за шикарной дверью имеет честь проживать господин Шамизон Абрам Самуилович.

«Слишком напыщенно, — иронично сощурился профессор. — Уверен, что его папеле шил где-нибудь в польском ме-

стечке лапсердаки, а сынок принимает в своём доме знаменитостей сцены, известных адвокатов, журналистов и писателей, — столкнулся с выходящим от Шамизонов и вытирающим платком сытые усы полковником корпуса жандармов. — А этот-то чего здесь?» — независимо прошёл за горничной в огромную гостиную, где сидело за столом несколько мужчин и женщин.

— Какая гадость, какая неопиcуемая г-гадо-ость, сам профессор Губанов, — разведя руки в стороны, будто хвалился удачно пойманной рыбой, выбрался из-за стола хозяин дома. — Чаю и бисквитов гостю, — распорядился он и представил Георгия Акимовича, после чего обошёл с ним стол, знакомя профессора с присутствующими.

Начал, разумеется, с супруги — импульсивной и упрямой молодящейся польской еврейки, которой Рубанов поцеловал руку и высказал комплимент.

Затем представил сына, Асю Клипович и, наконец, своего друга, господина Шпеера, маленького, курчавого, рывежавато еврея с золотым моноклем в глазу.

— Хлопчатобумажный фабрикант Мовша Ельевич Шпеер.

— Очень приятно, — привстав из-за стола, пожал руку и поклонился Шпеер. — Являюсь конкугентом текстильного магната Кнопа, — уточнил он свой статус. — А то в Госсии даже поговогка появилась: «Что ни цегковъ — то поп, что ни фабгика — то Кноп», вытаращив от удовольствия глаза и выронив монокль, зашёлся дробненьким, будто сыпали горох на противень, смехом. Общество немедленно поддержало его.

Рубанов на всякий случай, дабы не подумали, что обделён чувством юмора, тоже хихикнул.

Сидя за столом и прихлёбывая чай, объяснил цель визита:

— Союз писателей составил пламенный протест против произвола властей, — начал он. — Подписали Горький, Чириков, профессора нашего университета, некоторые представители газет и журналов... Прошу вас, Абрам Самуилович прочитайте «протест» и, если сочтёте нужным, поставьте в нём свою подпись.

— Непгегменно, непгегменно поставлю, — пробежал глазами протянутый Рубановым лист. — А если будете непготив, то и напечатаете его в своей газете.

— Было бы прекрасно, — одобрил Георгий Акимович, — но разрешат ли?

— Хм! — довольно хрюкнул Шамизон. — Мне? Завтга в газете опубликует газггомную статью пготив смегтоубийственного безумия цагского гежима, советгшённного четвёгтого магта... и пгочитавший эту статью в гукописи жандагмский полковник нашёл её «отвечающей моменту». Кушать-то все хотят...

— Мы там были! — перебивая друг-друга кричала молодёжь. — Это позор! Позор власти, убивать безвинных людей, — горячились они.

«Там вроде бы никого не убили», — подумал Георгий Акимович, но переубеждать в этом присутствующих не стал.

— Это Клейгельс послал войска убивать невинных людей, — обличала градоначальника Ася Клипович.

— Клейге-е-льс, — с издёвкой произнёс ненавистную фамилию младший Шамизон. — В бытность обер-полицмейстером Варшавы этот сатрап открывал публичные дома, где так называемых барышень переодевали в экзотические костюмы, за что получил прозвище «эстет проституции».

Клипович покраснела, а Шпеер надумал съездить в Варшаву и открыть там текстильную фабрику.

Как и положено, за границей воззвание подняло настоящую бурю.

Кто только не бросил камень в «смертоубийственный самодержавно-полицейский царский режим».

Известный Клемансо в своей газете «Аврора» напечатал заявления виднейших европейских писателей, поддержавших своих русских коллег, что очень расстроило Сипягина.

«Ни в чём не хотят разбираться... — злился Дмитрий Сергеевич. — Этот злополучный “протест” из известных писателей только Пешков подписал... Союзнички... Особенно Клемансо... Любят Россию, только когда им хвост прижимают немецким сапогом... Да в какой бы стране сохранили жизнь преступнику, покушавшемуся на министра? Вспомнили бы Карповича... “Смертоубийственный цари-и-и-зм...”», — саркастически хмыкнул он. — В России слишком болтливые адвокаты, гуманные законы и мягкие присяжные.

А этот Пешков, кроме подписи, ещё и “Буревестника” написал... Призыв к революции... И какой-то Костя Бальмонт появился. Из французов, что ли? Поди, Клемансо заслал, — повеселил себя Сипягин. — И ведь что сочинил этот символист, — взял исписанный листок. — Свой поэтический пасквиль назвал “Маленький султан”. Кто это, как ни наш император... Лежащая на поверхности аллегория, для наивных студентов, — нахмурил лоб и стал читать: “То было в Турции, где совесть — вещь пустая”, — вот у таких пиитов, с позволения сказать, совести нет, — прокомментировал первую строфу. — “Там царствует кулак, нагайка, ятаган”, — и револьвер в руках террориста, — поиграл желваками, вспомнив Карповича. — “Два-три нуля, четыре негодяя”, — меня, наверное, к негодям отнёс... Вот на пару-тройку лет и выдворю его из столицы с запретом жить в губернских городах. Пусть в деревне посидит, как Пушкин

в Болдино... Может, что путное и сочинит. А четвёртая строфа: “И глупый маленький султан”, — вообще ни в какие ворота не лезет... При Николае Первом в Сибири бы прохладился... пиитишка... Ежели и дальше так пойдёт, то точно сбудется пророчество Иоанна Кронштадтского: “... Близко, близко время, что разделит народ на партии, встанет брат на брата, сын на отца и отец на сына, и прольётся много крови на Русской земле. Часть русского народа будет изгнана из пределов России”, — перекрестился Сипягин. — Не дай бог нам это пережить... Через край, конечно, батюшка хватил!..»

Нет пророка в своём Отечестве!

Зато совершенно незаметно для общества прошла попытка покушения на жизнь обер-прокурора Священного синода.

Статистик Самарского губернского земства Николай Константинович Лаговский, видимо, позавидовал Карповичу и обрушившейся на него известности.

«А тут что, скучные статистические выкладки, и никакой славы. Разве они сравнятся с героической борьбой за освобождение России?»

Восьмого марта 1901 года в окно кабинета Константина Петровича влетели 4 пули.

Победоносцев выбежал в переднюю и, немного заикаясь от пережитого, сказал собравшейся там прислуге: «Чего вы стали? Стрелять не умеют! Вместо меня попали в потолок».

Вот и всё, что узнало общество о покушении.

Безо всякого газетного гвалта и всероссийской популярности, бедный статистик отхватил 6 лет каторги и тихонько поехал её отбывать.

В один из дней последней недели марта, на страстную седмицу перед Пасхой, отец Иоанн служил литургию в Андреевском соборе.

При свете колеблющегося пламени свечей лики святых хмурились и качали головами, глядя на прихожан, которые не кланялись и не крестились, а лишь с любопытством разглядывали убранство храма.

— Возлюбим друг-друга, братия и сёстры, — воскликнул в конце службы отец Иоанн.

Многие из верующих подошли к пастырю поцеловать крест и затем руку батюшки. Слева от клироса большая группа прихожан не расходилась, а ждала священника, чтоб испросить совета или получить благословение на какое-нибудь дело. Среди них отец Иоанн заметил невысокого крепкого мужчину средних лет с горящей свечой в грубых широких ладонях.

Выслушав и благословив женщину, подошёл к нему. Свеча в руках мужчины погасла то ли от сквозняка, то ли он затушил её сам.

Через какое-то время они остались одни.

— Батюшка! Благословите на грех за веру православную. На тяжкий грех, который станет подвигом... На убийство дьявола во плоти... Толстого-антихриста, — мял пальцами огарок, превратив его в круглый сгусток воска. — Благословите, — частым шёпотом просил мужчина. — Супротив зла пойду. Злом и получится добро... Не будет больше бес добрых христиан смущать, души их в ад направляя.

Отец Иоанн даже отшатнулся от него, осенив святым знамением себя, а потом говорившего.

— Не может из Зла получиться Добро, — успокоившись, произнёс священник. — Не должны православные уподобляться татам и анархистам, людей убивая... Бог его накажет... Против Бога пошёл, от Бога и кару понесёт. Не тебе решать сие дело, сын мой. Кто ты такой? Что-то раньше не встречал тебя здесь.

— Питерский я. Извозом занимаюсь.

— Стой на коленях и молись за душу свою грешную, — отошёл от него отец Иоанн к другим, ожидавшим его людям.

Извозчик хотел подняться с колен и не смог. Ноги будто приросли к плиткам пола. Он сделал ещё одну попытку, пытаясь оттолкнуться от пола руками и встать на ноги, но колени словно срослись с полом, будто их приковали к нему.

— Батюшка-а! — дрожащими губами окликнул священника мужчина, но тот сделал вид, что не услышал.

И когда уже в храме никого не осталось, и стоял густой и душистый сумрак от погашенных свечей, отец Иоанн подошёл к горячо молившемуся незнакомцу.

— Отказался от грешного дела своего, сын мой? — тихо спросил, перекрестив стоявшего на коленях прихожанина.

— Как повелите... — поцеловал тот протянутый крест.

— Вставай и думай, — произнёс Иоанн Кронштадтский, глядя, как мужик легко поднялся с колен, поклонился ему и иконам и задумчиво пошёл к выходу.

— Христос воскрес! — целовал императрицу Николай пасхальным утром, наслаждаясь запахом цветов, стоявших в вазах и любуясь розово-лиловым будуаром своей жены с иконами по стенам и портретами королевы Виктории и Марии Антуанетты.

«Не пойму, зачем ей Антуанетта нужна... Ни к семье, ни к вере нашей дама не относится...»

Попив чаю и поговорив о самочувствии жены — она ждала ребёнка, вышел христосоваться с охраной и придворными служителями Александровского дворца.

В церквях Царского Села торжественно и празднично гремели колокола.

— Христос воскресе, — радостно обратился к стоящему у дверей гиганту-преображенцу, на что тот ответил:

— Никак нет!

Подумав, что ослышался, Николай вновь произнёс:

— Христос воскресе...

И вновь услышал:

— Никак нет, Ваше Императорское Величество.

Подошедший барон Фредерикс зашептал на ухо государю:

— Этот гвардеец из евреев будет, а у иудеев первое апреля не пасхальный день...

Николай задумался и через минуту вынес решение:

— Передайте моё повеление военному и морскому министрам, чтоб всех евреев перевели во флот... Особенно из гвардейских полков, — направился христосоваться с православными, коих набралось в Александровском дворце несколько сотен.

На следующий день в Большой галерее Зимнего дворца христосовался со свитой и гвардией в количестве 900 человек.

Устал, но был доволен.

«Прекрасный православный праздник», — радовался царь.



Христосовалась вся православная Россия.

Чиновники брали пример с государя. Начальник Обуховского сталелитейного завода, что за Невской заставой, генерал-майор Власьев объезжал с поздравлениями своих друзей. Начал с вышедшего два года назад в отставку генерал-майора Колчака.

— Христос воскресе, Василий Иванович, — обнял крепкого лысоватого генерала и трижды поцеловал его в небольшую заострённую книзу бородку.

— Воистину воскресе, свет мой, Геннадий Александрович, — приобняв за плечи, повёл его к праздничному столу хозяин дома, чтоб, как положено православному человеку, разговеться и выпить водочки за Пасху. А то что же это будет за светлый праздник.

— Ну, Василий Иванович, а теперь давай поднимем тост за наш Обуховский завод, за село Александровское и за тебя, лучшего приёмщика Морского министерства и нашего завода. Прекрасного, прямого и щепетильного человека, твёрдо знающего своё дело...

— Да это целых три тоста, — рассмеялся Колчак.
— На каждый сил хватит. Как сынок-то служит?
— Учёным хочет стать. Пишет, что с начальником экспедиции Толлем путешествовать по Таймыру собирается.
— Молоде-е-ц! В каком сейчас Александр чине?
— Лейтенант флота Его Императорского Величества, — гордо произнёс отец. — Давай и за него выпьем. Чтоб всегда ему было тепло в северных морях, чтоб жил долго и дослужился до адмирала, — поднял рюмку отставной генерал и нежно улыбнулся, представив своего сына в адмиральской форме и в погонах с орлами.

В полдень, перекрестившись на кресты Александро-Невской лавры и расспросив пьяненького деда, показавшегося двум молодым парням в драных валенках добрее окружающих зубоскалов, пустились в путь по бесконечному Шлиссельбургскому тракту.

Оглядываясь по сторонам, шаркали валенками по деревянному мосту через Обводной канал и затем устало топали по булыжной мостовой, выслушивая временами шуточки подвыпивших компаний.

— Да-а, Артёмка, ежели бы знать наперёд, то я бы лучше в Рубановке остался, — обратился к крепкому курносому парню его брат.

— Ты, брательник, не тушуйся, плюй на городских и поменьше их слушай, — советовал младшему брату старший, внимательно изучая обрывок потёртого на сгибах листа с адресом, который давно выучил наизусть.

Младший тяжело вздохнул, поправил заплечный мешок и поплёлся за старшим, равнодушно бросая взгляды на скованную ещё льдом Неву и ёжась от студёного, совсем не весеннего ветра.

— Вот этот завод будет судостроительный, если дедушка правильно сказал, — шли они мимо огромных корпусов с невиданной величины окнами. — А это, кажись, мастерские вагоно- и паровозостроительного завода, — разъяснил старший, спрятав бумажку в карман. — Нам нужно село Александровское и Обуховский завод, — шли они дальше по тракту, временами спрашивая у прохожих названия ответвляющихся от тракта улиц и рассматривая небольшие домишки с палисадниками и затесавшиеся между ними каменные громады.

— Ну вот, Гераська, вроде бы как пришли, — ещё раз сверился с бумажкой старший и недовольно покосился на стоявшую у двухэтажного кирпичного дома компанию.

Две девушки в шерстяных платьях и коротких, на ватине, кофтах грызли семечки и пересмеивались, лукаво поглядывая

на деревенских. Парень в шерстяной фуфайке, стоявший рядом с ними, брынчал на балалайке и весело зубоскалил. Другой, с прищуром поглядев на пришедших, вдруг расставил руки и двинулся к ним.

— Артёмка-а, Гераська-а, — заулыбался он, сморщив конопатый нос, щедро усыпанный веснушками.

Артём скомкал в ладони жёлтый листок и, приглядевшись, тоже заулыбался, а брат его, отступив на шаг, недоверчиво разглядывал конопатого, завидуя фуражке с лакированным козырьком, хромовым сапогам с заправленными брюками и тёмному пиджаку с косовороткой под ним.

«Вот так фронт», — подумал он и почесал затылок, признав в разодетом парне земляка.

— Васятка-а! Экий ты жа-а-них, — привёл в восторг девушек старший брат. — А мы тебя ищем с самого утра, — показал смятый листок. — Папанышка твой адрес написал...

Потискав старшего, Северьянов подошёл к младшему и вновь заулыбался, рассматривая заплечный мешок, в углу которого была зашита луковица для удержания петли-лямки, серые порты в полоску и валенки.

— Вот кто жа-а-них, — насмешил девчонок, обнимая покрасневшего парня.

— Тут тебе дядя Ермолай гостинцы передал, — сняв мешок, несильно потряс им. — Только одну банку с вареньем мы раскололи, — вновь покраснел Гераська.

«И чего девки смеются, как дурочки? Чего смешного сказал?» — обнимал он Василия.

— Это наши, рубановские, — представил компании земляков. — Братья. Старшего кличут Артёмом, а младшего Герасимом Дрищенко.

— Ка-а-к? — выронила семечки стройная хохотушка с русой косой и прикрыла смеющийся рот узкой ладошкой.

— А Муму уже утопил или только собираешься? — сдёрнула с головы цветастый платок её подруга и, отбивая невысокими каблучками ритм под аккомпанемент балалайки, пропела скабрёзную частушку.

— А ты правда немой? — обратилась к младшему русоволосая хохотушка.

— Сама ты нямая! — разозлился Герасим, чем вновь привёл в восторг не только компанию, но и брата.

— Христос воскресе, красавчик, — потянулась к Гераське смеющаяся русоволосая, делая вид, что больше всего на свете мечтает обнять и расцеловать деревенского паренька.

— Да ты чего, тётка, — перепугался тот, — я этот, как его?..

— Фома неверующий, — смеялась девушка, делая вид, что не теряет надежды облобызать неумытую рожу.

— Не-а! Этот. Ну просто неверующий, — спрятался за старшего брата.

— А давайте я за него! — обрадовался Артём. — Христос воскрес...

— За яичко поддержишься! — остановила его поползновения дама, перестав смеяться.

— За какое? — не понял тот, подняв к лицу пустые ладони.

— За красное! — прыснула смехом подруга.

— Ладно. Хватит шутки шутить, пойдёмте в дом, — пригласил Василий. — Пасха! Да ещё и земляки приехали, — провёл компанию в комнату на первом этаже, важно открыв дверь ключом. — Это мои хоромы! — сказал главным образом землякам, плавным движением руки обводя маленькую комнату с комодом у стены, над которым висело небольшое зеркало в резной деревянной раме. У окна — стол под клеёнкой и четыре венских стула. У другой стены — койка с крашеными в белый цвет железными каретками. Под потолком — лампа с абажуром.

— Живут же люди, — завистливо произнёс Гераська, рассматривая своё отражение в зеркале.

— Не люди, а чертёжники, — под хохот компании поправил его балалаечник. — Люди в соседней казарме угол снимают, — тренькнул по струнам.

Артём хотел перекреститься, но не нашёл иконы.

— Вась, а чё у тебя иконы нет? — поинтересовался он, крестясь на красный угол со здоровенным пауком в центре паутины.

— А я в Бога не верю, — получил ответ. — Сашка Шотман отучил, — кивнул на парня с балалайкой.

— Ча-а-во? — опешил Гераська.

— Та-а-во! Сам только что говорил, что неверующий. Садитесь за стол, а вы, барышни, несите с кухни колбасу, холодец, хлеб, водку, — распоряжался на правах хозяина Северьянов. — В Бога не верю, но Пасху отмечаю...

С хохотом и шутками ребята перетаскивали стол к кровати, чтоб было на чём сидеть, а девушки заставили его закусками.

Василий, нырнув под кровать, выудил оттуда две бутылки водки и торжественно водрузил на стол.

Герасим, чуток подумав, расположился на кровати, а сбоку от него, с трудом сдерживая смех, уселась хохотушка с русой косой.

— Мужчина, это чего вы сразу на меня навалились? Постель ноне в качестве скамейки у нас, — не выдержав, рассмеялась она.

Красный, как водочная головка, Гераська безуспешно пытался отодвинуться от девушки. Но это не очень получалось на продавленной сетке кровати.

— Пряма бядя с тобой. Артёмка, давай поменяемся. Я на твой стул сяду, а ты на моё место иди.

— Наливайте, наливайте, товарищи. И выпьем не за Пасху, а за всех здесь присутствующих, — произнёс тост хозяин комнаты, а значит, и стола.

Когда закусывали, продолжил:

— Рубановских-то я представил, а теперь Александровских. На балалайке наяривает Сашка... Вернее, Александр Васильевич Шотман. Токарь Обуховского завода.

Тот, не отрываясь от закуски, покивал головой.

— Рядом с ним сидит красавица с Карточной фабрики Марфа Яковлева, а на кровати, рядом с моим земляком — её подруга Лидия Бурчевская.

— С той же фабрики, — дополнила русоволосая, фыркнув в ладошку.

— Производят лучшие в России игральные карты. Сколько состояний проиграно с их лёгкой руки, — вставил Северьянов, проглотив кусок колбасы.

— Барышни находятся в само ядрёном восемнадцатилетнем возрасте, отчего-то вздохнул Шотман, — а у меня рекрутский возраст подошёл, двадцать один год. Скоро на царскую службу заберут, — взял в руки балалайку.

— А нам с Артёмом ещё два года до армии, — разливал по стаканам водку Северьянов. — Вместе в ЦППШ учились в детстве, потом я в Реальное перевёлся, вместе и служить отправимся.

— Где? — хихикнула Бурчевская.

— В церковно-приходской школе, — расшифровал название учебного заведения Василий. — Как там Гришка-косой проживает? — обратился к братьям. Тьфу!.. То есть дядька Григорий. Привычка — вторая натура, как в народе говорят. Так что не обижайтесь, ребята, — миролюбиво поднял стакан.

— Как всегда! — солидно вытянул водку Артём.

— Понял!

— Ермолай Матвеевич кланяться велели, — подал не совсем трезвый голос Гераська. — И варенье послали, которое мы разбили, — вновь рассмешил компанию.

Вечером, проводив гостей, Северьянов выдал Гераське ведро и велел мыть пол.

— Особенно у печки отмывай, — руководил он. — У соседей фуфак наберу, на них и ляжете у печи. Завтра отдохнёте с дороги, а послезавтра поведу вас на работу устраиваться. И с жильём решим.

Мастер — пузатый, пожилой мужик в солдатской бескозырке, сурово оглядел братьев, попыхал трубкой, понаблюдal

за потолком, будто там что могло измениться, и выдал высочайшее решение:

— Пойдёте, робяты, чернорабочими.

«О-о! А я уж грешным делом подумал, инженерами возьмёт», — тоже поглядел на потолок, а затем на мастера Северьянов.

— ...А дальше видно будет... Как себя проявите, — закончил мысль мастер.

— В чём проявлять-то? — ошарашенно глянув на потолок, и мимолётно подумав: «Чего они там высматривают?» — поинтересовался Гераська.

— В чём, в чём, — выпустил в два приёма дым мастер и выбил трубку о токарный станок. — В работе... Хватайте самое тяжёлое. Плоское — тащите, круглое — катите, — ответил любимой присказкой всех без исключения мастеров петербургских заводов и, сдвинув набекрень бескозырку, басовито заржал, медленно удаляясь по проходу между станками.

Жить их определили на последнем, пятом этаже огромной кирпичной казармы.

Гигантская комната была густо уставлена деревянными койками. Братьям выделили две рядом стоящие кровати с соломенными тюфяками.

— Площадь рядом с койкой называется углом, — сипящим голосом просветила их сварливая бабка в рваной кофте. — Или угловой фатерой.

«Квартирой, значит, — определился с названием Артём. — Пло-о-о-щадь прям городска-а-а-я, — мысленно стал спорить с бабкой. — На этой площади нужник не возведёшь».

— С вас рупь с получки, — радостно заявила старушка. — Хотите, купите потом ситцевые занавески и отгородитесь, ежели пожелаете, — уходя, дала им совет.

В двадцатых числах апреля братьям выдали по 15 рублей аванса, и подкармливающий их Северьянов одолжил по червонцу на одежду.

В выходной Шотман с Василием решили приодеть братьев и повезли их на толкучку в Александровский рынок, где можно было задёшево отхватить подержанные вещи.

В первую очередь братаны приценились к сапогам и с помощью бешено торговавшегося Шотмана купили их по 4 рубля за пару.

— Вешть хотя и не новая, а кака хороша-а-а-я, — любовался на обнову Гераська.

Вторым делом парни истратили по полтине на жилетки.

Оглядев себя в мутное зеркало, Гераська долго подбирал в уме восторженный эпитет и выразил свою радость и счастье весьма коротко, но весомо, глубоко и ёмко: «Бл*-*-*!»

Окружающие его поняли и поддержали.

А затем по рублю на фуражку с лакированным козырьком и цветастую косоворотку...

— Вот это жисть, да, братан! — торжествовал Гераська, нежно прижимая к груди заплочный мешок, но уже без луковицы, которой закусил. — Тятка, ежели увидит, ошалеет от зависти. А со следующей полочки непременно пинжаки с карманами купим и штаны новые. Артём, деньги остались, давай ребята в трактир пригласим и магарыч выставим, покупки обмыть.

— Приладили ты, Гераська, водку глохтать. И воскресную службу ноне в церкви пропустили. Чем в кабаке, давай, наоборот, в рабочий сад сходим, который открыло Попечительство народной трезвости.

— Не, мужики, у меня дела, — покинул их Шотман, а Васька Северьянов призадумался, сглотнул слюну и в приказном тоне произнёс:

— Сделаем так. Сходим в трактир. В «Аркадию», например, пообедаем, а затем посетим только что открытое господином Варгуниным место народных гуляний за селом Александровское. Я и сам там ещё не был, но мужики рассказывают, что за гривенник можно получить массу удовольствия от «гигантских шагов», не знаю, что это такое, от качелей — взвейтесь юбки, ежели девчат встретим, и главное, — глянул на Гераську, — можно залезть на шест и отхватить халявные хромо-вые сапоги...

У Гераськи от этих слов округлились, как у филина, глаза и он стал шевелить губами, что-то подсчитывая.

— В довесок к перечисленным удовольствиям: вертящееся бревно, карусели, а вечером будет играть военный оркестр и танцы... Особенно сейчас популярна полька «трямблям».

— Чего «блям?» — отвлёкся от приятных расчётов Гераська.

— А перед этим — «трям». Танец такой, деревня. Слухай ухом, а не брюхом, — высказал своё неудовольствие старший брат.

По народному выражению — дым в кабаке стоял коромыслом. Но это весьма мягко сказано.

— Да-а, ребята, если бы наша заводская труба дымила в этот трактир, но никто не курил, то дышать было бы легче, — отыскивая столик, ворчал Васька Северьянов. — Здорово, дядь Толь, — поздоровался с крепким тридцатилетним усатым мужиком в чёрной косоворотке, что-то вполголоса обсуждающим с тремя приятелями.

Те согласно кивали головами. На приветствие он не ответил — так увлёкся разговором.

— Ох, и дерзок с начальством дядь Толя, — усевшись за соседний с компанией столик, стал просвещать братьев Северья-

нов. — Ничего не боится. Про него говорят, будто из дворян. Сашка рассказывал, что учился в Симбирском кадетском корпусе, но был исключён за какие-то нарушения. Видно, с начальством поцапался. Затем грыз науки в Ярославской военной гимназии. Там, по словам Шотмана, целый бунт организовал и был переведён в Вольскую исправительную прогимназию, что в Саратовской губернии... Откуда за многочисленные нарушения тоже отчислили...

— Смелый человек, но без царя в голове, — тихо, чтоб не услышали за соседним столом, произнёс Артём.

— Да-а! Тут ты прав, Артёмка. Царя в голове не держит. И с такой репутацией приняли на службу в Гвардейский флотский экипаж.

— Эх, мне бы туда! — размышлял Герасим. — Сапоги бы, поди, хромовые дали, со скрыпом... И тельник полосатый.

— Но и там, несмотря на тельник, цапался с командирами, за что трижды ссылался в Бобруйский дисциплинарный батальон. И вот такой бесшабашный башибузук поступил в конце девятидесятых годов на завод. Мы, кстати, с ним в одно время устраивались. Вот потому я его и знаю.

Гераську висающие на столбе дармовые сапоги интересовали много больше, чем башибузук дядя Толя.

«Народ ведь в городе простой. Вмиг заберутся на столб и сопрут мою обувь», — стал торопить брата и Северьяна скорее посетить Александровский «трямблям».

— Айда, робята, в сад Попечительства народной трезвости, — чуть покачиваясь, поднялся он из-за стола, — где жалающим сапоги со скрыпом выдают.

Никто не спорил. Прихватив бутылку пшеничной, направились на праздник жизни.

У Гераськи было своё веселье. До самого вечера он корячился по гладкому столбу за вожденными сапогами, но добился лишь прорехи на портах и не слишком трудовых мозолей.

— Во-о! — показал брату и Ваське натруженные ладони в волдырях. — Издевается, что ли, окаянный столб надо мной. Была бы у него морда — дал бы, — возмущался под смех окружающих.

В понедельник после работы Шотман с Северьяновым повели братьев устраиваться в вечернюю техническую школу.

Увидев красное четырёхэтажное здание школы, так непохожее на их деревенскую, Артём разволновался и предложил перекурить, чему успел научиться за месяц работы на заводе.

Миновав некрашенные деревянные склады, компания села на ящики, разбросанные у берега, и закурила.

Один Гераська размышляя: «На хрена сдалась мне эта вечерняя школа, — задумчиво пялился на чадающий, с потёртыми бортами буксир, с урчанием тащивший баржу. — В моряки хочу, а не в школу», — пытался сосредоточиться на словах Шотмана:

— Арифметике обучат и родной речи.

«Что я, говорить, что ли, не могу», — вздохнул Гераська.

— ...Техники и инженеры научат читать чертежи, ознакомят с оборудованием и механизмами. С основами слесарного мастерства. Ну и ещё кое-чему... Больше о жизни станете понимать и о антинародной власти, которая угнетает рабочий класс, — затоптав папиросы, вышли на брусчатку Шлиссельбургского тракта и направились к зданию школы.

Тридцатого апреля утром Шотман подошёл к братьям.

— Ребята, тут дело такое, — поковырял пальцем облупленный бок станка. — Подойдёте к мастеру и возьмёте на завтра отгулы. В лес на маёвку пойдём. Ему заплачено, проблем не будет, — вытер ветошью пальцы и направился к другим рабочим.

— Эх ты, вот здорово, — обрадовался Гераська, — опять же выпивка халявная наклонется. А вон как раз и мастер подгребаёт. На рыбака и лец плывёт, — показал пальцем в сторону приближавшейся пузатой фигуры в лихо заломленной бескозырке.

— Одного тока отпущу, — неожиданно заерепенился, по образному выражению Гераськи, «лец в бескозырке». — Кто круглое катать, а плоское таскать станет? — закатился смехом мастер.

— Артём, братишка, ну можно я отгул возьму, — взмолился Гераська, скорчив умильную рожицу.

На следующий день огромная толпа собралась на опушке леса.

— Герасим! — строго глянул на предвкушающего выпивку парня Шотман. — Тебе особое задание от рабочего класса. Будешь нас охранять, а как увидишь посторонних, дашь знать.

— А как я дам? — растопырив уши из-под фуражки с лаковым козырьком, поинтересовался он, разглядывая взбирающегося на расшатанный ящик рабочего.

«О-о! Да я с этого ящика недавно на буксир любовался», — хмыкнул Гераська.

— Ты не хмыкай, — сделал ему замечание Шотман, а свисти, ежели что.

Рабочий, балансируя на ящике и размахивая рукой, костерил виноватое во всём правительство, морское министерство, к которому относится Обуховский завод, и особенно помощника директора, подполковника Иванова:

— Это такая гнида, чтоб ему захлебнуться в морской пучине али в водке, — замерев на ящике, задумчиво высморкался в траву. — Нет, в морской пучине, — пришёл он к окончательному выводу.

Толпа зааплодировала.

«А то больно жирно ему будет, — подумал рабочий-агитатор, — и так всё для начальства, — расстроился он, представив счастливого Иванова, — ведь сколько отоплёт, пока захлебнётся. Целое море выдует, шельмец», — расставив руки, забалансировал на постаменте, вспомнив по ассоциации стихотворение о гордом Буревестнике, под которым подразумевал в данный момент себя.

— А сейчас прочту вам стих одного известного поэта по фамилии... эта, — покатал во рту языком, ощутив отчего-то водочный привкус. — Горький! — выкрикнул он. — «Песня о Буревестнике». Стих посвящён разгону демонстрации царскими опричниками... эта... четвёртого марта сего года, — посчитал что-то на пальцах и заложил их за пояс.

— Ну чего стоишь? — поторопил Гераську Шотман.

— Уже иду. Начало только послушаю про птичку.

— Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, яти его мать, чёрной молнии подобный... — вытер слезу рабочий. — Простите, это я от чувств, — растопырив руки, вновь стал балансировать на ящике.

«Ну-у, опять полетел, — наконец отправился на окраину леса Гераська. — А поэт и взаправду хороший... И как это он ловко придумал: “И тока гордый Буревестник, яти его мать, чёрной молнии подобный”...»

Со 2 мая тот самый пресловутый Иванов, который и не подумал захлёбываться в водке, учинил форменную расправу: начал потихоньку увольнять не вышедших 1 мая на работу. К своему ужасу, Гераська узнал, что уволен и он. Мастера за выдачу такого количества отгулов помощник начальника завода лишил месячной премии. Сейчас всё было в его руках, потому как он замещал начальника завода Власьева, собиравшегося ехать в Севастополь для сдачи пушек на военное судно и утрясавшего какие-то проблемы в Морском министерстве.

Через несколько дней, 7 мая, в самом начале смены, Иванов был озадачен необычной картиной.

Обыкновенно в рабочее время заводской двор пуст. Иногда по каким-то своим делам спешной походкой, в расчёте на то, что в окно конторы глазеет начальство, с озабоченным лицом пройдёт мастер или инженер.

Обязательно гремя вёдрами с совком и попутно на двух языках — русском и украинском, поминая чертей в грязных сапогах, прошкандыляет уборщица тётя Клава.

Изредка быстро прошмыгнёт работяга, и снова двор пуст, как голова сторожа. А сегодня пространство двора заполнили рабочие. Люди стояли группами или курили, сидя на корточках, и тихо о чём-то беседовали.

Даже тётя Клава не смогла их разогнать морской своей шваброй.

«Ну сейчас я им покажу, где пушки отливают», — мстительно подумал Иванов и вышел во двор.

— Чего столпились, а-а? Гудка не слышали? Или расчёт хотите получить. Быстро приступайте к работе.

Однако на этот раз его грозный рык не подействовал. Наглой, разболтанной походкой, к тому же нехорошо улыбаясь, как отметил для себя Иванов, к нему подошёл Шотман.

— Господин помощник, прежде потрудитесь обратно принять уволенных, а лучше вызовите из Питера Власьева, мы с ним будем разговаривать.

«Помо-о-щник... — разозлился Иванов, — токаря Шотмана, что ли, помощник».

— Я помощник начальника завода и сам во всём разберусь, — высокомерно глядя на рабочего, произнёс он.

— Мы вам не доверяем, — подлетел другой рабочий. — Генералу звоните.

— Он в Петербурге. Сейчас бросит дела и к вам примчится... Я замещаю генерала Власьева и приказываю разойтись по мастерским и приступать к работе.

— А вот это видели?! — под смех рабочих сунул ему под нос дулю Сашка Шотман.

— Что вам господин подполковник сказали, чего базар устроили, расходи-и-и-сь работа-а-ть, — поддержал начальника сторож и тут же получил в челюсть от рабочего-агитатора, обожавшего, яти его мать, Буревестника.

Из будки выбежали другие сторожа, но их постигла та же плачевная участь — ну не задался у них сегодня рабочий день...

Как раз в этот момент тоскующий Гераська просунул нечесанную башку в фуражке с лаковым козырьком в пролом забора и опешил, с завистью наблюдая, как работяги дубасят сторожей.

— Иди сюда, — заметил его Шотман. — За тебя ребята заступились, чтоб обратно на работу приняли. Собирай молодых пацанов, вооружайтесь обрезками труб, ломami и выгоняйте рабочих из мастерских. Кричите слово: «Забастовка!»

«Да-а. Дело принимает скверный оборот, — подумал Иванов, — такого на моей памяти ещё не было, — кинулся в конто-

ру звонить начальнику завода. — Хоть бы не успел в Севастополь уехать».

Власьев был ещё в Петербурге. Услышав по телефону взволнованный голос помощника, бросил все дела и на катере к обеду добрался до завода.

Толпа рабочих окружила его. Оппозиционная банда сторожей была напрочь разбита и спряталась в конюшне.

— Мы вас уважаем, господин начальник. Вы рабочим помогаете, — встал перед генералом почитатель «Буревестника» и протянул сложенную бумагу с требованиями.

— Что это? — удивился Власьев.

— Это наши требования, — отодвинул в сторону «друга-буревестника» Шотман. — Во-первых, вернуть уволенных Ивановым рабочих. Во-вторых, внесение в табель праздника — 1 мая, а также увеличение расценок, отмена сверхурочной работы и введение 8-часового рабочего дня.

— Господа рабочие, я тронут вашим ко мне отношением, но выполнить все требования не в моей власти. Я должен посоветоваться в Морском министерстве, в ведении коего находится Обуховский завод. А уволенных, как вернусь из Севастополя, приму на работу своей властью. Это я вам со всей ответственностью обещаю. Сейчас же сделать ничего не могу, так как нахожусь во временном отпуске и официально передал право на управление Иванову. Всё будет хорошо, господа рабочие. Прошу вас разойтись и приступить к работе, — направился на причал, где ждал его катер.

Но мирную обстановку сумел испортить появившийся Иванов, которого взбесило добродушное отношение рабочих к начальнику завода.

— Всё слышали, — со злой усмешкой показал на водопроводный кран, — попейте водички, смочите свои глупые головы и немедленно отправляйтесь работать.

За его плечами стояли расхристанные сторожа, прикладывающие к синякам смоченные водой тряпки.

Раздражённая, не успокоившаяся окончательно толпа, проявила своё недовольство повторным избиением охранников, которые на этот раз даже не пикнули.

— Вот пусть они теперь башки под воду суют, — потирая кулак, высказался друг и родственник «буревестника».

Подполковник Иванов избежал расправы, вовремя спрятавшись на обжитой сторожами конюшне.

Шотман для поднятия духа рабочего класса включил заводской гудок.

Гераська с полусотней таких же, как он, малолеток хозяином зашёл в свою станочную мастерскую.

— Мужики-и! Гудок слышите? Бросай работу и айда на улицу, бастовать.

— А деньги ты нам станешь платить? — глыбой токарного станка встал перед ним мастер.

Задумавшись и не найдя, что ответить, Гераська удачно применил традиционный деревенский аргумент, неожиданный не только для мастера, но даже и для себя — дал тому в ухо.

Дёрнув головой, отчего слетела знаменитая бескозырка, мастер закрыл лицо руками. Больше на обстановку в мастерской он не влиял.

С гиканьем и свистом толпа бесшабашных мололеток кинулась на рабочих.

Тех было значительно больше, но они были разобщены и действовали каждый за себя.

Сплочённая группа Гераськи мигом вытолкала их на улицу.

— Вон того работающего увальня не трогайте, — со смехом указал друзьям на своего старшего брата, тащившего какую-то железяку. — Что-о? Ржали надо мной, — с воодушевлением тузил растерявшегося работягу, — деревней лапотной обзывали, — с радостью мстил за свои унижения.

Закончив мордобитие, заорал, перекрикивая гудок:

— Пацаны-ы! Теперь айда поднимать на забастовку минную мастерскую.

Двор не вмещал высыпавших из мастерских рабочих, и они ринулись за ворота на Шлиссельбургский тракт.

Шотман, выйдя с заводской территории, помчался в трактир «Вена», где договорился встретиться с Гавриловым, которого уволили с завода на неделю раньше, чем остальных рабочих, найдя у него дома листовки и прокламации.

К своему удивлению, здесь же наткнулся на Северьянова.

— Здорово, Александр. Обстановку ребятам объяснил и дальнейшие действия с мужиками обговорили. Ну держись, полиция, — пожали друг другу руки и вышли из трактира.

Проспект был забит орущим народом. Чаще всего слышались крики: «Ура-а!»

— Анатолий, — обратился к Гаврилову Северьянов, — действуем, как договорились. Ты здесь бунтуешь толпу, а я с Шотманом и товарищами пойду Александровских поднимать... Ну что, Сашок, пора завод твоего имени баломутить.

Окантовкой толпе рабочих служил слабый ручеёк полиции.

Выпивший для храбрости мерзавчик водки Гаврилов наткнулся взглядом на пристава местного участка Келина.

— Вот гнида, — указал друзьям на пристава, — это он недавно обыск у меня проводил, — схватил каменюку и побежал к полицейскому.

Увидев его, пристав стал увещевать душегуба:

— Господин Гаврилов, оставьте, господин Га-а-в...

Договорить не успел, упав с пробитой головой от метко пущенного булыжника.

— Ишь, разгавкался на людей, — отряхнул руки удовлетворённый налётчик.

Увидев нападение на начальника, стоявший рядом околоточный надзиратель выхватил пашку, но был сбит с ног. Отняв оружие, Гаврилов стал пинать полицейского ногами. Разъярившись, сломал пашку и, подняв камень, ударил по лицу лежавшего без сознания человека.

Между тем из заводского переулка, вытесняя рабочих, появилась шеренга матросов с ружьями наперевес.

Оттеснив рабочих, матросы встали поперёк шоссе.

— Да чё мы стои-и-м как вахлаки, их всего двадцать человек, — подбодрил толпу почитатель «Буревестника». — Отыдем у них ружья-я.

Приободрённая толпа стала наседать на моряков. Офицер, командующий ими, в свою очередь заорал на толпу:

— Руками не трога-а-ть... Не тронь ружья, кому сказал... Ребята, по бунтовщикам пли-и! — отдал команду.

Грянул залп. Практически неслышный в крике, шуме и мажюгах.

— Не бойтесь, товарищи, на испуг берут, это холостой заряд, — закричал Гаврилов, но тут раздался второй залп, и стоявший перед ним почитатель «Буревестника», взмахнув руками, полетел на землю.

Народ ахнул и шарахнулся в сторону, но двигаться было некуда.

— Опомнитесь, товарищи, что вы делаете, — сжавшись и ожидая выстрела, обратился к морякам Гаврилов. — Ведь я тоже служил на флоте, а теперь работаю здесь... Так и вы после службы будете рабочими. Неужели в своих станете стрелять... Вернитесь к совести, одумайтесь. Цельтесь чуть выше наших голов.

— Да ты болтать ещё будешь, бунтовщик, — разозлился офицер, заметив, что некоторые из матросов призадумались. — Шеренга, пли!

Но пули от этого залпа не причинили вреда.

Вдруг в толпе закричали:

— Дикари-и скачу-у-т! Казаки-и!

На шоссе поднялась пыль. Толпа хлынула навстречу казакам.

— Встретим гостей не хлебом, солью, а камнями и болью, — заорал, подбадривая себя и окружающих Гаврилов. — Мужики-и, не трус. Устроим им засаду.

Тут около него появился запыхавшийся Северьянов.

— Анатолий, кроме завода, мы ещё и Карточную фабрику взбунтовали. Они с нами.

— Отлично. Первую засаду там и устройте. За забором схоронитесь, и ежели конка солдат подвезёт, в камни их. А я уж тут побастую... Ба-а! Синебрюхие пожаловали, — увидел он жандармов и конную полицию, — а мы думали, станичники усмирять скажут, — стал распоряжаться забастовщиками. — Ребята, к шлагбаумам давай, будем их строй рассекать и камнями обрабатывать. Командира ихнего особо угостите. Встречался с ним. Сам полковник Палибин, полицеймейстер третьего отделения Санкт-Петербурга пожаловал, — указал на чернобородого крепкого офицера с орденами на груди.

— Р-разойдись! Вперёд, за мной, — командовал Палибин, но его кавалерия застряла в густой толпе.

С половиной отряда и офицером он с трудом добрался до шлагбаумов, ограждающих переезд узкоколейной железной дороги через Шлиссельбургский тракт, и оставил около них полицейского штабс-капитана с частью городских. Сам с остальным отрядом стал пробиваться к Карточной фабрике.

Как только он поравнялся с забором, на него и полицейских посыпался град камней.

— Что делают, собаки, — выстрелил из пистолета в ворота.

Из-за них раздался хохот трудового народа, свист, матюги и вновь полетела туча камней.

От попадавших камней городские падали с лошадей. Полковнику камень ударил по колену. От боли аж круги пошли в глазах, а затем огромный каменюка под радостное улюлюканье заехал полицеймейстеру по голове.

Счастью обороняющихся не было предела.

— Что теперь сделаешь с нами, прихвостень жандармский, — орала за забором.

Палибин, истекая кровью, велел отступать.

Патронов у его людей было мало. Свыше пришёл приказ выдать всего по два заряда на нос, а шашками против камней много не навоеешь.

Такое же поражение полиция потерпела и у шлагбаумов. Конный офицер и городские у брусьев шлагбаума были окружены толпой.

— В камни бей, — заорал опьянённый безнаказанностью Гаврилов, и десятки камней полетели в полицию.

Кони бесились от боли и страха, сбрасывая седоков. Городские, закрывшись руками, шпорили коней, чтоб те вынесли их из каменного ада.

— Шлагбаум открой, — дал команду Гаврилов, выпустив часть конницы. — Шлагбаум закрой! — снова командовал он, отрезав оставшихся городских от своих — и вновь град камней.

И так несколько раз.

Разбитая конница отступила к деревне Мурзинка и к Преображенскому кладбищу.

В это время подошла конка с пешей полицией. Вагон был набит до отказа.

— Бей фараонов, — орали рабочие, и сотни камней обрушились на полицейских.

Выйти из вагона под камнепадом было немыслимо и спрятаться тоже негде.

Некоторые полицейские всё же сумели выбраться наружу, но и здесь было не легче. Они моментально избивались камнями и обезоруживались.

Стрелять никто и не думал, а то бы вообще порвали на части.

Через небольшое время вагон был разбит и полон камней.

Оглядев дело своих трудовых рук и стонущих полицейских, притомившийся народ наконец-то понял, что натворил. Гаврилов это понял ещё раньше и успел тихо испариться с места событий.

Переговариваясь об удачной обороне, заводчане группами и поодиночке расходились по домам.

Жандармы были разгромлены и рассеяны. Их начальника перевязывали в медпункте Обуховского завода.

И тут раздался далёкий барабанный бой, и уже не по мощённому проспекту — все камни повывёргивали, а по просёлочному тракту бодро маршировали до зубов снабжённые патронами две роты пехотного полка.

Но пришли они к шапошному разбору. Вся дорога и поле были густо усеяны кепками, шляпами и полицейскими фуражками.

Не откладывая в долгий ящик, начались аресты. В течение трёх дней арестовали более 600 человек.

Демократическая пресса, видя такой произвол, ясное дело, не дремала.

Профессор Рубанов уже обсудил ситуацию с Абрамом Самуиловичем Шамизоном, и в газете появилась статья, обличающая царских сатрапов в многочисленных арестах безвинных людей, которых дома ждут малые дети.

Вовремя подсуетились и адвокаты.

В результате из 600 человек до суда дошли только 37, да и то десятих оправдали.

Среди осуждённых были две женщины. Работницы Карточной фабрики: Марфа Яковлева и Лидия Бурчевская.

Судили за то, что «принимали деятельное участие в беспорядках, выбирая камни из мостовой и подавая их лицам, которые швыряли оными в полицию».

По мысли Гераськи, главная цель была достигнута. Его, как несправедливо уволенного, восстановили на работе. И даже мастер, за нанесённый удар, побоялся показать на него, не говоря уже о других пострадавших рабочих.

Василий Северьянов и Александр Шотман относились к следствием необнаруженным лицам. Сколько их не искали, как сквозь землю провалились.

А на нет, как говорится, и суда нет...

Анатолий Гаврилов за свою стратегическую распорядительность и метание камней получил 6 лет каторжных работ, отбывать которые отправился на прохладный остров Сахалин.

Пресса просто кипела от негодования, несмотря даже на то, что Петербургская судебная палата оправдала 10 человек.

Владимир Ульянов из далёкого и тёплого закордонья гневно откликнулся в «Искре» злободневной статьёй, закончив её словами: «Нет, каторга не устрасит рабочих, вожаки которых не боялись умирать в прямой уличной схватке с царскими опричниками. Память об убитых и замученных в тюрьмах героях-товарищах удесятерит силы новых борцов и привлечёт к ним на помощь тысячи помощников, которые, как Марфа Яковлева, скажут открыто: “Мы стоим за братьев!” Правительство намерено, кроме полицейской и военной расправы с манифестантами, судить их ещё за восстание — мы ответим на это сплочением всех революционных сил, привлечением на свою сторону всех угнетённых царским произволом и систематической подготовкой общенародного восстания».

«Правильно товарищ написал, — читая «Искру», вспоминал выбитые булыжом зубы полковник Палибин. — Только он признал, что мы, царские опричники, дали должный отпор бунтующим рабочим и их вожакам. И про “царский произвол” тоже хорошо сказано... Вкатили ни за что выговорёшник и высказали неудовольствие моими действиями. Их бы туда, царских сатрапов... во главе с министром Сипягиным... Да на десятидесятую толпу выдать по два патрона...»

Сипягин, сидя за рюмочкой коньяка с Рубановым — генералом, а не профессором, тоже анализировал произошедшие события:

— До меня дошли сведения, что заказчики бунта на Обуховском заводе — англичане. Завод наладил производство дальноточных орудий со столь высокими боевыми качествами, что враждебные суда не сумеют приблизиться к русским портам... Вот и заплатили революционерам, чтоб попробовали прекратить производство и сорвать работу предприятия. И им, к сожалению, удалось... Это, конечно, только пробный камень...

Не хочется думать, что будет дальше... А хорошего ничего не будет, если за такие деяния максимальный срок жокаам: одному — 6 лет, а другому — 5. Исполнителям — арестантские роты до трёх лет и меньше... То есть колоти полицию сколько хочешь, выбивай зубы, ломай шашки, отнимай ружья... За море удовольствия — полтора года в арестантской роте послужишь... Вот если бы адвоката измордовали... Рубанов? Может, возьмёмся за полтора года-то? Неповторимое удовольствие получим, и в газетах опять-таки пропечатают... Уж братишка твой расстарается... Представь: «Царские сатрапы дали в нос и подбили глаз известному адвокату...» Слава какая будет.

— Знаешь, Дмитрий Сергеевич, — разлил по рюмкам коньяк Рубанов, — недавно, когда было моё генерал-адъютантское дежурство во дворце, император получил письмо от Великой княгини Елизаветы Фёдоровны, жены дяди царя, Сергея, с просьбой и советом ужесточить меры в борьбе с террором. Николай даже зачитал мне его и высказал свои выводы.

При слове «выводы» Сипягин отставил рюмку и удвоил внимание.

— После дежурства я даже записал по памяти её письмо, чтоб не забыть:

«Милый Ники, ради всего святого будь сейчас энергичен. Впереди ещё может быть много смертей. Покончи сейчас же с этим разгулом террора. Прости, если я пишу слишком прямолинейно. Но каждый день, который ты теряешь, только усугубляет положение. Мы должны быть смиренными, но даже Христос считал, что иногда необходимо быть суровым. Более, чем когда бы то ни было, дьявол работает во всём мире. А Россия — единственная страна, сохранившая верность Христовой Церкви».

— Какая умная женщина, Рубанов... Я полностью с ней солидарен, — в волнении заходил по комнате Сипягин. — Я не хочу сказать, что наш государь безволен... Но простой, добрый, смиренный, безмятежный и приветливый Ники, как отзывается о нём другой родственник, Константин Константинович Романов, не осилит тяжкой ноши управления государством. Оно сомнёт его... Вспоминаю слова Александра Третьего: «Надо стать страной, уважающей самое себя, а не ищущей уважения со стороны!»



Пятого июня 1901 года у Николая и Александры родилась четвёртая дочь, Анастасия.

В этом же месяце вышел царский указ, предписывающий вернуть в аудитории отправленных в солдаты студентов.

«Чего митинговали и буянили на площадях? Наш добрый государь, на радостях от рождения дочери, и так объявил им амнистию», — сидя в своём кабинете, размышлял Сипягин, неодобрительно покачивая головой.



Шестого июня, после завтрака в Красносельском лагере, на котором присутствовало всё училищное начальство, старший курс Павловского военного училища был оставлен в столовой и, хмурая брови, изучал литографированный список с вакансиями полков.

Начинался он с полков гвардейского корпуса, затем шли гренадёрские полки, следом пехотные армейские полки, расположенные в гарнизонах Москвы, Петербурга, Киева и губернских городах. Затем гарнизоны уездных городов, и так до туркестанских аулов.

— О-о! Витька, вот куда тебе надо... Старинный 6-й Туркестанский полк, — пихал локтем в дубасовские рёбра Рубанов. — Создан в 1867 году из Верхне-Яикского пограничного гарнизонного батальона.

— Сам туда и поезжай, — изучал список Дубасов. — И хватит по рёбрам стучать. Не казённое имущество.

Аким волновался перед разбором вакансий и успокаивался за чужой счёт. Вернее, за чужие рёбра.

— Вить! Представь, как ты будешь командовать: «Господа верхние яйки, смир-р-но!»

— Слушай, господин младший портупей-юнкер, по экзаменационным баллам ты меня обогнал, но по должности я выше тебя и вакансию буду брать раньше. Так что смотри, как бы сам в 6-й Туркестанский не загремел, — подчеркнул чего-то в списке Дубасов, задумчиво почесав бровь.

— Господа! — оторвался от чтения газеты генерал-майор Шатилов. — Приступим, пожалуй... — Внимание, господа-а, — постучал свёрнутой газетой о стол. — Ещё раз поздравляю вас и всю Россию с рождением дочери у царской четы, — раскрыл газету и прочёл: «5 июня в 7 часов утра, в Петергофе, Её Императорское Величество Государыня Императрица Александра Фёдоровна благополучно разрешилась от бремени дочерью, наречённой Анастасией».

— Ур-ра-а! — дружно выкрикнули юнкера старшего курса. Их поддержал и любопытный младший курс, расположившийся под акациями вокруг столовой.

— Зачитывайте вакансии, господин полковник, — обратился к Карееву генерал, усаживаясь на лавку за столом.

— Слушаюсь, Ваше превосходительство. Фельдфебель Зендорф, — пригладив рыжую бороду, назвал фамилию полковник.

Волнуясь, Григорий подошёл к столу с начальством и отпортовал:

— Лейб-гвардии Павловский полк.

— У-у-ф! — раздался выдох старшего курса, и юнкера вычеркнули из списка строчку с названием полка.

— Портупей-юнкер Колчинский, — назвал следующую фамилию Кареев.

Александр поднялся с лавки, подошёл к столу с начальством и, щёлкнув каблуками, произнёс:

— 6-й Туркестанский стрелковый полк.

— У-у-х! — выдохнул старший курс, а затем и младший.

Дежурный офицер занёс фамилию в список. Начальник училища отложил газету и строго глянул на юнкера.

— Колчинский, вы второй в списке. Перед вами вся гвардия, а вы в Джаркент захотели... Царю, конечно, служить везде почётно, но туда пусть лентяи едут, которые ни к наукам, ни к фронту неспособны.

— Моё намерение твёрдо, Ваше превосходительство, — вытянулся перед начальником училища портупей-юнкер.

— Ушла твоя вакансия, Дубасов, — хохотнул Аким.

— Жениться, дурачок, захотел, — зашептал Дубасов. — А служба в отдалённых местностях Российской империи предоставляет освобождение от реверса и даёт право жениться ранее 23 лет. Вот незадача! Хорошую вакансию Сашка увёл, — сделал вид, что загрузил, Дубасов.

— Дубасов!

— 145-й пехотный Новочеркасский полк, — почти выкрикнул юнкер, рассмешив своих товарищей.

— Охтинский кирасир, — заржали они.

Так прозывался в военной среде Петербурга, стоявший на Охте полк.

— А ты не такой и Дуб, каким в гимназии себя выставлял, — похвалил приятеля Аким. — И траты меньше, чем в гвардии, и в Петербурге служить будешь.

— Рубанов! — назвал фамилию полковник и, волнуясь, Аким пошёл к столу.

В Павловском гвардейском полку была ещё одна вакансия, которую и выбрал Рубанов.

Наконец очередь дошла и до Дроздовского.

— Юнкер унтер-офицерского звания Дроздовский, — произнёс Кареев.

Закончивший по первой категории первого разряда 38-м из курса, он выбрал лейб-гвардии Волынский полк.

Разборка вакансий шла своим чередом и закончилась к обеду. В этот день все занятия, даже для младшего курса, были отменены.

— Царёва рота, в барак! — отдал команду Зерендорф и подошёл к Рубанову. — Сослуживцу по будущему полку, — торжественно пожал ему руку.

— Ну до дня производства в офицеры нам ещё два месяца... Успеем поманеврировать, — хлопнул по спине проходящего мимо него Дубасова.

— Господа! — остановился тот. — Приват-доценту Невтону на башку то ли яблоко, то ли груша упала, и его осенило... А меня Рубанов хлопком по спине в такое же состояние ввёл... Гениальности... — скромно потупился Дубасов.

Вокруг них столпились юнкера.

— Господа «павлоны», а не найти ли нам «шакала»? И не отметить ли рождение царской дочери и разбор вакансий?

Предложение прошло на ура.

— Качать портупей-юнкера Невтона! — заорал Рубанов.

И согласно традиции, ухая и ахая, юнкера стали подбрасывать Дубасова, отлавливая его почти у самой земли.

— Ну хорош, господа. И так приват-доцент Дубасов натерпелся страху, — сделал вывод Рубанов.

Вечером царёва рота начала отмечать праздник и к ночи лежала в стельку пьяная, но довольная.

А наутро злым гением Кареевым были назначены стрельбы.

— Господа юнкера! Вы по воробьям, что ли, в небо палите? — не слишком сильно возмущался капитан Кусков.

«Традиция есть традиция, — думал он, — зато в любом состоянии врагу дать отпор сумеют».

После стрельб пошли купаться на озеро.

Гришка Зерендорф, по-видимому, вспомнив прошлогоднюю науку Гороховодатсковского, держал речь перед младшим курсом:

— Ну а сейчас наипервейшая из всех заповедей, — нравоучительным взглядом главного «козерогого папаши» оглядел «козерожий» выводок. — Через год своим «козерогам» передайте... Это святое... Наказ от многих и многих поколений «павлонов», к коим относятся: военный министр Алексей Николаевич Куропаткин, окончивший наше училище в 1866 году, барон Стессель, того же года выпуска, из более молодых — Краснов Пётр Николаевич, 1889 года выпуска. Военный корреспондент. Хорошие очерки в журналах «Разведчик» и «Военный инвалид» о боксёрском восстании в Китае печатал.

Даже старший курс с уважением поглядел на своего фельдфебеля.

Как же. Находит ещё время журналы читать.

— Так вот. На той стороне озера, — желваки его нервно заиграли от праведного юнкерского гнева, — торчит, как бельмо на глазу, барак пажей. На самом деле, они «пижи». При любом возможном случае, когда будете плавать на лодке и увидите их корыто, переворачивайте его, не жалея этих хамов и «шаркунов». Уже десятилетия они портят благородную кровь нашим славным юнкерам.

— Горе пажа-а-ам! — подхватил старший курс.

И у большинства глаза сверкали нешуточным «павлонским» гневом.

Повзрослевший пёсик Капрал поддержал товарищей залившимся лаем, тоже кипя праведной собачьей яростью.

По рассказам своего брата-гвардейца, Витька Дубасов знал, что и в полку вместе служившие пажи и «павлоны» ещё долго пренебрежительно относились друг к другу.

Главный «папаша» поднял руку, успокаивая юнкеров.

— Идеал «павлонов», — продолжил он, обращаясь к младшему курсу, — по выправке и строю быть впереди других училищ. Строй и ружейные приёмы довести до щегольства. Быть по стрельбе «выше отличного» — вот ваша цель...

— И не берите пример с последних наших стрельб, — под смех юнкеров произнёс Рубанов.

— А все мы, ребята, должны стать блестящими офицерами, но не пажеского покроя, — высказал своё мнение Михаил Дроздовский.

— Лучше метко стрелять, чем ловко кланяться, — поддержал его Рубанов.

В середине июня, вечером, после тяжёлых батальонных учений, Аким получил письмо от Натали.

Капитан Кусков, привёзший почту из Красного Села, прежде чем отдать юнкеру конверт, повертел его в руках и даже зачём-то понюхал.

— Знаете что, господин юнкер, чую я капитанским своим нюхом ждут меня проблемы, — прочёл вслух имя отправительницы. — Как только приходит письмо от дамы, тут же начинаются служебные неприятности, клянусь своей левой рукой, — со вздохом протянул конверт Акиму.

— Господин капитан, обещаю, что с моей стороны проблем не будет, — успокоил ротного командира Рубанов, но поразмышляв, что наверняка придётся бегать в самоволки, добавил «почти», чем ввёл в глубокую задумчивость своего начальника.

Сидя на травке у кромки берега, с трепетом распечатал конверт, из которого выпал засушенный цветок фиалки.

Подобрав, Аким бережно убрал его в карман и развернул сложенный лист, исписанный красивым округлым почерком.

«А ведь к нему прикасалась её рука, — поцеловал тетрадный листок, уловив нежный запах фиалок. — Спасибо, хоть внутрь конверта почтари свои лапищи не суют», — стал читать текст, без конца отрываясь и разглядывая барашки волн Дудергофского озера, чтоб растянуть удовольствие.

«Эта фиалка из букетика, что ты преподнёс мне в Москве на балу», — прочёл он, неизвестно чему улыбаясь, и вновь отстранённо уставился на воду, подумав: «Она их не выбросила, а оставила на память... А о ком хотят помнить? — задал себе вопрос. — О тех, кого любят, — задохнулся от счастья и услышал неподалёку женские голоса. — Не хочу никого видеть», — перебрался в густой кустарник неподалёку от берега и вновь развернул письмо: «Сейчас я в Петербурге. Папа себя плохо чувствует, и тётя сняла дачу в Дудергофе, — внимательно прочёл адрес. — Зинаида Александровна сама так решила», — положил письмо на колени и счастливо зажмурился, повторяя про себя номер дома: «Я её скоро увижу», — запела его душа.

Когда раскрыл глаза, увидел не Натали, а двух молоденьких девушек, расположившихся как раз на том месте, где совсем недавно сидел он сам.

Одна ковыряла концом сложенного зонтика травку, другая, окунув пальцы в воду, плескалась в ней.

«А ещё вместе с нами приедет моя подруга Ольга», — прочёл Аким и по привычке хотел глянуть на барашки волн, чтоб решить, хорошо это или плохо, но вместо волн увидел два прелестных тонких стана в нижнем белье: «Купаться собрались, — убрал письмо с конвертом в карман, — пора сматываться отсюда, точнее, менять дислокацию, пока они меня не заметили».

Но поменять ничего не успел, так как был разоблачён добрыми друзьями: Дубасовым и Пантюховым.

— Ты чего в кустах сидишь, как полковой разведчик? — присел рядом Дубасов.

— Господа, ради бога тише, — произнёс Аким, чтоб не испугать девиц.

— А чего тише-то? — на всякий случай прошептал Пантюхов, тоже присаживаясь на корточки.

— А вон чего! — указал пальцем на двух раздевшихся нимф Дубасов и мерзко так, по мысли Рубанова, хохотнул.

— Господа! — стал оправдываться Аким. — Вы не так поняли...

— Чего тут понимать? — ехидничал Дубасов. — За бабами подглядываешь...

— Да не за кем я не подглядываю, — разозлившись, повысил голос Аким, но Пантюхов закрыл ему рот ладонью.

— Тише, господа, а то спугнём наяд.

— Господа, давайте лучше смоемся, — предложил Рубанов, — что я, собственно, и хотел предпринять, да вы помешали.

— Ты это Капралу нашему говори, но не мне, — не зашептал, а засипел от избытка чувств Дубасов. — Видел я мечтательные твои глаза...

— Я о другой мечтал...

— Юнкера-а, ну потише ради всего святого, — перебил друзей Пантюхов. — Взгляните, какая прелесть... Особенно вон та, со светленькими кудряшками.

— О-о-о! Ты и кудряшки исхитрился рассмотреть? — замолчав, вытаращил глаза Дубасов, любуясь двумя стройными силуэтами, постепенно погружающимися в воду.

— Господа, есть шанс незаметно удалиться, — внёс предложение Аким.

— Ты часом не свихнулся от манёвров? А вообще-то их там две, так что можешь ретироваться, — вышел из кустов Дубасов и неспеша побрёл к берегу, где у кромки воды целомудренно лежали светленькие платица, из-под которых выглядывали лёгкие туфельки.

Пантюхов неуверенно поднялся с корточек и тоже выбрался из кустарника, с некоторым испугом поглядывая на две женские головки над пучиной Дудергофского озера.

— Господа, но неприлично же, не гимназёры мы в конце концов, — пытался увести приятелей Рубанов.

— Не тебе говорить, господин унтер-офицер, — язвительно улыбнулся Дубасов. — Белокуренькая чур моя, — выбрал он нимфу, но когда она повернулась в его сторону и, широко раскрыв рот, завизжала, передумал. — Зерендорф какой-то, а не нимфа. Лучше чернявенькую выберу.

— Не на базаре, — возмутился Пантюхов. — К тому же слово не воробей. Барышни! Мы вас не тронем! — воззвал он к дамам, но зря. Услышав мужской голос, молчавшая до этого чернявенькая успешно поддержала подругу.

— Простите, барышни, сейчас я их уведу отсюда, — обратился к наядам Рубанов, затыкая уши.

Визг не прекращался.

— Видишь, они недовольны твоим предложением, — замахал руками то в сторону визгливых нимф, то в сторону Акима Дубасов.

Неожиданно наступила тишина.

— Сию же минуту покиньте нас, — на всякий случай отплыв подальше, выкрикнула белокурая.

— Да уйдём, уйдём мы сейчас, — вытащил пальцы из ушей Рубанов. — Вам по ведомству пожарной охраны скачками только служить, — нахмурившись, произнёс он. — Прохожих об опасности предупреждают, когда команда на пожар выезжает, — объяснил четырёх парам удивлённых глаз.

— Мы не такие, — подплыв поближе к берегу, нормальным, наконец, голосом произнесла чернявенькая. — Мы гимназистки. А скачками сами ступайте работать.

— И чем быстрее ускачете, тем для вас, нахалов, лучше, — устав плавать, нащупала ногами дно белокурая и встала, выставив на обозрение белые плечи, с которых медленно стекали тоненькие струйки воды.

Аким улыбнулся ей и залюбовался тонкой шеей и грациозной покатостью плеч.

«Что я делаю? — подумал он. — Потом мне будет стыдно».

— Ну как водичка, тёплая? — наконец сообразил, что сказать, Дубасов.

— И дно какое? Илистое или песочек, пологое или обрывистое? — неожиданно заинтересовался рельефом подводной местности Пантюхов.

— А ещё господа интересуются, что за рыбки рядом с вами плавают? — со вздохом произнёс Аким.

— Ну уходите же. Нам холодно, — захныкала беляночка, — вы бесчестные люди.

— Щука-а! — ужасно вытаращив глаза и вытянув по направлению к барышням руку, голосом скачка завопил Дубасов.

Завизжав с новыми силами, гимназистки подпрыгнули и ринулись к берегу, продемонстрировав юнкерам небольшие свои грудки с маленькими розовыми сосочками.

В ту же секунду до них дошёл обман и, обхватив ладонями свои сокровища, они присели в воде, испуганно глядя на юнкеров.

Страх из девичьих глаз постепенно улетучился и заменился гордостью, женским высокомерием и вызовом, когда увидели восторженные взгляды юных мужчин в военной форме, замеревших и растерявшихся от неожиданно представшей перед их взорами красоты.

В лагере запела труба, и юнкера ушли, не заметив лёгкую досаду и разочарование в глазах покинутых ими гимназических нимф.

— Да-а, Рубанов, это о ком ты мечтал? — поднимаясь по тропинке в гору, поинтересовался Дубасов.

— О Натали, сударь, о ком же ещё. Не о водоплавающих же гимназистках. Кстати, с ней и Ольга приезжает...

— Куда приезжает? — остановился Дубасов.

— В Дудергоф. Дачу там сняли. Пошли, чего стоишь-то, труба зовёт.

Глаза у портупей-юнкера стали мечтательные, как давеча у Акима.

— Предлагаю в ближайшее воскресенье нанести визит дамам. Адрес я знаю, — с одышкой говорил Рубанов. — Да пойдём на недозволённую лестницу, без двух месяцев офицеры уже.

В ночь на воскресенье в мрачном небе гремела гроза. Вспышки молний сквозь незанавешенные окна освещали спящих юнкеров, отбрасывая огромные тени от коек на стены и потолок.

Умытый ночным дождём воскресный день был пасмурный, душистый и тёплый. Приятно пахло травой и цветами.

К обеду Рубанов с Дубасовым отправились в Дудергоф искать дачу.

Пошли по тропе, сбоку от офицерской дороги, дабы не наткнуться на нежелательное начальство.

Несмотря на недавний дождь, грязи не было, земля впитала воду, и тропинка с редкой, невытопанной пока юнкерами травкой, приятно пружинила под ногами. Лесная свежесть пьянила голову, хотелось петь и дурачиться, что непременно воплотить в жизнь Дубасов.

Сначала он заорал во всю лужёную глотку, прислушался к эху, передразнил его и от напавшей щенячьей радости потряс небольшую берёзку, обрушив на себя, а заодно и Рубанова густой дождь из притаившихся на листьях капель.

— Господин портупей-юнкер, смотри, во что форму превратил, — поддав возмущения в голос, воскликнул Аким, но тут же, под смех друга, пустился в пляс на заросшей травой и усыпанной цветами уютной полянке.

— Цветов наберём барышням? — наплясавшись, предложил он.

— Ага! И венки давай сплетём, — достал спички и закурил Дубасов.

— Ну вот! Воздух как на стрельбище стал. Вечно ты, Витька, ложку никотина в бочку любви положишь, — стал рвать цветы Рубанов.

— Чего-о? — затоптал папиросу его друг. — Ладно, тоже нарву сорняков.

В промокшей форме, но с цветочками в руках два юнкера вынырнули из леса и направились по неширокой дороге с редкими небольшими лужицами, вдоль дач, рассматривая номера домов.

В прошлом году неподалёку отсюда научными изысканиями занимались, — огляделся по сторонам Аким. — Вон стан-

ция с буфетом, а вон там, у подножия Дудергофской горы, находится нужная нам дача, — уверенно пошёл по дороге.

Открыла им пожилая горничная в белом чистеньком фартуке и, тщательно расспросив — кто такие и к кому пришли, провела по террасе в большую комнату, уставленную вдоль стен шкапами с книгами. Велев подождать здесь, пошла доложить о визитёрах.

— Приват-доценту Невтону дача принадлежит, не иначе, — сделал вывод Дубасов, рассматривая книги сквозь стеклянные дверцы шкафов.

— А то и профессору Платону... Сей муж жил... — собрался просветить друга насчёт предполагаемого владельца дачи, но вздрогнул от раздавшегося с лестницы, ведущей на второй этаж, громкого командирского голоса:

— Добрый день, господа!

Повернувшись на звук голоса, увидели невысокого худого мужчину в потёртой офицерской форме без погон.

— Капитан в отставке Бутенёв Константин Александрович. Родной отец Натальи Константиновны. А вот и её мать, — подал руку спускавшейся с лестницы хрупкой женщине в светлосинем платье с черепаховым гребнем в чёрных, начинающих сесть волосах. — Вера Алексеевна, — представил её.

Юнкера галантно щёлкнули каблуками и, приложившись к протянутой руке, тоже назвали себя.

— Вот, цветы вам принесли, — растерянно произнёс Аким.

— Ну, положим, не мне, — улыбнулась доброй материнской улыбкой.

И Акиму сразу стало тепло и уютно с этими простыми радужными людьми.

— Барышни с тётушкой ушли на станцию, — ставя в две вазы букетики цветов, произнесла она. — Груня, принеси пожалуйста, воды, графин совершенно пустой, — улыбнулась вошедшей горничной. — И накрой нам на террасе, там обедать будем. Надеюсь, молодые люди останутся на обед? — обратилась к друзьям Вера Алексеевна.

— С вашего позволения, — щёлкнул каблуками Дубасов, а Аким, улыбнувшись женщине, лишь молча поклонился.

Соскучившись по мужскому обществу в своём женском окружении, Константин Александрович усадил юнкеров на диван и, прохаживаясь перед ними, успел поведать занятную, по его словам, историю из далёких времён русско-турецкой войны, когда он был ещё вольноплёром, но в первом же бою отличился и заработал «клякву».

— Чего-о? — хором спросили друзья.

— «Клюкву»! — хохотнул Константин Александрович и закашлял. Достав из кармана платок, вытер заслезившиеся глаза. — Извините, — налил из графина воды и запил какой-то порошок. — Как надоела эта микстура, — невесело улыбнулся друзьям, — а «клюква» — это не кисель или компот, а красный анненский темляк на пашке. Первая боевая офицерская награда. Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», — пояснил Бутенёв. — А вот и дамы идут, — уже бодрее улыбнулся он.

Неожиданно для себя Аким разволновался, услышав о дамах. Встав с дивана, оправил складки белой гимнастёрки, отметив, что то же самое проделал и Дубасов.

— Э-э-х, молодёжь, — с неуловимой завистью произнёс капитан, вновь доставая платок и вытирая глаза.

«Ну что я всё время трясусь перед встречей, будто не юнкер, а заячий хвост. Ведь не гимназист уже, а почти офицер», — замер в растерянности Аким, встретившись с жёлтыми глазами румяной от прогулки и улыбающейся Натали.

— Сударыня! — произнёс он, и дальнейшие слова вылетели из головы.

«А глаза у неё цвета танго», — подумал он и зажмурился от счастья.

Натали женским чутьём поняла его состояние и тоже задохнулась от радости... От радости встречи, от радости видеть этого застенчивого, смущённого юношу в военной и почему-то в пятнах влаги форме.

— И что «сударыня-я»? — ласково, нежно засмеялась она, подходя к Акиму и протягивая руку для поцелуя.

— Честно сказать, не знаю, — смущаясь, ткнулся губами в кисть руки, покраснел и по-детски беспомощно шмыгнул носом.

Сердце Натали забилось от счастья, и ей захотелось коснуться губами — нет, не губ, но хотя бы щеки этого стеснительного юнкера.

Чтоб не исполнить желание, она даже отступила на шаг.

«Ну вот, чего-то шарахается от меня», — поник Рубанов.

«Мужчины чересчур логичные люди, и у них нет воображения и женского чутья, — улыбнулась юнкеру. — Чтоб поняли, им всё надо говорить напрямую, да ещё и не один раз», — засмеялась своим мыслям Натали, взяв Акима под руку.

— Мне удивительно приятно встретиться с тобой, — без малейшей доли кокетства произнесла она и увидела, как расцвёл от этих слов Рубанов. — Мама, знакомтесь, это тот самый Аким Рубанов, о котором мы с тётушкой, — приплела на всякий случай родственницу, — вам говорили.

— Да, да, Верочка, очень симпатичный и воспитанный молодой человек, — поддержала племянницу Зинаида Александровна.

На этот раз Аким запылял цветом первой боевой офицерской награды.

Не проникшаяся торжеством момента Ольга, с усмешкой оглядев юнкеров, сделала наивное лицо и спросила, ни к кому из мужественных воинов конкретно не обращаясь:

— А что, господа «павлоны», вы ночью под дождём сюда добирались? Вся форма в брызгах...

«Во язва питерская», — проигнорировал несущественный её вопрос Аким, а Дубасов принялся пространно объяснять ситуацию, рассказывая, как Рубанов, впад в детство, потряс здоровенный дуб, и целый водопад воды обрушился на них.

— Хорошо, хоть не желудей, а то бы засыпало обоих, и до сих пор не добрались бы, — в своём родном, язвительном духе, продолжала Ольга.

— Дамы, хватит смущать гостей, пора и за стол, — разрядил обстановку и на правах главы семейства предложил Константин Александрович.

Во время обеда капитан успел рассказать ещё несколько случаев из своей боевой юности.

Аким украдкой глядел на Натали и смущался, когда встречался с ней взглядом. На Ольгу он не обращал ни малейшего внимания, отчего та просто бесилась и язвила напрапалую, в основном донимая Дубасова.

Снова пошёл дождь. Из небольшого палисадника перед террасой пряно запахло цветами и зеленью.

Капитан вновь закашлял, вытащив из кармана платок.

— Сыро сегодня здесь, пойдёмте в зал чай пить, — с тревогой глянув на мужа, произнесла Вера Алексеевна и, отставляя стулья, все стали выходить из-за стола.

Вечером, прощаясь, Аким и Натали стояли на балконе и глядели на покрытое тучами небо, на туманную даль озера, на близкий лес и, разговаривая, Аким близко придвинулся к девушке, но она не отстранилась, а доверчиво положила руку на его плечо и, чуть подумав, поцеловала в щёку.

— Как стыдно! — через секунду произнесла она, наблюдая, как краской счастья зарумянилось лицо юнкера.

«Начинает понимать, что не безразличен мне, — внутренне улынулась Натали, — ну отчего все мужчины такие тугодумы», — почувствовала на своих губах нежные губы любимого.

— Всё-всё-всё, — отстранилась от Акима, — это уже лишнее. В следующее воскресенье ждём на музыкальный вечер, — улынулась ему.

— Представляешь, Рубанов, — всю обратную дорогу расстраивался Дубасов, — Ольга на следующее воскресенье графа Игнатьева пригласила. Откуда только знает этого клизменного «шаркуна» и по совместительству дудергофского «утопленника»... Ну-у ка-а-а-кже, душечка гра-а-ф-ф... А я кто? — злился он, срубая веткой головки цветов.

— Не только триппер, но и сарказм — заразная болезнь, — глубокомысленно произнёс Рубанов. — Вот вы, юнкер, её и подхватили от Ольги...

— Да тьфу-у на твой солдатский юмор! — яростно колошматил какой-то особенно стойкий цветочек.

«Наверное, представляет, что Игнатьева лупит», — улыбаясь, подумал Аким.

— Ты себя не прибедняй. Там какой-то паж... А здесь портупей-юнкер роты Его Величества. Чувствуешь разницу? — морально поддержал товарища Аким.

В последние недели училищной своей жизни юнкера старшего курса чувствовали себя почти офицерами.

Даже святая дисциплина начала катастрофически падать.

Проводить утреннюю или вечернюю поверку для фельдфебеля Зерендорфа становилось мучением, если рядом не было Кускова.

Построив утром перед баракom царёву роту, он начинал перекличку:

— Антонов!

— Я-о-а-а!

— Дроздовский! — тяжело выдыхал Зерендорф.

— А-а-з е-е-сьм! — гудел тот.

— Колчинский!

— Я-у-у-п! — несуразным возгласом обозначал своё присутствие юнкер.

«Влепить бы тебе наряд не в очередь», — мысленно злился Зерендорф, а вслух выражал своё мнение всегда одинаково:

— Господа! Когда станете ротными, желаю, чтоб ваши солдаты вам так отвечали.

Представив такой ужас, юнкера некоторое время поуставному «якали», но потом дурь брала верх, и снова начиналось:

— Пантюхов! — называл фамилию взбодрившийся было Зерендорф.

— Ю-ю-ю!

— Пантюхо-о-в! — классически завизжал фельдфебель. — Бородавку тебе на...

— Стволе нагана! — подсказал Дубасов.

— На носу! — уточнил уже нормальным голосом Гришка Зерендорф.

— Рубанов! — с беспокойным ожиданием уставился на будущего однополчанина Зерендорф.

Тот превзошёл все его ожидания.

— Ё-ё-ё-п! — выкрикнув, Аким даже сам опешил и покраснел под молчаливым вопросительным взглядом склонившихся буквой Г в его сторону юнкеров.

— Чего-о? — задал мучивший всех вопрос Зерендорф.

— Не чего, а кого! — уточнил Дубасов. — Строевые занятия...

— Перекличку! — выдвинул своё предположение Дроздовский.

— А може-е-т?..

— Хватит предположений, Колчинский, — выручил будущего однополчанина фельдфебель. — Р-р-азойдись! — рявкнул он.

Но вечером Рубанов подвёл будущего сослуживца по лейб-гвардии Павловскому полку — слинял в самоволку. Прихватив к тому же портупей-юнкера Дубасова.

— Портупе-и-ч, — когда шли по вытоптанной уже юнкерской тропе, обратился к Дубасову Аким, — цветы рвать будем?

— Нет! — коротко ответил тот, терзаемый каким-то нехорошим предчувствием.

— Не переживай. До вечерней поверки успеем с дамами повидаться, — высказал своё видение предмета Рубанов, с интересом наблюдая, как приятель стегает прутиком цветы.

«Это у портупей-юнкера становится дурной привычкой», — пожалел безвинные растения Аким.

Пожалел их или свой зад и попавший под раздачу ударов воинственный шмель.

— А-а-у-у-ё-п! — по-рубановски закончил Дубасов, держась за глаз.

— Тренируешься, что ли? — удивлённо поинтересовался у приятеля Аким и, обогнав его, разглядел покрасневшее веко.

— Шмелюга, козёл ж-жуж-ж ливый, за глаз тяпнул, — махал вокруг себя прутиком Дубасов.

Аким на всякий случай отошёл от него подальше.

— Да не-е, пчела, наверное. Пойдём скорее к Бутенёвым, там мадемуазель Ольга чего-нибудь холодненькое к твоей ране приложит.

— Чего холодненькое-то, — заинтересовался Дубасов.

— Ну подсвечник там или пятак. На что воображения хватит.

Воображение в семье Бутенёвых было богатое. На даче с приходом гостей начался форменный кавардак. Сам капитан

кинулся к Дубасову с саблей наголо, по пути вспоминая, как его в русско-турецкую кампанию укусила вражеская оса величиной с воробья.

— Только боевая сталь и излечила... а то бы — прощай вольноплёрское око, — стремился, несмотря на сопротивление инвалида, приложить к его глазу целебную саблю.

Горничная совала в глаз страдальцу огромный медный шандал с огарком свечи.

Зинаида Александровна, сострадая, тыкала в лицо мученику серебряным портсигаром с надписью на крышке «Герою Плевны».

Вера Алексеевна держала в ладони целую горсть меди, но боевых действий пока не предпринимала.

Ольга, стоя в сторонке, ехидно, по мысли потерпевшего, смеялась.

Натали принесла смоченный в холодной воде платок. Его-то и выбрал из всех предлагаемых лечебных предметов Дубасов.

Когда дачные страсти вокруг покусанного немного улеглись, стали рассаживаться за столом.

— Милости просим... Милости просим... — чему-то радуясь, наверное, приятным воспоминаниям, бесконечно повторял хозяин дома.

Виновнику переполоха поставили красивый венский стул с привязанной подушечкой.

Придерживая левой рукой у глаза платок, правой подносил ко рту чашку с чаем, с обидой глядя на Ольгу, будто это она подослала дрессированную пчелу.

Рубанов, напротив, был очень даже рад поднявшейся суматохе, от которой у него прошла первоначальная робость.

— Ещё револьвер очень в таких случаях помогает, — шутливо развивал военно-медицинскую тему капитан, забыв в этом сумбуре о кашле.

— Скажешь ты, батюшка, — с улыбкой попеняла ему супруга, — страсти какие за столом говоришь, — в шутку начала она ворчать.

— Предлагаете застрелиться, чтоб не болело, — поддержал шутку одноглазый, положив на стол тёплый уже платок.

— Ого! Вот это Кутузов! — рассмешил юных дам Рубанов, безо всякого сочувствия глядя на затёкший глаз. — Пчела укусила, делов-то... Меня в Рубановке не раз кусала, и живой.

Застеснявшись, Дубасов прикрыл око чашкой.

И вновь началась весёлая суета. Капитан размахивал серебряным блюдом, Ольга — ножом, горничная — мясорубкой, и лишь Зинаида Александровна не поменяла рецепт, держа в руках всё тот же героический портсигар.

Натали, глядя на возобновившийся кавардак, на этот раз весело смеялась, а Рубанов, стараясь перекричать гвалт, развивал зоологически-траурную мысль, что пчеле пришлось ещё хуже, потому как она совсем околела.

Дубасова эта грустная ситуация с пчелой немножко взбодрилась, ведь для солдата нет ничего лучше мёртвого врага.

Под шумок Аким с Натали ушли в сад. Она сидела на качелях, а он, легонько раскачивая их, рассказывал, какой выбрал полк и где будет служить.

— Папа болеет, — неожиданно произнесла Натали, когда Аким замолчал. — Думает, что никто не догадывается. Старается шутить, иногда даже дурачится по-мальчишески, стараясь развеселить нас. Не хочет, чтоб грустили или, не дай Бог, жалели его, — лицо её стало грустное, плечи поникли, а глаза затуманились от слёз.

Она перестала раскачиваться. Уперевшись ногами в землю, отпустила крученые, толстые, как девичьи косы, верёвки качелей и безвольно сложила руки на коленях.

Акиму стало так жалко её, что всё бы отдал, лишь бы она не грустила.

— Тётя осенью хочет в Петербурге квартиру купить, переехать и помогать ему. Ведь он у нас гордый и денег не возьмёт, — нежно улыбнулась, видимо, представив отца. — А тётя добрая и понятливая... Докторов хороших планирует пригласить, лекарства дорогие купить, глядишь, папа и поправится, — успокоила этой мыслью себя, вновь ухватившись за верёвки качелей. — У неё детей нет, за кем ещё ухаживать, — оттолкнулась ногами от земли, давая этим понять Аким, чтоб он начал раскачивать качели. — Муж у тети богатый был, — продолжила она. — Промышленник, как Зинаида Александровна его называла. Заводик ей оставил после смерти и деревеньку. Любил он её, а тете, догадываюсь, был безразличен... Но подарил цветами и подарками, как мама рассказывает, вот и вышла за него, не смотря на разницу в возрасте...

— Брак по расчёту, — брякнул Аким.

— Ну ты скажешь, — отчего-то обиделась Натали, вновь перестав раскачиваться.

Видно не вязалось в её уме — тётя и расчёт.

— Брак по одиночеству... — пояснила она. — Вернее, от одиночества...

На вечернюю поверку юнкера опоздали.

Всю обратную дорогу Дубасов страдал. Но теперь не от боли, а от уязвлённого самолюбия.

— Видишь, мал враг, да кусюч, — приложил к глазу сорванный листочек.

— Пчела! — дурачась, заорал Аким и заржал, увидев, как юнкер с испугом отбросил листик.

Дубасов ничего не сказал по поводу глупой шутки товарища, но столько страдания было в его взгляде, что Акиму стало стыдно за своё веселье.

— Ну что ты тужишь, Громила. Шрамы украшают мужчину, — не сдержавшись, вновь хихикнул он.

— А чего тогда хмыкаешь? Думаешь, если один глаз остался, не вижу? Так у меня уха два. Не увижу, так услышу...

— Так ты же везучий человек, — с жаром воскликнул Рубанов.

Дубасов внимательно поглядел на товарища, выискивая ухмылку, но, к его удивлению, приятель был серьёзен, как никогда.

— Это в чём везучий? — с огромным сомнением поинтересовался он.

— В том! — уверенно ответил друг. — В любом деле следует искать положительную сторону... Помнишь, как капитан Бутенёв своей анненской саблей махал? Вжик — и нету уха! А тебе повезло. Вот она, положительная сторона, — опять заржал Рубанов.

— Чё-то не нравится мне твой смех... — подобрал хворостину Дубасов, но вспомнив что-то своё, юношеское, тут же её выбросил.

Государева рота была в шоке от увиденного.

Зерендорф, начавший высказывать претензии Акиму по поводу опоздания, узрев Дубасова, довольно замолчал и стал обдумывать фельдфебельским умом, как на этом отрицательном примере показать юнкерам, что Бог всё видит и строго метит опаздывающих на вечернюю поверку.

— А если бы Куков присутствовал? — неожиданно даже для себя возопил он, озвучив фельдфебельские свои мысли.

Кукова кутузовский облик портупей-юнкера не зацепил, ибо у него отекли оба глаза от неумеренного принятия горячительных напитков.

Несколько «шакалов», благодаря командиру роты Его Величества стали лавочниками, что означало большое продвижение по карьерно-купеческой лестнице и, по их табели о рангах, равнялось фельдфебельскому чину. А «шакал» приравнивался всего лишь к ефрейтору. Ниже был только половой в дешёвой харчевне.

А всё счастье случилось оттого, что два дня назад капитана высочайше произвели в подполковники. Друзей у вновь испе-

чённого подполковника в Красносельском лагере было предостаточно, чтоб интеллигентное лицо путём несложных манипуляций стаканами превратить в ноздреватый блин.

Пользуясь прекрасным настроением ротного, который уже никого не узнавал, друзья выпросили увольнительные на воскресенье.

— Отдыхайте, ребята, — нетвёрдой рукой подписал тот бумаги. — Меня тоже в одну семью пригласили, — оглядел себя в небольшое зеркало, особое внимание обратив на подполковничьи погоны. — Стал высокоблагородием, — благосклонно выслушал поздравления юнкеров. — Ничего, через месяц с небольшим и вас в подпоручики произведут, — высокоблагородно икнув, пожал им руки.

Воскресным днём друзья направились в Дудергоф по официальной офицерской дороге. Идти по тайной юнкерской тропе Дубасов наотрез отказался.

— Как у меня внешний вид? — обратился к Аким. — Глаз проходит?

— Проползает! — критически оглядел то, что Дубасов называл глазом. — Зато напоминает российский флаг. Белые, синие и красные окружности смотрятся очень патриотично на фоне узкого турецкого ока. Думаю, бывшему вольноплёру Бутенёву сие зрелище придётся по душе.

— Сейчас и у тебя такой будет, — горестно взвыл Дубасов. — Ещё, едрёный шмель, товарищ называется... Никогда не успокоит.

— Вот как друг и говорю жёсткую правду. Кто ещё скажет? — незаметно за приятными разговорами добрались до дачи.

Рубанов, как оказалось, зря волновался. Нашлось много желающих высказать «жёсткую правду».

Первой была Ольга.

Хотя Аким, поздоровавшись, и напомнил ей о светских манерах и деликатности по отношению к полководцу, его советы она трижды проигнорировала и самым беспардонным образом.

— Юнкер, а что это вместо моей вы свою руку целуете, — начала она миролюбивый монолог. — Ах, верно оттого, что окривели...

— Какой комплимент, сударыня... Чтoб вам такой на свадьбе отвесили, — заступился за товарища Аким. — Мадам Светозарская бы сказала, что это всё от недостатка воспитания у современных девиц... Этих, тэ-э-к ск-э-э-ть, эмансипе-е...

У Ольги яростно засверкали глаза.

— Юнкер, сейчас же извинитесь, — набросилась она уже на Акима.

— И не подумаю, — стал тот в позу. — Елозящий червяк пусть перед тобой извиняется, — насмешил Натали.

— Или жабочка, — поцеловал ей руку.

— Сударь, вы сегодня весьма раскрепощены и самоуверенны, — высказала двусмысленный комплимент Натали.

Подходя к её маме, Аким задумался, хорошо это или не совсем.

«На войне-то точно хорошо», — пришёл он к успокаивающему выводу.

— С одной стороны глянуть — вылитый янычар, — пожал руку окривевшему юнкеру Бутенёв.

«Так бы и рубанул саблей», — закончил его мысль Рубанов.

— Вы весьма воспитаны в своих училищах... — всё не могла успокоиться Ольга.

— Да! У нас очень строгие и серьёзные отцы-командиры... А мы все в них, — под поощрительные кивки капитана произнёс Рубанов и тут, к дичайшему своему удивлению, увидел подполковника Кускова, раскланивающегося с хозяйкой дома.

Внешний облик ротного наставника Павловского военного училища, конечно, желал лучшего.

Дубасов на всякий случай вытянулся во фронт, а вспомнивший слова подполковника о «приглашении в одну семью», Аким прошептал Ольге:

— А вот и наш отец-командир...

— Так я и думала, — отвернувшись, прикрыла ладошкой рот, чтоб скрыть охвативший её смех.

— Слава богу, мадам Светозарская хоть немного на тебя повлияла, — похвалил девушку Рубанов.

— Дмитрий Николаевич, дорогой, — приняв позу хвастающегося рыболова, воскликнул капитан Бутенёв. — Дай я обниму тебя... Словно в молодость попал... И отца твоего вижу... Уже подполковник, — тискал похмельного Кускова. — А я тебя вот таким помню, — жестом рыболова-обличителя показал ма-а-хонькую рыбёшку, почти сведя ладони.

— Да вот... три дня тому... как пожаловали... — старался не дышать на пожилого человека бывший капитан.

— Поди, гу-у-ди-и-шь?! — с огромной долей зависти произнёс Константин Александрович. — Помнится, когда мне... высочайше... капитана пожаловали, весь батальон неделю проспаться не мог... Знакомтесь, — спохватился он, — Кусков Дмитрий Николаевич. Сын лучшего моего друга и командира, полковника Кускова Николая Олеговича. Сейчас ещё молодёжь подойдёт, и за стол, — обнадёжил попавшего в руки Зинаиды Александровны офицера.

Своих юнкеров на первых порах он не узнал, а когда сфокусировал на них взгляд, спохватился:

— Что, за мной из штаба прислали?

— Никак нет! — пришёл в себя Дубасов. — Мы тоже в гостях.

— А что это у тебя с лицом? — только сейчас разглядел отёкший глаз юнкера.

— Веслом случайно засветили, Ваше высоко-коблагородие, — под тайный смех Ольги выкрутился Дубасов.

Сюрпризы на этом не кончились, а только начались. Словно на Рождество.

Следом за подполковником пожаловали Его сиятельство Игнатьев с «благородным господином корнетом» из Николаевского кавалерийского училища.

— Знаю я этого кавалериста... В прошлом году наездника в уборную возил, — ехидно ухмыляясь, зашептал Дубасову Аким, немного умастив его исстрадавшуюся душу юнкерским нектаром.

Ольга подозрительно оглянулась на друзей и представила графа, а тот — кавалериста:

— Портупей-юнкер Фигнер Дмитрий Серафимович.

— По кличке Коль, — зашептал Аким у повеселевший уже Дубасов.

— Какая замечательная партизанская фамилия, — сделал умозаключение Бутенёв. — А легендарный партизан Отечественной войны 1812 года Александр Самойлович Фигнер не ваш родственник?

Кавалерист хотел сказать «Никак нет», но чтоб возвысить себя в глазах окружающих, пошёл на подлог:

— По очень дальней боковой линии родство имеется...

— Прекрасно, прекрасно... — похвалил юнкера Бутенёв. — А известный певец и актёр Николай Николаевич Фигнер не...

— Никак нет! — сходу отказался от родства с лицедеем кавалерийский Фигнер.

— Кого ещё ждём? — отвязался, наконец, от партизанско-лицедейского однофамильца Бутенёв. — За стол давно пора, — мысленно пожалел командирского сына, около которого личичкой крутилась Зинаида Александровна.

«Чего пудрит парню мозги. Не до баб ему сейчас...»

— А вот кого! — указала его дочь на двух вошедших скромных девиц. — Наши соседки по даче, — удивлённо глянула на открывших рты Рубанова и Дубасова.

Аким попихал локтем по рёбрам друга.

— Ступай, побеседуй с гимназистками. А то сейчас завизжат «Насильники-и» и в обморок упадут или второй глаз тебе покалечат...

— А чего — мне-то, а чего — я-то? — неспеша направился к девицам.

При его приближении гимназистки впали в ступор. Как стояли, так и замерли, боясь шевельнуться, и медленно, но усиленно краснели, начиная с пальцев рук и кончая полыхающими ушами.

«Во-о! Сравнялись с красной “конской” бескозыркой», — отметил Дубасов, подойдя вплотную к забывшим от страха дышать дамам.

Если бы с дури он крикнул «Щука!», завизжавшие девицы пустились бы наутёк.

— Не бойтесь... не бойтесь... маленькие гимназисточки, я вас не съе-е-м, — успокаивал их.

По крайней мере ему так казалось.

Помертвевшие от страха девицы слышали лишь вкрадчивый хриплый голос и видели приближающегося страшного каторжника с подбитым глазом.

Они бы с радостью завизжали, но спазм страха перехватил девичье горло.

— Не бойтесь. Мы никому не скажем, что видели вас в... этом, как его... неглиже, — вовремя вспомнил мудрёное словцо.

«Ну не скажется — голяком. Не так водоплавающие поймут. Вон уши-то как пылают... Будто Сидорова Коза надрал», — улыбнулся, вспомнив, как и Бутенёв, молодость.

Улыбка и привела девиц в чувство.

— О-о-ой, — прошептала чернявенькая. — Страшней, чем в озере было...

— Намного! Я даже кричать не смогла, — поддержала её подруга.

— Зачем кричать-то. Мы добрые... Дубасов Виктор, — лихо кивнул головой и щёлкнул каблучками юнкер.

Девицы оттаяли.

— Полина, — сделала книксен белявенькая.

— Варя, — представилась чернявенькая.

— Какие прекрасные имена, — подлетел к дамам кавалерист. — Фигнер Дмитрий Серафимович, — снял красную бескозырку и поочерёдно приложился к ручкам дам.

— Рубанов, у меня такое чувство, что вы знакомы с моими соседками, — с некоторой долей ревности произнесла Натали, пытливо разглядывая начавшего краснеть любимого.

— Да... По-моему... как приехали... на станции встретились... — начал неуверенно врать он, сравнившись цветом лица с бескозыркой «благородного корнета».

— Ох, Рубанов, не дожить тебе до понедельника, если обманываешь... Хотя какая мне разница? — окончательно разобидевшись, отошла от него.

«Да-а, — выдохнул воздух Аким, — сплошные сюрпризы. Вечер обещает стать интересным», — пошёл к столу.

Натали рядом с ним не села.

Хозяин дома и глава семьи первый тост поднял за сына своего командира, подполковника Кускова.

Чокнувшись рюмками, они выпили водки и опять расчувствовавшийся Бутенёв расцеловался с Дмитрием Николаевичем.

Зинаида Александровна с хозяйкой дома выпили вина, а военная молодёжь — пива. Остальные обошлись лимонадом.

Дубасову тоже хотелось любви и водки, но под строгим похмельным взглядом ротного он не решился ни на то, ни на другое.

Бывший «утопленник» вовсю флиртовал с Ольгой, «конская морда» — с Полиной. Рубанов, светски придерживаясь правил мадам Светозарской, беседовал с водоплавающей Варей.

Обречённо вздохнув, Дубасов налил себе водки и выпил...

На его счастье, подполковник, отвлекаемый Зинаидой Александровной, не заметил.

Действо понравилось.

Без обречённых уже вздохов исхитрился тайно выпить вторую... И тут у него открылся третий глаз, как пишут в газетах, и увидел роаяль. По ассоциации, захотелось веселья... Особенно танцевать.

Как оказалось, паж тоже тайно выпил.

«Хитрый, бестия, — думал про него Дубасов, — пажи, они куда хошь, как ужи, влезут. Только пуля остановит...»

Граф, чуть покачиваясь, подошёл к старенькому роаялю и побренчал клавишами, затем уселся на подставленный Ольгой стул и заиграл...

«Неплохо играет герцог Иванов, — подумал Рубанов, и музыка, что ли, повлияла, вспомнил пушкинское: «Все женщины прелестны, а красоту им придаёт любовь мужчин». — Ну “мужчин” — это сильно сказано, достаточно и одного. Следует донести эту мысль до Натали, а то что-то губки надула. Сама подруг пригласит, а после ревновать начинает», — отчего-то довольный, крикнул пианисту:

— Маэстро — вальс, — и пошёл приглашать Натали.

Игнатьев хотел возмутиться, но уже и его друг-«николаевец» пригласил девицу, пришлось играть.

Торжествующий Дубасов кружился с Ольгой, которая постеснялась ему отказать.

Однако неугомонный Бутенёв завёл граммофон с цветастой трубой, и освободившийся от добровольной повинности Игнатьев радостно увёл Ольгу из-под носа, вернее, из-под глаза ослеплённого любовью и пчелой портупей-юнкера Дубасова.

Зинаида Александровна охмурила подполковника, и он постепенно начинал сдавать боевые холостяцкие позиции.

Вечер для всех, кроме «одноглазого циклопа», прошёл великолепно.

В жизни Дубасова наступила чёрная полоса.

— Рубанов, — жаловался он другу, — ну откуда у неё эта пагубная страсть к Игнатьеву? Воспылала чувствами... На меня и не глядит... Вчера убежал в самоход, а Бутенёв докладывает, что она с пажом уползла ужом... Ого. В рифму, как Пушкин, заговорил. Ну уж эти пажи-и, — потряс кулаками, — хрен в узел вяжи-и.

— Это к чему ты? — опешил от поэта Аким.

— Не знаю. Просто от нервов рифмами заговорил... Дуэль, только дуэль рассудит нас, — напыщенно произнёс вновь новоиспечённый Пушкин.

Через несколько дней, согласно плановым занятиям, намечались последние перед производством в офицеры стрельбы.

Государева рота под предводительством Зерендорфа бодро чеканила шаг, горланя любимый марш: «Под знамя Павловцев мы дружно поспешим...»

У главной линейки пажей граф Игнатьев, вальяжно прохаживаясь перед шеренгой младших своих товарищей, чего-то им втолковывал, кивая в сторону «павлонского» стойбища.

«Учит, как нас донимать надо», — хмыкнул Аким.

Бодрая маршевая песня прервалась и, печатая шаг, «павлоны» мрачно разглядывали своих противников.

У графа то ли на самом деле зачесалась фланговая часть фигуры, то ли от вида «павлонов» похлопал себя по заднице для какого-то нехорошего сравнения, но к досаде государевой роты, такое непотребное действие он произвёл, впридачу смачно плюнув под ноги.

Дубасов понял, что другого подобного случая может не представиться и, нарушив священный строй, подошёл к графу.

Зерендорф остановил роту, не зная, что предпринять — одёрнуть нарушителя или ждать дальнейших событий. В душе-то он понимал, что следует восстановить строй, но уж больно вызывающе вёл себя этот здоровенный паж.

Сумрачно оглядев нахально улыбающегося графа и притихшую шеренгу молодых пажей, Дубасов тоже сплюнул на землю и произнёс:

— Сударь, вы имели наглость оскорбить государеву роту Павловского военного училища, прошу вас извиниться перед нами.

«У-у-х! Вот это да! Грамотно к проблеме с Ольгой подошёл, — подумал Аким, — вроде бы и не из-за неё к пажу придрался...»

— А чем это я соизволил оскорбить роту, если у меня в руках ни монокля, ни клизмы нет, чтоб вам поставить, — привёл в восторг своих подопечных.

«Павлоны» насупились, а Дубасов снял с плеча мосинскую трёхлинейку, из которой, согласно учебно-тренировочному плану, должен был долбить по мишеням.

— Сегодня наганов нет, потому вызываю тебя на дуэль и предлагаю с двадцати шагов стреляться из винтовок.

У Зерендорфа отпала челюсть. Рота горделиво уставилась на пажей — знай, мол, наших, а те в растерянности поджали ужиные свои хвосты.

— Шутишь! — не слишком уверенно хихикнул Игнатъев. — Перед Ольгой хочешь героем выглядеть? — правильно понял подоплёку происходящего. — Будь уверен, она не оценит, — пока говорил, раздумывал, что бы предпринять.

— Граф, меньше слов. Бегите за оружием, — навёл на него винтовку Дубасов.

«Следует забрать у воинственного “циклопа” винторез, — тоже вышел из строя Аким, — а то ещё шмальнёт спозаранку...»

Зерендорф, увидев, как от стоянки соседнего Финляндского полка к ним бежит дежурный офицер, тоже поспешил к Дубасову, дабы наставить на истинный путь, объяснив, что лучше стать подпоручиком, чем рядовым штрафником.

Подбежавший капитан-«финляндец» оказался расторопнее. Ухватившись за винтовку и тяжело от бега дыша, не говоря ни слова, потянул её на себя, непроизвольно нажав на курок.

Грянувший громом среди ясного неба и лагеря выстрел привёл Дубасова в правильное чувство, и он привычно вытянулся во фрунт перед офицером.

— Вы, вы, что это себе позволяете? — обрёл, наконец, голос капитан, глядя не на нарушителя, а на то, как медленно заваливается и наконец грохается на землю сбитый пулей флюгер. — А если бы там человек был?

— Где, на флюгере? — сделал дурацкие глаза Дубасов, понимая уже, что вместе с пулей улетели его офицерские погоны.

Выбежавший с винтовкой на крыльцо Игнатъев, заметив офицера, опрометью помчался обратно в казарму положить на место оружие.

На помощь офицеру прибежали его солдаты.

— Ведите на гауптвахту, — указал на юнкера, предварительно спросив его фамилию.

Отзвук выстрела докатился до самых высших инстанций. Капитан выставил себя спасителем полка, личный состав которого мог бы перестрелять очумевший юнкер, о чём и указал в своём рапорте.

Стрельбы были отменены, и Зерендорф увёл роту в казарму.

— Эх-ма! Зря он его не пристрелил, — затужил Дроздовский, сидя на табурете рядом с койкой Рубанова и мечтательно поглядывая в окно.

— Чего это зря? — без интереса осведомился Аким, мучительно размышляя, как бы помочь другу.

— Ну как это — чего зря? — стал развивать свою теорию заговоров Дроздовский. — Восьмого марта сего года покушались на Победоносцева, в результате я стал юнкером унтер-офицерского звания...

Сидевшие на соседних койках и табуретах юнкера иронично захмыкали.

— Отбросьте сарказм, господа, — возмутился Дроздовский, — как и положено военному, я верю в приметы. Шучу, конечно. Думайте ребята, как Дубасова выручать.

— Да что здесь думать, юнкера, — вздохнул Аким. — Выход один. Сочинить душещипательную или романтическую историю о первой любви, от которой даже у котов флюгер сносит и, как это не прискорбно, идти на поклон к отцу. Он сейчас в Главном лагере. А то ведь поедет Дуб в какой-нибудь Туркестанский линейный батальон рекрутом самого рядового звания...

— Это если ещё повезёт. А то и в штрафной батальон упекут, — сгустил краски Зерендорф. — Об Охте и охтинках только мечтать будет на Сахалине.

— Ну что ж, господа... Иду в самоволку, — поднялся с койки Аким. — Только Зерендорфу не говорите, — внёс светлый мазок в чёрный глянец сапога.

Юнкера невесело засмеялись. Зерендорф закрыл рукою глаза. Свой выговор он уже получил от вмиг протрезвевшего Кускова.

Когда часовой, которого полчаса уговаривал Аким, наконец позвал вестового, а тот провёл его в кабинет генерал-адъютанта, попутно размышляя — утром вести упрямого юнкера на губу или прикажут сразу, там уже находился старший брат Дубасова.

— А вот, думаю, и свидетель происшествия появился, — кивком отпустил вестового Максим Акимович, подумав: «Молодец, сынок. Сам погибай, а товарища выручай. Сейчас за друга просить будет».

Так и случилось.

Аким ярко передал на словах, помогая, где их не хватало, жестами, что это была просто шутка. Версию о безответной любви отбросил, слишком это было правдоподобно.

— Мы всегда с пажами шутим, — горячился он. — Если бы гвардейский капитан не вмешался, ничего бы и не было... И флюгер цел бы остался.

— При чём здесь флюгер, господа, — в волнении прошёлся по кабинету Рубанов-старший.

Капитан вскочил из кресла на ноги и встал во фрунт, а Аким, тоже вытянувшись, всё-таки это официальный приём, мысленно погордился собой — первый раз отец назвал его господином.

— Садитесь, — махнул рукой генерал. — Рапорт до самых верхов долетел. У меня завтра, как раз по графику, генерал-адъютантское дежурство. Вот и буду решать вопрос на высшем уровне. А ты, господин юнкер, в самовольной отлучке, полагаю? — обратился к сыну Максим Акимович.

Причём слово «господин» произнёс с заметной иронией.

— Так точно, — мужественно сознался сын. — Где я поздно вечером подполковника Кускова искать стану?

— Место твоё, конечно, рядом с товарищем, на гауптвахте, — делая вид, что сердится, вздохнул генерал. — Если не попадёшься, радуйся, — взмахом руки отпустил сына и старшего дубасовского брата.

На следующий день он ярко осветил событие перед царницей, упирая на любовь, юную щенячью дурь, которую тактично охарактеризовал как глупость и молодость.

— Любовь и молодость — вот две причины проступка, — с пафосом воскликнул генерал-адъютант. — Вот и попугал соперника, что того и гляди в арестантскую роту попадёт... А всё — любо-о-вь! А ведь прекрасный офицер из парня бы получился. Защитник трона, Отечества и офицерской чести, — на высокой патриотической ноте закончил Рубанов, сделав вид, что не заметил, как к императрице вошёл государь.

За обедом они втроем с воодушевлением обсуждали данную тему.

— Ну унтер-офицером полгодика ему послужить придётся, — пришёл к выводу Николай, чем очень обрадовал своего генерал-адъютанта.

Рубанов-младший этих разговоров не слышал, так как в это время вместе со всей государевой ротой находился в ступоре, потому как вышел приказ о производстве унтер-офицера Дроздовского Михаила Гордеевича в младшие портупей-юнкера.

— Хоть несколько дней портупей-юнкером похожу, — радовался Дроздовский.

По программе продолжающихся манёвров государева рота бодро взяла высоту, коей являлся Царский валик — так именовалась невысокая плоская возвышенность в центре поля, и успешно отразила атаку конницы условного противника в исполнении старшего курса Николаевского кавалерийского училища.

Причём Аким в пылу сражения ловко долбанул прикладом по ноге будущего генералиссимуса, а в данное время — благородного корнета, партизана Фигнера, который незаметно подобрался с тыловой стороны и хотел утащить «полковое знамя», роль коего выполняло новое полотенце Зерендорфа, привязанное к палке.

— Ты чё по ноге как лупишь, — заорал «партизан», — сейчас соскочну с лошади, узнаешь тогда...

Но выполнить угрозу кавалерийскому портупей-юнкеру не пришлось, ибо тоже склонный к партизанским действиям Пантюхов, подкравшись с тыла, огрел его кобылу древком от «знамени».

Взбрыкнув, пострадавшая за амбиции юнкеров кобыла явила ноги, унося партнёра к другим «красным шапочкам».

Потом пехотные и кавалерийские юнкера дружно погоняли залётного, очумелого зайца, определив его как засланца противника, и манёвры на этой бодрой ноте благополучно завершили.

В выходной день вестовой адъютанта Павловского полка привёз Зерендорфу и Рубанову записку с просьбой прибыть в канцелярию, дабы потом представиться господам офицерам.

Испросив у подполковника Кускова официальную увольнительную, направились в Главный лагерь.

По привычке попёрли напролом по юнкерской тропе, которая по ширине сравнилась с офицерской дорогой.

Перед канцелярией Павловского полка запасливый Зерендорф вытащил из кармана тряпку, коей протёрли сапоги.

С некоторым испугом войдя в канцелярию, молодцевато доложили поднявшемуся со стула адъютанту о прибытии.

Высокий и абсолютно непохожий на курносого Павла Первого полковой адъютант, пряча улыбку и хмуря брови, представился:

— Поручик лейб-гвардии Павловского полка барон Эльснер Иван Фёдорович, — щёлкнул каблуками и пожал им руки, — тоже имел честь быть «павлоном», господа... Прошу следовать за мной в офицерское собрание, где вас ждут, — повёл юнкеров в соседнее деревянное строение, напоминающее юнкерскую столовую, только остеклённое. — Господа, — решил подбодрить юнкеров Эльснер: «“Павлоны” всё-таки». — После вашего первого визита в полк, ещё в середине мая, когда вы написали прошения и представились командиру полка, Его превосходительству генералу Троцкому, офицеры досконально изучили вашу, тэ-э-к скэ-эть, поднаготную и пришли к единому мнению, что вы достойны служить в нашем полку, — остановился и ещё раз от души пожал руки юнкерам. — Не все удо-

стаиваются подобной чести, — вновь повёл их по неширокой, гораздо уже юнкерской тропы, дорожке. — В прошлом году отказали сыну одного министра... не стану называть его фамилию.

Рубанов с Зерендорфом переглянулись и тоже пожали друг другу руки, вызвав этим улыбку адъютанта полка.

Они явно импонировали этому высокому блондину в ловко сидевшей форме, прекрасно подстриженному, с ровным пробормом, начинающимся напротив середины левой брови, и с аккуратными ухоженными небольшими усиками.

— Прошу, господа, — указал им на дверь столовой, которую поспешно раскрыл вестовой.

В просторной зале с настезь раскрытыми окнами, за большим столом, накрытым белоснежной скатертью, завтракали полтора десятка офицеров во главе с генералом.

— Ваше превосходительство, — обратился к нему адъютант, вытянувшись во фрунт.

Юнкера тут же последовали его примеру, вытянувшись в струнку и затаив дыхание.

— Юнкера Рубанов и Зерендорф, — указал рукой на каждого из них. — Будущие наши сослуживцы.

При этих словах офицеры неспеша и с достоинством поднялись со своих мест и, испытующе глядя на забывших дышать юнкеров, вытянулись во фрунт и приветственно кивнули головами.

Генерал остался сидеть.

— Распорядитесь подать приборы юнкерам, — велел адъютанту полка, а тот передал приказ служителю. — Садитесь на свободные места, господа, и позавтракайте с нами, — благодушно глядя на растерянных до последней степени «павлонов», произнёс он и вытер салфеткой губы. — Вина сегодня ребятам не наливать, — добродушно буркнул генерал, — продолжив завтрак.

Офицеры вновь уселись на свои места и продолжили прерванные разговоры, временами бросая испытующие взгляды на юнкеров.

Примечая, как ведут себя за столом, как едят, знают ли правила приличия. А то, может, рыбу ножом режут.

Особенно зорко приглядывался к будущим павловцам старший полковник, почти четверть века прослуживший в этом полку. Через полчаса, позавтракав, именно он, а не генерал, откашлявшись, повёл разговор с юнкерами:

— Господа юнкера, — торжественно начал речь, взмахом руки усадив подпрыгнувших «павлонов». — Я старший полковник лучшего в гвардии Павловского полка Ряснянский Евгений Феликсович. Вы, надеюсь, успели ознакомиться с историей полка, написанной штабс-капитаном Гоувальтом. Потому буду краток. Как вы уже знаете, наш полк сформирован в 1726 году,

как пехотный Тенгинский. 15 мая 1790 года из одного батальона Тенгинского пехотного полка с дополнением нижними чинами из Московских гарнизонных батальонов создан новый полк. С 1791 года он назывался Гренадёрским московским. 23 ноября 1796 года Именным указом императора Павла Первого от Московского гренадёрского было отделено два батальона и две роты запасного батальона для формирования нового гренадёрского полка, который получил название Павловского гренадёрского. Обмундирование павловцев состояло из тёмно-зелёного кафтана, белого камзола и штанов. Полку был присвоен красный цвет воротника, лацканов и обшлагов. Головным убором стала гренадёрская шапка с медным налобником, которая до сих пор является гордостью полка. Она немного видоизменилась в 1802 году и стала тем самым знаменитым головным убором, который полк сейчас и носит. 2 июня 1807 года в русско-французскую кампанию, возле прусского города Фридланда произошёл бой, на века прославивший наш полк. Сама битва была для русской армии неудачной, мы потерпели поражение, а наш полк оставили прикрывать отход армии. Несколько часов гренадёры стояли под яростным французским огнём и не дрогнули, — глаза полковника тоже пылали огнём восторга.

Назубок знавшие эту историю офицеры полка гордо подбоченились и сидели с таким видом, словно это они выдержали атаку французских батарей.

Лишь генерал, принявший полк в прошлом году, хотя и служивший в нём обер-офицером, спокойно слушал полковую легенду, как слушал кадетом на уроке истории мифы Древней Греции.

— ...И тогда, дважды раненый в руку и ногу шеф павловцев генерал-майор Мазовский, не имея сил держаться в седле, приказал двум гренадёрам нести его впереди полка, воскликнув... — поднялся с места полковник, за ним встали офицеры и тут же вскочили юнкера, не разобравшись толком в причине переполоха.

Лишь генерал опять остался сидеть.

— ...Друзья! — воскликнул Мазовский. — Неприятель усиливается... Умрём или победим! — промокнул салфеткой глаза. — Садитесь, господа, — справившись с волнением, уже более спокойным голосом произнёс он. — И умерли! И победили... Господа! Помянем наших великих предков, благодаря которым до сих пор жива Россия. Юнкерам тоже можно немного налить, — распорядился он. — И если вам, ребята, придётся воевать, — оценивающе глянул на вновь вскочивших на ноги юнкеров, махнув им рукой, чтоб селились, — берите пример с павловцев, которые во главе с генералом пошли в последнюю свою атаку... Сейчас в полку хранится 532 прострелянные гренадёрские шапки.

Они напоминают нам о мужестве их владельцев. Недаром 13 ноября 1809 года было приказано вычеканить на прострелянных гренадёрках имена тех нижних чинов, кои вынесли их с собою с поля сражения. — Подпоручик, — обратился он к внимательно слушавшему его офицеру с нежными овалом лица и волнистыми волосами. — Прочтите, пожалуйста, предисловие к «Медному всаднику». У вас хорошо получается.

— С удовольствием, — поднялся офицер и печально почесал указательным пальцем то место, где должны находиться благородные мужские усы.

Как он не старался, ну не росли эти проклятые усы над нежной юношеской губой.

— Люблю воинственную живость, — тихо начал он, —
Потешных марсовых полей,
Пехотных ратей и коней

Однообразную красоту, — чуть прикрыв глаза, с удовольствием произносил пушкинские строки.

— В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамён победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь прострелянных в бою.

— Лучше невозможно написать, — захлопал в ладоши полковник. — Подпоручик, ради бога прочтите ещё раз последние две строки...

Выслушав их и вновь протерев глаза салфеткой, предложил:

— Господа! А теперь выпьем за сиянье шапок этих медных...

После приёма в офицерском собрании юнкера смело топали по улицам Красного Села, расспросив предварительно декламировавшего стихи подпоручика, где находится гауптвахта.

— Немножко выпили и решили сами себя наказать, — развеселился тот, с завистью поглядывая на пушок над зерендорфской губой. — Как раз напротив «губы», то есть гауптвахты, находится деревянный дворец Великого князя Николая Николаевича. Вот если с ним столкнётесь, тогда вам и искать ничего не придётся. Содаты доведут, — рассмеялся подпоручик, дружески пожав им руки. — Капитану Кускову передайте привет от унтер-офицера, а ныне подпоручика Буданова.

— Капитану, а ныне подполковнику Кускову привет будет передан, — дурачась, щёлкнул каблуками Аким.

Он уже почувствовал себя благородным подпоручиком.

На обратном пути без протекции Николая Николаевича нашли приют неудавшегося дуэлянта. Двухэтажная солидного вида красносельская гауптвахта неусыпными стараниями соседского Великого князя была под завязку набита кавалерийскими офицерами, лица которых, немой великокняжеским укором маячили в зарешёченных окнах сего князеугодного заведения.

Румяная небритая дубасовская рожа никакого укора не выражала. А лишь желание пожрать и выпить.

— О-о! — обрадовался арестант. — Пожевать чего-нито принесли, — по-деревенски произнёс он. — Исть очень хочца, — чуть покумекав, добавил для пущей убедительности.

— Ага! Щас, Ваше превосходительство, господин портупейч. Пряма с офицерского стола возьмём пирожки, бифштекс, сыр, колбасу, кулебяку, вино, водку и тебе понесём, — на пальцах перечислил меню Аким, заметив, что слюнки потекли не только у Дубасова.

— А вы что, не из батальона идёте?

— Никак нет! Из собранской столовой Павловского полка.

— Господа-а! — заверещал молоденький корнет из окна второго этажа. — А не были бы вы так любезны и не отнесли бы записку дежурному офицеру гусарского полка. Очень обяжете меня...

— Бросайте свою записку, — раздобрился Зерендорф. — От сумы и от «губы» не зарекайся, — высказал суворовский военно-философский афоризм.

— Ребята-а! — сделал жалостливо-скорбное лицо Дубасов. — Вон «шакал» идёт, купите у него чего-нибудь... Век Бога за вас молить стану, — снова чуть подумав, выдал свежую мысль.

Разомлевший на солнышке часовой скорчил вид глухонемого инвалида Отечественной войны с Наполеоном и отвернулся.

На следующий день рыжебородый Кареев оказал юнкерам божью милость. Выписал всем, кроме дежурных и дневальных, увольнительные в городок Петербург, как он выразился, по вопросу строительства офицерской формы.

Рассосавшись по пригородному поезду, с интересом поглядывали в немытые окошки, попутно ведя умные офицерские разговоры:

— Любой гвардеец просто обязан шить мундир у поставщика Императорского двора старика Норденштрема, — отводя взоры от сельского ландшафта, ни к кому конкретно не обращаясь, произнёс Дроздовский.

— Ну да! А парадную амуницию — погоны, эполеты, портупей, перчатки, фуражки — в магазине офицерских вещей у Фокина, — проявил эрудицию Александр Колчинский.

— Особенно в Туркестанском батальоне тебе это надо, — чего-то подсчитывал Пантюхов. — Бурку, главное, приобрести. А остальную форму можно и в армейских «экономках» брать. На дорогу денег больше останется.

Выйдя из вагонов, по привычке быстро построились и установились на Зерендорфа.

— Смир-р-на! — тоже по привычке скомандовал тот и задумался.

— Господа-а! — вышел из строя Аким. — Давайте поделимся по взводам, и одни пойдут к Фокину, другие — к Норденштрему, третьи — к Савельеву... Желающие могут и в другие магазины офицерских вещей направиться. А господин Зерендорф нас только в казарму приведёт, — под хохот юнкеров высказал своё видение предмета Рубанов.

В первых числах августа юнкера провели последние свои манёвры и с нетерпением ждали производства в офицеры.

Лишь один Дубасов, отпущенный к манёврам с гауптвахты, не волновался.

Подполковник Кареев всё ему популярно объяснил, начав с крика, но постепенно перейдя на спокойный тон:

— Вот что тебе, Дубасов, без приключений не жилось, а? Послезавтра бы уже офицером стал. Причём был бы выпущен по первому разряду. У тебя и по наукам восемь баллов, а в знании строевой службы — все десять. Через три года производство в поручики бы получил. Но перед всем этим «бы» стоит. А теперь выйдешь даже не по второму разряду с производством в следующий чин через четыре года, а по третьему... Унтерюгой полгода в 145-м полку трубить будешь до производства в подпоручики. Лишние полгода выпить в своё удовольствие не сможешь, — схватился за голову Кареев. — Ужа-а-с! А Рубанов в это время будет уже мадерку попивать или водочку, — привёл главный аргумент батальонный командир, отчего вид у юнкера враз стал понурый. — Дошло теперь, что натворил?

Дубасов только безысходно кивнул головой.

Пятого августа Кареев распорядился протопить баню.

— Господа юнкера, — важно выхаживал он перед строем. — Завтра у вас великий день... Готовьтесь. Чтоб гимнастёрки были белее снега, а чехлы на фуражках белоснежные, как наволочки на подушках купчих.

«Вот и ещё один выпуск, — подумал он, — летит время на царской службе».

Утром одетый в парадную форму Кареев приказал Зерендорфу строить юнкеров.

— Баталь-о-он! Строиться-я, — привычно заорал Зерендорф. — Р-равняйсь!

День начался с молитвы. День производства в офицеры юнкеров старшего курса всех военных училищ России. Праздник юнкеров. Праздник Преображения Господня.

После молитвы высокий красавец Сергей Антонов, бледный от волнения, принял от батальонного адъютанта знамя и, печатая шаг, пошёл за адъютантом в голову батальона.

Затрещали барабаны и заиграл армейский поход училищный оркестр. Салютовали, опуская шашки, офицеры. Знамя стало на фронте первой роты.

— Баталь-о-он! Справа по отделения-ям... Арш! — чеканя шаг, строй направился к Царскому валику, у подножия которого вскоре должна начаться церемония производства в офицеры.

Неподалёку от него уже стояло несколько экипажей с приглашёнными на церемонию сановниками. Некоторые из них были с жёнами.

На валике была разбита белая царская палатка. Более двух десятков генералов о чём-то беседовали наверху, у палатки, и внизу, рядом с лесенкой с натянутыми верёвочными перилами по краям.

Какой-то маленький и толстенький, похожий на моржа усатый генерал, руководил построением училищ.

— Господа, господа, на правом фланге — пажи. Следом Николаевское кавалерийское... Командиры, стройте юнкеров в две шеренги, а то до самой Лабораторной рощи растянутся. Государь устанет ходить. Полковник, — обратился к Карееву генерал, — ваши павловцы за кавалеристами. За вами артиллеристы: Константиновское и Михайловское...

Наконец суматоха улеглась, и каре было построено.

Не успели юнкера покрутить по сторонам головами, нарушая этим действием священный строй, как усатый генерал-распорядитель закричал:

— Еду-у-т! Государь с государыней едут!

По строю пробежало волнение. Головы юнкеров и генералов повернулись в сторону Красного Села, откуда к Царскому валику несло несколько экипажей и за ними — свита на отборных лошадях.

— Смир-р-на! — раскатисто скомандовал похожий на моржа генерал.

Загремели оркестры. Юнкера затаили дыхание.

Государь пересел с белого коня и неспеша поехал вдоль фронта, здороваясь с замершими батальонами.

— Здравия желаем, Ваше Императорское Величество, — поочерёдно кричали пажи, кавалерия, пехота и артиллерия.

Затем государь вернулся к центру, спешил и произнёс:

— На русском офицере лежит необходимость жертвенного служения Отечеству, — сделал он паузу, чтоб юнкера прочувствовали смысл сказанного.

Прошло уже то время, когда молодой император краснел и стеснялся говорить. Теперь перед юнкерами стоял уверенный в себе человек и уверенно говорил:

— Долг! Честь! Родина! Вот девиз русского офицера... Вот смысл его жизни. Что такое воинская честь? — сурово осмотрел ряды замерших молодых людей. — Это верность России! Мужество против неприятеля. Храбрость и дисциплина. Армия погибла, если утеряна её Честь! И уважайте Солдата. Вы и солдаты — главные защитники России! — величественно оглядел замершие шеренги.

Юнкера застыли и, казалось, забыли от волнения дышать.

Этот невысокий человек в полковничей форме был для них центром вселенной. Скажи он им: «Умрите!» Они без раздумий умерли бы...

Перед ними стоял не просто полковник...

Перед ними стоял их Царь!

Символ России!

«Не станет Его, не станет и России», — почувствовав слезу на щеке, подумал Аким.

Он знал, был уверен, что остальные юнкера чувствуют то же самое.

А затем как-то просто и обыденно государь произнёс, чуть улыбнувшись и расслабившись:

— Господа! — замолчал на секунду.

Юнкера замерли и затаили дыхание.

— Поздравляю Вас офицерами!!!

Тишина!!!

Только жаворонок пел в чистом синем небе России.

Николай улыбнулся.

И тут началось!..

— У-р-ра!!!

Загремела музыка...

Государь пошёл к Царскому валику и улыбнулся, глядя, как царица вручает пажам приказы. Те, согласно традиции, свернув их, засовывали под погон.

Дежурный генерал-адъютант вручил стопку приказов начальнику Николаевского кавалерийского училища.

Один из флигель-адъютантов подошёл к Карееву и, о чём-то поговорив, передал ему пачку конвертов.

«Павлоны» что есть мочи орали «Ура!» и подбрасывали вверх фуражки.

Пока до них не дошло, что они ОФИЦЕРЫ.

Они знали, что приказ вышел, что они подпоручики, но пока этого не чувствовали. Тем более, что их батальонный по привычке рыкнул, видя нарушение дисциплины:

— Юнкера. Смирно! Направо-о, — и повёл их в лагерь, никаких конвертов не вручив.

Ни у кого даже мысли не возникло ослушаться. Напомнить, что мы не юнкера, а подпоручики.

И на главной линейке перед бараком Кареев не распустил своих подопечных.

— Господа! — Подпоручиками он их не назвал. Сам не при-
вык ещё. — В Петербург сегодня не поедем, — скрестив руки за спиной, ходил перед строем. — Все поезда будут забиты, — по-
глядел, как Кусков с офицерами унесли конверты с приказами в дежурную комнату. — Отдыхайте, — значительно и с лёгким подтекстом произнёс он, иронично хмыкнув, — а завтра к обе-
ду отправимся в Петербург. В училище. Там получите прика-
зы, знаки об окончании Павловского училища, офицерские 300 рублей подъёмных и моё благословение. А сейчас, господа подпоручики... — сделал паузу.

«У царя научился», — подумал Аким.

— ...Вольно. Р-разойдись.

Всё. Учёба закончилась!

В бараке потрясённые офицеры спарывали юнкерские по-
гоны с царскими вензелями, целовали их и бережно убрали, прикрепляя на их место непривычные ещё золотые офицер-
ские.

Некоторые заранее подсуетились, привезли офицерскую форму и переоделись. Но пока до них всё равно не дошло, что они — офицеры.

Тот же барак. Те же койки. И тот же командир.

— Господа! — обратился к товарищам Рубанов. — А ведь мы — **ОФИЦЕРЫ**.

Все замерли, переваривая эту мысль, катая её туда-сюда в мозгу, и вдруг заорали... Несolidно так. По-детски:

— У-у-ра-а! Офицеры-ы!

Лишь один Дубасов грустно сидел на своей койке и всё не решался отпороть свои портупей-юнкерские погоны.

— Не грусти, дружище, — хлопнул его по плечу Аким. — Мы уважаем тебя, ты наш товарищ и однокашник. А лет через десять, может, ещё обойдёшь нас в чинах. Господа! Ура Дубасо-
ву, пострадавшему за честь государевой роты.

— У-ура-а! — орали юнкера, вернее, уже подпоручики, и лез-
ли обниматься к повеселевшему старшему унтер-офицеру 145-го Охтинского пехотного полка.

Вздохнув, Дубасов тоже заорал «Ура!», сам не понимая, чему он радуется.

А потом дружно начали «отдыхать».

«Шакалы» стаями кружили вокруг лагеря, с подвывом расхваливая свой продукт. И их товар постепенно передислоцировался сначала в руки, а затем и в желудки новоиспечённых офицеров.

В этот вечер даже Зерендорф не возражал против «отдыха». Да и как возразишь — кроме Дубасова, все стали подпоручиками.

Утром проснувшаяся рота юнкеров-подпоручиков, по привычке построившись на главной линейке, не обнаружила в спянных своих рядах старшего унтер-офицера Дубасова.

Начались активные поиски.

Подошедший подлечить страждущих бравый «шакал» Иваныч, посмеиваясь, сообщил, обращаясь к Рубанову:

— Ваше высокоблагородие, — поглядел на золотые погоны, — того-этого, похоже, ваш друг на станционный буфет забрался. И ещё кто-то с ним...

— Женщина? — растерялся Аким.

— Никак нет. В мужеском обличье.

«Наверное, на дачу к Ольге пошёл, — подумал Аким. — Забыл ему сказать, что она в Питере, а Бутенёвы на воды уехали. Главу семьи лечить», — по офицерской уже дороге в компании Зерендорфа, Пантюхова и лупившего для бодрости в ротный барабан непротрезвевшего Антонова двинулись на станцию.

«Шакал» Иваныч, немного отстав, брёл за ними в расчёте, что вскоре его товар будет востребован.

Бывшие юнкера, а ныне подпоручики смело вышли на перрон, лихо козырнули в ответ жандарму, который повёл их к расположенному чуть в стороне от вокзала солидному двухэтажному буфету, с крыши которого свисали ноги в сапогах.

— Хорошо, что с ранья начальства нет, — объяснял пожилой жандарм. — А мы с понятием, сами в армии служили.

— Всё в толк не возьмут, что уже не юнкера, — вытянул руку по направлению к покатою крыше со свисавшими сапогами Рубанов. — Ба-а, да второй — граф Игнатьев, — удивился Аким. — Опять какую-нибудь дуэль придумали.

— Скорее всего, с гауптвахтой перепутали... Архитектура у зданий одинаковая, — выдвинул свою версию Антонов и бодро заколотил в барабан.

Пожилый жандарм, сдав охраняемый объект, благоразумно затерялся на станционных просторах.

— Успокойся, — остановил барабанщика Зерендорф. — А то ещё, чего доброго, маршировать там начнут. А буфет — точная копия Царского валика с палаткой, — сделал он свой фельдфе-

бельский вывод, — и даже лесенка такая же. Может, решил выпросить у государя чин поручика, — заржал он.

— Точно. Значит, оправдываться к батюшке-царю пошёл, — поддержал Зерендорфа Пантюхов, покатываясь от смеха. — Как снимать-то их будем? По пьяни русский человек куда хошь залезет, а вот слезть, да ещё с похмелья, уже проблема.

Вот тут со своим «шакальным» советом и подкатил Иваныч.

— Ваши высокоблагородия, окромя пожарных, их никто не снимет.

Новоиспечённые подпоручики поглядели в сторону каланчи, а затем на сидящих на краю карниза и во весь рот зевающих соперников.

— Не дотумкали ишшо, где находятся, — сделал правильное умозаключение Иваныч. — Айдайте до тушил провожу. А то ихний козёл злющий, как собака.

«О брандмайоре, что ли, говорит?» — согласился с Иванычем Рубанов.

Оставив Пантюхова с Антоновым развлекать «скалолазов», Зерендорф с Рубановым быстрым шагом направились к каланче.

Когда Иваныч, приоткрыв калитку, пропустил друзей и сам прошёл во двор, на них, выставив боевые рога, бросился громадный козлище с белой бородой.

Зерендорф птицей взмыл на забор, а Аким подставил ногу в сапоге под мощнейший удар бестолкового козлиного лба и впечатался спиной в затрепавшие доски забора.

«Шакал», освоивший вредный характер животного, так как иногда радовал опалённые огнём сердца тушил водочкой, кинул ему пирожок с капустой.

Бородатая нечисть, быстро его слолав, вновь стала козлиться, страдая гостей рогами.

— Кар-р-рау-у-л! — завопил «шакал», жидясь расстаться ещё с одним пирожком — продукт денег стоит — и прикидывая, куда бы сигануть от рогов упыря.

Услышав крик, временами переходящий в вой, от которого у козла побежали по хребту мурашки, на крыльцо вылез заспаный брандмейстер.

— Чего орёшь с утра? — сделал замечание «шакалу» и смачно, во всю пасть, зевнул. — Шарик, на место, — велел козлу.

К удивлению подпоручиков, рогатый убийца подчинился и ушёл досыпать в конюшню.

— Ваша помощь требуется, господин брандмейстер, — вежливо начал речь Рубанов. — У нас пожарные учения на станции проходят, надо двух человек из огня спасти.

— Чего-о? — набычился «тушила». — С утра, что ли?

Пришедший в себя «шакал» потряс лотком, в котором нежно зазвенели бутылочки под красной и белой головками.

Уловив умильный звон, пожарный поднял три пальца.
— За каждое колено выдвижной лестницы, — объяснили их роль.
— Идёт! — согласился Иваныч, жалея в душе хотя бы ещё
о двух поднятых пальцах: «Как бы славно было, ежели бы пять
флаконов взяли».

— Кто идёт? — слез с забора, но ещё не проникся темой Зе-
рендорф.

— А вы-то, господин фельдфебель, откуда взялись? — от-
считывая рубли, съязвил Рубанов. — Только без господина
скачка, — отдавая деньги, предупредил он.

Первым сняли Игнатьева. Граф всё-таки и подпоручик.

Пока он просил прощения у буфетной двери и гладил мед-
ную ручку, подали лестницу Дубасову.

Ухая и матерясь, тот спустился с небес на землю и полез об-
ниматься к своим спасителям.

Как очутились на крыше, герои не помнили.

Подошедшему армейскому капитану Зерендорф на полном
серьёзе отрапортовал, что проходят совместные учения роты
и пожарных.

Капитан поверил. Уж очень правдивый вид был у юнкеров
в офицерских погонах.

К обеду бывшая государева рота в полном составе во главе с
полковником Кареевым прибыла на станцию.

Дубасов глянул на высокое здание буфета и присвистнул,
порадившись, как сумел вчера залезть на крышу.

Эта мысль всё время, пока ехали в пригородном поезде,
штыком мосинской винтовки колола его голову.

Выгрузившись на перроне Балтийского вокзала, привычно
построились в колонну.

Знаменщик Антонов бережно вынес белое древко с золотым
копьем.

Музыканты грянули «Под знамя Павловцев мы дружно по-
спешим», и офицеры, чеканя шаг по каменной мостовой Воз-
несенского проспекта, направились к своему училищу.

Перед подъездом остановились, и Антонов, волнуясь силь-
нее первогодка, передал ему знамя. И тот с трепетом, под звуки
оркестра и треск барабанов, понёс знамя в подъезд родного
Павловского училища, которое для старшего курса стало
приятной, но перевёрнутой жизненной страницей.

Бывшие юнкера это чувствовали и потому без мальчишеско-
го задора, чинно и без шума, уступая друг другу дорогу, стали
входить в подъезд.

До вечера они находились в родных стенах училища и про-
щались с ним, обходя классы, столовую и спальную комнату.
Под роспись в журнале получили по 300 рублей, и в сафьяно-

вой коробочке каждому офицеру выдали знак об окончании училища.

Аким полюбовался небольшим золотым венком из лавровых и дубовых ветвей, увенчанных золотой императорской короной. На венок были наложены совмещённые золотые вензеля: сверху Николая Второго и под ним Павла Первого.

Поцеловав знак, он прикрепил его на левую сторону гимнастёрки.

Вечером, кто жил в Петербурге, разъехались по домам, договорившись на следующий день встретиться в ресторане.

Впереди был 28-дневный отпуск.

В ресторан Аким пошёл в белом офицерском кителе от старика Норденштрёма, с золотыми погонами на плечах и с золотым знаком на груди.

Юнкерская жизнь кончилась, начиналась офицерская.

Потом был званый ужин дома.

Отец, к зависти младшего сына, подарил Акиму офицерскую пашку.

Вытащив её из ножен, Аким полюбовался блеском стали и прикоснулся губами к лезвию.

Георгий Акимович саркастически хмыкнул. Они с супругой подарили молодому офицеру 1000 рублей.

— Весь Питер обсуждает шестое августа и как офицеры отметили этот день.

— Дядюшка, — по-взрослому ответил ему Аким, — весь Питер всегда обсуждает Татьянин день...

— О-о! Юноша... Татьянин день — это святое, — вступился за студенческий и профессорский праздник Георгий Акимович, по привычке уцепившись за печень. — Это великий праздник просвещения...

— Чего-о?! — тоже саркастически хмыкнул старший его брат. — Это праздник больной профессорской печени, — развеселил Любовь Владимировну.

Младший обидчиво замолчал, но руку с печени убрал.

Глеб с матерью, разумеется, на деньги последней преподнесли Акиму походный погребец.

Когда гости ушли, Аким с интересом рассмотрел подарок. Он даже потряс, определяя вес обитого оленьей шкурой и окованного жёстью сундучка, который был менее аршина в длину и около трёх четвертей в ширину.

— Нужная вещь, — позавидовал брат. — Когда кончу Николаевское кавалерийское, мне такой же подари.

— Размечтался, — раскрыв крышку, услышал звонкую мелодию. — Фарфоровую кошку-копилку тебе подарю, — произнёс Аким, разглядывая внутренности сундучка.

В верхнем отделении он увидел круглый походный самоварчик на четыре маленьких стакана, которые помещались рядом. Затем вытащил и повертел в руках медную кастрюльку с крышкой-сковородкой. К ней была приделана длинная железная ручка.

Но это ещё не всё!

К зависти брательника, Аким вытащил и разложил на столе мисочку для супа, две мелкие и две глубокие тарелочки.

Брат его в это время вытащил из погребца небольшой чайник и зачем-то постучал по днищу.

Аким, отстранив его, чтоб не мешал, выложил на стол сахарницу, солонку, перечницу и чернильницу.

— В неё горчицу положи, — с долей язвительности, замешпанной на зависти, посоветовал брат.

Опять его отодвинув, вынул два небольших штофа с красивыми пробками. Всё это богатство покрывалось подносом, приделанным к крышке, где было ещё прилажено зеркальце.

Не выдержав издевательств, Глеб сам нахально отстранил брата, попутно показав зеркалу язык — детство-то ещё играло, и приподнял за приделанные ушки вкладное вместилище этой роскоши, обнаружив под ним нижний отдел, где хранились два ножа и две вилки, две столовые и четыре чайные ложечки, карандаш и прекрасный перочинный ножик, который младший брат выклячил у старшего, тут же спрятав сокровище в карман.

— Вот бы подполковник Кусков возмутился, — со смешком произнёс Аким, рассматривая рядом лежащие полотенце, расчёску, бритвы, гуталин и две сапожные щётки. — Станешь юнкером, не держи вместе с тарелками сапожные щётки. Береги нервы вахмистра и мадам Светозарской. К тому же не всегда рядом может оказаться сортир, — потряс брата юнкерским юмором, — но всегда окажется наряд не в очередь.

В Рубановку этим летом семья не поехала. Какая Рубановка, когда одного сына надо одевать-обувать и готовить в гвардейские офицеры, а другого — в кавалерийские юнкера.

Как Аким не доказывал, что он взрослый уже человек и к тому же офицер, на Ирину Аркадьевну это не производило абсолютно никакого впечатления, и постройку обмундирования старшего сына она взяла в свои нежные женские руки.

Ателье и магазин Николая Ивановича Норденштрема на Невском, 46 стал родным её домом.

— А как же ты хочешь, сударь? Разве сумеешь пошить форму без материнского глаза? Николаевская шинель тебе явно длинна, — глядела то на сына в шинели, то в огромное трюмо о трёх зеркалах. И ей казалось, что в каждом зеркале шинель

другая. В одном — нормальная, в другом — длинная, в третьем — короткая.

— Мадам! — убеждал её Норденштрем. — Шинель господину офицеру в самую пору.

Кроме шинели, заказали пальто, парадный мундир, сюртук.

Затем кучер Ванятка вёз их к Фокину, где заказывали походную и парадную амуницию.

Кобуру и погоны Аким выбрал самостоятельно, но классическую гвардейскую фуражку от Фокина Ирина Аркадьевна заказала сама.

Небольшие поля фуражки должны быть в меру мягкими и немного измятыми, чтоб придать офицеру ухарский и в то же время светский вид, — просвещал их Фокин. — Я лично прослежу за её шитьём, — обещал он даме.

А самое главное — заказали знаменитую гренадёрку. Сшить её являлось целым искусством. Занимался этим опытейший мастер под пристальным наблюдением своего хозяина, который один на весь Петербург брал подряд на пошив этого архаичного головного убора, являвшегося особой гордостью чинов Павловского лейб-гвардии полка.

Даже венчавший гренадёрку помпон являлся произведением швейного искусства.

Для нижних чинов он изготовлялся из шерстяных ниток, для офицеров — из серебряной канители.

В этот день сил у Акима больше не было. Он от всей души завидовал Ванятке, который на рынке приобретёт штаны с ковороткой и фуражку без канители, вот и все дела.

«Ведь мечтал в детстве извозцом стать, чего в офицеры подался...»

Выйдя из магазина, потеряли кучера.

— Вон он, у водопойки стоит, — указал Аким на небольшое каменное здание с чугунными раковинами, из которых поили лошадей.

Сбившиеся в кучу кучера так увлеклись разговором о тороватых хозяевах и придирках полиции, что не заметили подошедшего офицера.

Увидев Акима, Ванятка быстро взгромоздился на облучок.

— Мы уже попили, Ваше благородие, — жизнерадостно сообщил он и чмокнул губами, направив экипаж к дверям магазина, где ждала хозяйка.

На следующий день ехали в обувной магазин заказывать парадные и строевые сапоги. Штилеты повседневные и на выход, лаковые и обыкновенные, что тоже отнимало уйму времени.

«Жалко Натали нет в городе, — уныло размышлял Рубанов. — С ней душой бы отдохнул от магазинной жизни».

Кроме формы и амуниции, согласно полковым правилам и традициям, о которых поведал адъютант полка, Аким заказал именной комплект из серебра: столовые и десертные ножи, вилки и ложки, а также небольшой серебряный кубок для питья. Всего семь предметов с гравировкой фамилии, имени, отчества и года выхода в полк.

Долго любовался надписью на кубке: «Рубанов А. М. — 1901 г.»

В начале сентября, договорившись с Зерендорфом, отвезли в канцелярию полка и передали Эльснеру футляры с именным серебром, получив от него «служебные билеты» для представления офицерам полка.

Не удержавшись, Аким прочёл: «Подпоручик Рубанов А. М. представляется по случаю выхода лейб-гвардии в Павловский полк».

— На другой стороне — чин, фамилия и адрес офицера, которому вы должны представиться, господа, — улыбнулся Эльснер. — Число проставите чернилами. Ничего не поделаешь, таковы правила и традиции. Штатские знакомятся, военные представляются. И вот ещё что. Этот билет полагается передавать лишь холостым офицерам. Если нет дома, отдадите денщику или прислуге. Женатым офицерам следует, кроме билета, оставлять визитную карточку для жены. Традиции, господа, — развёл он в стороны руки, словно Рубанов с Зерендорфом были не согласны и спорили. — Приказ о вашем зачислении вышел, так что визитки заведите непременно, — полез в ящик стола и вытащил свою. — Карточки, господа, отнюдь не печатные, а литографированные, — опять стал копаться в ящике стола. — Сейчас найду адрес литографии. А мою возьмите для примера, чтоб заказать такого же формата на самом дорогом картоне. Видите? Крупным шрифтом: имя, отчество, фамилия, а ниже мелким шрифтом «Л. Гв. Павловского полка». Чин указывать не полагается. На обратной стороне наш полковой герб. Павловский орёл с поднятыми крыльями и на щите мальтийский крест. Господа-а, — осенило его. — Всё повторяется... Как тогда, в Красносельском лагере в бытность вашу юнкерами, — глянул на часы. — Офицеры завтракают. Да и мне пора перекусить. Его превосходительство тоже в столовой. И господин старший полковник, а также с десятком офицеров. Им и представиться. А что ещё в отпуске, ничего страшного, — чему-то обрадовался адъютант, опять раскрыв ящик стола. — Заодно передам футляры с серебряной посудой председателю распорядительного комитета Офицерского собрания. Кстати, чтоб в

следующий раз не блуждали, заодно ознакомлю вас с расположением комнат Собраниа. Начнём с Портретного зала, господа, — провёл офицеров в обширное помещение, где на стенах висели портреты всех командиров полка за сто с лишним лет. — Обратите внимание, — с долей иронии произнёс адъютант. — Если вы совершите лёгкий неблаговидный поступок, который не разбирается на офицерском суде чести, то разбираться оный станет в этой зале. И делать внушение будет старший полковник. У нас это называется «надир плюмажа»¹⁶.

Затем через уютную гостиную с диванами и креслами вдоль стен прошли в музей. — Вот, господа, полюбуйтесь на гренадёрки, — взмахом руки указал на стеклянные шкафы с историческими головными уборами. А вот формы солдат и офицеров в различные отрезки времени. От Павла Первого и до Николая Второго. Ну ещё не раз сами сюда зайдёте, — провёл в библиотеку со шкафами красного дерева с плотными рядами книг, а затем в читалку, как назвал соседнее с библиотекой помещение Эльснер. — Это самое любимое наше помещение, — вновь обвёл вокруг себя рукой.

— Да, действительно уютная комната, — произнёс Зерендорф.

Подпоручики оглядели стоявшие у стен, как и в гостиной, диваны и кресла. Между окон находился шахматный столик. Вдоль комнаты стоял длинный дубовый стол с приставленными стульями, а на столе аккуратно лежали журналы и газеты.

— Ну всё, господа. Рядом бильярдная, а нам пора в столовую, — провёл офицеров в большую комнату с дубовыми панелями.

На окнах висели занавеси с полковым гербом. У одной, отогнув краешек, стоял невысокий полный человек в генеральской форме и, теребя обвислые седые усы, задумчиво глядел в окно, выходящее на Марсово поле.

Аким с Зерендорфом, откинув робость, чётким шагом направились к командиру полка. Зерендорф начал рапортовать первым. Сидевшие за столом офицеры встали и вытянулись во фронт.

- Ваше превосходительство, подпоручик Зерендорф имеет честь представиться по случаю выхода в лейб-гвардии Павловский полк.

Затем поочерёдно, начиная со старшего полковника, представлялись остальным офицерам. Благо, сидели они по ранжиру, как древние бояре на пиру у царя Алексея Михайловича.

¹⁶ Плюмаж — украшение из перьев на головном уборе.

Последним в этой славной когорте был не кто иной, как подпоручик Гороховодатсковский.

С трудом сдерживая улыбку, он стоял по стойке смирно и принимал рапорт.

— Господин подпоручик, ну куда от вас не деться, — шепнул ему после рапорта Аким.

За время «представления» все стояли по стойке смирно, лишь старый генерал позволил себе сесть во главе стола и смотрел на всё как бы со стороны.

Присутствующая здесь собранская прислуга, держа в руках чайники, подносы и супницы, тоже вытянулась во фронт.

Представившись офицерам, Аким с Зерендорфом сели на самый край стола, рядом с Гороховодатсковским.

Все продолжили завтрак. Прислуга поставила перед ними тарелки с гербом полка, и они тоже принялись есть.

Руки от перенесённого недавнего напряжения заметно дрожали.

Чтоб успокоиться, тихо поинтересовался у Гороховодатского:

— Амвросий Дормидонтович, а не посетить ли нам дудергофский пристанционный буфет? — на что увидел из-под белоснежной скатерти неуставную фигуру.

После завтрака старший полковник Ряснянский пригласил молодых подпоручиков в портретный зал. Закрыв дверь, Евгений Феликсович прошёлся по залу, затем подошёл к ним и произнёс:

— Господа офицеры. Лейб-гвардии Павловский полк удостоил вас высокой чести, приняв в свои ряды. Вы надели наш Павловский мундир и погоны. Неважно, сколько на них звёздочек. Важно, что вы — русские офицеры. Видите, сколько героев воспитал полк и его командиры, — обвёл взглядом портретную галерею. — И каждый из них, даже умирая, думал не о себе. Думал о России и о чести мундира. Будьте достойны их. И ещё, господа. Офицер должен уважать своего собрата, нижнего чина. Вы и солдаты — главные защитники России. Офицер служит за идею. За Бога, Царя и Отечество, а не за деньги! Военское служение носит духовный характер, ибо умирать за деньги никто не станет. Всегда помните слова Петра Первого: «Кому деньги дороже Чести — то оставь службу!» Остальное вам объяснят младшие офицеры. Они введут вас в полковую жизнь. Рубанова — подпоручик Гороховодатсковский. Зерендорфа — подпоручик Буданов. Станете их, т-э-э-к ск-э-э-ть... подведомственными. Достойной вам службы, господа. После

того как представитесь всем офицерам полка, вас ждёт «парадный обед». Но всему своё время, — вышел из зала, оставив их переваривать услышанное.

Следующие два дня, заказав визитки, ездили представляться офицерам, которых не застали в Собрании.

В первый день, надев парадную форму, представлялись старшим по чину. В основном всем офицерам полка.

— Рубанов, а не прерваться ли нам на обед, — накатавшись на извозчике и, видно, нагуляв аппетит, предложил Зерендорф. — Поехали к нам. Через два квартала мой дом. Отдохнём, пообедаем, с отцом познакомимся... Мы с ним вдвоём живём. Он меня и вынаничал, и воспитал, — глаза у Зерендорфа стали нежные и, показалось Аким, даже набухли от слёз. — Мама рано умерла. Я её даже не помню... Ни братьев, ни сестёр, ни родни у меня нет. Только отец. Он для меня ВСЁ! Как, думаю, и я для него, — остановил извозчика у подъезда кирпичного четырёхэтажного дома. — На втором этаже мы и живём. В наследство от деда четырёхкомнатная квартира досталась, — поднялись на второй этаж.

Дверь открыла пожилая прислуга в белом фартуке и чепчике на седых волосах.

— Гришенька-а, — заулыбалась старушка. — Эраст Петрович ждёт-с обедать, — пропустила их в небольшую прихожую с зеркалом во всю стену. — Здравствуйте, барин, — с достоинством поклонилась Аким. — Давайте ваши фуражки, господа.

Глядя на старенькую прислугу, на то, как неловко она себя чувствует, Рубанов понял, что гости здесь бывают редко, если вообще бывают.

На звук голосов в проёме двери показался и сам хозяин дома.

Увидев моложавого, прямого и подтянутого мужчину в пехотной форме с полковничьими погонами, Аким по привычке вытянулся во фронт.

— Вольно, вольно, господа подпоручики, — приятным баритоном произнёс он, смакуя слово «подпоручики». — Мойте руки, и прошу за стол, — махнул рукой в сторону комнаты. — Зинаида, поставь, пожалуйста, ещё один прибор.

Было видно, что моложавый полковник рад гостю. Рад, что у сына появился друг. Рад, что сын стал офицером. Рад, что он попал в лучший гвардейский полк. Рад тому, что он у него есть, его единственный, любимый сын.

За обедом Эраст Петрович с удовольствием слушал молодёжь. От души смеялся, когда Григорий рассказал, как они перепутали квартиры и по ошибке представились какому-то чиновнику из департамента почты и телеграфов, недоумевая, чего это «капитан» какой-то небритый, расхристанный и пахнет луком.

Прощаясь, полковник с чувством пожал Акиму руку, приглашая без стеснения посещать их холостяцкую берлогу.

Рубанов пообещал, заметив, как чопорная старушка обиделась за «берлогу».

— Замечательный у тебя отец, — когда вышли, похвалил Эраста Петровича Аким. — Простой и хлебосольный, — обратил внимание, как зарделся от удовольствия его друг.

Они чётко козырнули проходящему подполковнику и остановили извозчика.

Акима тоже всё радовало сегодня. И солнечный день, и голубое небо, и то, что им надо «представляться», и особенно худосочный обладатель визгливого голоса, достопочтенный Григорий Эрастович.

На следующий день объехали равных по чину. Всего несколько человек.

Пятнадцатого сентября лейб-гвардии Павловский полк давал грандиозный «парадный обед» по случаю принятия в свои стройные ряды двух подпоручиков, которые отныне стали не «павлонами», а павловцами.

Волнуясь, в полной парадной форме, держа гренадёрки, согласно уставу, в левой руке, а с правой сняв белые перчатки, они вошли в сияющую от света люстр собранскую столовую, и остановились в дверях, не зная, что делать дальше.

К огромному удивлению, строевым шагом к ним подошли Буданов с Гороховодатсковским и, серьёзно глядя на их удивлённые физиономии, отсалютовали шашками.

Они в недоумении и растерянности вытянулись во фрунт.

Встав по бокам и повернувшись кругом, подпоручики замерли, держа шашки «под высь».

В эту минуту сидевшие за парадно накрытым столом офицеры полка дружно поднялись и вытянулись во фрунт. С хоров грянул полковой марш.

На этот раз, пряча добрую ухмылку в седых усах, даже генерал Троцкий вытянулся по стойке смирно, приветствуя принятых в полковую семью офицеров.

Как отыграли марш, все сели. Подпоручики убрали шашки в ножны, а к ним подошёл старший полковник и дружески пожал руки, усадив затем на почётные места в центре стола, уставленного серебряными блюдами, братинами, графинами с вином и водкой. Стол ломился от закуски. Собранские повара постарались на славу. Два служителя разложили перед ними серебряные приборы с их вензелями.

Отстегнув шашки, Гороховодатсковский с Будановым отдали их служителям и сели рядом.

— Господа офицеры! — поднялся генерал с фужером шампанского. — Предлагаю тост за будущее Павловского лейб-гвардии полка. За тех, кто примет из рук ветеранов священное полковое знамя. За молодых подпоручиков, господа!

Офицеры поднялись и стоя выпили шампанское.

Оркестр на хорах грянул туш.

За стульями расположились те самые два служителя, что раскладывали серебро, и по знаку полковника налили в гравированные кубки принятых в полк офицеров водку.

— Господин подпоручик, — зашептал Аким Зерендорфу, — по-моему, утро мы встретим на крыше казармы, — указал глазами на кубки.

Офицеры посмеивались. В их руках были маленькие рюмочки.

На этот раз поднялся старший полковник Ряснянский и хоть служил в пехоте оседлал своего любимого павловского конька.

— Господа! — окинул взглядом ровный ряд гренадёрок на столе, находящихся по левую руку от каждого офицера. — Александр Первый, видно, для «однообразной красоты» строя гвардейских полков заменил наши заслуженные гренадёрки на вульгарные кивера.

Офицеры укоряюще покачали головами.

— Однажды, — держа перед собой рюмочку с водкой и глядя на юных подпоручиков, продолжил полковник, — император спросил стоящего на часах гренадёра Павловского полка Леонтия Тропина: «Что, покойнее ли новые кивера шапок?» «Так точно, Ваше Величество, покойней», — ответил солдат, — «да только в старых шапках неприятель нас знал и боялся, а к киверам ещё придётся приучать его». Императору ответ понравился, и он тут же распорядился вернуть полку гренадёрки, — любовно глянул на ровный ряд головных уборов. — Рядовой получил унтер-офицерский чин, сто рублей и право первым приветствовать царя при появлении его перед строем. Полк же вновь надел гренадёрки, что «знали и боялись» турки. За отличие в войне с ними, в 1878 году гренадёрские шапки украсили Андреевская звезда и знак с надписью «За Горный Дубняк 12 октября 1878 года». Скоро отметим парадным обедом и эту славную дату. А пока — за подпоручиков, удостоившихся чести носить эти славные головные уборы... И чтоб благодаря их храбрости Николай Второй украсил гренадёрки георгиевской лентой с подобающей надписью. Ур-р-а-а, господа!

— Ур-ра-а! — поднявшись, дружно закричали офицеры и опорожнили рюмки.

Оркестр бодро заиграл туш, а Аким с Зерендорфом, поднапрягшись, выпили из кубков за будущие героические дела.

— Господа! — поднялся адъютант полка. — Позвольте от вашего имени, — обратился он к офицерам, — подарить подпоручикам по книге штабс-капитана Гоувальта с историей Павловского полка.

Все дружно зааплодировали.

Подойдя к Рубанову с Зерендорфом, поручик Эльснер протянул им по роскошному тому.

— Здесь, господа подпоручики, подписи всех офицеров полка во главе с генералом.

Оркестр заиграл туш. Все опять выпили. Офицеры — вино, подпоручики — водку. Правда, не из кубка, а из рюмки.

На этом сюрпризы не кончились. Испарившиеся, словно джинны, Буданов с Гороховодатсковским возникли в дверях, неся перед собой серебряные подносы с чем-то непонятным, накрытым белоснежной салфеткой с вензелем полка.

Торжественно поставив подносы перед молодежью, они замерли, встав по стойке смирно.

По взмаху старшего полковника духовой оркестр грянул марш полка, а Аким с Зерендорфом по команде подпоручиков сдёрнули салфетки, увидев на серебряных подносах боевые офицерские наганы образца 1895 года.

— Это ваше личное оружие, господа, — поднялся генерал. — В барабане семь боевых патронов. За каждый пить не будем. Выпьем за офицерское оружие.

Язвительно ухмыляясь, двое "чертей" из собранской прислуги, по знаку командира полка, вновь налили молодым подпоручикам в кубки.

Многие офицеры с интересом поглядывали на новых товарищей.

Выпив, Аким сел на своё место и уставился на Зерендорфа. Тот держался молодцом. Закусив, сфокусировал взгляд на лице генерала, собрав три его головы в одну. И вовремя. Так как Троцкий, в полной тишине, направился к подпоручикам, держа перед собой две небольшие коробочки.

Молодые офицеры постарались бодро встать во фрунт. Это у них получилось. Даже не качались.

Троцкий одобрительно улыбнулся и передал им коробочки.

— Господа! — Вы, как и все офицеры полка, удостоены Юбилейного знака Шефа.

После его слов оркестр привычно грянул туш.

После туша генерал продолжил:

— Знак установлен в память 25-летия постановки в строй Великого князя Николая Александровича, сейчас — императо-

ра Николая Второго, — по-юнкерски развернувшись, ушёл на своё место во главе стола.

С любопытством открыв коробочку, Аким достал Юбилейный знак и полюбовался на золотой вензель государя под императорской короной. Вензель был обвит голубой Андреевской лентой с цифрами лет по краям. На одной стороне — 1876. На другой — 1901. И римская 25 на белой эмали.

Головы у вновь принятых в полк предательски кружилась. — Держитесь, подпоручик, — шепнул Гороховодатсковский. — Представьте, что вы в Красносельском лагере, — подбадривал он Рубанова. — Там-то не меньше, полагаю, пили. И ничего. Нельзя терять марку...

Поздним вечером Акима с Гришкой Зерендорфом под белы рученьки собранские служители увели в зелёную гостиную и уложили на зелёные диваны.

Здесь уже спали два павловца, не сумевшие добраться до своих квартир в казармах.

К удивлению Рубанова, утреннее пробуждение было лёгким и приятным, голова ни капельки не болела.

Вспомнив вчерашний день и парадный обед, он довольно усмехнулся: "Теперь я полноценный офицер лейб-гвардии Павловского полка".

Двух вчерашних офицеров в гостиной уже не было. Лишь принявший цвет гостиной Зерендорф, приоткрыв рот, храпел переливами павловского марша.

Только Аким хотел, вспомнив молодость, заорать ему на ухо: «Подъё-ё-м!», как в гостиную вошли бодрые, будто и не было парадного обеда, наставники.

— Как говорит полковник Ряснянский: пить пей, а службу разумей, — менторским тоном произнёс Гороховодатсковский и улыбнулся. — Фельдфебель Зерендо-о-рф, — опередив Рубанова, заорал он. — Подъё-ё-м!

И оба пришедших подпоручика благожелательно наблюдали, как зелёный Зерендорф сначала упал, запутавшись в одеяле, затем отдал честь отражению Буданова в зеркале. Извинившись перед отражением, отдал честь Рубанову, сплюнул и вытянулся перед Гороховодатсковским.

Услышав их хохот и осознав нынешний свой чин, устало плюхнулся на насмешливо скрипнувший, как ему показалось, диван.

— Господа. Умывайтесь и идёте пить чай. Народ-то уже на службе, и нам пора.

После чая подпоручики повели своих подопечных в канцелярию.

Несколько помятый Эльснер пожал всем руки и, тяжело вздохнув, раскрыл толстенный грессбук.

— Господа вновь испечённые павловцы, — пробовал он шутить, но лицо было страдальческое. — Распишитесь в журнале.

— Господин поручик, — отчего-то повеселел Буданов, почесав бритую губу, — как мой бывший наставник, вы не должны терять высокую марку полка и даже с простреленной головой обязаны весело улыбаться, обмахиваясь гренадёркой.

— Поговорите ещё, господин подпоручик, — полковой адъютант улыбнулся. — Чувствуется высокая школа наставника, — повеселел он. — Не знаю, придёт генерал или нет... А то бы сейчас чайку с ромом... Вы ничего не слышали, «павлоны», — дружелюбно буркнул молодёжи.

«Похоже, офицеры окончательно приняли нас в свою семью», — подумал Аким и расписался в журнале.

— Вы, Рубанов, назначены младшим офицером в 1-ю роту, 1-го батальона, к капитану Лебедеву Александру Ивановичу. А вы, Зерендорф, — подождет, пока тот распишется, — во 2-ю роту 1-го батальона, под начало капитана Васильева Павла Григорьевича. Ваши славные наставники имеют честь служить именно в этих ротах. Ну а вы, молодёжь, за ними, как ниточка за иголочкой, — отпустил всех взмахом руки, приложив её потом ко лбу.

— Старее адъютант, — когда вышли из канцелярии, хохотнул Буданов. — Раньше быка мог перепить и даже старшего полковника Ряснянского, который имеет свойство пить и не пьянеть. Волшебная гренадёрка, что ли, у него, — рассмешил компанию.

— Господа, пройдёте в библиотеку, там сейчас никого нет, и продолжим беседу, — отсмеявшись, предложил Гороховодатковский.

Расположившись в мягких креслах, офицеры солидно помолчали.

Откашлявшись, Гороховодатковский взял слово:

— Как вы знаете, ещё с юнкерских времён Императорская Российская гвардия является крупнейшей из всех европейских гвардий. В неё входят три пехотные и две кавалерийские дивизии. Стрелковая и Отдельная кавалерийская бригады и артиллерийские части.

— А мы относимся ко 2-й гвардейской пехотной бригаде, 2-й гвардейской пехотной дивизии, — перебил его Буданов. — В нашу бригаду входят лейб-гвардии Павловский Его Величества полк и лейб-гвардии Финляндский. Первая гвардейская бригада нашей дивизии состоит из лейб-гвардии Московского и лейб-гвардии Гренадёрского полков. Официальный адрес нашей дислокации:

Санкт-Петербург, Марсово поле, 1. Дворец, а не казарма. Ознакомьтесь ещё. Три тысячи человек поместиться может. Центр второго и третьего этажей занимает церковь полка во имя Благоверного Великого князя Александра Невского, — встав, перекрестился Буданов.

Его примеру последовали и все присутствующие.

— До девятисот человек вмещает, — хвастливым голосом, будто он возвёл эту церковь, произнёс Гороховодатсковский.

— Священником там служит отец Владимир Зайцев. Собрал прекрасный хор певчих, — уточнил Буданов. — После вступительной лекции пройдем к нему, — улыбнулся он. — Помолиться за удачную службу обязательно надо. В церкви к тому же хранятся старые знамена полка. Полюбопытствуете.

— Младших офицеров, нас то есть, — развёл руками Гороховодатсковский, — называют субалтерн-офицерами, но согласно гвардейской традиции, всех офицеров гвардии нижние чины величают «Ваше высокоблагородие», хотя мы относимся лишь к «благородиям». Солдат в полк стараются набрать курносых. Блондинов или рыжих. И ростом, в отличие от других гвардейских полков, они невысоки, каким был император Павел. Петлицы на шинелях наших солдат белые, а погоны красные.

— Да, господа. Чуть позже адъютант полка покажет ваши комнаты. Кроме церкви, на втором и третьем этажах находятся квартиры господ офицеров, — произнёс Буданов. — Кстати, во дворе оборудована конюшня на полсотни стойл. Так что вам тоже предстоит приобрести по лошадке, — отчего-то иронично хмыкнул Гороховодатсковский. — У меня с этим связаны не очень приятные воспоминания, — хотел поделиться с друзьями, но не успел, так как в библиотеку вошёл старший полковник Ряснянский.

— Вот вы где. Вольно. Садитесь, садитесь. Не на плацу находимся а, тэ-э-к скэ-эть, в приюте муз и вдохновений...

— Позвольте с вами не согласиться, господин полковник. Приют муз и вдохновений — это собранская столовая, — стал спорить Буданов.

— Тогда уж портретный зал, — нахмурился полковник. — Вот надеру тебе там плюмаж, поймёшь тогда... Разъяснили молодёжи, какие увеселительные места они имеют право посещать, а от каких должны бежать, как чёрт от ладана?

— Или, точнее, как гвардеец от командующего Санкт-Петербургским округом Великого князя Владимира Александровича, — опять стал спорить со старшим полковником Буданов.

— Не богохульствуй, сы-ы-н мой, — улыбнулся Ряснянский. — Хотя ты и прав. Так вот. Первая заповедь гвардейца, — поднял вверх указательный палец, дабы сконцентрировать внимание подчинённых, — досконально знать места, где дозво-

ляется бывать офицеру, — внимательно оглядел присутствующих. — К вам, господин подпоручик Буданов, это тоже относится. До меня дошли сведения, что вас видели в ресторане «Донон» с какой-то фривольной дамой, — сурово окинул взглядом поднявшегося из кресла офицера. — Спасибо, что источник не вызывает доверия, милостиво разрешил сесть Буданову, — а то бы не миновать аудиенции в портретном зале. Гвардейскому офицеру, согласно традиции, разрешается посещать рестораны «Донон», «Кюба», «Медведь» и «Контан», где, заняв столик, непременно следует заказать «флакон» или «вино». Так brave гвардейцы называют шампанское, — выдержал поучительную паузу, окинув взглядом всех без исключения подпоручиков. — А вот господин Буданов...

— Неправда, господин полковник, — выскочил из кресла, будто пробка из «флакона», Буданов. — Поклёп и каверзы лейб-гвардии гусарского полка. Водку я заказал после шампанского, — покраснел подпоручик.

— Да-а. На лгуне шапка-гренадёрка гори-и-т, — сделал глубокомысленный вывод полковник.

— Просто подкладка у неё красного цвета, — патетически воскликнул Буданов. — А назвать честного офицера лгуном — верх неприличия и даже вызов, брошенный ему в лицо.

— Заметьте, подпоручик, вы сами про водку сказали, — загоготал Ряснянский, — а я хотел лишь поставить вас в пример. А этот «шампусик» там стоит двенадцать целковых, а у нас в собрании — лишь шесть, — уточнил он. — Вот именно поэтому его и следует заказывать... И пить гвардейцу-павловцу следует не абы какое шампанское, а желательно лирическое «Вдова Клико». Также господам офицерам запрещается посещать частные клубы, где производится азартная игра. Категорически не дозволено пить даже шампанское в таких петербургских харчевнях, как, например, «Варьете», что на Фонтанке, 81. Это безобразный зимний кафешантан. Один мой друг, грузинский князь, называет его «кафе-шайтан». Половину своего имения на певичек потратил. А ещё опаснее другое злчное место... «Кафе-де-Пари», что под Пассажем на Невском проспекте.

— А отчего, Евгений Феликсович, вы так хорошо знаете их адреса? — вновь полез в бутылку неугомонный правдолюбец Буданов.

— Это оттого, что я на своей дублёной шкуре испытал всю грязь этих притонов, чтоб впредь предостеречь безвинную, словно воробышки, наивную гвардейскую молодёжь. Портретный зал — вон он, рядом, — произвольно кивнул головой Ряснянский. — Все эти варьете приравняются к трактирам, чайным, придорожным пивным, кухмистерским и даже к

буфетам третьего класса на станциях железных дорог, куда могут входить только грузчики и юнкера Павловского военного училища. В качестве гостей господам офицерам разрешается посещать Императорский яхт-клуб, Английский клуб, Дворянское собрание, Театральный клуб и несколько других. Но вступать в число членов частных клубов без разрешения начальства, — ткнул себя пальцем в грудь, — офицерам категорически запрещено. Лучше в тире постреляйте, — уходя, дал командирский совет.

— Наш полковник, конечно, офицер всякой неуставной гражданской нечисти неприкосновенный, но всё же следует помолиться в церкви, дабы сохранить в целости плюмаж и погоны, — вновь встал в оппозицию к своему старшему офицеру Буданов.

Юные подпоручики задумчиво уставились на него, переваривая услышанное.

— Гм! — глубокомысленно кашлянул всё уже «переваривший» Гороховодатсковский, с иронией глянув на приятеля. — От господина полковника ничего не утаишь и не скроешь... Особенно кафешантан с певичками.

— Охо-хо! — немного покраснев, изрёк Буданов. — Гиблое дело — с пауками в прятки играть, — ввёл всех, включая и Гороховодатсковского, в задумчивое настроение своей философской сентенцией. — Это он ещё не знает, что некий Тумпаков арендовал Измайловский сад у Тарасовых и построил там каменный театр с застеклённой верандой. Говорят, будет французское варьете. Коли Ряснянский не запретил, следует посетить сие богоугодное заведение под кодовым названием «Буфф».

— Это позже, господа. А сейчас в другое богоугодное заведение — в церковь, — внёс предложение Гороховодатсковский.

Рубанов с Зерендорфом права голоса пока не имели. В огромной полковой церкви народу было немного. Время служебное. Батюшка одиноко стоял у иконы Благоверного князя Александра Невского и молился: "Отец Владимир, — покашляв для приличия, обратился к священнику Буданов. — Пришли за благословением и напутствием для молодых офицеров. Подпоручики Зерендорф и Рубанов. Новые наши сослуживцы". Отец Владимир, сощурив глаза, внимательно оглядел павловцев и улыбнулся: "В лейб-гвардии Павловском полку офицеры за грех считают лишь отсутствие храбрости.

Всё остальное у них — добродетель, — протянул руку для поцелуя пришедшим. — Шучу. А если серьёзно, всю жизнь помните, господа офицеры, что Россия, Русь — есть государство народа русского, к которому относятся православные Белой Руси и Малороссии, — зажёл от огонька свечи другую и поставил пе-

ред образом Благоверного князя. - Тысячу лет русский народ хранил и оберегал свою Веру и Державу. А Церковь Православная тысячу лет поддерживала и ковала державный дух русского патриотизма, — перекрестился на икону Александра Невского. С Церковью Православной Народ наш ДЕРЖИТ Государство Русское, отстаивает Отечество от Зла и Порабощения. Пока мы Верим, мы Непобедимы. Мечом и Верой защищаем мы Святую Русь. Вера Православная — вот корень Русской Державности. Потому-то враги и ополчились на Церковь. Они знают, что мечом Русь не покорить. Погубить её можно лишь Безверием. Вот потому и пляшут в церквях дети Сатаны, вот потому и чернят они Святую Веру, дабы ослабить народ Русский и поработить его с помощью безверия, злата и смуты. Тысячи и тысячи ратников русских, тысячу лет идут на смерть за Веру и Отечество. Мы их не помним, но их помнит Бог. Ими жива Россия, любимая Держава наша. Не надо стесняться любить свою Родину, господ офицеры. И если выпадет вам судьба отдать жизнь за Святую Русь, то отдайте её, как отдавали бесчисленные предки ваши, положившие души свои за Веру, Царя и Отечество.

А с иконы сурово смотрел на них Благоверный Князь, защитивший Русь от тевтонов.

И горели огоньки свечей, растворяясь в тёмной глубине церкви. И то ли от всей обстановки, от икон и старых полковых знамён, под сенью которых сражались и умирали солдаты и офицеры Павловского полка, на глазах Акима выступили слёзы, замутив огоньки свечей и увеличив их количество. И ему показалось, что горят не свечи, а светятся души воинов, положивших жизни свои за братьев своих, за Россию и за него, Акима Рубанова. А если придёт такое время, что понадобится его жизнь... Он без раздумий отдаст её. И засветится в этом храме, среди сонма других свечей ещё одна маленькая свеча...



В один из выпавших выходных Рубанов с Зерендорфом надумали навестить Дубасова. Наняв извозчика, направились на Малую Охту.

Сентябрьский день выдался на удивление тёплым, и офицеры надели фуражки и белые летние кители, украсив их двумя юбилейными знаками: об окончании ПВУ и 25 лет постановки в полк Великого князя Николая Александровича.

— Да-а! — рисуясь бравым своим видом и делая устало-пре-сыщенное лицо, когда проезжали мимо симпатичной белешвейки или модистки, глубокомысленно произнёс Рубанов.

Зерендорф, не дождавшись продолжения речи, сложил руки на эфесе пашки, накрыл их подбородком и сладко зажму-

рился, напомнив Акиму сытого кошана, отчего он даже хихикнул, утратив на минуту свой надменный и пресыщенный вид.

— Чего? — приоткрыв правый глаз, блаженно щурился на него приятель.

— Вспомнил слова императора Николая Первого о сегодняшнем деньке.

Зерендорф заинтересованно раскрыл второй глаз и поднял подбородок.

— И чего он сказал? — задал вопрос, вновь не дождавшись продолжения, ибо в этот момент Аким напустил на лицо пресыщенный вид всё познавшего ловеласа перед молоденькой гувернанткой.

— Что с тобой? — забеспокоился Зерендорф. — Ты, часом, не заболел?

— Никак нет, господин подпоручик, — посмаковал на губах офицерский чин. Ведь у него был такой же. — Вон той смазливенькой субретке¹⁷ голову кружу.

— Хе! — язвительно хмыкнул Зерендорф. — Вон той гуверняшке?! — оглянулся назад. — Таким выражением лица ты только сестру милосердия сможешь заинтересовать, — заржал скверным, унтер-офицерским смехом. — А чего император-то сказал? — отсмеявшись, вознамерился узнать истину.

— Какой император? Ах, да! Стояла лейб-гвардии петербургская осень.

— По-моему, он о Петергофе говорил, — тоже вспомнил слова Николая Первого Зерендорф.

За разговорами незаметно добрались до трёхэтажных каменных казарм 145-го Новочеркасского пехотного полка.

— Господа, прибыли, — подтвердил извозчик. — Вот Новочеркасская улица, а вот полковые казармы Охтинского полка. Хотitia, провезу вас дальше, через малоохтинские огорыды...

— Никуда дальше нас везти не надо, особенно на огорыды, — вылез из коляски и размял ноги Рубанов. — Жди здесь, — постучал в закрытую калитку. — Надеюсь, боевого козла у них нет, как у пожарных в Дудергофе.

— И часового тоже, — выбрался на мостовую Зерендорф.

— Да, наверное, с Дубасовым водку кушает, заколотил сапогом в створу ворот.

Калитка тут же распахнулась и, пуча от усердия службы глаза, появился часовой, распространяя вдоль славной Новочеркасской улицы, до самых огородов, подозрительный запах пшеничной водочки.

¹⁷ Субретка — бойкая, проказливая служанка, посвящённая в секреты госпожи.

— Что, рядовой, закусить не успел? — строго зарокотал Зерендорф, с удовольствием оглядев враз побледневшего и вытянувшегося во фрунт часового.

— Никак нет! — единым махом отмёл все подозрения, стараясь по возможности дышать в сторону Петербурга, рассудив, что таких, как он, там много.

Через пару минут вслед за часовым из калитки вынырнул не кто иной, как унтер-офицер Дубасов. Этот чего-то жевал, но всё равно распространял тот же запах, что и часовой.

— Портянку следует жевать, чтоб духман отбить, — улыбаясь, дал доброжелательный фельдфебельский совет Зерендорф.

— Лёгко на помине, — радостно загоготал Рубанов. — Значит, скоро офицером станешь.

Но обняться с другом не успел, ибо из калитки, словно из волшебного сундучка, выпрыгнул подпоручик и зло уставился на Дубасова. Однако увидев гвардейских офицеров, задумался и первый отдал честь, хотя по выпуску был года на два или три старше.

Но честь отдал коряво, даже не подумав встать во фрунт.

По училищной привычке Рубанов с Зерендорфом с шиком козырнули, чем привели пехотного подпоручика в смятение.

«Вот так-то, пехтура, хоть ты и старше нас, а гвардейский подпоручик считается на чин выше армейского», — подумали друзья.

Мысленно восхитившись товарищами, Дубасов вытянул руки по швам, не отдавая чести, так как головного убора на буйной его головушке даже при пристальном внимании не наблюдалось.

«Где-то посеял, — сдерживая смех, сжал губы Рубанов, — наверное, на малоохтинских огородах».

— Господин подпоручик, — между тем взял быка за рога практичный Зерендорф. — Мы хотели бы от лица лейб-гвардии Павловского полка просить вас об исходатайствовании у ротного командира увольнительного билета до завтрашнего утра для унтер-офицера Дубасова.

«Ого! Ловко загнул», — с уважением глянул на друга Аким.

Видно, те же мысли ворочались в тугой голове Дубасова.

Неожиданно армейский подпоручик повеселел.

«Обрадовался, кислая шерсть, что гвардейцы просят», — с гвардейским гонором глянул на пехтуру Рубанов.

— Ну раз ходатайствуете за унтера, — постарался изобразить высокомерие подпоручик, — попрошу ротного командира, — на этот раз чётко козырнул он, ловко — знай, мол, охтинцев, повернулся кругом и, печатая шаг, потопал к калитке, попутно показав часовому кулак.

«Этого следует взгреть — не пей на посту», — осудил нарушителя Зерендорф.

Рубанов мысленно был с ним солидарен.

Через полчаса, с трудом разместившись в просторной коляске, ехали в центр столицы, а значит, и России.

Дубасов раздобыл уже головной убор и любовался увольнительной.

— Как хорошо, что государь дуэли разрешил, — наконец выдал он мысль. — Я даже дату записал. Пожалуйста, если интересно, — бросил взгляд на друзей, но не заметил даже малейшего интереса в их глазах. — Закон о дуэлях от 20 мая 1894 года, — постарался поразить их своей эрудицией и с плохо скрываемой завистью оглядел офицерскую форму товарищей.

— По флюгерам стрелять меньше надо, — заметил его алчущий взгляд Аким.

— И по графьям тоже, — поддержал однополчанина Зерендорф. — А чего о дуэлях-то заговорил? — неожиданно заинтересовался он темой. — Игнатьев ближайшие полгода стреляться с тобой не станет, да ещё лечь и отжаться заставит.

Представив такую картину, сначала прыснул в ладошку, а после закатился полноценным фельдфебельским смехом. — Не поглядит, что вместе на крыше буфета ночевали-и, о-о-й, не могу-у, — прикусил язык на кочке и враз остепенился, вспомнив, что офицер и гвардеец. — Пардон, месье, — на всякий случай извинился, стерев платком слёзы веселья.

— Дуэли давешний подпоручик боится, тот самый, что увольнительную принёс. А ты, Зерендорф, бываешь удивительно невежлив, — убрал в карман увольнительную Дубасов. — С графом стреляться не собираюсь. Как-то по старой памяти ушёл в самоход и встретился с Ольгой, — замолчал, увидев, что друзья заинтересовались. После театральной паузы продолжил: — Даже глядеть на меня не хочет: «Я что, унтер-офицершей стану? С ума не сходи», — в голос орала она. Вот и влюбяйся в дам после этого, — обиженно засопел Дубасов.

— Видишь, как вышло... — нравоучительно произнёс Рубанов. — А ты в Финляндском полку флюгер по её милости сгубил...

— И пчелу угробил, — добавил Зерендорф, вновь задохнувшись от смеха.

— Да что ты по Ольге сохнешь? Вспомни, какие амазонки в Дудергофском озере плескались, — вновь менторским тоном произнёс Аким.

— Кто плескался? — удивился Дубасов.

— Прекрасные наяды Поля и Варя.

К его удивлению, друг надолго задумался, наморщив лоб, что показывало небывалую работу ума.

— Вот только имена у них, наяд дудергофских, что-то не того, — выразил свою точку зрения Зерендорф.

— По-ли-на-а! — по слогам произнёс Дубасов. — Действительно. Не совсем благозвучно в сравнении с Ольгой.

— Тогда на Варьке женись! — тут же внёс предложение Аким. — И плавать хорошо, и голос звонкий. Вместе песни будете петь... А какой горластый сынок родится, — вновь ввёл в задумчивость одного и развеселил другого.

— Т-только тебе надо в 6-й туркестанский батальон, — вытирая мокрым уже платком глаза сумел произнести Гришка Зерендорф. Реверса-то у тебя нет. О-ох, не к добру смеюсь, — сделал он вывод из безобразного своего веселья и сразу принял подобающий военному человеку серьёзный вид.

— Господа! — покаянным голосом, стыдливо пряча глаза, промолвил Дубасов. — Пока вы заказывали офицерскую форму, я от тоски и безысходности заказал статский костюм и цилиндр.

— Чего-о? — хором спросили подпоручики.

— Цилиндр! — уныло произнёс Григорий.

— Это гражданский фуражка такой, — с кавказским акцентом расшифровал дубасовскую вещь Рубанов, — на голова надевается, — для совсем непонятливых добавил он.

— А ещё костюм тройку с жилетом, лаковые штиблеты и трость с серебряным набалдашником, — перечислил предметы, показывающие всю глубину его падения. — Ну не в унтерской же форме я в ресторан пойдё, — горестно возопил он.

— Чего орёшь, как трагик на сцене. Правильно сделал, — поддержал товарища Аким, укоризненно глянув на вновь утравшего солидный вид Зерендорфа.

— Господа, давайте, как Виктор переоденется в цилиндр и вместо пашки возьмёт трость с набалдашником, — приснул сквозь губы Зерендорф, — поедемте ко мне обедать, а то до ресторана нескоро ещё доберёмся...

— Ну как статский вид? — переодевшись, вышел к друзьям Дубасов, картинно опираясь на трость.

— Ну вылитая статская штафирка, — дружелюбно оглядел товарища Зерендорф.

— Так бы и дал в морду! — заржав, продолжил его мысль Дубасов.

В предчувствии веселья настроение его явно улучшилось. К тому же он понял, что товарищи любят его и с помощью солдатского юмора хотят подбодрить.

— Ну-у формяга не от Норденштрема, конечно, однако выглядишь неплохо, — высказал своё мнение Рубанов. — На титуляшку потянешь...

— А вот оскорблять не надо, — обиделся много уже вытерпевший Дубасов.

— Какое это оскорбление? Титулярный советник, по табели о рангах, чин 9-го класса. Равен армейскому капитану или ротмистру в кавалерии.

— Или гвардейскому поручику, — проявил эрудицию Гришка Зерендорф.

— А армейский поручик — это, когда ты им ещё станешь, и вовсе относится к 12-му классу.

— По гражданским чинам — это губернский секретарь.

— Нет сейчас такого гражданского чина, — стал спорить Рубанов. — Вот когда мы учились с Головорезом в гимназии, то старичок-попечитель тебе бы подтвердил, что данный чин отменили.

— Да хватит вам, — вспомнив, что был Головорезом, повеселел Дубасов. — Плевать на этих секретарей. Дома, как нарочно, ни отца с матушкой, ни брата.

— Ясное дело, свалился, как снег на голову. Поехали ко мне обедать, — вновь пригласил друзей Зерендорф.

— Или ко мне, — предложил Аким.

— Не-е! Твой папá начнёт воспитывать. А Зерендорф-старший меня не знает. Так что лучше к нему, — взял управление в свои руки Дубасов. — А потом мечтаю в сад «Буфф» попасть. Слышал от своего подпоручика, что сегодня закрытие. Повеселимся-я... — радостно потёр руки, чем вызвал поздравление бывшего фельдфебеля Зерендорфа.

В сад «Буфф» попали в 6 часов вечера. Купив за 40 копеек билеты, прошли под аркой с гирляндами вслед за музыкантами военного оркестра гвардейских стрелков, бодро промаршировавших к оркестровой раковине в глубине сада.

— О-ох, любят гвардейцы выпендрёж, — одобрительно поглядел вслед стрелкам Дубасов. — Даже рядовой состав. Прохладно, а они в одних малиновых рубахах пришли. Явно на водочный согрев от Тумпакова рассчитывают.

— Зато в барашковых шапочках. Видно, головы зябнут, — хохотнул Зерендорф.

— Они их и летом не снимают. Гордость полка, как у нас гренадёрки, а у 145-го Новочеркасского — цилиндры, — тоже хохотнул Аким.

— Ну стану я офицером... — взъярился Дубасов. — Всех на дуэль вызову.

— А вон и флюгер с цифрами 1901, — указал пальцем Зерендорф. — Заманчивая вещица.

— Это год открытия сада, — уже миролюбиво произнёс Дубасов. — Тот самый часовой, которого вы сегодня имели честь наблюдать, с одного села с Тумпаковым, — залюбовался громадным цветником в основном из искусственных цветов — живые давно завяли.

В этот момент замаскированные среди цветов зажглись электрические лампочки. Весь сад засиял электричеством.

Публика, состоящая в столь ранний час в основном из небогатых студентов и мелких чиновников с дамами, заплодировала.

— Мужиков в косоворотках, русских сапогах и картузах бывший крестьянин Тумпакow велел не пускать, — доложил знаток садовых правил, Дубасов.

— А ежели они в цилиндрах? — озаботился судьбой мужиков Аким.

— Что дамы, что мужчины, все должны быть в шляпах, — пропустил подковырку мимо ушей Дубасов. — В платках барышень-крестьянок тоже не пустят. Часовой Петька Ефимов, в денщики потом его возьму, в свободное от службы время билеты проверяет. А затем дворник Степан ведёт его на кухню, где служивый натрескается до отвала, да ещё и в казарму водочки принесёт, — сглотнул слюну рассказчик, поправив на голове цилиндр.

— Ты так впечатляюще повествуешь, словно завидуешь этому Петьке Ефимову, — стал выводить на чистую воду своего друга Зерендорф.

— О-о, какой туфовый грот симпатиш-ш-ный, — ловко ушёл от ответа Дубасов, рассмешив друзей.

Послушав оркестр гвардейских стрелков, направились в ресторан, состоящий из застеклённой веранды и кабинетов.

— Ну и тракти-и-р! — ахнул Рубанов. — В точности наша столовка в летнем лагере, только застеклённая.

На веранде был высокий помост, заставленный экзотическими растениями, и на нём играл румынский оркестр в чёрных фраках.

— Куда, интересно, они цилиндры попрятали? — не удержался Зерендорф, занимая столик неподалёку от скрипачей, главный из которых стоял перед своим оркестром и выпендривался, принимая невообразимые позы. То откидывался назад, то, отставив ногу, наклонялся вперёд или вбок, при этом виртуозно играя на скрипке, заставляя её то рыдать, то страдать, то упиваться восторгом. Попутно он оживлённо корчил гримасы, поминутно подмигивал, играл бровями, улыбался сидевшим рядом дамам, а то вдруг начинал приплясывать.

Дубасов увлёкся зрелищем и тоже стал шевелить бровями, вытаращивать глаза и выпячивать губы, обидев до глубины души первую скрипку румынского оркестра, посчитавшего, что его передразнивают.

Не успел он всласть покуражиться, как к столику подлетел породный метрдотель в чёрном смокинге. Тряся бульдожьими брылями, приветливо, как собака котам, улыбнулся и хриплым, но, по его мнению, сладчайшим голосом предложил господам устриц и клубники.

«Стоящие клиенты», — думал он, ожидая ответа.

— Вот что, братец, — поиграл бровями Дубасов. — А засунь-ка ты оные деликатесы в одно место...

Брыли замерли, а брови задвигались, подражая дубасовским.

— Вели принести для начала водки и мяса, сыра и колбасы, а господам военным — шампанского... Впрочем, они сами делают заказ.

Довольный унижением начальства официант стал записывать в книжечку пожелания клиента.

Аким, вспомнив ужин на московском балу, составил меню:

— Запиши-ка, братец, следующее, — пощёлкал в раздумье пальцами.

Метрдотель, официант и друзья заинтересованно глядели на заказчика.

— Шесть флаконов шампанского «Вдова Клико».

Метрдотель от умиления пустил бульдожьё слюну, наисладчайшим голосом проскрипев:

— Бутылочка, господа, по двенадцать рубчиков.

— Во как! Кругом по четыре или по шести рублёв, а у вас двенадцать. Но я это ещё припомню, — суровым унтер-офицерским оком окинул брылястого Дубасов, отчего того пробрала дрожь.

— Господин титулярный советник, не перебивайте ради бога, — сделал ему замечание Аким.

Метрдотель с уважением поклонился Дубасову.

«Чёрт возьми, — подумал тот, — а ведь титуляшкой, выходит, почётно быть».

— Консоле «Империяль», — заглянул в вытаращенные титулярно-дубасовские очи. — Пирожки буше а ля рен и риссоли «Долгоруковские». Филе из лосося. Соус не какой-нибудь, а ремулад...

С удовольствием глянул, как дубасовско-румынские брови замахались вверх-вниз, влево-вправо.

— Каши гречневой с бараниной, — просипел поражённый «титулярный советник», да водки побольше.

— Так вот, милейший, — продолжил Аким. — На жаркое пойдут цыплята, куропатки, рябчики... На закуску — салат эскароль... Да, буше паризьен не забудьте...

Потрясённый Дубасов сделал попытку подняться со стула, отнять скрипку у румына и сыграть марш Павловского военного училища, но товарищи благоразумно не позволили это осуществить.

К 8 вечера ресторан начал заполняться публикой, большую половину коей составляли купцы с жёнами и без оных. Но были и офицеры с дамами.

Дубасов, запамятав от водки с шампанским и гречневой каши с бараниной, что он пока всего лишь унтер-офицер, вместе с румыном подмигивал вальяжно сидевшей за столом полной даме в мантию и широкополой шляпе, украшенной страусовыми перьями.

Её муж, солидный купец или фабрикант — жирная денежная кубышка, по мнению Дубасова, зло на него кривился, заказывая что-то умопомрачительное по цене, брылястому метрдотелю.

— Да это же не Ольга, — предчувствуя, мягко сказать, неприятности, стал отвлекать «титуляху» от заманчивой дамы Рубанов, догадываясь, к чему это может привести. — Кстати, господу, всем привет от Мишки Дроздовского...

— О-о! И как он? — отвлёкся, наконец, от купчихи Дубасов.

— Доволен. Недавно, 15 сентября, прибыл в лейб-гвардии Волынский полк и назначен младшим офицером в 8-ю роту, — зябко поёжился Аким. — Ну его, это «вдовье» шампанское, — налил себе водки.

— Господа, сколько можно пить, пора и о возвышенном подумать... То есть оперетту посетить, — внёс здоровое предложение захмелевший Зерендорф.

— Нет, Дубасов, столик оставим здесь, с собой не возьмём, — оторвал вцепившегося в стол приятеля Рубанов. — И купчиху тоже, — потащил его из ресторана.

Усевшись во втором ряду театра-варьете, с доброжелательным любопытством уставились на так называемый коммерческий занавес, закрывавший портал сцены и разрисованный рекламой.

— О-о! Надо купить. Папиросы «Роскошь» 20 шт. 5 к. т-во Табачной фабрики А. Н. Шапошников и К°. С. Петербург, — чуть не по слогам прочёл Дубасов.

— Полагаешь, хорошие папиросы? — задумчиво рассматривал рисунок Аким, где два ямщика в синих кафтанах, покупали у разносчика в красной рубашке и чёрной жилетке с лотка папиросы. — Друг мой, «Роскошь» курят ямщики, а не унтера славного Охтинского полка, — сделал он умозаключение.

Но Дубасов не слушал его, увлѣкшись рекламой с рисунком дамского корсета.

Зерендорфа захватила реклама баночек с помадами под надписью «Я был лысым». Рядом изображены двое господ, один с зеркальной головой, и он же, но уже обросший бурой щетиной.

Рубанова в самую печень поразила реклама товарищества Пивомедоваренного завода Ивана Дурдина, где в окружении разнокалиберных бутылок официант открывал пивную.

«Следует заказать во время антракта».

К их сожалению, «коммерческий» занавес поднялся и за ним оказался обыкновенный бархатный.

— Шпачек вышел, — зашептал кто-то за спиной, — сейчас начнётся...

Дирижёр по фамилии Шпачек поднял цилиндр, поприветствовав публику и уселся за пульт.

— Понял, как надо метрдотеля приветствовать, — пошпынял локтем в бок Дубасова Гришка Зерендорф. — Тогда гречневой кашей с бараниной будешь обеспечен по гроб жизни, — заржал он.

Ответную унтер-офицерскую речь Дубасов произнести не успел, так как respectable Шпачек изящным движением руки открыл увертюру.

— Канкан шикарный... Как только хористки выстроились дугой, мне больше всех третья слева понравилась, — высказал своё мнение Зерендорф, когда компания в антракте направилась поднять боевой дух в ресторан.

— Строй неровный, — выпив, стал критиковать кордебалет Дубасов. — Я бы научил их строю, будь они мои подчинённые, — развеселил друзей и, увидев давешнюю купчиху, вновь стал ей подмигивать, чем привёл в бешенство фабриканта.

После оперетты Вяльцева с Паниной станут выступать, — потряс программкой Рубанов. — Вяльцева просто чудо, наши офицеры говорят. Недаром её называют «несравненная».

Дородная пожилая Панина молодым людям не понравилась.

— Ну разлопалась бабка, — без всякого почтения к исполнительнице громко произнёс Дубасов. — Даже стоять на сцене не может, сидя на стуле поёт.

— Тише, потише ради бога, господ, коли в искусстве не понимаете, — сердито зашептал сосед. — Такого густого контральта и душевности нет ни у одной исполнительницы... Вот «Хризантемы» запоёт, заплачете тогда...

Дубасов не заплакал. Зато тридцатилетняя Анастасия Вяльцева его, да и всю публику просто потрясла.

Бледная, в тёмном простом платье с белым слоником на золотой цепочке скромно вышла на сцену.

Зал в некоторой разочарованности замер. Но когда запела, просто взорвался от аплодисментов, требуя всё новых и новых романсов.

«Ветероче-е-к», — надсаживался дубасовский сосед, со всей силы шлёпая ладонью о ладонь.

«Цыганку-у», — вопил кто-то сзади.

«Тройку-у»...

Певица улыбнулась обаятельной своей, несравненной вяльцевской улыбкой и запела:

«Гайда тройка, снег пушистый,

Ночь морозная кругом...»

Зал ликовал.

После концерта её долго не отпускали, бесконечно вызывая на бис.

Наступила полночь. Оркестр гвардейских стрелков давно уже сыграл бравурный марш, который гуляющая толпа называла «вышибательным», и ушёл в казармы.

Большая часть безденежной скромной публики, простоявшая всю оперетту у заборчика открытого театра, посидела в саду на скамеечках, поделилась впечатлениями от оперетты и певиц и разошлась по домам.

Друзья были в восторге от певицы и, сидя уже не в концертном, а ресторанном зале, без конца вспоминали её и обсуждали репертуар.

Ресторан заполнился народом, который не особо торопился домой.

— С Паниной, конечно, не сравнить, — тоном знатока вещал Зерендорф. — Та в своих песнях — таких, как «Нищая», «Пара гнедых», заставляет проливать слёзы над горькой судьбой... Многим это нравится...

— Ага! Особенно тому купчине бородатому с молодой женой, — подхватил тему Дубасов. — Рыдал белугой над беспросветной своей нищей жизнью.

— Дай мысль до конца доведу, — перебил его Зерендорф. — А у Вяльцевой и гусарские кутежи, и русские тройки в морозной ночи, и любо-о-о-вь, — визгливым голосом пропел он.

— Во дал! — поразился Рубанов. — Составь с ней дуэт и спойте: «Юнкера-а, подъё-ё-м», — тоже взял высокую ноту, чем привёл в экстаз Дубасова.

Услышав про «юнкеров» и «любовь», разгорячённый от увиденного, услышанного и особенно водки с гречневой кашей, он пошёл знакомиться с купчихой.

— Унтеру захотелось женского тепла, — сделал вывод Зерендорф и стал ожидать развития событий, совершенно не веря в их положительный исход.

— Только бы флюгер тумпаковский не трогал, — высказал пожелание Рубанов, когда увидел, что купеческий стол опрокинулся, купца мощная рука держит за бороду, превратив её лопату в измызганный веник, а другая длань, видимо, для симметрии ухватила официанта за нос.

Купчиха вопила звонче Паниной и Вяльцевой вместе взятых, а Дубасов, составив с ней дуэт, взял высокую ноту «а-а-а», видно, из последней строки училищного марша: «Рвётся в бой славных павловцев душа-а-а-а».

Мордатый метрдотель кинулся выручать купчину, но чем-то недовольный клиент из-за соседнего столика опарашил его по башке графином.

Чему-то отстранённо улыбнувшись, дородный бугай беззвучно, без всяких там «а-а-а», рухнул на пол.

Видя явное смертоубийство, купчиху активно поддержали ещё несколько женщин, на высокой ноте визжа всякие гласные буквы русского алфавита. Их кавалеры столь же активно оказали поддержку недовольному клиенту.

Набежавшие выручать метрдотеля официанты частью были обращены в бегство, частью полегли на поле брани рядом со своим пузатым шефом.

Началась любимая русская потеха под народным названием «бей, ломай, круши».

Лишь Зерендорф с Рубановым не приняли участия в веселье, стойко оберегая драгоценный цилиндр друга и попутно наблюдая за спектаклем.

Трое пьяных купчиков вымещали свою торговую злость и падение цен на безвинном рояле. Затем подвыпившее общество, радостно ухая, принялось ломать о головы друг друга ресторанные стулья.

Вбежавший на шум Тумпаков, к своему огорчению, случайно нарвался на Дубасова, пафосно исполняющего куплет о славных павловцах, и через минуту вальяжно развалился в компании метрдотеля и официантов.

Радостная публика принялась уже за битё посуду, но уразумев её малое для праздника души количество, оживлённо переговариваясь, двинулась к буфету, где вскоре оказались переколоты все стаканы, зеркала и носы буфетчика, дворника Степана и мужественного охтинского часового Петьки Ефимова, на своё несчастье крутившегося на поле брани.

Как он получил увольнительную от подпоручика, являлось военной тайной, за утечку коей грозило два наряда не в очередь.

— Так и невроз организма недолго получить, — уронив и наступив на цилиндр, — философски изрёк Рубанов, конкретно не определив, как Зерендорф не ждал, от чего именно придёт болезнь: то ли от битвы, то ли от растоптанного цилиндра.

— Пора забирать главного бойца и ретироваться. На службу завтра идти, — тяпнул рюмочку Зерендорф, догадавшись, что невроз организма может произойти от старшего полковника Ряснянского.

— Завтра, вернее, сегодня, воскресенье. Пусть унтер служит, а мы отдыхать станем, — оторвали от буфетной стойки подставшего уже от веселья товарища и потащили его к выходу.

— Цилиндру тоже как-то, — обернувшись на творческий порыв посетителей, произнёс Аким.

— Увы-ы! Не одному Тумпакову разоренье терпеть, — сделав виноватый вид, тяжело вздохнул Зерендорф.

В октябре, посчитав, что знакомство с полком, ротами и батальонами состоялось, Эльснер назначил Рубанова и Зерендорфа в караул.

— Господа, — важно вышагивал он перед подпоручиками от окна канцелярии к двери, — как вы знаете, все гвардейские пехотные полки Петербургского гарнизона несут караульную службу в Зимнем дворце, а также в Аничковом.

— Да мы, господин адъютант, ещё грызя науки военного училища, два раза в год в Зимнем дежурили.

— Э-э-э! — пригладил пробор Эльснер. Помолчав, продолжил: — И чему вас Кареев учил... Старших перебиваете.

— Пардон! — улыбнулся Зерендорф, то ли вспомнив Кареева, то ли просто от хорошего настроения.

— «Пардон» принимается, — ответно улыбнулся Эльснер и уселся верхом на стул, положив подбородок на его спинку. — Караул в Зимнем — это главный караул. Коли его несёт наш полк, то от нас назначается и дежурный по караулам, и его помощник — рунд, ежели по уставу назвать.

Рубанов с Зерендорфом согласно покивали головами. — Вот как составляется полковой приказ, — протянул им лист, пестревший офицерскими фамилиями.

«...Наряд в караулы от лейб-гвардии Павловского полка, — начал читать Зерендорф, неповторимым своим, визгливым голосом. — Дежурный по караулам 1-го отделения города Санкт-Петербурга полковник Ряснянский».

— Да, его очередь, — покивал адъютант, тоже с интересом слушая составленную им самим бумагу.

«Рунд — капитан Галдин, — продолжил чтение Зерендорф, — на главный караул от 2-й роты при командире роты капитане Ва-

сильеве, при младших офицерах подпоручике Буданове и подпоручике Зерендорфе». — О-о-о! — прокомментировал прочитанное Григорий и помахал листком. — В Аничков дворец караул... от 1-й роты при подпоручике Гороховодатковском. Дежурный по полку — капитан Лебедев, помощник — подпоручик Рубанов. Полковой караул от 1-й роты».

— Господа подпоручики, распишитесь, что ознакомлены и начинайте службу царю и Отечеству, — словно с лошади, слез со стула адъютант.

На следующий день, утром, немного волнуясь, ночевавший в выделенной служебной квартирке на 3-м этаже казармы Рубанов пил поданный денщиком чай и перелистывал страницы «Устава гарнизонной службы».

Служивший по второму году рядовой Козлов, которого Аким взял из-за звучной фамилии, в противовес капитанской, подперев щёку кулаком, ласково наблюдал за офицером. «Ласково» не потому, что всей солдатской душой полюбил молодого барина и радовался за его вкусный чай, а потому, что тот неожиданно взял его в денщики.

«Денщик — это величина-а, — размышлял он, любуясь офицером. — А в роте фельдфебель одними ружейными приёмами исхитрился на корню засушить», — жалостливо оглядел вытянутые вперёд не больно-то худые руки.

— Ты что, Козлов, гимнастикой решил заняться? — поинтересовался, оторвавшись от занимательного чтения, Рубанов.

— Дозвольте категорически заявить, вашескобродь, что нет, — вытянул руки по швам денщик. — Собираюсь подавать ваш мундир.

— Подай-ка, братец, лучше ещё чаю с булками, — чуть подумав, распорядился Аким.

Перекусив, глянул на стоявшие на комодѣ часы, показывающие 9 часов 30 минут.

«Да-а. Пора одеваться, и в роту, — поднялся из-за круглого стола и с удовольствием оглядел небольшую комнатку с диваном у стены, двумя креслами, что привёз из дома, столом и комодом. Через стену находилась спальная с мягкой кроватью, а в каморке рядом с ней жил денщик, и там же была кухня с медным самоваром. — Хоромы! — надевая мундир, довольно ухмыльнулся Аким. — Зато мои. Маменька тут руководить не сумеет. Вот переживает, поди», — засмеялся он, обуваясь в высокие лаковые сапоги.

Поверх мундира надел лёгкое тёмно-серое пальто. Нацепил пашку и стал прилаживать кобуру с револьвером.

— Козлов, чего стоишь, как на огороде? Помоги шнур от револьвера через голову перекинуть и под воротник заправь. Где

замшевые перчатки и гренадёрка? — погонял для порядка денщика и направился к Гороховодатсковскому, квартира которого находилась неподалёку.

Уже одетый, тот вышел навстречу. Пожав руки, направились на первый этаж, в роту.

Согласно уставу, тем более в день дежурства, первым вошёл младший по выпуску — Рубанов. Приняв рапорт дежурного по роте, поздоровался.

Через пару минут вошёл Гороховодатсковский.

— Смир-р-но! — скомандовал Рубанов.

Гороховодатсковский благосклонно принял рапорт от дежурного, скомандовал «Вольно!» и оглядел готовящихся к караулу солдат.

Заступающие в наряд давно умылись и побрились и теперь драили бляхи, сапоги и медные налобники гренадёрок.

В 11-м часу появился ротный, и Гороховодатсковский гаркнул:

— Смир-рно! Господа офицеры!

Офицеры торжественно встали во фрунт, чуть подавшись корпусом вперёд и взмахнув руки к белым околышам гренадёрок.

В полной тишине брякнула упавшая на пол сапожная щётка.

«Наряд не в очередь кому-то обеспечен», — подумал Рубанов, кося глазами по сторонам.

Более сотни человек замерли там, где их застала команда.

Дежурный чётко подошёл к капитану и, остановившись за два шага и отдав честь, отрапортовал: — Ваше высокоблагородие, в первой роте за время моего дежурства никаких происшествий не случилось, — и шагнул в сторону.

В эту минуту из канцелярии появился фельдфебель и вытянулся у дверей.

"Когда мы пришли, не соблаговолил свою рожу показать", — мысленно усмехнулся Рубанов.

— Здравствуй, Пал Палыч, — поздоровался с ним ротный.

— Здравия желаю, вашесродие, — с достоинством ответил фельдфебель.

— Здорово, братцы! — безо всякого рыка спокойно произнёс Лебедев.

— Здра-авьжлам, ваш-сок-родь, — бодро ответили разбросанные по помещению роты солдаты.

Обойдя и окинув командирским оком вверенное хозяйство, влепив попутно положенный наряд за упавшую щётку растерявшемуся ефрейтору, не спеша направился в канцелярию. Мы с Гороховодатсковским и фельдфебелем последовали за ним.

Прочитав «постовую ведомость», капитан повёл караул на построение.

Полковник Ряснянский, отогнув штору с полковыми гербами на окне бильярдной комнаты, наблюдал за построением караула на Константиновской площадке, расположенной между Мраморным дворцом Великого князя Константина Константиновича и казармой.

«Толпятся, толкаются, того и гляди винтовку какой-нибудь олух выронит. А всё потому, что давненько плюмаж не сдирал с господ офицеров, — услышал вежливое покашливание и хриплый голос дежурного вестового:

— Ваше высокоблагородие, дозволейте доложить, развод построен, — ещё раз покашлял для приличия докладчик и остался ждать приказа.

— Скажи, что иду, — благоговейно взял с бильярдного стола гренадёрку и, перекрестившись, водрузил на голову: «Хоть “высокоблагородие” полностью выговорил, — размышлял дежурный по караулам 1-го отделения города Петербурга. — Жучишь, жучишь их в хвост и гриву, потому как плюмажа нижнему чину не положено, а всё “сковородие” выходит, а иногда и вовсе такое загнут, — расстроенный мыслями о сковороде, не очень ласково глянул на построенный в линеечку развод. — Вот традиция, — вновь мысленно стал ворчать полковник, — сколько лет строимся лицом ко дворцу, а задом к родной казарме, — увидел, как на первом этаже дворца отодвинулась с окна штора, и появилось лицо Великого князя. — Может, и правильно строимся, — проследил, как к нему марширует рунд, командир 3-й роты, капитан Галдин. — А то что же, Константин Константинович на наши зады любоваться должен?» — удовлетворился сделанным выводом и стал обходить первую линию — караулы Зимнего и Аничкова дворцов, особое внимание обратив на белые околоши и медные щиты гренадёрок. Затем оглядел бляхи и сапоги. — Порядок. Тут до меня Пал Палыч всё проверил, Гороховодатсковский и сам Лебедев, — перешёл ко второму ряду, где расположился домашний полковой наряд.

Взглянув на часы, приказал:

— Бей сбор.

Дробью рассыпался барабан и следом вступил стоявший на правом фланге караула оркестр. На минуту замолкший оркестр опять сменил треск барабанов — первая часть сбора пробита. Вновь заиграл оркестр — караул вступил в подчинение дежурному по караулам.

Затем музыка стихла.

— Караульные начальники, на середину ша-а-гом марш! — скомандовал Ряснянский.

Держа руки в белых замшевых перчатках у околышей гренадёрок, начальники караулов вышли на середину развода и остановились перед полковником.

«Вон как Гороховодатсковский классически честь отдаёт. Большой палец от ладони отторбучил, любо-дорого глядеть... А Васильев с Лебедевым? Словно показывают, что у меня не все дома... Ро-о-тные, как же», — протянул им записки с паролями: старым и новым.

— По своим местам шаго-о-м марш! — отдал команду. — Караулы Зимнего и Аничкова дворцов, направо! Ряды вздой. На плечо. По караулам ша-а-гом марш! — полюбовался, как грозно блеснули на выглянувшем солнце штыки взброшенных на левое плечо винтовок.

Вновь грянул оркестр, и строй двинулся по Миллионной улице, движение по которой было прекращено. Полицейские сворачивали извозчиков в Мраморный переулок, идти разрешалось только пешеходам. Их-то и собралась целая толпа, бес-
платно поглазеть на красочное зрелище.

«Ни одной благородной дамы, — печатая шаг, размышлял Гороховодатсковский, — тётки-разносчицы да мальчишки».

— Пы-ы-шки-и, горячие пышки-и, — дурным голосом, как кричат о пожаре, заголосила баба.

«Нет, сейчас ружья бросим и пышки побежим покупать», — фыркнул Гороховодатсковский и сглотнул слюну, представив вкус мягких, горячих пышечек.

Городовой в чёрной шинели уже делал бабе своё полицейское мужское внушение.

Полковой наряд под командой капитана Лебедева без барабанного боя и свиста флейт тихо заступил на дежурство.

Дежурный с помощником дислоцировались в дежурной комнате в Собрании. Попив чаю в собранской столовой, Аким добросовестно обошёл несколько солдатских казарм на 1-м этаже и проверил порядок в помещениях нижнего, подвального этажа, предназначенного для кухонь, прачечных, складов и полковых мастерских. Затем взял у Эльснера пачку писем и в дежурном помещении разобрал их поротно.

Конверт с письмом для денщика Козлова положил во внутренний карман мундира.

«А мне что-то Натали не пишет, — отдыхая в кресле, вздыхал по-старушечьи, — может, с отцом совсем плохо», — направился перекусить в Собрание, а затем проконтролировал располагающиеся со стороны Аптекарского переулка цейхгаузы, кузницы и другие подсобные помещения.

В конюшню не пошёл. Своей лошади пока не было, а любоваться чужими не хотелось.

Вернее, рысак ему подарил отец, но определил в свою конюшню под бдительный глаз Ивана.

«Пехотные солдаты так за ним ухаживать не станут», — вспомнил отцовские слова.

В 9 вечера пробили вечернюю зарю. Рубанов встретил её в своей 1-й роте, оставшись на переключку и вечернюю молитву. Затем, глянув на часы, вновь направился в дежурную комнату.

В коридоре офицерского Собрания для вечернего рапорта толпились дежурные по ротам и командам.

— Рубанов, раздай полученные в канцелярии письма и зови сюда дежурного фельдфебеля. Ясное дело, в полку происшествий нет, а то Палыч доложил бы, но для проформы поинтересоваться следует.

— Слушаюсь, Александр Иванович, — вышел в коридор с пачкой писем, кивнув фельдфебелю, чтоб зашёл к дежурному по полку.

— Всё ли благополучно, Пал Палыч? — сидя в кресле и дымя сигарой, спросил Лебедев.

— Так точно, Ваше высокоблагородие. Всё в порядке. Замячений и нарушений нет. К тому же подпоручик на совесть службу несёт, — добродушно улыбнулся капитану, по-свойски поднеся спичку к потухшей сигаре. — Так что не беспокойтесь, Александр Иванович, служба идёт, как ей идти и положено...

— Ну что ж, братец, — поднялся из кресла капитан, — иди, дежурь дальше. Пойдёмте-ка, господин подпоручик, в бильярдной разомнёмся немного, — потянулся Лебедев, хрустнув суставами. — А то что-то засиделись. Помните, что ночью вам следует хотя бы часть рот обойти и записать в рапортчике температуру в жилых помещениях?

— Так точно, помню, господин капитан. Попутно и бдительность дежурных проверю, — отдёрнув занавесь, выглянул в окно бильярдной, полюбовавшись освещённым фонарями Мраморным дворцом. — Ветрюган! — доложил командиру. — И холодно, должно быть, — понаблюдал за зябко кутающимся в пальто прохожим.

До 11 вечера поиграли в бильярд. С боем высоких английских часов отложили кии.

— Скоро кто-нибудь из офицеров поужинать зайдёт, — опять потянулся Лебедев, сцепив ладони на затылке и повертев торсом вправо и влево. — Хорошо дежурство идёт. Ровно и без шероховатостей, — послушали, как через минуту пробили амбирные часы, вывезенные в 1814 году из Парижа. — Всё время отстают, — осудил их капитан, направляясь в столовую.

— За взятие Парижа мстят, — хохотнул Аким, топая вслед за начальником.

Усталости он не чувствовал. Да какая усталость-то в 11 часов вечера, когда люди только ужинать собираются.

Лебедев, не тратя понапрасну время, за что-то распекал старшего собранской прислуги.

— Водку забыл за окно выставить, зверь, — пожаловался на него Аким. — А ребята скажут: «Чего это ты, Иваныч, тёплой водкой нас угощаешь?» — недовольно поглядел, как прислуга расставляет на столе приборы.

Получивший наدير своей толстой супницы, старшой, задыхливо дыша, протянул капитану карточку блюд.

— Наш повар, Александр Иванович, велели вам доложить, что заливное из свинины готово, сыры, колбасы нарезаны, картошка печётся, а ещё жареные перепёлки с куропатками...

«Тьфу ты, — нахмурился Лебедев, — ну почему наш собранский повар полный мой тёзка... Уже от шуток не знаю куда деваться».

— Водка за окном, Ваше высокоблагородие, — думая, что начальство хмурится по его поводу, оправдался старшой.

— Да ладно, иди, — горестно отмахнулся от него капитан и глянул на Рубанова — не смеётся ли?

Тот о чём-то беседовал с подошедшим хозяином Собрания, недавно выбранным офицерами.

— Правила таковы, мой друг, — крутил пуговицу рубановского мундира собеседник, он же командир 10-й роты штабс-капитан Серый. — Когда станете сами дежурным, за водку и закуску для заглянувших на «огонёк» офицеров платите из своего кармана... Но всё, что они закажут по карточке, а будьте уверены, вин и шампусика, окромя водки, они позаказывают... Это уже из их кошелька. Традиция, мон шер, традиция, — развёл руками, отпустив на свободу пуговицу.

На всякий случай и для сохранения в целости пуговиц Аким отступил от него на пару шагов.

— Вон и первые гости, — кивнул на двух вошедших офицеров Рубанов.

«И какие у них блестящие пуговицы-ы», — мысленно съязвил он, наблюдая, как Лебедев жмёт руки пришедшим.

— А вот и наши Яша и Никс, — радостно орал Лебедев, хлопая по плечам двух поручиков из 13-й и 14-й рот.

«Яша... Никс, — мысленно иронизировал Аким, направляясь поздороваться с гостями. — Николай Викторович Яковлев и Алёшка Алексеев, — пожал руки офицерам и скромно отошёл в сторону. — А сам Лебедев не знает, что он Повар, а не Александр Иванович Лебедев. Интересно... Меня каким прозвищем наградили».

Подошли ещё несколько офицеров в мундирах.

— Мы из театра. Жён дома оставили, и сразу сюда. Когда же за стол сядем? Долго ты нас томить будешь? Как мясо в чу-

гунке, — насмешили Яшу с Никсом, намекнув на тайное капитанское прозвище.

— А мы из гостей, — показали те на свои сюртуки, — и всё равно есть хочется, — загремели стульями, рассаживаясь за столом.

Служители принесли сковороды с шипящей, жаренной с горчицей ветчиной, жареную картошку, птицу, сыры, колбасы и селедку с осетровым балыком.

— Водка холодная, — доложил старшей собранской прислуги, расставляя на столе бутылки и укоризненно поглядывая на капитана — за что, мол, отлаяли сгоряча, Ваше высокопревысокоблагородие.

Через некоторое время Яша с Никсом заказали вино и шампанское.

Следом за ними и другие офицеры. И пошло... Ужин явно задался.

Рубанов позволил себе только рюмку водки под заливную свинину.

«А то ещё с обходом идти», — рассудительно подумал он.

— Сколько же нас здесь? — поднялся из-за стола Никс, он же Алёшка Алексеев. — Восемь человек, не считая дежурных... Господа, — оживлённо произнёс он, — а давайте сбросимся по двадцатке и румынский оркестр пригласим...

— Ну да! Тот, который в летнем саду «Буфф» играл, — поддерживал его товарищ.

«Ежели из “Буффа”, то это плохая примета, — вздрогнул Аким, — а может, без этого “титуляшки” Дубасова всё и сойдёт», — размышлял он.

— Они, по-моему, в «Аквариуме» подвизались, — поднялся из-за стола Никс, — сейчас по телефону им позвоню и вызову.

Через полчаса явился румынский оркестр во главе со своим темпераментным скрипачом. Об этом он известил ещё на первом этаже томным рыданием скрипки. Через пять минут музыкант уже вовсю вихлялся перед офицерами, гримасничал, шевелил бровями, изгибался, приплясывал. В три часа ночи оркестр надоел, и офицеры стали требовать от дежурного пригласить полковых музыкантов в полном своём составе, то есть 60 человек.

— Да вы что, господа, завтра на службу, — в ужасе бормотал Лебедев. — Был бы выходной, дело другое.

К 4 утра офицеры разошлись, согласившись с доводами дежурного, и Собрание затихло.

Уставший Александр Иванович — капитан, не Повар, ушёл спать в свою квартиру, приказав Рубанову в случае чего немедленно его будить.

Обойдя несколько рот и записав температуру в помещениях в рапортички, Аким устало вытянул ноги в кресле дежурной комнаты, наконец-то оставшись один.

Не тут-то было. Раздался стук в дверь, и заглянул дежурный вестовой.

— Ваше высокоблагородие, — не церемонясь, отдернул он ширму, разделявшую дежурку на две части. — Диван постлан, — указал рукой на застеленный простыней диван.

«Ну зачем, зачем он мне его показал?» — с трудом расцепляя ресницы, подумал Аким.

Глаза предательски закрывались, а в голове мелькали не строчки Гарнизонного устава, где сказано, что дежурный обязан после вечерней зари оставаться в шинели при пашке и револьвере, а усыпляющее играла музыка и нежно пели скрипки.

Некоторое время Аким всяко отворачивался от так манившего мягкого дивана со свежей простыней и тёплым английским одеялом, но дьявол-искуситель в лице дежурного вестача нащёптывал:

— Да вы не сумлевайтесь, Ваше высокоблагородие...

После этих слов Аким отцепил пашку.

— ...ежели кому придёт в голову дурная мысль нагрязнуть именно в это время, именно в наш полк, я мигом вас разбужу, не извольте опять же понапрасну сумлеваться...

Снял кобуру и сбросил мундир. Шаровары, однако, снимать не стал, плюхнувшись в них на мягкий родной диван и укрывшись одеялом, моментально уснул.

А в это самое время страдающий от бессонницы главнокомандующий Петербургским военным округом Великий князь Владимир Александрович, облачившись в генерал-адъютантское пальто и мучась от покалывания в области печени, решил «поймать» какой-нибудь гвардейский полчок. На основании долгого опыта он знал, что печень после этого имеет свойство не болеть.

Проезжая в коляске мимо Мраморного дворца подумал: «Вот ведь у Кости апартаменты какие... Поважнее моих, — узрел часового у ворот лейб-гвардии Павловского полка. — А пойду-ка хозяйство Троцкого проведаю, — потрогал печень. — Почти не болит», — радостно гаркнул часовому:

— Спишь, братец?

— Никак нет, Ваше высокоблагородие. За вами наблюдаю.

— А ну-ка дай ружьё погляжу, заряжено или нет, — пригнул старый унтерский приём Великий князь.

— На посту не имею права отдать винтовку, ваш высокородь, — строго нахмурился часовой.

— Тогда звони и вызывай дежурного.

На долгие звонки дверь открыл зевающий вестовой.

Великого князя, по-видимому, он знал в лицо, так как глаза его стали величиной с супницу в офицерском Собрании.

— Не извольте беспокоиться, Ваше высочество, сейчас непременно дежурного предоставлю, — хотел он смыться, но Великий князь успел уцепить за шиворот, чувствуя, что ждёт его неминуемая радость и полное излечение печени.

«А может, даже, пройдёт и прострел в спине», — шёл за вестовым, размышляющим, как бы ему хоть на минутку ускользнуть от начальства и предупредить помощника дежурного.

Улизнуть не удалось.

Подойдя к дежурному помещению, дядя царя стал настойчиво колотить в запертую дверь.

Думая, что припёрся надоеда-вестовой, плохо соображающий спросонок Рубанов, зевая и стуча ладонью по губам так, что у него получалось «о-о-о», постепенно перешедшее в «а-а-а», когда в шароварах и мятой белой рубаше без наличия на теле даже признаков пашки и револьвера предстал пред грозные очи Великого князя.

От радости, кроме печени и прострела, у того сами собой вылезли ещё несколько болезней.

— Фамилия и чин? — стараясь грозно выглядеть, спросил он.

— Подпоручик Рубанов, — лихо щёлкнул босыми пятками Аким.

— Это какой же Рубанов? — пуще прежнего обрадовался Владимир Александрович. — Уж не сынок ли командира 2-й гвардейской кавалерийской дивизии Максима Акимовича? — с внутренней надеждой поинтересовался он и излечился от всех болезней, услышав утвердительное «так точно».

«Как я теперь при царе-батюшке поострю над генералом», — ликовала великокняжеская душа.

— Десять суток ареста в Комендантской гауптвахте, — погладил затаившуюся где-то в недрах юного организма печень. «Совсем не болит», — поставил медицинский диагноз. — И трое суток дежурному по полку, — повернувшись, пошёл на выход в весьма удовлетворённом настроении.

Согласно «Инструкции» для генерал-адъютантов от 1834 года, их дежурство проходило по суточному графику и продолжалось 24 часа. Главной задачей было присутствие при ежедневном разводе дворцового караула, и при хорошем настроении государя — приглашение на завтрак или обед.

Государь по военной привычке поднимался рано и в 9 часов пил чай в своём кабинете.

К 8 утра, хотя официальное время дежурства не наступило, Максим Акимович Рубанов прибыл в Царское Село. Сегодня был день его генерал-адъютантского дежурства.

На станции, не дожидаясь придворной кареты, взял извозчика и в 8 часов 30 минут вошёл в подъезд № 4 Александровского дворца. Поздоровался с заканчивающим службу генерал-адъютантом и, удобно расположившись в креслах, государственные мужи обсудили последние дежурства и окружающих государя сановников. Все оказались не то что аспидами, но многие подошли близко к этому понятию.

— Никаких парадов, легко сутки прошли, — поднявшись из кресла и потягиваясь, произнёс генерал. — У вас так же будет.

В дверь комнаты постучал скороход и доложил, что дежурного генерал-адъютанта государь приглашает на чай.

Оставшись один, Рубанов полистал журнал дежурных генерал-адъютантов и, зевнув, направился в помещение флигель-адъютантов. Комната была пуста.

«Видимо, тоже на завтрак пригласили, — ещё раз зевнул Рубанов, подумав, — мой-то флигилишка не ранее 11 придёт. Куда ему торопиться».

Не поленился и сходил заглянуть в камер-фурьерский журнал с записями о повседневной жизни Царского двора.

«На 10 утра и в 11 часов император назначил встречи министрам. Сегодня, слава богу, спокойно должно быть, — поразился Максим Акимович. — Ни тебе парадов, ни депутатий от купечества и дворян».

У каждого министра, как знал по опыту службы Рубанов, есть «свой день».

«Индивидуальные приёмы спокойнее. А то ведь недавно в журнале прочёл, что коллективный приём был. 65 моряков батюшка-царь принять изволил», — медленно шёл по коридору, отделявшему палисандровую гостиную, сиреневый кабинет, спальную, камер-юнкерскую от приёмной, рабочего кабинета и камердинерской.

От безделья рассматривал висящие по стенам картины. Долго стоял перед портретом Фёдора Никитича Романова, от которого вёл род Николай Второй. Затем прошёл в пустую пока приёмную, интерьер которой Максиму Акимовичу категорически не нравился.

Иронически оглядел дубовую панель стен, заканчивающуюся широкой полкой, заставленной вазами, деревянными блюдами и бокалами.

«Зелёная французская ткань над панелями абсолютно безвкусна, а царю и царице нравится... На вкус и цвет, как говорится... Вот картины здесь хорошие, — полюбовался полотнами Серова и Репина, остановившись перед портретом Алексан-

дры Фёдоровны работы Мюллер-Нордена, — нет, в жизни она лучше, — подошёл к расположенной у окна медной стойке со знамёнами «собственных Его Величества воинских частей». — Самое приятное здесь — камин, облицованный итальянским мрамором. Вот бы перед ним с царём и Сипягиным коньячку попить, — потрогал прибор для закуривания, сделанный в виде трёх ружей в пирамиде, скреплённых солдатским котелком. — Себе надо такой заказать», — услышал шаги и раскланялся с вошедшим министром Императорского двора.

Немного посидели за большим столом посреди комнаты и обсудили погоду. Затем Рубанов, сославшись на дела, откланялся.

К завтраку, который накрывался в час дня, неожиданно прибыли Великий князь Владимир Александрович и напоминающий умудрённого жизнью Кощея Бессмертного в очках Победоносцев.

«Лучше бы в Москву поехал», — вздохнул Рубанов.

Николай, кроме прибывших гостей, пригласил к завтраку фрейлину императрицы, флигель-адъютанта и Рубанова.

Царица плохо себя чувствовала и, попив чаю, сразу ушла. За ней тут же поднялась и фрейлина.

Позавтракав, Николай пригласил в кабинет своего дядю, Победоносцева и Рубанова. Флигель-адъютанта это не коснулось — молод ещё полковник.

В кабинете Николай усадил гостей за уставленный фотографиями стол и велел лакею принести ещё папирос.

Закурив, солидно помолчали.

«Чего-то сегодня у императора беспорядок на столе», — отметил Максим Акимович, разглядывая пепельницы, трубки, домино, перочистки, блокноты, синие и красные карандаши, которыми Николай наносил резолюции, сувенирные коробки с длинными спичками для камина и миниатюрную печать в виде шапки Мономаха.

Как водится, обсудили погоду.

И тут подозрительно довольный печенью и жизнью главным командующий Петербургским округом и гвардией Владимир Александрович радостно произнёс:

— А мне сегодня удалось гвардейский полчок поймать...

Любивший такие темы Николай распорядился принести вина, чтоб было интереснее слушать.

— И что за полчок? — пригубив из бокала, поинтересовался он.

Рубанов тоже, как выражался его товарищ, генерал-адъютант хан Нахичеванский, повесил уши на гвоздь внимания.

— Лейб-гвардии Павловский, — ответил Великий князь.

«И чего он на меня глядит? — несколько напрягся Рубанов. — Я к кавалерии отношусь...»

— Один молодой подпоручик позволил себе нарушить Гарнизонный устав, разоружиться и спать во время дежурства.

— О-о-о! — воодушевился император, с удивлением покосившись на Победоносцева, весьма активно отдающего «дань уважения» вину. — В бытность мою в гусарском полку и не то ещё было, — рассказал занимательную историю. — А как фамилия подпоручика?

— Рубанов, Ваше Величество, — саркастически произнёс царский дядя.

«Так я и думал», — покраснел Максим Акимович.

— Меня тоже в начале службы поймали, — дабы что-то сказать, произнёс он. — И ничего, до генерал-адъютанта дослужился, — скосил глаза на царские вензеля на погонах и аксельбанты на груди.

— Господа-а! А что у нас в полку произошло, — чему-то обрадовался государь, преподнеся ещё одну офицерскую байку.

— Ваше Величество, хотите анекдот? — немного заплетающимся языком произнёс главнокомандующий над попами и монахами.

— Нет, нет, Константин Петрович, как-нибудь в другой раз, попытался остановить его Великий князь.

Но обер-прокурор Святейшего синода командующему Петербургским округом не подчинялся и всё порывался рассказать что-то весёлое.

В обществе давно знали, что чувство юмора у обер-прокурора весьма своеобразное.

— Десять суток гауптвахты подпоручику преподнёс, — заговаривал зубы Победоносцеву Великий князь. На Рубанова он уже внимания не обращал.

— Да что там гауптвахта... Слушайте политический анекдот про царя.

Николай загасил в пепельнице папиросу, поняв, что обер-прокурор своего добьётся и анекдот расскажет непременно.

— Сидит однажды Его Величество...

— На гауптвахте... — попробовал смутить рассказчика Владимир Александрович.

— Да нет, что вы, батенька... Ваше преосвященство... Это у вас все на гауптвахтах сидят. А Его Императорское Величество сидит... — сморщил лоб, утерав на секунду нить повествования, — ах, да... В театре... — вспомнил, где сидел царь. — И не сбивайте меня, Ваше... это... ах, да... высочество. Так вот, — на секунду задумался Победоносцев. — Ага! — поймал за хвост ускользающую мысль. — И обратил он высочайшее внимание на человека с густой шевелюрой...

— Ну как у вас примерно, — указал на лысый череп рассказчика дядя царя, до слёз рассмешив племянника.

«А неплохой анекдот получается... Вон и Ники ржёт как гусарский конь», — успокоился Великий князь.

Победоносцев, не обращая на неучтливое слушателя внимания, продолжил:

— Император спросил у адъютанта: «Кто это?» «Мне кажется, Ваше Величество, это известный поэт», — ответил адъютант. — «Знаю! — перебил его царь. — Это Пушкин», — закатился смехом Победоносцев.

Николай в задумчивости закурил.

Владимир Александрович схватился за голову, а Рубанов бодро произнёс:

— А императором, видимо, Вильгельм был. Он тоже анекдоты рассказывать любит, как и Константин Петрович.

Победоносцев обиделся. Николай заулыбался. Владимир Александрович успокоился, подумав: «А не глупый человек этот Рубанов. Из любой ситуации выход найдёт. Ежели бы я его на дежурстве в нижнем белье заловил, сказал бы, что переодевается в сухую одежду, потому как проверял караулы и весь измок под дождём».

После высочайшей аудиенции царь направился погулять по парку со старшими дочерьми. Анастасия была слишком мала и осталась с матерью.

С 16 до 17 часов Николай принял с докладом ещё двух сановников.

В 17 часов — чай. В сугубо семейной обстановке, без фрейлен и генералов. Затем с 17 часов 30 минут и до обеда, который подавали в 20 часов, вновь работал. На этот раз с документами. Обедали до 21 часа.

За обедом собралось небольшое общество, в которое был приглашён и Рубанов.

Дядя царя с Победоносцевым отсутствовали.

— Не расстраивайтесь, Максим Акимович, с кем не бывает, — поддержал своего генерал-адъютанта Николай и после обеда пригласил на партию в бильярд.

Затем до 11 вечера вновь работал с документами.

«И это ещё не самый трудный день у государя, — пожалел Николая Рубанов, — и так каждый день, всю свою жизнь, до самой смерти... Нет ничего хорошего в короне, — пришёл он к выводу. — То ли дело — генерал... А сынулю надо проведать на губе. Вот угораздило Владимира Александровича со своей бессонницей».

Отдежури и приехав домой, Максим Акимович долго размышлял, сказать жене о недостойном отпрыске или промолчать.

Но за обедом оно как-то само сказалось.

— Вот такие дела, Иринushка, опозорил меня сынок перед императором. Спал на боевом посту.

— Бедный мальчик, — по-бабьи всплеснула руками Ирина Аркадьевна. — Владимиру Александровичу поменьше шампанского на сон грядущий следует пить, тогда и сам спать будет и другим даст.

— Это ты откуда про шампанское знаешь? — попытался напустить удивление на лицо супруг.

— Да весь Петербург говорит... Откуда знаю... — ворчала супруга. — Одевайтесь, сударь, и поехали навещать сына, — распорядилась собрать корзину с провизией. — Голодает, наверное, мальчик, — смахнула с ресниц слезу.

— Мадам, ведь я же после дежурства, — сделал попытку отвертеться от совместного вояжа на гауптвахту.

— Уверена, что вы, сударь мой, всю ночь дрыхли в царских апартаментах... Вас-то Его высочество проверять не станет.

— Да как ты можешь так говорить? Я на службе с юнкерских времён не сплю, — воровато прятал глаза.

— Надевайте, мон шер, свою генерал-адъютантскую шинель, и в путь, — распорядилась супруга.

На гауптвахте Аким пользовался огромным почётом. Как же. Попался ни какому-нибудь полкашу, а самому Великому князю. Даже капитан Лебедев простил подчинённому трое суток ареста. Сам-то тоже спал. Да ещё под боком у жены.

Офицеры полка не забывали потерпевших, а тем более собранный повар Александр Иванович. Как он мог оставить в голоде своего тёзку, ну и заодно этого соню, молодого подпоручика.

Когда Архип Александрович в возке на литых шинах привёз господ на Садовую к Комендантской гауптвахте, там уже стояло несколько экипажей.

Узрев генерал-адъютанта, приехавшие провести друзей офицеры мигом испарились.

Стоявший у окна Аким, увидев свою матушку, сделал кислое лицо.

«Ну вот... И на гауптвахте от неё не скроешься. И отец хорош. Ну чего он её сюда привёз... Все теперь подумают, что я настоящий маменькин сынок».

«Как страдает, бедненький... Лицо какое несчастное...», — разглядывала своего сына Ирина Аркадьевна, доставая из возка поклажу и протягивая её мужу.

— Мне не положено корзины носить, — стал отказываться тот.

— Нет, я понесу, — отрезала Ирина Аркадьевна.

«Не надо всё жёнам говорить», — слишком поздно понял свою оплошность Максим Акимович.

Зато после гауптвахты Аким обрёл неожиданную радость: получил письмо от Натали. Прочитав, узнал, что в первых числах ноября они приедут в Петербург.



В выходной с иголки одетый Рубанов вышел из ворот казармы, дома ночевать не захотел и огляделся, отыскивая взглядом извозчика.

Увидев офицера, к нему тут же подкатили два лихаха.

— Ваш сиясь, — хором произнесли они, кося друг на друга злыми глазами.

«Видно, успели уже цапнуться либо на водопойке, либо сейчас из-за меня», — хмыкнул Аким, слушая возчиков, вразнобой уже оравших:

— Прокачу с высшим шиком, — бил себя в грудь один.

— Домчу с наивысшей скоростью, — доказывал другой.

Подумав, выбрал «высший шик».

У подъезда Бутенёвых, мешая пройти, расположился точильщик ножей со своим станком.

Глянув на подъехавшего офицера бодро загундел:

— Точу-у ножи-и, ножницы-ы...

— Алебарды, мечи, топоры, сабли-и, — проходя мимо и наливаясь какой-то детской радостью, удивил точильщика Аким.

«То-то в щенячем возрасте счастье было, — вспомнил, поднимаясь по лестнице, — запоздав, в темноте по саду добежишь домой и радуешься, что тебя не съели...», — нажал кнопку звонка и постарался убрать глупую счастливую улыбку.

Дверь открыла сама Натали.

— Аки-и-м, — радостно воскликнула она и хотела взять за руку, но сдержалась.

С трудом напущенная на лицо лёгкая меланхолия без следа испарилась, когда увидел невысокую стройную девушку с жёлтыми глазами.

— Натали-и, — рот расплылся в блаженной улыбке.

«Будто халву увидел», — попробовал осудить себя Рубанов, а душа его дрогнула от предчувствия счастья.

Он поймал её взгляд и уловил какую-то новую, неизвестную нежность.

Войдя, склонился и поцеловал ставшую почему-то безвольной руку.

«Ну вот, — подумал он, — по-моему, не успел добежать по тёмному саду домой», — чуть дольше задержал её руку у губ.

— Какой ты стал... — освободив руку, отступила на шаг.

— Какой? — нахмурил брови, стараясь выглядеть серьёзным.

Но Натали, застенчиво улыбнувшись, не успела сказать, а может, не захотела, оглянувшись на подошедшего к ним отца.

— Какие-е гости, — расставив руки, шёл он к Акиму.

Осунувшийся и ещё больше похудевший, он упорно старался выглядеть военным. В том, как сидел на нём мундир без погон, в его стройной осанке, сразу виделся бывший строевой офицер.

— Вас орденом Андрея Первозванного за подтянутый вид надлежит высочайше наградить, — польстил отставному капитану.

— Ну вы скажете, — радуясь то ли встрече, то ли комплименту, произнёс Бутенёв, обнимая гостя. — Милости просим, — жестом пригласил в комнаты, рассмеявшись благодушным, душевным смехом.

Акима провели в тепло натопленную просторную комнату и усадили на диван.

Через минуту он быстро поднялся поздороваться с вошедшей матерью Натали.

— Сейчас за стол сядем, — ласково поцеловала она молодого офицера в лоб.

Не успел Аким удобно расположиться на диване, как после продолжительного звонка в комнату ввалился сам подполковник Кусков. Левую руку он держал за спиной, а в правую вцепилась довольная жизнью Зинаида Александровна.

— А почему один, где же остальные? — затараторила она, не отпуская руку любимого.

— Зина-а, — вырвался он и уселся рядом с Акимом.

Рубанов уже привык к своему статусу гвардейского офицера и не вскакивал чётником перед старшим по чину.

— Наслышан, наслышан, — доброжелательно хохотнул Кусков. — Весь Петербург говорит, — вогнал Акима в краску.

Тот умоляюще хотел поднять руки, догадавшись, о чём наслышан Кусков, но не успел.

— Десять суток гауптвахты от самого Великого князя Владимира Александровича... Вот она, слава, — ободряюще похлопал Рубанова по плечу.

— Деся-я-ть суто-о-к! — произнёс Бутенёв таким тоном, словно командующий Петербургским округом наградил Акима орденом Андрея Первозванного, и вновь засмеялся необидным своим, благодушным смехом. — Это следует здорово отличиться... Вот у нас в полку был случай... — рассказал короткую поучительную историю, где офицеру впаили пятнадцать.

— Этим-то офицером он и был, — рассмеялась его супруга. — Когда чёт стареет, он становится монахом, — вспомнив о чём-то своём, пережитом, произнесла она.

Вкусный, простой обед прошёл весело и незаметно. Освоившийся уже Аким с юмором рассказал о происшествии с Великим князем.

Никто его не осудил.

— На службе всяко бывает, — пришёл к выводу Кусков.

— И чем больше этого «всякого», тем приятнее потом вспоминается служба, — подытожил Бутенёв.

После обеда Натали стала всех звать посетить выставку передвижников.

— Там выставлен портрет Льва Николаевича Толстого. Я в газете читала. Помните, тётушка, мы в Москве видели писателя после отлучения... Интересно, как его Репин изобразил.

Но сытно отобедав, никто любоваться на портрет Толстого не пожелал. Кроме Рубанова, конечно. С Натали он готов был ехать хоть на Сахалин и глазеть на картину Репина «Арест пропагандиста».

Попештавшись, старшие Бутенёвы отпустили молодёжь без сопровождения, хотя перед уходом Вера Алексеевна на всякий случай троекратно перекрестила дочь.

Точильщик колюще-режущих предметов исчез, зато мимо подъезда, вяло перебирая ногами и путаясь в рясе, ковылял пьяный пожилой батюшка, громко икая, крестя рот и поминая при этом рогатого, облезлого чёрта.

— Событьишка вспоминает, — рассмешил Натали Аким.

Их радовало всё. Особенно весёлая ноябрьская метель, неожиданно налетевшая на город и гнавшая по дороге редкие ещё снежинки.

Неизвестно откуда, словно из сказки или метели, перед ними возник лихач.

— Ежели барин с барышней жалают...

— Прокачу с высшей скоростью, — закончил за него Аким, вновь расмешив Натали и подумав, чего это он за всех договаривает.

Лихач, наоборот, подозрительно оглядел офицера: «Может, от пристава подослан? То-то всё знает», — задумчиво перебрал вожжи, дожидаясь, пока господа сядут в возок.

Потом, щёлкнув по лошадиному крупу выцветшей синей вожжой, пропел:

— Но-о-о, сердешны-я-я, — вновь подозрительно глянув на улыбнувшегося офицера.

Расплатившись с недоверчивым «Ванькой», Аким солидно вылез из возка, подал руку даме и вслух прочитав афишу «Выставка общества петербургских художников», провёл её внутрь.

Посетителей в выходной явилось прилично. Особенно молоденьких институток и гимназисток.

С трудом напустив на лицо налёт лёгкой поэтической меланхолии и глубокой пресыщенности от театров, ресторанов и концертов, под руку с Натали Аким вальяжно шествовал по залу, обращая на себя внимание юных дев.

Те, отведя глаза от босых ног пожилого графа с неухоженной седой бородой, безуспешно пытаясь напустить на лицо безразличие, с любопытством бросали взгляды на гвардейского подпоручика в лаковых сапогах и новенькой форме.

Натали эти взгляды начинали раздражать.

«Ведь на выставку пришли, вот и любуйтесь картинами», — думала она.

А потом вдруг ей стало приятно: «Под руку-то он держит меня, а не их...»

Рубанов, картинно выставив вперёд правую ногу, а левую руку, по примеру Кускова убрав за спину, тихо шептал на ушко Натали, приятно шевеля дыханием завиток волос:

— Не самое лучшее полотно Репина. И что за вид у графа? Мало того, босоногий, так в какой-то длинной белой рубаше, подпоясанный кушаком. А в кармане книга. Наверное, роман «Воскресение», за который я был изобличён и наказан капитаном Кусковым.

— Никак не-ет, Ваше благородие, в кармане у графа Гарнизонный устав, — фыркнула Натали. — И вообще, господин офицер, у вас благодарность по службе за что-нибудь есть?

В голосе её слышался смех, но взгляд был сосредоточен на босоногом графе и серьёзен.

— Всё впереди, — с жаром зашептал Аким, — вся грудь в орденах будет.

«Ой-ё-ёй, прям так и льнёт к этой конопатой... И чего он в ней нашёл?» — переглядывались институтки.

Одна из экзальтированных гимназисток, подойдя почти вплотную и делая вид, что говорит подруге, тряхнула своей эрудицией:

— Говорят, когда Лев Николаевич узнал о портрете, то написал Репину «Благодарю вас, Илья Ефимович, что, разув меня, вы оставили на мне хотя бы панталоны», — захихикали девицы.

Стрельнув в девушек глазами, Аким несколько отвлёкся от классика русской литературы, подумав, что Дубасов непременно поинтересовался бы насчёт панталон у девиц, и покраснел от этой мысли, ощутив рядом руку и близость Натали.

Напустив на лицо налёт чёрной, как панталоны на графе, философической печали, увёл Натали от картины и гимназисток, выдвинув здоровое, на его взгляд, предложение:

— Мадемуазель, нас Репин рисовать не станет... Давайте после выставки увековечим себя на фотографии...

Натали с восторгом согласилась, сменив этим чёрную фило-софическую печаль на лице офицера на белую, как рубашка графа, радость.

В фотоателье, похожий на копилку в образе кота фотограф с пышным бантом на шее, приняв заказ, согнулся и исчез под тёмным куском материи, начав то отходить, то придвигать тре-ногу с аппаратом.

«Скоро он дистанцию найдёт?» — устал стоять в напряже-нии позади сидящей в кресле Натали Аким.

— Сейчас вылетит птичка, — услышали они и вздрогнули от вспышки.

— Ну мне пора, Аким Максимович, — с лёгким вздохом со-жаления произнесла Натали, грациозно поднимаясь из кресла и привычным движением руки поправляя подол платья.

«Дубасов бы сказал, что всё хорошее когда-нибудь кончат-ся», — тоже вздохнул Аким, поинтересовавшись у маскирую-щегося под копилку фотомастера с бантом, когда будут готовы фотографии.

По ассоциации с фотоптичкой вспомнил литературную птич-ку из учебника и, глядя на Натали, в уме продекламировал:

Вот попалась птичка — стой!
Не уйдёшь из сети...
Не расстанусь я с тобой
Ни за что на свете.



За день до нового 1902 года, согласно нарождающейся традиции, государственные мужи Максим Акимович Руба-нов и Дмитрий Сергеевич Сипягин сидели перед камином в ка-бинете Рубанова и мирно потягивали коньячок, лениво пере-бирая события уходящего года.

— Послушайте, Максим Акимович, что пишет князь Ме-щерский о российских газетах: «У нас на сотню либеральных изданий едва шесть консервативных и на одного консерватора в земстве — двадцать либералов...». — Уж князюшка-то раз-бирается в этом вопросе. Помните, в прошлом году, кажется, цитировал вам Победоносцева, что любой уличный проходи-мец, любой искатель гешефта может, подзавяв деньжат, осно-вать газету. Но крестьянин пашет, а вот болтливый, вечно всем недовольный интеллигентишка, особенно из одной, недоволь-ной всем национальности, эти газетёнки и открывает, внося в умы наивных студентов ненависть к своей родине, власти и расшатывая этим устои государства. Я говорил тебе об отно-

шении англичан к родине. Нежно называют страну «старушка Англия». Немцы называют фатерланд «наш старый Фриц». Всё это с уважением и любовью... Для наших очкариков родина — «проклятая Россия...» Поэтому Мещерский и пишет, что для блага России, для спасения её от будущих катастроф монархическая власть призвана, дабы обеспечить стране РАВНОВЕСИЕ... А для этого должна принять на себя роль консервативного элемента. Бунтарей и революционеров у нас и так хватает... Наливайте, наливайте, Максим Акимович, ещё по рюмочке, а то язык шершавый стал. — Закусив, продолжил: — А Виленский генерал-губернатор, князь Святополк-Мирский к какому пришёл выводу, — глянул на собеседника Сипягин, — а вот к какому: «В последние три-четыре года, — констатирует он, — из добродушного русского парня выработался своеобразный тип полуграмотного интеллигента, почитающего своим долгом отрицать семью и религию, — укоризненно покачал головой Сипягин, — пренебрегать законом, — поднял вверх палец, — не повиноваться власти и глумиться над ней. Эта ничтожная горсть террористически руководит всей остальной инертной массой рабочих». Прав губернатор. Прав. Мои агенты донесли, что некий Ульянов, кстати, амбициозный человек, пишет за границей статьи, направленные против власти. В этом месяце, в журнале «Заря» опубликовал статью, — полез в стоящий у ног саквояж, вызвав улыбку Рубанова, — вот журнальчик, — раскрыл на загнутом уголке страницы, — и чтоб мы не догадались, подписался псевдонимом Ленин. А то мы не узнаем, кто это, — потряс журналом. — И почему именно Ленин? Оказывается, — увлёкся Сипягин, — в прошлом году из опасений, что его не выпустят под настоящей фамилией из страны, случайно через подругу жены достали паспорт, который та лихо стащила у отца... Вот она, современная молодёжь, — иронично хмыкнул Сипягин, сам разлив по рюмкам напиток. — С наступающим, — по-гусарски опрокинул в себя коньяк и закусил долькой шоколада. — На чём я остановился, — подождал, пока друг закусит свою порцию счастья. — Ах, да. Стибрила, как выражаются в узких, но весьма специфичных кругах, паспорт своего папá, Николая Егоровича Ленина, подделала дату рождения... Вот вам и псевдоним. А ведь этот недотёпа, плохо воспитавший дочурку, является действительным статским советником... О, как! — спрятал журнал в баул и вновь наполнил рюмки. — Чин четвёртого класса, равный генерал-майору. Покопались в родословной новоявленного генерала, и что? Как и у большинства баламутов, прадед — жидок. Мойша Бланк Ицкович. У него было два сына — Абель и Сруль.

— Очень поэтичные имена, — на этот раз Рубанов сам наполнил рюмки.

— Согласен, — выпил коньяк Сипягин. — Папашка их занимался торговлей...

У Бланков, Срулей и Абелей всегда так... Или политика, или торговля, — тоже выпил Максим Акимович.

— И вновь согласен... Так вот, приторговывал различным алкоголем и потихоньку доносил на соседей. Был груб и неуступчив с людьми. Переехал в Житомир. Скандалил с сыновьями. Те, дабы нагадить Мойше, приняли православие и отказались от папкиного отчества. Заодно сменив и имена. И стали: Абель — Дмитрием, Сруль — Александром. Этот самый Сруль-Александр Бланк окончил медико-хирургическую академию и женился потом на Анне Гроссшопф. У них родилась дочь Мария — мать Ульянова. По отцовской линии у Бланка-Ульянова-Ленина калмыцкие корни. Но Ленин — пустяк. Осенью этого года социалист-революционер Гершуни создал боевую организацию... Это поопаснее будет.

— Умоляю, Дмитрий Сергеевич. Только без рассказа о родословной, — поднял руки вверх Рубанов, рассмешив министра внутренних дел. — Думаю, из той же среды, что и Мойша Бланк. Давайте лучше по коньячку, Ваше высоко-о-копревосходительство, — улыбнувшись, произнёс Рубанов.

В январе император высочайше утвердил положение об Особом Совещании о нуждах сельского хозяйства. Председателем назначил министра финансов Витте, а его ближайшим помощником — Сипягина.

Дмитрий Сергеевич, дабы совещаться иногда и с хорошим человеком, а не только с Витте, стал уговаривать Рубанова, как крупного землевладельца, вступить на ниву сельскохозяйственной отрасли.

— Максим Акимович, голубчик, государь назначил двадцать сановников разбираться в нуждах сельского хозяйства, — вновь сидели за коньячком, но на этот раз на Фонтанке, в служебном кабинете Сипягина. — Да ничего эти супчики в сельском хозяйстве не смыслят, к тому же страдают желудком или печенью. А мы с вами, — поднял рюмку, — очень даже неплохо посоветуемся... — закусил лимоном. — Взять Витте... Про него, видно, апостол Павел сказал: «Человек — есть ложь». Общину надумали разрушить, а ведь она относится к главным устоям государства. Русский человек — общинный человек. Всей историей государства доказано, что мы сильны объединением, а не индивидуализмом. Крестьянин в русской общине не подавлен, а лишён своего буйства и стихийности. Крестьянские общинные владения растут. В отличие от дворянских. Многие ли твои офицеры владеют землёй? Вот то-то и оно, — щёлкнул он языком. — А крестьянский банк скупает землю у частных

владельцев и передаёт её на льготных условиях не безземельным офицерам, а крестьянам. Крестьяне владеют землёй не единолично, а являясь совладельцами общинной собственности на землю, но обрабатывают её на единоличных началах. Кто не ленился работать — богатеет. А лентяй идёт к нему батраком.

— Нет уж, увольте, — не слушал философические изыски друга Рубанов, размышляя над предложением вступить в состав образованного государем Особого Сопровождающего. — В сельском хозяйстве я понимаю даже меньше министра земледелия Ермолова, — развеселил Сипягина. — А вот Дальним Востоком заняться следует.

— Здесь ты прав, — покивал головой Сипягин. — Государь считает, что до 1906 года Россия воевать там не готова.

— Между тем поздней осенью прошлого года японский посланник маркиз Ито предлагал Николаю заключить соглашение о размежевании сфер влияния. России — Маньчжурия, а Японии — Корея. Маньчжурия и так уже наша, а как сказал военный министр Куропаткин: «Отказ от Кореи составит слишком дорогую цену для соглашения с Японией...» Вот потому-то и следует готовиться к войне, причём раньше шестого года. Повод японцы найдут.

— Это макакам раз плюнуть, — поддержал товарища Сипягин, вновь разливая коньяк. — Ну что ж, мой друг, полностью с вами согласен, — почему-то заговорил с Рубановым на вы. Занимайтесь Дальним Востоком, коли он вам ближе земледелия... А то ведь на днях японцы заключили союз с вечным нашим врагом — Англией, которая обещает им военную поддержку в случае войны с двумя державами. Это на тот случай, ежели нас Германия или Франция поддержат. И дружественный нейтралитет в случае войны только с Россией.

— Будут поставлять макакам оружие и боеприпасы, — на этот раз покивал головой Рубанов. — Хоть в шестом, хоть в следующем году — куда им против нас...

Подпоручик Рубанов тоже летал в высоких сферах, но не политических, а любовных.

Благодаря поддержке Зинаиды Александровны в воскресный день родители отпустили свою дочь до самого вечера с Акимом.

Выйдя от Бутенёвых и держа Натали под руку, Рубанов покрутил головой по сторонам в поисках извозчика. Как нарочно, на всём протяжении полёта пули из винтовки капитана Мосина извозчиков не наблюдалось. Зато рядом с молодыми людьми приплясывала укутанная в шаль бабища с пучком швабр на плече, кои она раскручивала вокруг своей оси, задумчиво поглядывая на офицера с дамой.

— Натали, — глядя на тётку в шали, громко произнёс Аким, — нам швабры нужны?

Бабица ослабилась волчицей и с надеждой подступила ближе, так раскрутив швабры, что они аж загудели.

— Сейчас взлетит, — шепнул девушке Аким и махнул рукой, останавливая, словно по волшебству возникшие сани с извозчиком.

Расстроенная тётка прекратила вращение и на всякий случай рыкнула:

— Швабры-ы половые-а-а! — и глянув на лихого извозчика, неожиданно для себя добавила: — Конские-я-а-а...

Привстав, извозчик заправил выбившиеся концы красного кушака, опоясывающего тёмно-синий кафтан и, глянув на бабу, покрутил пальцем у виска.

— У-у, гужеед, — озлобилась тётка, — чтоб ты гужом подавился, — гордо отвернулась от лихача.

— Швабра, — резонно ответил «Ванька» и, улыбнувшись господам, произнёс: — Резвая лошадка — с шиком прокачу, — указал на узкое полумягкое сиденье, обитое тёмно-синей тканью под цвет кафтана.

— Элегантные сани, — улыбнулась Натали. — У всех чёрные да коричневые, а эти синие.

На что повернувшаяся тётка плюнула в сторону саней.

Разместившись на узком сиденье, Аким заботливо укрыл ноги Натали подбитой овчиной полостью тёмно-синего сукна, пристегнув кожаные петли к головкам на заднем обрезе сиденья. Закончив, выдохнул с паром изо рта:

— Трогай помаленьку, — развеселив этим народным выражением свою даму.

— Вы с одного села? — засмеялась она, коснувшись холодной щекой щеки Акима, когда сани подпрыгнули на кочке. — А теперь скажи: «Не дрова везёшь», — веселилась она, доверчиво прижавшись к руке в шинели и по привычке всех барышень дунула на прилипшую к губам вуаль.

— Куда прикажете? — поинтересовался возчик, прикидывая, что сегодня он прилично разбогатеет.

— На Невский! — велел Аким, зажмурив глаза от снежного ветра и счастья.

— Н-н-но! — щёлкнул тот синими вожжами по накрытому синей сеткой лошадиному крупу и, лихо заломив меховую шапку с тёмно-синим верхом, замер монументом на облукке.

Полетели по Невскому.

Немного испуганная быстрой ездой Натали прикрывала от ветра лицо плюшевой муфтой.

— Хорошо-о! — наслаждался морозным воздухом и близостью девушки Аким. — Какой же русский не любит быстрой езды? — склонился к Натали и еле сдержался, чтоб не коснуться губами её щеки.

«А то обидится и выпрыгнет из саней», — вздохнул он, вспомнив далёкий бал.

— Мне кажется, и Нева, и проспект синего цвета... — при-
близив к уху Акима губы, прошептала Натали. — И день сегодня синий... И небо...

— И мои щёки, — сбив романтический настрой, произнёс Аким, незаметно, как ему показалось, поцеловав вуаль у виска, где виднелся иссиня-чёрный завиток.

— В тебе нет поэзии, — отвернувшись в сторону тротуара и домов, вздохнула она.

«Да гори всё синим пламенем!» — подпрыгнув на вовремя подвернувшейся кочке, обхватил даму за стан и поцеловал на этот раз в щёку.

Когда Натали повернула к нему не слишком рассерженное лицо, он сделал вид, что внимательно разглядывает промелькнувшую вывеску с золотым, а не синим, ужасно свирепым быком, с надписью под ним: «Мясные, зеленные и курятные».

Проехав ещё немного, сани остановились как раз рядом с вывеской «Английский погреб». Дорогу перегородил наглющий лихач на лаковых чёрных санях, с чиновником в шубе на хорях и разодетой дамой.

— Ну и куды ты прёшь, паразичья харя? — хриплым голо-
сом поинтересовался акимовский возница, убирая рукавицы за кушак.

— О-о, Господи! — вздохнула Натали, устремив взгляд на соседнюю с погребом чайную, над дверью которой весёлый пузатенький синий чайник с праздничными васильками по бокам пускал из носика лазурные кольца пара.

Акима пузатый чайник не интересовал, ибо он внимательно наблюдал за «Ваньками», загадав, что ежели верх возьмёт его, он ещё разок поцелует Натали.

— Дядя, это хто паразичья харя? — побагровев от возмущения, прошипел кипящим чайником молодой мордастый парень, гордо сидевший на облучке.

Сняв белые рукавицы, он засунул их за кожаный, с чеканными медными бляшками пояс. Подышав на ладони, прыгнул на

мостовую и начал расстегивать круглые позолоченные пуговицы на кафтане, находящиеся справа, почти подмышкой.

Видя такую прыть, акимовский возница позорно стушевался.

«Пропал поцелуй...»

— Ну ты чего, дядя? — дабы поднять моральный дух, легонько треснул по спине возчика Аким.

Отвлёкшаяся от весёленького синего чайника Натали, неохотно покачала головой и попыталась вылезти из саней, но Рубанов слегка сжал её руку, указав на приближающуюся конку.

— Будь внимательна на дорогах, а то попадёшь под колёса конки, не успев насладиться семейной жизнью, — нравоучительно произнёс он, прижав к себе даму.

— А я и не собираюсь замуж, — гордо фыркнув, отстранилась от него.

На противоположной стороне летел, уверенно правя санями, звероподобный купеческий кучер с бородой-лопатой на такой же роже.

С высшим кучерским шиком, видно, по приказу хозяина остановив возле чугунной тумбы двух откормленных коней и зычно гаркнув:

— Э-э-й, поберегись, пя-я-хота, — стал с любопытством глядеть на разворачивающуюся комедию.

Похожий на своего кучера купец таращился на бойцов. Вздёрнутый Акимом возница мигом сбросил кафтан, высморкался, профессионально зажав большим пальцем правую ноздрю, гикнул для острастки, и съездил расфранчённому противнику по уху.

— Натали, глянь на ухо Ваньки, синего цвета прибавилось, — радостно произнёс Аким, но сразу целовать не решился.

К тому же исход битвы был пока неясен. Почесав за ухом, Ванька замычал разъярённым быком-производителем, затем матюгнулся и со всего маху въехал возчику по носу. Хрюкнув, тот брякнулся задом на свои синие сани.

«Эх, чёрт-дёвол, пропал поцелуй, — расстроился Аким, — вот ежели б наш Ванюшка бился».

— С таким не поеду, — вылез из саней и, подав руку Натали, помог выбраться на мостовую.

Бросив посиневшему от переживаний и холода возчику рубль, повёл даму по тротуару вдоль трёхэтажного дома, обклеенного вывесками с рекламой.

— Господин офицер, а чего это вы расстроились? — заинтересовалась Натали. — К тому же хоть вы и военный, но нельзя же быть таким кровожадным, словно американский индеец.

— Есть из-за чего, — ёмко ответил на первый вопрос. — Ничего и не кровожадный, — отмёл обвинения. — В ресторан, конечно, не пойдёшь?

— Конечно, нет! — заинтригованная причиной офицерского расстройства, улыбнулась Рубанову.

— Мадемуазель, тогда в кондитерскую, — и не слушая возможных возражений, которых и не последовало, взял даму под руку и уверенно раскрыв дверь, пропуская её вперёд.

— Ах, как аппетитно пахнет, — почему-то шепнула Натали, направляясь к стойке с пирожными, сдобой, пирожками и другой вкуснятиной, за которой стоял упитанный продавец.

— Чего желаете, сударыня, — с долей подобострастия поинтересовался щекастый мальёк, указав на кондитерское изобилие.

Натали, улыбаясь, глянула на своего кавалера.

— Ты, сударыня, думай, — деловым тоном произнёс Аким, — а мне, милейший, две чашки кофе... два пирожка с зайчатиной... нет, три. И три пирожных, — указал, каких именно.

Натали отчего-то прыснула смехом, прикрыв рот ладошкой и прижимая локтем муфту.

— Мне пирожное, вот это, с кремовой розочкой и чашку кофе, — сделала заказ.

— И тебе хватит одного пирожного? — поразился Аким, оглянувшись на открывшуюся дверь, впустившую морозный воздух и двух гимназисток.

Девушки расположились за соседним столиком и, будто случайно, бросали заинтересованные взгляды на офицера с дамой. Причём на даму глядели с каким-то женским пренебрежением, видно, представляя на её месте себя.

«С некоторых пор, неизвестно отчего, просто терпеть не могу гимназисток старших классов», — подумала Натали.

— Аким, скажи, пожалуйста, по какому поводу ты расстроился? — пригубила горячий напиток, откусив маленький кусочек пирожного.

— Сударыня-я, — не слишком интеллигентно уплетая пирожок с зайчатиной, произнёс Аким, — не думал, что вам свойственны женские слабости и пороки...

— Какие слабости? — отставила она чашечку. — А тем более — пороки...

— Как, какие? — делая вид, что не замечает рассерженный тон, продолжил он. — Любопытство, например.

— Любопытство не порок, а способ познания мира, то есть вполне нормальное чувство, свойственное всем дамам, — затараторила она.

— Ага! — иронично хмыкнул Аким, принимаясь за следующий пирожок. — Скажи ещё, что любопытство — двигатель прогресса...

— И скажу! Скажу, что вы, сударь, неподобающе ведёте себя с дамой.

— Извини, — прожевав и вытерев губы салфеткой, нежно заглянул в её рассерженные глаза. — Просто я загадал, что если победа останется за нашим возчиком, я тебя поцелую... — наблюдал за метаморфозой глаз, из рассерженных превратившихся в растерянные и вдруг вспыхнувшие счастьем.

«А может, это мне показалось», — вздохнул он, потому как на словах дама не выразила счастья, а наоборот, заклемила бедного подпоручика:

— А вы, сударь, наха-а-л.

Но «нахал» звучало так нежно и ласково, что у Акима стало тепло на сердце.

— У тебя рыжие глаза, — ни к селу ни к городу произнёс он. И не дожидаясь ответа, продолжил: — Можно подумать, что вы, мадемуазель, не гадали на Святки.

— Гадала! — покраснев, подтвердила Натали.

— Ну и кто жених? — делая безразличный вид, поинтересовался Аким.

— Какой жених? — потерялась девушка.

— Ну дамы гадают на любовь, — принялся он за пирожное.

— Откуда вы знаете? Вы что, дама, что ли? — недовольно глянула на прислушивающихся гимназисток. — И к тому же, сударь, говорите о ЛЮБВИ и вульгарно жуёте пирожок с зайчатиной.

— Пирожное. Пирожок уже съел, — поперхнулся он. — А чего надо жевать?

— Следует не жевать... а читать стихи, в коих воспевается дама сердца, — нежно улыбнулась своему рыцарю. — Да ешь уж свой заячий пирожок, — разрешила она.

— Только пирожные остались, — растерялся офицер.

Гимназистки отчего-то блаженствовали.

— Ну что сказать, — с сожалением отложил он половинку пирожного. — В детстве я много читал о любви...

— А сейчас вышли из этого возраста, — прыснула она.

— ...О луне и одиночестве, о скалах и романтических дубравах, о розах и лилиях, — не слушая её, перечислял Аким, — о еротах разных...

— О чё-ё-м? — смущённо рассмеялась Натали.

— О проказах резвых молодых шалунов...

Натали заинтересованно смотрела на кавалера.

— Не только в поэзии, но и в жизни кипят любовные страсти... Недавно мне рассказали о новогоднем скандале в Эрмитаже, когда князь Ухтомский и сахарозаводчик Солнцев подрались из-за какой-то дамы...

— Читала... Это не стихи... Репортёры просто обмусолили скандальный эпизод. Что ещё? — иронично глянула на закатившего глаза к потолку кавалера.

— Всё! — схватив пирожное, бросил его в рот.

— Вот все вы, мужчины, такие. Подраться можете, а поговорить о любви — вас нет. Дамы более утончённые натуры, и любовь для нас — нечто возвышенное... А не ероты разные... Дамы могут просто любить мужчину, не рассчитывая на взаимность, не рассчитывая на ответное чувство... Когда мы были в Ялте, там жил Чехов. И многие гимназистки и институтки были без ума от него. Мечтали лишь увидеть писателя, даже не рассчитывая, что он обратит на них внимание, даже не рассчитывая общаться с ним... Лишь только видеть, лишь только смотреть на Чехова и благодаря ему прикоснуться к вечному... Ведь как это впечатляюще, увидеть бессмертие, ощутить его где-то рядом... «Ну чего эти гимназистки усталились на Акима... Ведь он не Чехов», — вызывающе глянула на враз потупившихся девиц.

— Да читал в газетах об этих «возвышенных натурах», — с иронией произнёс Аким, наконец-то насытившись и обретя благодаря этому ясность ума. — Пишут, что в Ялте, где живёт Чехов, образовалась целая армия бестолковых, — глянул на гимназисток, чем в сочетании с последним словом обрадовал Натали, — ...поклонниц его художественного таланта, именуемых «антоновками»...

После этой тирады дружно посмеялись, причём Натали глядела на девиц.

Обидевшиеся гимназистки, подумав, что смеются над ними, фыркнув рассерженными кошками, покинули уютную кондитерскую.

— ...бегает по набережным Ялты за писателем и стараются чем-нибудь привлечь его внимание, — не заметив ухода гимназисток, закончил мысль. — Сударыня, а вы, часом, не преследовали знаменитого беллетриста? — сардоническим тоном поинтересовался у дамы.

— Представьте себе — нет. Зато в Москве видела самого Льва Толстого. И он спросил у меня, сколько времени, — при-

врала она, рассчитывая этим поднять свой статус в глазах любимого.

— А он не спросил у тебя, как пройти в библиотеку? — пошутил Аким, но видя, что дама нахмурилась, прикусил язык. — Всё, всё, всё... — поднял вверх руки. — Дамы — это высшие существа, и не нам, мужланам, вторгаться в их внутренний мир, — развеселил подругу.

— Сударь, как вы лицемерны, — сквозь смех произнесла она и, встав на цыпочки, чмокнула Акима в щёку. — Ах, какая я эмансипэ, — с удовольствием рассматривала растерявшегося и прижавшего ладонь к щеке кавалера.

А на следующий день — служба.

Приняв рапорт дежурного по роте, согласно гвардейскому обычаю не повышать голоса, Аким поздоровался с выстроенной на молитву и перекличку ротой:

— Здорово, братцы.

Рота дружно ответила, а Пал Палыч иронично хмыкнул на «братцы».

«Вообще меня ни во что не ставит, — вспыхнул Аким. — Хоть он и прослужил четверть века, да к тому же георгиевский кавалер, но лишь фельдфебель, а я — офицер», — скомандовал «Вольно!» и тут же, увидев входящего Гороховодатсковского, не по гвардейской, а по юнкерской привычке завопил:

— Смир-р-но, — вновь заслужив пренебрежительную улыбку фельдфебеля.

Гороховодатсковский, поздоровавшись с ротой, отпустил её пить чай.

— Чего не весел, подпоручик, — чтоб подбодрить, слегка хлопнул Рубанова по спине.

— Да слишком фельдфебель высокомерен.

— Что, честь не отдаёт?

— Да нет, честь-то отдаёт, но за человека не считает, — направились в ротную канцелярию офицеры.

— Терпи, мой друг, — закинув ногу на ногу, расположился в кресле Гороховодатсковский и налил из графина воды, залпом опорожнив стакан.

— «Эрнест», «Контан», «Кюба?» — с улыбкой перечислил рестораны Аким.

Покрутив головой, нет ли поблизости полковника Ряснянского, подпоручик произнёс:

— Не то, не другое, не третье. Неуставной кафешантан с мас-сой вина и девиц. Когда вы составите мне компанию, мой друг?

Или сильно дорожите плюмажём, — выпил ещё стакан воды и блаженно выдохнул воздух. — А Пал Палыч младших офицеров, в том числе и меня, за людей не считает... Как же. Самому императору в полковой праздник серебряную чарку с водкой подносит... Его Величество при этом уважительно величает фельдфебеля по имени-отчеству... И после этого ты хочешь, чтоб он нас почитал? — потянулся к графину Гороховодатковский, но сдержался, видно, подумав о последствиях. — Он нашего ротного мальчишкой считает, хотя тому 34 года. Старик практически. А Пал Палычу скоро 48 будет. С 1875 года служит и за Горный Дубняк георгиевским кавалером стал. Таких в полку трое. Во 2-й роте — фельдфебель Иванов Василий Егорович и полковой знаменосец Евлампий Семёнович Медведев. Тем по 46 лет, и тоже получили Георгиевские кресты за Горный Дубняк. Даже полковник Ряснянский величает их по имени-отчеству, так как наравне с гренадёрками относит к полковым реликвиям, — хохотнул он и продолжил. — Те, в свою очередь, ревностно чтят полковые традиции и жучат молодых солдат, воспитывая в духе почтения к этим традициям, к белым петлицам полка и особенно к своим серебряным шевронам за сверхсрочную службу, — махнув рукой, вновь наполнил стакан водой и выпил. Задумчиво посидев минуту, икнул и произнёс: — Не-е-т, это не «Мадам Клико».

Вечер Аким решил провести дома, а не в казарме, так как его брат заболел и был отпущен для излечения в отпуск.

Дверь распахнул швейцар Прокопыч.

— Ваше превосходительство, — по привычке брякнул он и заморгал маленькими, в тяжёлых веках глазками.

— Не превосходительство, а сиятельство, — отстранил мешавшего проходу швейцара и вошёл в вестибюль.

Тут же появился бессменный денщик Антип. Этот, в отличие от швейцара, встал во фрунт и чётко доложил:

— С прибытием домой, Ваше высокоблагородие, — и гордо скопился на свои три лычки на погонах.

— О-о! Поздравляю с чином старшего унтер-офицера, — протянул ему пять рублей. — Выпьешь за моё здоровье. Учись, Прокопыч, как следует офицера приветствовать, — прошёл в комнаты, сбросив на руки огорчённому швейцару «николаевскую» шинель.

В эту минуту с нетерпением ожидающий брата Глеб предстал перед ним во всей своей юнкерской красе, несколько смазав торжество встречи громким чихом.

— Будь здоров, господин младший портупей-юнкер, — глянул на красные погоны с двумя золотыми нашивками. — Если так дело пойдёт, скоро Антипа догонишь, — обнял брата, затем отступил на шаг и оценил ладно пригнанный, защитного цвета китель, заправленные в высокие хромовые сапоги со шпорами синие рейтузы с красным кантом и висевшую на боку шашку. — Глеб, ты кого здесь рубить собрался? — вновь обнимая младшего брата, хохотнул старший и, оправив сюртук, снял и бросил на шинель замшевые перчатки.

Ни шашки, ни револьвера Глеб не увидел.

«А ведь без шашки офицеру не положено, — подумал он. — Хочет показать, что бывалый воин и устал от оружия... Да и кто на извозчике-то его заметит», — снял шашку и бережно положил на шинель и перчатки брата.

Антип пренебрежительно глянул на две юнкерские лычки, затем с уважением на свои три, щёлкнул каблуками сапог и направился вслед за уносящим вещи швейцаром, так как в комнату впорхнула улыбающаяся Ирина Аркадьевна, а она, по его разумению, была главнее самого фельдфебеля.

Мать кинулась целовать старшего сына, попутно ещё раз чмокнув младшего.

— Слава богу! Наконец-то вся семья в сборе, — обернулась на шаги отца и мужа.

Максим Акимович, скрывая в насуспенной переносице любовь и гордость за сыновей, строго оглядел вытянувшихся для шутки во фронт ребят.

С отцовской нежностью, стараясь скрыть её от жены и старшего сына, полюбовался младшим: «Я в юности», — и чтоб не прослезиться от счастья, от того, что круг не замкнётся с его уходом, неожиданно для себя улыбнулся детской, мягкой улыбкой и обнял за плечи жену, слегка прижав её к себе.

Та поняла состояние мужа и разрыдалась слезами радости — женщинам можно. Плакала чистыми слезами детства, от того, что все собрались вместе, что дети здоровы, а рядом любимый муж... Что ещё нужно для счастья?

— Ну всё, всё, успокойся, — нежно погладил её по плечу Максим Акимович, сам с трудом удерживая слёзы. — Радоваться надо, а не рыдать.

— Да я каждый день по такому поводу плакать готова, — промокнула платочком глаза. — Расчувствовалась, — добродушно упрекнула себя, — а дети голодные... За стол пора, — спохватилась она. — Я давно уже велела Камилле накрывать.

Не забудьте руки помыть, — подражая супругу, попыталась строго свести брови на переносице, но у неё ничего не вышло. Не тот был день и не то настроение... — Ну а Георгия с Любочкой завтра пригласим. Ты ведь завтра тоже придёшь, Акимушка, — с любовью глянула на старшего.

— Пока сугубец болеет, обязательно.

— Какой сугубец? — опешила мать.

— Отчётливый сугубец, — указал пальцем на младшего и хохотнул Максим Акимович.

— Кошма-а-р, — делая вид, что сердится, схватилась за голову Ирина Аркадьевна.

Обозрев накрытый стол, Глеб нервно звякнул шпорой и еле сдержался, чтоб не обогнать идущих под руку родителей.

— Чего, сугубец, оголодал в училище? — тихо шепнул на ухо брату Аким.

— Во-первых, — усевшись за стол и положив на колени салфетку, произнёс Глеб, — наше училище юнкера называют «школой», потому что царь-основатель, Николай Первый, называл учебное заведение «Школой гвардейских юнкеров».

— Да, это так, — поддержал младшего сына отец, тоже в своё время закончивший эту славную школу. — Надеюсь, Глеб, что обычаи и традиции вы соблюдаете строго и неукоснительно, как и мы в своё время? — нежно глянул на сына.

— Отец, в этом не сомневайся. Помним заветы старших и исполняем советы «дядек». Потому-то традиции живы 80 лет и крепки, как запах нафталина в нашем цейхгаузе.

— Каких ещё «дядек»? — удивилась Ирина Аркадьевна.

— Это юнкер старшего курса, который обучает меня премудростям кавалерийской службы. А я его «племянник», — поверг в некоторое уныние свою маман.

— Молодец, сугубец, — рявкнул отец, а вошедшая Камилла сморщилась.

— Сударыня, — произнесла она, — суп подавать?

— Непременно! — ответила Ирина Аркадьевна.

Домоправительница хлопнула в ладоши, толстозадый швейцар Прокопыч раскрыл дверь, и рубановский повар Герасим Васильевич внёс благоухающий суп в глубоком фарфоровом блюде. За ним следовал лакей Аполлон в чёрном смокинге и белой манишке.

— Мадам, — обратилась к хозяйке домоправительница, — потому как обед не парадный, а семейный, я распорядилась подавать суп не сразу в тарелках, а разливать за столом... Аполлон, — голосом ротного командира обратилась к супругу.

Тот с поклоном взялся за половник.

— Благодарю, Герасим Васильевич, запах изумителен, сейчас отведаем вкус, — вздохнула Ирина Аркадьевна, подумав: «И зачем столько лет терплю эту чопорную даму с её Клеопатрой Светозарской».

У Глеба обильно потекли слюнки, и чтоб сразу не кинуться на суп, он скатал шарик из хлеба и метко метнул в старшего брата, попав тому в грудь.

Мадам Камилла от такого циничного нарушения этикета на время лишилась дара речи, развеселив этим свою госпожу.

Глава дома добродушно рассмеялся, а подпоручик Рубанов, забыв, по мысли мадам Камиллы, о порядочности, в ответ попал хлебным шариком в нос портупей-юнкеру.

— Дети! Вместо обеда в угол захотели, — звонким от счастья голосом не произнесла, а пропела Ирина Аркадьевна. — Каково глядеть на ваши безобразия строгой исполнительнице светского этикета, мадам Камилле?

— Вы правы, сударыня, едко поджав губы, не произнесла, а прошипела домоправительница. — Многие молодые люди, отбросив благовоспитанность, взялись подражать американцам. А всем известно, что они обладают дурным тоном и вкусом. Говорят, дело доходит до того, что кладут ноги на стол, — незаметно перекрестилась она. — Клеопатра Светозарская тут же умерла бы от подобного нарушения приличий. Но думаю, люди лгут. Как это нормальный, культурный человек в здравом уме и рассудке положит ноги на стол. Да ещё в обуви... Да ещё при людях... Ну конечно, лгут. И ещё говорят, суп они кушают не сбоку ложки, как порядочные и воспитанные люди, а с конца её, как делают некоторые провинциалы, — глянула на Глеба.

— И кавалерийские юнкера славной школы, — радостно подхватил Аким. — Они даже в голову не берут, растеряв в училище остатки светского этикета, которого и не знали, что за столом должно сидеть так, дабы не беспокоить соседей.

— А я тебя и не беспокою. Почти... — немного подумав, добавил Глеб.

— Вот именно, почти, — глянул на улыбающуюся мать, внимательно слушающую его мадам Камиллу, отца и лакея Аполлона, замершего с половником в руке, с которого стекла на скатерть предательская капелька супа. — Некоторые юнкера любят, словно тамбовские провинциалы, развалиться за столом, нагло вытянуть ноги в хромовых сапогах до сидящего напротив культурного офицера, барабанить при этом пальцами по столу, да ещё и перебивать старших по званию, — повысил голос Аким, подавив попытку брата как-то оправдаться.

После обличительной реплики подпоручика мадам Камилла даже захлопала в ладоши.

— Гвардейского офицера за версту видно, — произнесла она, постаравшись забыть постыдный эпизод с метко кинутым кусочком хлеба.

— А всё происходит оттого, — патетически воскликнул старший брат, отметив, как младший подобрал ноги, — что перед нами пока не отъявленный кавалерист и корнет старшего курса, а просто «молодой зверь».

Глеб удручённо звякнул шпорами, вообще убирая ноги под стул.

— И надеты на нём не шпоры и китель, хотя они такие же, как у благородных корнетов, — оглядел внимательных слушателей, — а «подковки» и «курточка».

— Это да! — хохотнул отец. — Всё по традиции. Из двух рядом висящих зеркал в одно имеет право смотреться лишь корнет, а в другое — «сугубый зверь», — с улыбкой глянул на встревоженную жену.

— Это у-ужас! — схватилась за виски Ирина Аркадьевна. — Ужас!

Мадам Камилла согласно покивала головой.

— Традиции, — отчего-то счастливо вздохнул Максим Акимович. — Мы, старые генералы, закончившие лучшую в мире «школу», до сих пор с удовольствием вспоминаем юнкерские обычаи.

— Особенно, когда выпьете, — вставила веское обличительное слово Ирина Аркадьевна. — Подавайте второе блюдо, — распорядилась она. — Ешьте, ешьте, дети, — указала рукой на заставленный закусками стол.

— А имеются такие ритуалы, что за столом, да ещё матери, и говорить об этом нельзя.

Последнее умозаключение глава военного семейства произнёс, не подумав, потому как глаза супруги запылали огнём любопытства.

— Что же такое нельзя знать матери за столом? — заинтересованно произнесла она.

Все мужчины молча принялись есть принесённое поваром жаркое, уставившись в свои тарелки.

Лишь Аким на минуту поднял глаза, с интересом глянув, как снимает плюмаж с Аполлона мадам Камилла, указывая на испачканную капелькой супа скатерть и стараясь не замечать целую лужицу и крошки хлеба у тарелки юнкера.

Неаккуратно отбросив вилку и оставив этим след на скатерти, Ирина Аркадьевна в полный голос возмутилась:

— Да что же это такое делается... Что вы всё едите, да едите... Скажет кто-нибудь матери, о чём нельзя говорить за столом.

В ответ Глеб мелодично позвякал шпорами. Максим Акимович задумчиво грыз куриное крылышко, будто не слыша

жену, и лишь Аким, улыбнувшись матери, свалил проблему на бедного отца.

— Мама, мы даже не догадываемся, о каких ритуалах нельзя говорить за столом, — с трудом скрывая улыбку, наивно уставился на папа.

Глеб уже веселее позвякал савеловскими шпорами.

— Максим, да брось ты это дурацкое крылышко, — обидела вошедшего с каким-то блюдом повара, — и хватит играть в молчанку.

Старший Рубанов, видно, испытывая терпение жены, не спеша вытер губы салфеткой, затем пальцы, кивнул растерявшему плюмаж Аполлону, чтоб налил вина, выпил, вновь вытер губы и, только когда супруга хряпнула бокал об пол, произнёс:

— Дорогая, ну зачем так нервничать?

— Я не нервничаю, сударь, а просто сейчас убью вас вот этим самым половником, — взяла с тарелки аполлоновский инструмент.

Шпоры под столом весело зазвенели.

— Ну, например, пардон, конечно, благородный корнет, ночью может разбудить своего «зверя», иногда его называют племянником, и верхом поехать на нём в уборную.

— Аполлон, придержи мадам Камиллу, — а то ей сейчас станет плохо, — дал совет лакею Аким. — А ты, папá, придержи мамочку... Она и вовсе теряет сознание.

— Где-е-б, и ты учишься в таком училище? — слабым голосом простонала мать.

— В школе, маман, — с пафосом воскликнул Глеб. — На следующий год я сам на своём «звере» буду ездить в уборную...

— А-ах! — провисла на руках Аполлона супружница.

— А-ах! Какое счастье! — закрыв глаза, схватила за лоб Ирина Аркадьевна.

В ответ Глеб бодро звякнул шпорами:

— Маман, если б вы знали, как ловко я управляюсь с пикой, вы бы мной гордились...

Аким, дабы скрыть улыбку, тоже схватился за лоб.

Максим Акимович с любовью и гордостью посмотрел на младшего сына, затем на жену, начинавшую подавать признаки жизни.

Аполлон, пыхтя и краснея лицом, с помощью довольного швейцара тащил свою супругу к дивану.

— Ты за ноги не очень-то её хватай, — шипел на Прокопыча, когда укладывали мадам Камиллу.

— Господи, какое счастье, — немного успокоившись и придя в себя, произнесла Ирина Аркадьевна. — Старший сын ловко лазает по канату, младший не менее ловко управляется с пикой... Максим Акимович, любезный супруг мой и по совместительству — генерал-адъютант императора, может, и вы изволили на своей спине возить в уборную благородного корнета?

— А то! Ещё как возил... Галопом, — довольно засмеялся генерал и, пощёлкав пальцами, велел подошедшему Аполлону наполнить бокал вином. — Зато как меня потом катал мой «зверь», — мечтательно отхлебнул напиток. — Хотя он обошёл меня на чин и является генералом от кавалерии, однако я на всю жизнь останусь для него благородным корнетом, вышедшим из пены Дудергофского озера... А он для меня — вышедшим из болота сугубцем в подковках и курточке, хотя и с генеральскими погонами, о чём при встрече всегда напоминаю и заставляю рассказать, например, о судьбе рябчика, попавшего в желудок благородного корнета...

— И какая же у рябчика судьба? — неожиданно для себя заинтересовалась Ирина Аркадьевна.

— Глеб, пулей скажи маме, — велел Максим Акимович.

— Душа рябчика, попав в желудок благородного корнета, становится бессмертной, господин генерал-адъютант, — звякнув шпорами, отрапортовал «сугубый зверь».

— Молодец, молодой, — похвалил сына Максим Акимович. — А сочинение на тему «Влияние луны на бараний хвост» писал?

— Так точно, — бодро вскочив на ноги, рявкнул Глеб.

— Ко-о-шма-а-р! — Ирине Аркадьевне вновь стало плохо.

Максим Акимович так не считал.

— Армейские традиции, матушка, — произнёс он. — Вот у Акима в полку дарованная государем милость — носить гренадёрские шапки, и на парадах павловцы проходят перед императором, держа винтовки «на руку», как бы идя в атаку, в то время как другие полки, согласно уставу, несут ружья «на плечо».

На этот раз шпоры под столом вывели язвительную мелодию, которую Глеб тут же озвучил:

— Зато, когда он был юнкером, то ходил со штыком, а я с пашкой...

— Ну и что? — не понял Аким.

— Как это что? — всполошился Глеб. — Штык — это символ пехотного звания, а пашка указывает на отъявленного кавалериста, — насмешливо погремел шпорами.

— Ну конечно, рубака-парень, — обиделся за пехоту Аким. — Весь лак специально с рукояти пашки содрал, дабы показать, что лихой рубака.

— Да ты знаешь, сколько я занимаюсь, изучая шашечные приёмы. Вот и истёрлась рукоять, — покраснел Глеб.

Отец вновь благожелательно глянул на младшего.

— А будешь приставать, вызову на дуэль, — воинственно забряцал шпорами.

— И какое же оружие выберешь? — поинтересовался Аким.

— Пашку, конечно! — без раздумий произнёс Глеб.

— Тебе не повезло. Я выбираю наган, — закатился смехом Аким.

— Дети, хватит спорить, — решил помирить бравых воинов Максим Акимович. — Этот антагонизм между родами войск осуждает сам государь. Все мы служим в императорской армии, — строго глянул на сыновей, хотя в душе был абсолютно уверен, что лучшим и самым важным из родов войск является кавалерия.

— Шашечные приёмы он изучает, — всё не мог успокоиться Аким. — А кто получил в подарок от благородных корнетов золотую репу, как первый из курса, свалившийся в манеже с лошади?

Шпоры горестно зазвенели, а лицо Глеба приняло свекольный оттенок.

— Сынок, у тебя тоже есть золотая репа? — обрадовался Максим Акимович. — Это семейная традиция, — скромно потупился он. — Однако ж, несмотря на репу, команду гвардейской дивизией.

— Отец, ты тоже первым брякнулся с коня? — ужаснулся Глеб.

— Ничего, сынок. Согласно этой новой семейной традиции, и ты дослужишься до генерала.

— А почему дарят именно репу, а не морковку? — глянула на заинтересованного повара и отпустила прислугу, чтоб не слушали господские байки.

— Дорогая, — взял на себя миссию объяснения с женой Максим Акимович, — потому что с коня летишь головой в опилки и навоз. А голова на юнкерском жаргоне и является репой.

— И какие же ещё в вашей армии есть традиции? — отчего-то проявила интерес к воинским делам Ирина Аркадьевна.

— Да полно! — поглядев, что Аполлон исчез, Максим Акимович сам налил вина.

Аким собрался произвести то же действие, но был остановлен негодующим голосом матери:

— Акимушка, не бери с отца пример, а лучше чего-нибудь скушай.

Глеб радостно зазвенел шпорами.

Изнитожив напиток, глава семьи с вдохновением продолжил:

— В лейб-гвардии Измайловском полку традиционно шитьё мундира, напоминающее заплетённую женскую косу. По преданию, которое в полку десятилетиями передаётся из уст в уста, при основании оною в 1730 году к императрице Анне Иоанновне обратились с вопросом, какое шитьё даровать новому гвардейскому полку, и она указала на свою косу, и вопрос был решён. Очарование красивой легенды оказалось столь велико, что все забыли и думать, что на мундир того времени некуда было поместить шитьё, появившееся фактически лишь при императоре Александре Первом в 1800 году и заимствованное от прусского гвардейского батальона.

— Но скажи кому об этом из молодых офицеров-измайловцев, — хохотнул Аким, — вмиг стреляться предложат.

— А может, на пашках биться, — поддержал гипотезу младший брат. — Отец, про кавалерию что-нибудь расскажи, — попросил Глеб.

— Кавалерия, сынок, имеет свои традиции. У офицеров лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка на воротнике колетов была сохранена отменённая в других полках пуговица. Она на колете Подольского кирасирского полка спасла жизнь Великому князю Константину Павловичу — наместнику в Царстве Польском и шефу полка. Пуля поляка, стрелявшего в Константина, изменила направление, ударившись о пуговицу на воротнике колета. Впоследствии лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк принял в свои ряды подольских кирасир, а вместе с ними — жёлтое прикладное сукно и пуговицу на воротник колета.

Офицеры лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка носили ташки с недошитым узором. По преданию, ташку вышивала императрица Екатерина Вторая и, не успев закончить работу, скончалась. С тех пор в память об императрице, при которой полк был сформирован, офицеры и носили «незаконченную» ташку.

— Это старые предания, — взял слово Глеб. — У современных юнкеров, о чём и Акиму известно, появились уже свои традиции.

Максим Акимович заинтересованно поглядел на сына и, не смотря на колкий взор супруги, вновь наполнил вином бокал.

— Когда ещё так посидим, — с добродушной улыбкой оправдал себя.

— В 1894 году, как всем известно, кроме матушки, конечно, из пехотного было организовано одноимённое Константиновское артиллерийское училище. И юнкера Михайловского артиллерийского, сформированного ещё в 1820 году, с долей пренебрежения относятся к константиновцам, называя коллег констапупами.

— Да так их все юнкера называют. Высокомерен, туп и глуп, это юнкер-констапуп, — поддержал брата Аким.

— Во-во! — шпоры обрадовано зазвенели. — А из-за чёрных выпушек на погонах михайловские юнкера язвят, что констапупы носят траур по пехоте, — закатились братья.

К удивлению Ирины Аркадьевны, их поддержал и отец.

— Да-а, благородная семейка, — сделала она вывод и сама налила вина, отказавшись от мужской помощи, попутно треснув по руке потянувшегося к бутылке Акима.

— А констапупы, в свою очередь, называют оппонентов «михайловны» и ржут над их традицией носить на младшем курсе шпоры, что строго воспрещается, — позвенел Глеб своими.

— Мужчины, мне надоели ваши военные разговоры. Неужели нет других тем, — пригубила из бокала Ирина Аркадьевна. — Вот, помню, старшенького наказали за то, что читал «Воскресение» Льва Толстого. А ты, Глебушка, что читаешь?

Отец со старшим сыном заинтересованно уставились на младшего.

— О-о! Я много чего читаю, — стал загибать пальцы. — Уставы и инструкции внутренней службы... В казарме и конюшнях, — подумав, уточнил он для матушки.

Отец одобрительно покивал головой, Аким заулыбался, Ирина Аркадьевна трагически сморщилась.

— Гарнизонная служба, — загнул ещё один палец Глеб. — Тренировка лошадей, — просветил матушку.

Ирина Аркадьевна отнюдь не от восторга всплеснула руками.

— Служба в действующей армии — разведка, боевые действия...

— Я горжусь тобой, сынок, — глава семьи вновь налил в бокал вина уже из другой бутылки.

Супруга последовала его примеру. На этот раз обломилось даже Акиму.

«Вот что значит натиск и упорство», — с гордостью подумал о себе, наливая вторую порцию, пока маман находилась в прострации, от чтива младшенького сынули.

— Ты ещё, матушка, песни наши традиционные из репертуара «Журавушки» не слышала, — захмелевшим голосом произнёс Максим Акимович.

Испуганные сыновья сделали попытку увести главу семьи в кабинет, но любопытная Ирина Аркадьевна остановила их.

— Пусть споёт пару куплетов, — разрешила она.

И зря!

— Жура-жура-жура мой, — то ли запел, то ли завопил Максим Акимович, — журавушка молодой...

Начнём с первых мы полков — с кавалергардов-дураков.

Кавалергарды-дураки, подпирают потолок...

Из полков же самый тонный — то лейб-гвардии полк Конный.

А кто в бабах знает толк? Это славный Конный полк...

— Всё, всё, — спохватилась супруга. — Ведите его отдыхать, дети, — и с ужасом прослушала удаляющийся вместе с мужем куплет:

Коль старушку соблазнить, надо гатчинца спросить...

Кто в старушках знает толк? Кирасирский синий полк...



ОБ АВТОРЕ

Валерий Аркадьевич Кормилицын родился в 1954 году на Сахалине. Отец — Аркадий Васильевич Кормилицын, военнослужащий, поэтому Валерий всё детство скитался по военным гарнизонам СССР: Кирсанов, Балашов, Ахтубинск Астраханской

области, где в 1971 году окончил среднюю школу и приехал в Саратов. В 1972 году поступил в Саратовский юридический институт на вечерний факультет. С 1973 по 1975 год служил в рядах СА. После демобилизации учебу не продолжил, а пошел работать на завод. Затем поступил на заочный факультет Саратовского юридического института. Окончив его, работал на заводе С. Орджоникидзе старшим инженером по технике безопасности.

В 2007 году опубликовал роман «Излом», в 2008 году напечатал пародийный боевик «На фига попу гармонию», в 2011 году — роман «Разомкнутый круг». Член Союза писателей России.

Литературно-художественное издание

Кормилицын Валерий Аркадьевич

ДЕРЖАВА

Роман
В двух томах
Том 1

Редактор А. Г. Красичкова
Корректор Д. В. Нестерова
Компьютерная верстка Н. А. Гусева

Подписано в печать 18.11.2014. Формат 60 x 90 ¹/₁₆
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 26,25
Тираж 100 экз. Заказ №

ООО «Приволжское издательство»
410012, г. Саратов, ул. Киселева, 65 Е